ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

Стихотворения и поэмы

Георгий Шенгели

Стихотворения и поэмы

Том первый

Радощи А. И.
Кралечево,
1939 г.

ГЕОРГИЙ ШЕНГЕЛИ

Стихотворения
и поэмы

Том первый

ВОДОЛЕЙ
Москва
2017

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
Ш47

На авантитуле портрет Г.А. Шенгели работы А.И. Кравченко. 1939.
РГАЛИ

Составление, подготовка текста и комментарии *В. А. Резвого*
Биографический очерк *В. Э. Молодякова*

Издательство искренне благодарит
Юрия Лукача, Игоря Стародубцева и Ярослава Старцева
за поддержку настоящего издания

ISBN 978–5–91763–353–4
ISBN 978–5–91763–354–1 (Том I)

© В.А. Резвый, составление, подготовка текста, комментарии, 2017
© В.Э. Молодяков, биографический очерк, 2017
© Д.В. Логинов, оформление, 2017
© Издательство «Водолей», оформление, 2017

СТИХОТВОРЕНИЯ

РОЗЫ С КЛАДБИЩА

Евгении Георгиевне Добровой
мелодии эти посвящаю

ЭКЗОТИКА

ЛИЛИИ СКВОЗЬ ХРУСТАЛЬ

Бледно-лунного света серебристые нити
Зазвенели в хрустальности переливчатым маревом,
И сказали им звезды – вы на землю плывите,
Сочетайтесь в единое с Солнца гаснущим заревом.

Серебристые нити бледно-лунного света
Опустились на лилии синеватыми струями,
И аккорды ноктюрна зажемчужились где-то,
И закат овьельорил лепестки поцелуями.

Серебристые нити голубого пространства
Сочетались в гармонию с Солнца жгучею нежностью
И в холодности лилий всю волшебность убранства
Обрели для создания Красоты над безбрежностью.

ЗОЛОТЫЕ СКРИЖАЛИ

Мои руки держали
Золотые скрижали,
Перевитые лентами перламутровых астр,
И восторги молений,
Огневых упоений
Опьянял ароматами дорогой алавастр,

Полный чистого нарда
Из владений Аларда…
Коронован был солнечью лабрадоровый храм,
Улыбался мне Будда
И пророчили чудо
Обезьянки священные из-за матовых рам.
Но могучий как лава
Вдруг явился мне Дьявол,
Показал он мне в зеркале настоящую жизнь,
Где напевы и шумы,
Где порывы и думы,
Где фантазм и безумие, а не жалкая слизнь.
Опьяненный мечтою,
Огневой, золотою,
Протянул я порывисто пальцы скованных рук,
И они задрожали,
И разбил я скрижали,
И насмешливым хохотом прогремел этот звук.

ГОРОД МУДРЫХ

Мраморный город безмолвный
Кружевом башен и статуй,
Мраморный город безмолвный
В бледном сияньи луны
Четко рисуется в небе
Тенью узорно-крылатой,
Четко рисуется в небе
Сказкою мертвой страны.
Улицы тихо безлюдны…
Чудных дворцов панорамы…
Улицы тихо безлюдны…
Черные пятна окон…
Мраморной сказкою гордой
Высятся древние храмы,
Мраморной сказкою гордой
Блещут сплетенья колонн.

Смерти величьем объятый
С чувством немого восторга,
Смерти величьем объятый
Вдоль храмов и башен бегу;
Высится черное зданье
Вроде зловещего морга,
Высится черное зданье
Средь белых – как уголь в снегу.
Надпись на портике черном:
– Истины капище чистой, –
Надпись на портике черном:
– Кто бы ты ни был – склонись. –
В храме – могучие своды
Светятся блеском лучистым,
В храме – могучие своды
Тянутся в синюю высь.
Там за шелкóвой завесой
Статуя Истины скрыта,
Там за шелковой завесой –
Жизни венец и заря…
Грозною стражей Химеры
Стали вокруг из нефрита,
Грозною стражей Химеры
Стали вокруг алтаря.
Робко завесу откинув,
Я наклонился, несмелый,
Робко завесу откинув
И не смотря на Химер…
Вот она, Истина-Фаллус,
Злобно насмешливый, белый,
Вот она, Истина-Фаллус,
Смысл всех учений и вер.

ПЕРЕЛИВЫ

Переливы люблю драгоценных камней,
Ясный блеск их дрожащих холодных огней,
Солнца чудится в них замороженный луч,
Что когда-то сверкнул меж серебряных туч.
Я люблю благородный туманный опал,
Он создался в тот миг, когда мир засыпал,
Когда нежно в лазури светилась луна,
Когда матовым блеском сверкала волна…
И частица волны у подножия скал
Превратилась в молочно-лучистый опал.
Я люблю бледно-розовый нежный жемчуг,
Мелодичный валов мне в нем слышится звук,
Тот прерывистый радужных раковин шум,
Вереницы в котором ласкающих дум.
В непроглядную ночь отвердел этот звук,
И создался в тот миг благородный жемчуг.
Как люблю фиолетовый я аметист,
Как он строг и спокоен, как ясен и чист!
Он создался в тот миг, когда к небу летел
Полный стройности гимн и рыдал, и гремел –
И могучий, певучий церковный хорал
Отвердел, превратился в лиловый кристалл.
Я люблю бледно-синий лучистый сафир, –
Он создался в тот миг, когда чистый эфир,
Бесконечности сын, к беспредельности мост,
Что заполнил пространство от звезд и до звезд,
Отвердев, разлетелся кристальным дождем,
Засверкал, засиял темно-звездным огнем…
Переливы люблю самоцветных камней,
Ясный блеск их дрожащих холодных огней,
Вижу Солнца я в них замороженный луч,
Что когда-то сверкнул меж серебряных туч.

ТРИДЦАТЬ ТРИ СТРОКИ

Отчего влекут и манят нас лазоревые дали?
Отчего узнать стремимся, что за дальними холмами,
Полускрытыми в тумане, как в серебряной вуали,
Озаренными златого Солнца яркими лучами?

Отчего весенний ветер, что в далеком синем небе
Тучки светлые волнует, носит, гонит на просторе,
Что дрожит волнами в светлом, золотистом вешнем хлебе,
Жемчугами одевает, пенит искристое море,

Отчего тот ветер манит нас в далекую дорогу,
Что-то шепчет и рисует золотистые миражи,
Поселяет в нашем сердце странно-сладкую тревогу
И влечет неодолимо, и грозит, пугает даже?

Оттого, что ветер теплый дует с пламенного юга,
А на юге в теплом, чистом, бирюзово-синем море
Где-то остров есть далекий, никогда не знавший вьюги,
Спящий много лет в зеленом кипарисовом уборе.

За прибрежными холмами, в оцветоченной долине –
Старый замок с главной башней из дымча́того хруста́ля
Утопает в листьях плю́ща, тени стелет по равнине,
Это замок – древний, чудный, это замок Сен-Грааля.

Сен-Грааль – резная чаша из граненого топаза –
После Вечери умчалась на незримых сильных крыльях,
И, когда она носилась в золотистых струях газа,
Разлетелась часть рельефа переливно-нежной пылью.

А потом – спустилась чаша в замок князя Титуреля,
Что на острове построен в бирюзово-синем море,
В замок, тонущий в зеленом кипарисовом уборе,
Где под рокот волн созвучно соловьев несутся трели.

А пылинки – наше сердце охватили, оковали…
Оттого и знать стремимся, что сокрыто за холмами,

Оттого влекут и манят нас лазоревые дали,
Что на острове далеком – дивный кубок Сен-Грааля
Золотится, обливаем Солнца яркими лучами.

ПЕСНЯ ВЕТРА

Когда сверкающее Солнце,
Заливши кровью небосклон,
В последний раз в мое оконце
Блеснет сиянием червонца, –
Всегда я слышу нежный звон.

То бриз вечерний бьется в ставни
И песню звучную поет,
И льются звуки своенравней,
И ветер вольный, друг мой давний,
Зовет меня – вперед, вперед:

«Бирюзовые волны
Южных озер,
Величаво безмолвны
Глетчеры гор,

Золотой панорамой
Тянется даль,
И горит орифламмой
Неба хрусталь.

На просторе пустынь
Вновь найдешь красоту
И сожженных святынь
Позабудешь мечту.

Внемли ж велению Пророка,
Иди бестрепетно вперед!
Не подчиняясь воле Рока,
Иди в златую даль Востока –
Там Солнце новое взойдет!»

ЭКСТАЗЫ

КОШМАР
(Скачущие строки)

Nous sommes nés sous le signe Saturne,
Fauve planète, chère aux nécromanciens.
P. Verlain<e>[1]

Бледно-зеленые глаза саламандры,
Жуткий в безмолвии задумчивый филин,
Дышат отравою немой олеандры,
Трепетны отсветы горящих светилен –

Кухня колдуньи, называемой Жизнью,
Фабрика душ, покоренных тоскою, –
Странные чаши с шевелящейся слизью,
Гроб полусгнивший и прикрытый доскою.

Души, рожденные под знаком Сатурна,
Вы были созданы в этом подвале,
Вам колыбелью служила прозрачная урна,
Ваши сердца в той реторте лежали…

Вы были созданы… Задумчивый филин
В вас заронил чувство прелести ночи,
Странными зовами блики тусклых светилен
Вас переполнили, Мрак и Вечность пророча…

Бледно-зеленые глаза саламандры
В вас заронили желание зла и порока,
Мягкой отравою своей олеандры
Ужас вложили в вас вечного, грозного Рока.

[1] Мы родились под знаком Сатурна, / Рыжей планеты, что дорога́ некромантам. *П. Верлен* (*фр.*).

Слышатся возгласы, грохот, рыданья и вопли –
То Джаггернаут великий на своей колеснице
В ярко-кровавом плаще и венке из индийской конóпли
Медленно едет и реют огромные птицы,

Реют красные вóроны в воздухе тусклом и мглистом –
Это великий кортеж, шествие грозной Судьбы,
Падают люди, мильоны людей под колеса и чистым,
Чистым страданием платят за годы борьбы.

ПРОБУЖДЕНИЕ
(Скачущие строки)

Я – король или принц: золотыми узорами,
Изумрудом и жемчугом расцветился ковер –
Это яркое Солнце любопытными взорами
Заглянуло мне в комнату сквозь кружево штор.

Страшно раннее утро. Пять часов только пробило…
Но уж Солнце проснулось, чтоб мне дать поцелуй,
А меня в этот миг лихорадочно знóбило
После ночи угарной, кошмарной… Целуй,

Оживи, обожги меня, Солнце могучее,
Лучезарным наполни мне душу огнем,
Чтобы всё, что в ней кроется, было только лишь тучею,
Чтобы туча умчалась и казалась бы сном!..

Солнце медленно прячется за железными крышами,
Город жадно похитил Солнца златолучи,
Снова тянутся тени закоулками, нишами,
Чтобы выпрыгнуть властно и одеть кирпичи.

И опять подымаются стены дома колодцами,
Струи дыма буравят, сверлят небосвод,
И кривляются, прыгают предо мною уродцами
Сумасшедшие мысли, плетя хоровод.

СТАРУХИ

Вы знаете кладбищенских старух?
В их платьях траурных, хоть старых, но опрятных?
Они – как стая черных мух
Бросаются на труп, в его зеленых пятнах

Стараясь отыскать какой-то странный знак,
Стараясь отыскать неясный след чего-то…
Не кажется ли вам, что это Вечный Мрак
Их породил с их жуткою заботой?

В их цинковых глазах, слезливых, без ресниц,
Не чудятся ли вам зловещей тайны зовы?
Видали вы глаза у стервоядных птиц?
Как смотрят гарпии, вороны или совы?

Они бессмертны… Боже мой,
Не может быть, чтоб их, с душой вампира,
Могли похоронить, засыпать их землей,
Когда так много яств для пира,

Когда так много мертвецов,
Когда открыты все кладбища,
И мясо гробовых жильцов –
Для них питательная пища,

Когда в преддверьи похорон
Бывают отперты квартиры…
О Боже мой, я слышу стон,
Стон сладострастия вампира!

Он здесь… Он здесь, возле меня!
Она – старуха в черном платьи…
Огня, огня, огня, огня!
……
Как холодны ее объятья!

Вы черных знаете старух?
Они бывают на кладбищах:
Для них, как и для трупных мух,
Нужна питательная пища.

КРОВЬ
(СОНЕТ)

Николаю Александровичу Петрову

Во сне я видел кровь. Я видел много крови.
Она, как сок гранат, рубиновой струей
Текла, не торопясь, и четкой полосой
Под звездами очей чернели жутко брови.

То женщина была. Лежала вся нагая,
Сверкая кожею под солнечным лучом,
А я стоял над ней жестоким палачом
И слушал стон ее, в тоске изнемогая.

А кровь текла, дымясь, на ландышевом теле,
И капельки ее рубинами блестели,
Я руки погрузил в горячий пурпур струй,

И, к женщине склонясь, на яхонтовом ложе
Губами я приник к холодноватой коже
И отдал жизнь свою за этот поцелуй.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Низко нависли свинцовые тучи,
Синее небо собою закрыли,
Ветер умчался, свободный, летучий,
В воздухе носится облако пыли.

Тянутся жадно мертвящие тени,
Издали город – в кровавом тумане,

Храмов колонны и лестниц ступени –
Всё говорит о бесплодном обмане.

Всюду проклятые серые стены,
Всюду преграды, заставы, запоры,
Слышится всюду дыханье измены,
Всюду пытливые, жадные взоры.

Хочется воздуха, ласки и света,
Хочется солнца любви и свободы –
Годы ж чредою скрываются в Лету,
Годы ж уходят, как вешние воды.

Жизнь и свобода – за рубежом смерти.
Только в лазоревых волнах эфира
Души находят (поэту поверьте)
Счастье свободы и ласковость мира.

ОПИУМ

Темная ночь… Я под властью наркоза…
Реют волшебно-неясные грезы:
Вот золотые резвятся стрекозы
В синей бездонности неба…

Вот выдвигаются мрачные своды,
Вот – потемнели лазурные воды,
Смех и рыданья и рев непогоды –
Демонов праздник Эреба.

Всё исчезает и снова – равнина,
Вереск, утесы, темно и пустынно,
Словно Сальватора-Розы картина –
Пляшут во мраке огни,

Там за холмами сверкают зарницы,
Носятся в воздухе странные птицы,
Голосом, хриплым как двери темницы,
Что-то бормочут они.

Шабаш! стихийные духи и гномы,
Фантомы ночи, кошмара, истомы,
Ведьмы и дети ненастья и грома –
Духи стихийного зла –

В струях неверного факелов света
С воплем восторга, мольбы и привета
Падают ниц пред лицом Бафомета,
Страшного бога-козла.

Снова исчезло – и вот предо мною
Желтая степь. Гробовой тишиною
Воздух напоен и бешеным зноем
Серые пышут пески.

Солнце кровавое, небо из стали
Пепельно-серой, песчинки кристаллят,
И бесконечные знойные дали –
Царство безумной тоски.

Снова исчезло. Извивами линий
Часто жемчужный, но часто и синий
Густо усеял узорчатый иней
Ветви могучей сосны…

С ласкою странною в неге наркоза
Реют волшебно-неясные грезы,
Носятся, словно златые стрекозы,
Странные-странные сны!

СОН

Мне снился странный сон: в зеркальной глади моря
Я плыл без парусов на стройном корабле,
Кричали бакланы, из-за добычи споря,
И берега кругом тонули в светлой мгле.

И в небе матовом, холодном и безбрежном
Луна и тысячи огромных бледных звезд

Свой серебристый свет струили мягко, нежно,
И жемчугом сверкал кометы яркий хвост.

Вдали на берегу унылой полосою
Тянулась низкая, холмистая гряда…
Момент – и искристой, мерцающей росою
Вдруг за звездой с небес посыпалась звезда.

Луна погасла вдруг и небо потемнело,
Исчезли чайки все, замутилась вода,
И солнца мертвого рубиновое тело
Блеснуло пурпуром и скрылось навсегда.

И землю мрак покрыл зловещий и холодный,
И ни одним лучом не озарялась твердь,
И так на мир пришла безмолвно и свободно,
Пришла и воцарилась Смерть.

АЛКОГОЛЬ

Пьяный угар, мишура кабинета,
Ядом сверкающим полон стакан,
Страстно тоскливая слышится где-то
Песня цыган,

Звуки той песни в душе отдаются,
Будят порывы в туманную даль…
«Годы прошли и назад не вернутся», –
Стонет рояль.

Годы прошли, пролетели так скоро,
Мрак и тоска, и печаль впереди…
Слезы под звуки цыганского хора
Встали в груди.

Слезы тоски беспросветной и боли…
Струны гитары рокочут, звеня:
«Дайте мне воздуха, дайте мне воли,
Ласки, огня!»

Ах, отойди ты, мечта золотая,
Поздно усталую душу будить,
Лейся, шампанское, лейся, блистая,
Буду я пить…

НАСТРОЕНИЯ

ПОЭМА ВЕЧЕРА

C’est l’heure exquise.
P. Verlain<e>[1]

Серебристые лебеди над водою зеркальною,
Над водою прозрачною, словно черный алмаз, –
Изваянья из мрамора, – свою песню печальную
Посылают в безмолвие в тихий сумерек час.

Кипарисы могучие, как тоска Неизбежного,
Своей зеленью бархатной зеленят берега,
Небо стало чуть розовым в свете пурпура нежного,
Уплыли и растаяли облака-жемчуга…

Небо стало прозрачнее, небо стало опаловым,
Побледнел обессиленный синей мглою закат,
И последние отсветы светом бело-коралловым
Нежно воздух окрасили в халцедон и агат.

Песня лебедей звучная разливалась размернее,
Разливалась певучее в тихий сумерек час,
И несмело заискрились блестки-звезды вечерние,
Засверкали в безбрежности, как разбитый алмаз.

[1] Это чудесный час. *П. Верлен* (*фр.*).

РАДУГА В МОЛОКЕ

Как в серебряном зеркале, полусонные, белые,
Лунноискрами лилии в эту ночь овуалены
И качаются медленно, утомленно-несмелые,
Окружив ожерельями голубые развалины.

Голубые развалины из воздушного мрамора
Растворились в прозрачности, ожемчуженной лунностью,
И мне хочется вырваться из томящего траура,
Зазвенеть и заискриться звонкозвучною юностью.

А над озером медленно тени легкие, бледные
В хороводы сплетаются и поют об усталости,
И звенят усыпляюще колокольчики медные,
Утонувшие в отсветах нежно-матовой алости.

Вдруг огромными крыльями, бросив тени лиловые,
Старый Ворон порывисто в воздух врезался кольцами
И, рыдая, проклятия загремел он грозовые,
И рассеялись тени, не звеня колокольцами.

Ворон каркал проклятия этой ласковой прелести,
Что томит несказанными и обманными грезами
И насмешку обидную кроет в ласковом шелесте,
И умчится, и скроется с голубыми стрекозами.

Ворон звал отказаться нас от жемчужной прозрачности,
Сквозь которую светятся лживо двери Эдема нам,
И укрыться под сводами безнадежности, мрачности,
И замкнуться в безмолвии отрицающим демоном.

И кровавой фантастикой, и кошмарами грозными,
И дерзаньем Люци́фера, и бескрайней мятежностью
Осмеять вас, ничтожные, осмеять вас, безгрезные,
Вас, обманные отблески, с вашей лживою нежностью.

И окутал мне душу он и тоской, и туманами,
И проснулся в ней дремлющий древний Хаос молчания,

Усыпленный когда-то этой жизни обманами,
И проклятья смешались с горькой песней рыдания.

И в тоске раздвоения я сжимал помертвелые
Свои руки холодные с истерической силою,
И качались над озером эти лилии белые,
Хоть обманно-жестокие, но и – милые-милые.

ПОД ЗВУКИ ЧАЙКОВСКОГО

Розе У.

Этим вечером чарым
Над притихшим бульваром
Так томительно-медленно заливаются скрипки…
Звуковые изломы…
Чарованья истомы…
И у девушек лица озаряют улыбки.
Эти мерные звуки,
Эти песни разлуки
Наполняют мне душу бархатистою грезой:
В их мечтательном трансе,
В их напевном кадансе
Сочетание ночи с увядающей розой.
И мне грезятся дали
В их зовущей печали
И колонны, фронтоны позабытого дома,
И заброшенность сада,
И аллей амфилада –
Увяданья и смерти дорогая истома…
Там рыдают осины,
Там поют клавесины
В эти грустные ночи с их весенней тоскою,
И забытые боги
Там печальны и строги
И мечтают о странах, что за далью морскою.
И сидит у веранды,
Где дыханье лаванды,
Тихо девушка эта, что мне снится так часто;

И мне грустно и больно,
И шепчу я невольно: –
Это грезы лишь только, это грезы фантаста.

ИРИСЫ

Ирисы бледные, ирисы нежные,
Ирисы желтые – столько в вас прелести,
Венчики ваши узорно-небрежные
Медленно клонятся в ласковом шелесте.

Как я люблю вас, печальные ирисы,
Бледные ирисы, гости весенние,
Вас положила Изида Озирису,
Скорбные слышали вы песнопения…

Я вас люблю оттого, что вы знаете
Странные грезы мои и мечтания,
Вы, как они, промелькнув, умираете,
Только достигнув поры расцветания.

НОКТЮРН

Ванде М.

Ночь беспросветная, ночь сладострастная,
Как ароматна ты, как хороша…
Трепетом странным, тревогой неясною,
Дымкой желаний объята душа…

Тихо… Что это? Проносится гордо
Взятого звук на рояли аккорда,
Раз и другой… И рыдает рояль –
Отзвуки прошлого, радость, печаль…

Звуки растут искрометной волною,
Снова гремит за аккордом аккорд,

Словно бушует норвежский фиорд,
В бурную ночь озаренный луною…

Трепетом странным, тревогой неясною,
Дымкой желаний объята душа…
Ночь беспросветная, ночь сладострастная,
Как ароматна ты, как хороша.

МЕЧТА

В прохладе ночи – истома, нега,
Шумит чуть слышно морской прибой,
И ярко в небе сверкает Вега,
И блеск – зеленый и голубой…

В сияньи лунном так много ласки,
Деревьев ропот навеял сны,
И слышны звуки весенней сказки,
Мечтою дивной они полны.

Волшебный запах куста сирени
Смешался с чудным дыханьем роз,
И тихо реют немые тени,
Уносят в царство алмазных грез…

Сверкает дивным смарагдом Вега…
И ветра ропот… И плеск волны…
Повсюду сказка, повсюду нега,
Повсюду грезы, повсюду сны.

СУМЕРКИ

Люблю я сумерки, часы воспоминаний,
Последнее прости угаснувшего дня,
Когда томит печаль несбывшихся мечтаний
И бледный призрак смерти ранней
Стоит передо мной, своей косой звеня…

Люблю я сумерки, их трепетные тени,
Их ласку нежную и песню тишины,
В которой музыка далеких песнопений,
Гирлянды смутных настроений
И смысл забытых фраз, и символы, и сны…

Но гаснут сумерки, слетает мрак на землю,
И тени бледные уходят в темноту,
И песням тишины в последний раз я внемлю,
Их ласковый привет в последний раз приемлю,
В последний раз их вижу красоту…

Мне жаль вас, сумерки. Когда настанет утро,
И небо золотым лучи огнем зальют,
И облака, прозрачные, как зерна перламутра,
В далекую страну, где Ганг и Брамапутра,
На крыльях ветра поплывут, –

Не будет места вам. Растают ваши тени,
Рассеет яркий свет неясную печаль,
Покроет шум дневной аккорды песнопений,
Спугнет волну туманных настроений…
Мне жаль вас, сумерки… Мне жаль вас… Жаль.

БЕЗМОЛВИЕ

Море сегодня спокойно, как ртуть,
Только кой-где колыхнется чуть-чуть.
Матовым блеском окуталась даль,
Что-то исчезло, чего-то мне жаль…
В душу закралась неясная грусть…
То, что прошло – не вернется… И пусть.

МИНУВШЕЕ

В небе сафирном звезды горят,
В садике мирном тополей ряд.
Слышится с моря ропот волны,
Сладкого горя мысли полны…
Чары ночные в трепетном сне…
Ночи иные вспомнились мне:
Сосны и ели, горы, тайга,
Тускло блестели льды и снега,
Там, подо мною, мягко сверкал
Синей волною грозный Байкал.

СОКРОВЕННОЕ

Сумрак ночи, тихий, нежный,
Легкий холод от воды,
И в душе моей мятежной –
Странных образов ряды.

Часто так со мной бывает –
Миг знакомый, но иной –
И мгновенно выплывает
Небылое предо мной.

Нежно, ласково, печально
Промелькнет небылый час,
Так правдиво, так реально, –
И забудется тотчас.

И тревоги раздвоенья
Так люблю я иногда:
В них больное наслажденье,
В них манящая звезда,

В них порог иного мира,
Бесконечность в них глядит
И сокровища Офира
И страдания сулит.

И несутся предо мною
Ропот моря, леса шум
И сверкающей волною
Миллионы пестрых дум.

И теперь сказать я смею:
Как изящно хороша
Утонченностью своею
Неврастеника душа.

УЙТИ!

Люблю я сумрак ночи синий,
Люблю я месяц золотой,
Люблю извивы темных линий
От камышинок над водой.

Люблю я моря переливы,
Люблю печальный стон совы,
И тихий шелест скорбной ивы,
И запах скошенной травы

Я наслаждался пеньем скрипки,
Я слышал, как рыдал рояль,
Но мне милей тот ропот зыбкий,
Когда поет степная даль,

Когда в тумане бирюзовом
Горят-сверкают светляки,
Когда влечет могучим зовом
Туда, где нет немой тоски.

Уйти в сиреневые горы,
Уйти подальше от людей,
Туда, на светлые озера,
Где реют стаи лебедей,

Уйти, уйти в приволье степи,
Исчезнуть в сумраке ночном,

Разбить ударно звенья цепи,
Забыться вновь спокойным сном.

На лоне ласковой Природы
Ожить душой и телом вновь,
Вернуть истраченные годы,
Забыть разбитую любовь.

НАПЕВЫ АКАЦИИ

Я хотел бы зажечь тебя ласкою, сказкою,
Я хотел бы вдохнуть в тебя дерзость мечты,
Чтоб восторга могучего пышно цветы
Расцвели под холодной безжизненной маскою.

Чтобы струны души твоей в мощной вибрации
Зазвенели, запели моей в унисон,
Чтоб экстазный, алмазный принес тебе сон
Аромат распустившейся белой акации.

Чтобы губы твои расцветились кораллами,
Чтобы губы твои стали розами алыми,
Чтоб истомою, дремой оделись глаза…

Вот тогда я принес бы тебе свои жалобы,
Ты меня поняла б, ты меня приласкала бы…
О, что это? Смешно как: упала слеза.

СКАЗКА

Голубая сказка жизни
Улыбнулась мне когда-то,
Улыбнулась, поманила лучезарною мечтой
В край волшебный, золотой,
Где нетленной красотой
Блещут звезды, Солнце, горы,
Где жемчужных облаков филигранные узоры

В темном пурпуре заката
Розовеют.

Поманила в край волшебный ласки, света и свободы,
Где лазурные миражи, где чарующие сны,
Где серебряной Луны,
Отражаясь от волны,
Луч сверкает синим светом,
Где туманная зима не приходит вслед за летом,
Где брильянтовые воды
Пламенеют.

Улыбнулась, поманила, но в душе не стало силы
Сбросить в пламенном порыве
Тяжесть жизненных оков,
И умолк манящий зов,
И не стало чудных снов,
И во мне погасла искра лучезарного огня,
И, скучая, сказка жизни отвернулась от меня,
И померкнул образ милый,
И текут года уныло,
И души моей любовь,
Если даже вспыхнет вновь –
Не согреет.

СТЕПИ

СТЕПНОЙ КРАЙ

Как теперь хорошо в том далеком краю,
Где провел я весну золотую мою,
Где катит свои воды могучий Иртыш,
Где шумит на озерах высокий камыш,
Где раскинулась степь, беспредельная степь,
Где видна чуть в тумане Алтайская цепь.

Там провел я весну золотую мою,
Хорошо как теперь в этом вольном краю…
Там я жил еще с чистой и светлой душой,
Не смущен был ничем мой душевный покой,
Я грядущее видел в лазурной мечте,
Там всё было не так, люди были не те…
Я из грез себе создал волшебный дворец,
Но мечты разлетелись, пришел им конец,
И теперь я один средь враждебных людей,
Не видать уж орлов, не видать лебедей,
Далеко от меня та зеленая степь
И могучий Иртыш и Алтайская цепь…
Ах, зачем я не сокол, не сокол степной,
Я сейчас бы помчался в край милый, родной,
Я летал бы, летал над могучей рекой,
Я навеки расстался б с гнетущей тоской,
Я бы слушал, как плещет могучий Иртыш,
Как шумит-шелестит золотистый камыш…
Хорошо как теперь в этом вольном краю,
В честь которого песню я эту пою,
Хороша там сейчас темнозвездная ночь,
Ах, зачем улететь мне отсюда невмочь.

ИСКУССТВО

Над уснувшей степью
Пряный аромат
И за горной цепью
Золотой закат…

В голубых долинах
У подножья гор
И в морских глубинах,
В синеве озер,

И в лазури неба,
И в бутонах роз,

И в колосьях хлеба,
И в раскатах гроз –

Всюду Жизнь святая,
Всюду – красота,
Всюду золотая
Юная мечта…

И мое искусство –
Воспевать мечту,
Переливы чувства,
Жизнь и красоту.

АККОРДЫ

Теплый вечер, ропот моря,
Старый тихий сад,
Звезды в голубом просторе
Радужно горят.

Далеко во мгле туманной
Маяка огни
И во тьме – как глаз багряный
Светятся они.

Дивный голос с грустью страстной
Песнь любви поет
И к мечте, мечте прекрасной
Пламенно зовет.

И плывут, несутся звуки
Мощною волной –
Страстный стон любовной муки
В тишине ночной.

А в выси блистают гордо
Искры звезд златых, –
Звуков мощные аккорды
Не волнуют их.

НОЧЬ

На небе звездном,
В выси – морозном,
Холмов отроги
В сияньи лунном,
Лучисто-струнном,
Так четко строги.

И пенью моря
Созвучно вторя,
Кричат цикады,
Узорной цепью
Стоят над степью
Скалы громады.

Там великаны
В струях тумана
Окаменели,
И гимн прощальный
В степи печальной
Цикады пели.

СТЕПИ

Привольные степи, туманные дали,
Трава и ручьи, журавли в вышине,
Вы странную прелесть неясной печали
Приносите, будите что-то во мне…

В степи одиноко чернеют курганы,
Свидетели славы и тризн, и побед…
Увижу я их – предо мною туманно
Встают вереницы пронесшихся лет.

Встают предо мною далекие годы,
Когда в беспредельных зеленых степях
Лишь сизые тучи гляделися в воды
Да ветер шумел в прибережных ветвях,

И в воздухе дивное было дыханье
Нетронутой девственно-чистой земли,
Когда проносились со стоном страданья
Куда-то далеко вверху журавли.

Исчезло всё это… Повысохли воды,
Всё скрылось во мраке веков навсегда,
Дыханье земли осквернили заводы,
По рельсам гремят поезда…

И только курганы в степи уцелели,
Еще говорят о минувших веках,
Да песни всё те же поют коростели,
Над степью в жемчужных летя облаках.

ПОЛДЕНЬ

Жаркий солнечный день… Голубой небосвод
Сверху в зеркало смотрит лазоревых вод…
Чуть заметен ввыси перламутр облаков,
Изумрудно ярка зелень свежих лугов…
Поцелуи лучей жгут, ласкают, томят,
И, купаяся в них, коростели кричат,
Дышит жизнью степной безграничный простор,
И зовет, и манит мгла сиреневых гор.
Я лежу на спине и гляжу в небеса,
Переливы лучей утомляют глаза,
И неясные контуры замков, дворцов
Мне рисуются в небе в сияньи венцов…
В небесах показался орел, распластал
Он могучие крылья и медленно стал
Он кружиться, ища себе пищи в траве, –
Не нашел и исчез в – синеве.

КОЛЬЦА ДЫМА

ГОРОД СВЕРХУ
(Скачущие строки)

Всеволоду Чижову

Тяжко грохочут раскатами улицы черного города,
Резко взвиваются дикие вопли моторных сирен,
Лязгают грозно и жалобно цепи подъемного ворота,
Нитями глаз окровавленных – блеск фонарей у стен.

Царство бетона и проволок… Ложе кровавого Молоха…
Дикая пляска безумия… Камень, огонь и металл…
Красное зарево высится, тянется огненным сполохом,
Тянется огненным сполохом, вздыбив зловещий вал.

Край горизонта – в безбрежности. Небо затянуто тучами,
Жутко и злобно смеется оттуда пугающий мрак,
Призраком белым туманы танцуют над горными кручами,
Словно огромная стая взбесившихся, злых собак…

Вот подымается медленно, отсветы бросив зловещие,
С медной угрозой изогнутый серп полумертвой луны,
И заметались над городом Вороны, Вороны вещие,
Радостным криком приветствуя знак Сатаны.

СИРИУС

Аметистом, рубином, смарагдом, алмазом
Гордый Сириус блещет в голубом серебре,
Как чадрою окутанный переливчатым газом,
Как глаза твои – помнишь? – тогда, на заре…

Но восходит он на́ небо лишь холодной зимою,
Когда жалкую землю покрывают снега,

Он царит, светозарный, над бессильною тьмою,
Полновластно окутавшей города, берега…

Я готов отказаться от весенних волнений,
Чтобы видеть свободно его луч золотой:
Он чарует, волнует песней темных томлений,
Он меня наполняет вдохновенной мечтой.

Так тяжелые ночи перехода, распада
Озаряет поэт своим мощным огнем,
И сверкания дивного, вдохновенного взгляда
Не увидишь ты шумным и пошленьким днем.

Пусть же тянутся вечно беспросветные ночи,
Никогда пусть не вспыхнет обновления свет,
Лишь бы только вам сказки и грезы пророчил
Лучезарный и царственно-властный поэт.

ПЕНКОВАЯ ТРУБКА

Как изящно прихотливы голубые переливы,
Серебристые извивы переливных дымных струй, –
В их мятежном, нежном беге чарованья пьяной неги,
В них зеркальный отблеск Веги, музыкальный поцелуй.

В этих кольцах, рдяных, пьяных, переливных, дивных, странных,
В отражениях туманных пролетает, тает жизнь,
И на тени от сирени сказкой, пляской сновидений
Для созданья зданья лени кровью алой, талой брызнь!

Я

Когда мне душу давит Мрак,
Когда призыв волнует дальний,
И бронированный кулак
Звенит по медной наковальне, –

Тогда встает немой экстаз,
Тогда туманами из крови
Пьянеет ослепленный глаз, –
Огонь безумья в этом зове,

Огонь безумия томит,
Влечет с невыразимой силой,
И – расплавляется гранит,
Летит в огонь покров унылый.

И в мощной дерзкой красоте
Моя душа, душа гиганта,
На птицелетной высоте
В венке из мирта и аканта

Парит, как некогда Икар,
В сверканьи солнечной короны,
И претворяется пожар
В стихов размерных стоны, звоны…

В моем стихе – жемчуг волны,
Звучанье чистой, звонкой меди,
Свободен я от старины
И от ее гнилых наследий!

В моем стихе – прозрачность льда,
В моем стихе – напевность ветра,
Я – виртуоз, всегда, всегда
В искусстве рифмы, звука, метра.

В моем стихе – дыханье роз
И запах пламенного нарда,
И я – могучий виртуоз
С лицом жреца, с душою барда…

Я – словно маятник Фуко:
Моя огромна амплитуда,
Мой гений светит далеко
Волшебным блеском изумруда.

МИТРИДАТ

Там, где теперь прорастают колючие сорные травы,
Там, где теперь запустенье, безмолвье, тоска и покой,
Некогда высились гордо чертоги искателей славы,
Некогда громко звучали и песни, и говор людской.

Сам Митридат, безграничный владыка, в златой диадеме,
Пышных придворных толпой окруженный, в безбрежный простор
Зорко смотрел, наблюдая, как плавают в море триремы,
Зорко смотрел, но заботой орлиный туманился взор…

Двигались грозно на царство его легионы из Рима,
«Варваров Понта» при всех обещал уничтожить Помпей,
Билась душа Митридата, тоскою и страхом палима,
Словно уже зазвенели железные звенья цепей.

Быстро столетья прошли, промелькнули и гунны, и венды,
Много прошло здесь народов, всё кровью своею залив.
Что же осталось? Развалины, песни, преданья, легенды,
Скалы омшелые, сорные травы и тот же пролив.

И для чего всё? Зачем, почему умирали, страдали?
Разве не лучше спокойно отдаться на волю Судьбы,
С берега моря смотреть в голубые прозрачные дали,
И умереть, как и жить, – без нужды, без труда, без борьбы.

РОЗЫ С КЛАДБИЩА

Мне нравится чеканность плит,
Крестов могильных бледный мрамор
И светло-розовый гранит
Колонн кладбищенского храма.

Люблю вечерние часы
Я проводить в тени ограды,
Когда закатной полосы
Огонь вьельорит колоннады.

Смотри, вон там, у той плиты,
Где лик Мадонны Долорозы,
Победно развернул листы
Цветущий куст махровой розы…

На три аршина под землей
Гниющий труп и мерзость тленья,
А здесь сверкает красотой
Махровый куст в поре цветенья.

То – испарения земли
Озолотил огонь заката
И вместо смрада поплыли
В пространство волны аромата…

И в глубине моей души
Таится также Хаос дикий
И часто средь ночной тиши –
Встает он жуткий и безликий,

Но золотит его огнем
Мой лучезарный, мощный гений,
И льются кованым стихом –
Гирлянды искристых сплетений.

САНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
(из. П. Верлена)

Старым унылым безлиственным садом
Тихо проходят два призрака рядом…
Тусклы глаза их, печален их вид,
Шепот бесшумный чуть слышно звучит.
Тени, гуляя безлиственным садом,
Смотрят в минувшее горестным взглядом,
Шепчутся: – Видишь меня ты во сне? –
– Нет, ничего уж не грезится мне. –
– Помнишь, друг друга с тобой мы любили. –
– Всё уж окуталось облаком пыли. –

– Слыша мой голос, не правда ль, в ответ
Сердце по-прежнему бьется? – О нет! –
– Помнишь, сияло нам светлое небо? –
– Радость умчалась под своды Эреба… –
Смолкли, проходят, печально глядят,
Тих и бесшумен заброшенный сад.
Изредка только деревья шуршали,
Глядя, как тени во тьме исчезали.

ОПЬЯНЯЙТЕСЬ
(из Ш. Бодлера)

Опьяняйся всегда, отуманивай ум,
Чтоб не чувствовать времени веянья,
Отогнать мириады мучительных дум
И зловещие вечности реянья.

Опьяняйся вином, опьяняйся мечтой,
Музыкальностью песни рифмованной,
Светозарностью звезд и луны золотой,
Облаков жемчугами окованной.

И когда ты порой на ступенях дворца
Иль на ложе из трав зеленеющих
Вдруг увидишь, что нет опьяненья венца, –
То спроси у стрекоз, тихо реющих,

У травы, у волны, у мелькающих птиц,
У звезды иль у тучки опаловой,
У сиянья далеких-далеких зарниц
Иль у бабочки пестро-коралловой…

Ты задай им вопрос: – Что мне делать сейчас?
И услышишь ответ одинаковый:
Час волшебный теперь, опьянения час,
Опьяняйся, напиток вот маковый.

Опьяняйся вином, опьяняйся мечтой,
Музыкальностью песни рифмованной,
Светозарностью звезд и луны золотой,
Облаков жемчугами окованной.

ГОНГ

Книжка стихов должна быть неразлучным другом. Вот почему хороши миниатюрные издания.

Слова К. Бальмонта

ЗОЛОТОФЛИСЫ БЛЕДНО-СИНИЕ

И этих грез в мировом дуновеньи
как дым несусь я и таю невольно,
и в этом прозреньи, и в этом забвеньи
легко мне жить и дышать мне не больно.

Фет

ОРИФЛАММЫ

Синий вечер. И в сирени
растворен закат.
Тихо речи озарений
вкруг меня звучат.
Не звенят мои вериги
в эти гаснущие миги,
и опять страницы книги
мой целует взгляд.

Тают кремово оттенки
медленных страниц,
льются tremolo из «пенки» –
стаи дымных птиц…
Нет границ зарницам воли;
в черной башне – я на воле
и вливаю стих эолий
в мерный гром столиц.

Звездным пеплом Эридана
мой осыпан стих…
Алый пеплум веет рдяно
на плечах моих…
И роняет непонятный
мир забытый в миг закатный
в черный город необъятный
свой сиянный лик.

И на грани неслиянных
трепетных миров
вьются ткани океанных
полнозвучных строф…
Обещанья примирений,
свет закатных озарений, –
кровь мечты в тонах сирени
и в гирляндах слов.

ЗОЛОТОФЛИС

Ты видел ли коричневый золотофлис,
внезапно ставший бледно-синим,
в котором ожили и трепетно зажглись
все искорки? Не видел? Ну, застынем
здесь на холме. Смотри, внизу туман,
и в синем сумраке, дрожа, мерцает город…
Как вечер благостен и пьян,
и тихий мир – как близок нам и дорог!
Как серебрится платина реки…
Кто бросил на поля огромный этот перстень?
Для чьей чеканен он руки?
Рука – для ласки или мести?
Не всё ль равно? И вдаль, и ввысь
мы наш восторг свободно кинем:
ведь так хорош коричневый золотофлис,
внезапно ставший бледно-синим!..

ИЗ ЦИКЛА «ТВОРИМЫЕ РАИ»

I

Читать испанские imbrôglio в скульптурной зале библиотеки,
когда мерцающе-сиренево в углах прольются фонари,
когда с листов своих веленевых дыханьем пламенной экзотики
тома громадные in-folio свое прошепчут мне: «гори!»…

И буду я гореть невидимо в корректной зале бледно-палевой,
и буду я с улыбкой мудрости глядеть на вдумчивые лбы;
ведь знаю я безукоризненно, что и без окрика: «причаливай!»
пристанет мой корабль бескомпасный к бетонной пристани Судьбы…

Но в дни еще свободных плаваний под теми буду плыть широтами,
где краски радужные раковин в струистых снах покоят даль,
где все кораллы Океании изменчивыми позолотами
для смерти вышивают радостно свою венечную вуаль…

Где вместо Бога мирозданием капризно ведают наркотики
и ткут огнистые вселенные из бледных отсветов зари, –
читать испанские imbrôglio в громадной зале библиотеки,
когда мерцающе-сиренево в углах прольются фонари.

II
Гашиш

Бесчисленные радужные, пересекающиеся шарики,
вздувающиеся в хрустальной чаше для мыльных пузырей,
весь мир наполнили, разбросали голубые фонарики,
заструились нитями прозрачных переливающихся огней.

Я – крошечный, в середине, сам из вибрирующих нитей сотканный.
Я слушаю, как прозрачно и розово колокольчики стеклянные звенят…
Мелодия дразнящая за тысячегранными окнами
серебряные спирали звуков выстраивает в волнующийся ряд…

Бесконечно громоздятся, лопаются и тают шарики,
и вновь громоздятся, отражая сладкозвонный свет.

И всё пронизали нити, и вальсируют голубые фонарики.
И всё это – я один… И меня вовсе нет…

ПЕСНЯ РАКОВИН
ИЗ ПОЭМЫ «МОРЕ»

При блеске солнечном, при свете месяца
лучи спускаются сквозь толщу вод
и заплетаются в мильоны лестничек,
от нас протянутых в небесный свод.

И златоискорки по этим лестничкам
каскадом блещущим слетают к нам
фоладам крошечным блестящим венчиком
служить в безлуние, светить волнам…

ПЕРЕЛИВЫ ВЕСЕННИЕ

В ароматные дни предвесенние среди палевых отсветов сумерек,
среди палевых отсветов сумерек и прозрачных серебряных звезд
так отчетливо-скорбно я чувствую, что надснежные марева умерли,
что разрушен кристальный сверкающий
в страны Света Холодного мост.

И к земле утомленно склонившийся
чуть дрожит умирающий Сириус,
рассыпает в последнем мерцании мириады лазоревых искр,
завещает свои чарования нерожденным для воздуха ирисам
и скрывает за рощею дальнею свой чеканный из радуги диск.

С ним уходят фантазии зимние, рассыпаются вымыслы бледные,
и взамен их – поэма весенняя, обжигающим пламенем брызнь!
Зачарованный снега миражами солнце видеть хочу я победное,
расцвечая горячими красками в сказку Жизни одетую жизнь.

МУЗЫКА

Грандиозные символы вековечных преданий
и легенды пьянящие неразгаданных рун
открываются изредка в тихой песне рыданий,
в трепетаньи сверкающем темно-бронзовых струн.

Филигранная музыка золотистых элегий
переливною радугой опьяняет меня:
всё становится сказочно, и в сверкающем беге
бесконечно проносятся искры яркого дня.

И в прозрачной ритмичности звуковой интуитты
я, как пена жемчужная на верхушке волны, –
вижу ласковость берега, бирюзу, хризолиты
и дворцы изумрудные несказанной страны.

Постигаю я символы вековечных преданий,
постигаю легенды я неразгаданных рун –
в этой ласковой музыке, в тихой песне рыданий,
в трепетаньи сверкающем темно-бронзовых струн.

ИСКРЫ В ВОДЕ

В аметистовом сумраке, бархатисто густеющем,
бархатисто густеющем возле мягкого дна,
под коралловым пологом, акварелью белеющим,
обнаженная женщина чуть заметно видна.

Как волна отверделая – тела четкие линии,
чуть колышутся волосы, обвивая коралл,
и подводного инея мягко звездочки синие
ее тело осыпали, превращая в опал.

И медуз перламутровых чаши бледные-бледные
колокольными урнами повисают над ней
и, приветствуя женщину, исчезают, бесследные,
словно тени прозрачные уходящих теней.

А когда затмеваются эти воды глубокие,
из глубин неизведанных приплывают огни.
Синевато-лиловые, – фосфорятся, – безокие, –
и танцуют над женщиной плавный танец они.

То уходят, то сызнова наполняют сиянием,
утомленно мерцающим, сумрак ночи морской
и лепечут над женщиной: «ты забудешь страдание:
охраняется бережно твой последний покой.

Ты в объятиях моря лишь отыскала забвение
и нашла ты убежище лишь у светлой волны, –
так покойся, о женщина, слушай раковин пение
и увидишь прозрачные бирюзовые сны».

АККОРДЫ III

Над морем ласковым на белой пристани
сижу задумчиво, вдыхая тень.
Горит рубинами и аметистами
ушедший к западу июньский день.

Над морем ласковым вдали от берега
парча, и золото, и серый шелк
в пространстве вышили картину Рериха, –
всё призадумалось, и мир умолк.

Над морем ласковым куски стекляруса
прозрачно таяли, скрываясь в синь,
и встал над волнами отросток паруса,
шепча восторженно свое «аминь».

Над морем ласковым огней наркотики
сплели свой призрачный прозрачный плен,
и я, взволнованный, молясь экзотике,
пишу симфонию под волн рефрен.

Над морем ласковым померкли просини,
мечи прожекторов вонзились в высь,

застыли, скорбные, как песни осени,
дню отгоревшему крича: «вернись».

И туч нахмуренных приплыли ролики,
на море сумрачном взбелел бурун,
мечи прожекторов в небес майолике
чертили линии забытых рун…

ЗАКАТНЫЕ ЛЕБЕДИ

В мягко вздрагивающем лифте
с зеркалами отшлифованными
мы неслись, дрожа в предчувствии,
на двенадцатый этаж…
Нам в пролетах небо искрилось,
точно чаша из финифти
с инкрустированными ле́бедями,
яркий ткущими мираж.

Отрывались от солнца лебеди,
розовым золотом сверкающие лебеди,
плавно плыли в отуманенную
лаской сумеречной даль,
пели медленный тихий реквием
дню, багряно умирающему,
небо трепетно окутывая
в огнецветную вуаль.

Отражаясь в зеркальных плоскостях,
дали сделались тысячегранными,
нас окутала бесконечности
переливная парча,
мы неслись, томясь предчувствиями,
из закатных огней чеканными,
как в те дали аметистовые
два сверкающих луча.

* * *

Зной дневной обезоружен.
Льются в окна ателье
звенья розовых жемчужин
в старом золоте колье.

И в тиши минут мечтанных
распускаются в душе
лепестки благоуханных,
шитых бисером саше:

чары низеньких калиток
в белизне застылых стен,
там, где ночь свой черный слиток
расплавляет для измен,

рамы позднего барокко,
на диванах блеклый штоф,
и утонченность порока
в монотонных ритмах строф…

Там давно маркизом нежным
я в мечте капризно жил
и на плахе в год мятежный
очи гордые смежил.

И платок моею кровью
в этот миг окрасил тот,
кто всегда мне к изголовью
тенью скорбною встает…

И платок из тонких кружев
кто-то бросил в небосклон…
Зной дневной обезоружив,
льет закат восторг Времен.

СОННОЕ КРУЖЕВО

Мне безмолвия хочется и безмолвных стихов о безмолвии…
Мне хочется снов об Индии и о лилиях, растущих на мраморе,
снов ускользающих и странных, как беззвучные синие молнии,
снов, призывающих вдаль, как мираж и полдневные на море.

Мне хочется сказок, полных очарования отсветов месяца,
сказок, как и они, – эти отсветы, – сине-стеклянных и ломких,
я хочу паутиною их от жизни закрыться, завеситься
и претворить их в напевы аккордов беззвучно-громких.

Волнистые линии тела женщины, мною любимой,
я хочу превратить в волнистую музыку, музыку странных трансов,
чтобы извивы ее смешались с волной незримой
аромата «Coeur de Jannette»[1] – его неуловимых нюансов.

Я хочу снов, волнующих, но без жутких желаний,
снов, похожих на обнаженную девушку,
заключенную в бледно-лиловый кристалл,
со смуглым телом в золотистых волосиках, с глазами лани, –
заключенную в бледно-лиловый кристалл, бледно-лиловый кристалл.

Я хочу этих снов и я их не видел ни разу…
Мои сны – тревожные, полные тоски и крови,
а кровь – превращается в рубины и топазы
и венцом короля мечты одевает мое изголовье.

Я слил зовы далей и ласки тайн в ожерелья сверкающих строк,
и когда легенда недосказанных былей меня опутает кружевом,
светлым, как туманы Брюгге,
я сплету из этих шепотов шелковый шнурок
и претворю улыбку нирваны в белые чаши стихов,
подобные ненюфарам на юге.

И когда Смерть зажжет и даст мне венчальную свечу,
и закроет меня фатой серебряных волос,

[1] «Сердце Жаннетты» (*фр.*).

я волью в стихи, в палевые урны стихов эту последнюю грезу
и улечу –
туда, где музыкально целуют волны Великой Ледяной Стены
лунный откос.

* * *

Из мрамора – под солнцем всё белей –
слоны застыли, хоботы закинув…
Медлительны качанья паланкинов
над желтой пылью пе́кинских аллей.

Подобен гонгу резкий крик павлинов
в кумиренке у Бронзовых Дверей…
В душе – мерцанья тусклых фонарей,
в глазах – от зноя мутный блеск рубинов…

О тихий Край Фарфоровых Гробов,
расплавленных полуденных томлений,
где сонно всё и где сама любовь –
лишь дар иссушенных корней женьшеня.

Тебе мои мечты и мой привет,
тысячелетия недвижный бред!..

СЕРЕБРЯНЫЙ РИТМ

Мягкие удары серебряного гонга
ритмичными волнами колеблют тишину.
Я покачиваюсь томно на бархате chaise-longue'a,
в вибрирующих звуках я точно тону…

Струистыми кольцами табак, надушенный жасмином,
дымится в изящном зеленого стекла наргиле,
чешуйки плывущего дыма говорят мне о чем-то змеином,
об экзотической над волнами Атлантики земле.

Звуки гонга сплетаются мягким шелковым муаром,
но странная боль в душе рождается и растет,
я чувствую себя отравленным прочтенным вчера гримуаром,
обещаниями странными потускневших позолот.

Распускается в мысли бледный болезненный арум
среди золотистых стеблей камыша,
и со стоном погружается в mare tenebrarum[1]
душа.

* * *

Точно на ярких подмостках,
в царстве обманных кулис,
разбрызган в мерцающих блестках
расплавленный золотофлис.

И перстни старинного вальса,
тая, наполнили зал…
Сквозь музыку тихое «сжалься»
кто-то зачем-то шептал…

Звенели ритмически люстры,
сплетая из света венки,
и с хоров увядшие астры
роняли свои лепестки.

Всё превращалось в движенье,
в прозрачные струи частиц;
взвивались в кострах всесожженья
бледные абрисы лиц.

Но кто-то, измученный блеском,
просил истомленно: «спаси»,
и шепот взлетал к арабескам
и таял в ажурной выси.

[1] море тьмы (*лат.*).

И снова прозрачность дрожала
серебром бесконечной струи,
и тихая музыка жалоб
повторяла моленья свои.

ЛИТУРГИЯ СМЕРТИ

Виталию Рыжкову

В бронзовой курильнице тают зерна ладана,
вейная протянута голубая сеть.
В мире всё оправдано, в мире всё разгадано,
и трикирий радостно подымает смерть.

Бледные епископы в митрах золотых
произносят медленно гимна первый стих:

– Там, где над бездной грохот железный
ночью беззвездной взвился стеной, –
кроткий, безгневный, мерно-напевный,
беспеременный, светлый покой…

Зыбкие качаются синие прозрачности,
гибкие взвиваются линии огней.
В мире всё пронизано миром огнезрачности,
тайной проясненною трепетных теней…

Бледные епископы в митрах золотых
произносят медленно следующий стих:

– Быть растворенным в вихре созвонном
стомиллионным каскадом частиц,
вейно носиться, сладко томиться
в стае мерцающих, тающих птиц…

Вейным вихрем взвеялись струи ароматные,
вейно взмахи веера веяли внизу,
голубые сдвинулись дали необъятные,
бросили в курильницу щедро бирюзу.

Бледные епископы в митрах золотых
произносят медленно следующий стих:

– В синих пространствах – непостоянства
в легких убранствах сладко творить;
ласки покоя, сказок левкоя,
пляски и зноя сладко испить…

Заблестела в дымности чаша с кровью синею,
грозный час причастия сладостно навис,
все склонились радостно, пали пред святынею,
трепетно предчувствуя благостную высь.

Бледные епископы в митрах золотых
произносят медленно свой последний стих:

– В этих сплетеньях и столкновеньях,
соединеньях – кроется жизнь…
Смерть приимите, жизни служите,
нити плетите для солнечных риз!

В бронзовой курильнице тают зерна ладана,
вечная протянута голубая сеть:
в мире всё оправдано, в мире всё разгадано,
и трикирий радостно подымает смерть.

СВЕТ ХОЛОДНЫЙ

Трепеща флуоресцирующие
змейки гейслеровых трубок,
ленты блеска замороженного,
света северных ночей,
разливают весь вибрирующий
светозарно-мертвый кубок
темноту огнем целующих,
раздробленных в пыль лучей.
Пьяно вспыхивающие, потухающие,
как в огне растворяющийся бархат,

ожерелья блестких искорок
прорезают темноту,
говорят, что в царстве смерти
жизнь закованная, чуть поблестывающая,
создает в сияньи северном
красоту.

ПЛЕН

Тонкое, ломкое, сине-стеклянное
кружево лунных лучей…
Чуть истеричная, ласково-пьяная
нега холодных, прозрачно-свободных,
синие песни поющих ночей.

Дали горят голубыми опалами,
бликами бледных огней.
Впаяны звезды большими кристаллами
в четкой эмали, в сверкающей стали
зыбкой мозаикой светлых камней.

Город, – с мостами, домами и трубами, –
глухо рокочет внизу,
харкает черными дымными клубами,
харкает дымами неумолимыми
в чистых небес бирюзу.

Лунные чары, любимые магами,
манят в стеклянную высь,
рвусь, опьяненный звенящими сагами, –
города грохот, пугающий хохот,
властно кричит мне: «вернись».

КАМНИ МОСТОВЫХ

Le long du ruisseau noir, les poètes pervers
Pêchent : leur crâne <creux> leur sert de boîte à vers.
Tristan Corbière[1]

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Тоской холодною пространства залиты.
Влачится катафалк по городским трущобам;
в цилиндре и плаще шагаю перед гробом, –
я – белый факельщик моей больной мечты.

Ползет процессия сквозь липнущий туман,
любезно публика приподымает шляпы,
и день сочувственно протягивает лапы,
в pendant моей тоске окрасивши дома.

Как далеко идти… Как сер и мрачен день…
Зачем я с вами слит, о траурные дроги?
Да, да… Мечта моя влачится по дороге!
В гробу!.. И между губ коричневая пень…

Приехали. Пора. Докучный лязг затих…
Опять свободен я… Так вот оно – кладбище…
Долой цилиндр и плащ, – оборванный и нищий
рыдать иду на камни мостовых!

ТРИ И ТРИ ЧЕТВЕРТИ

В тяжком тумане сером
громоздится кирпичный город…
Выше всех зданий – башня
с бельмом громадных часов,

[1] Вдоль черного стока порочные поэты / Рыбачат: их <пустой> череп служит им коробкой для червей. *Тристан Корбьер* (*фр*.).

их бой, неизбывный, всегдашний,
влечет к исступленным химерам,
навивая на медленный ворот
гирлянды скорченных снов.

Миг, никем не воспетый,
не восход, не закат, не полночь,
четыре без четверти просто,
незаметное в сутках звено, –
в этот миг прозреваю я остов,
без румян, ни во что не одетый,
прозреваю сквозь мутные волны
жизни мертвое дно.

Вон там – большая больница…
С утра и до этой минуты
больные впивают ужас
тягучего серого дня…
Их боль не прорвется наружу,
будет до ночи длиться,
и ночь лишь снимет с них путы,
свой черный лик наклоня.

Вон дом. Закрыты все ставни…
Красный фонарь у входа…
Для него – перелом всех суток
этот скользящий миг:
пора будить проституток
для работы, – новой и давней, –
ибо таков природы
требующий, властный крик.

И так везде и повсюду
в этот миг и пустой, и серый
невозможность мечты о Крылатом
я увижу на фабрике мук,
и встанет безликий фатум
на смену желанному чуду,
и Факт насмеется над верой,
как над пойманной мухой паук!

* * *

Улицы лязгно бряцали;
мы шли; я смотрел на Вас,
и Вы мне приветно мерцали
шоколадным золотом глаз.

Мне вспоминался Рембрандт,
его золотые тона…
Ваш голос флейтного тембра
чарующ был, как луна.

Но Вы, – Вы были не лунный,
Вы были как дым сигар:
ароматный, изменчивый, струнный, –
ставший снова солнцем загар…

И еще Вы похожи на ирис,
бледно-палевый с черным внутри,
осиянный сквозь облачный вырез
тоскующим взглядом зари.

И Вы, утонченный дэнди,
капризно-новый эстет,
Вы дали моей легенде
неожиданно-яркий свет:

я понял, что Вы – этот город,
себя соткавший в одно, –
возведенное в темных просторах
заманчивое казино.

И Вы – из камня и меди,
порочный и злой, как танго,
Вы стали в творимой победе
Язоном новых Арго.

Куда, в какие пространства
манит Вас властный зов?

К позору ль венчаний на царство?
К восторгу ли новых Голгоф?

Я с Вами, мой странный гений,
я с Вами, мой сказочный принц!
К рыданью новых свершений,
к сиянью новых зарниц!..

ДЕВУШКА В ТРАМВАЕ

Угасал теплый вечер, грациозный и печальный,
дико грохоты улиц раздавались и неслись,
я бродил по бульварам и смотрел, как в газ венчальный –
в облака – одевалась голубеющая высь.

И гремели трамваи, быстро прыгая по рельсам,
драгоценные камни обжигали провода,
сети проволок, точно в сказках, созданных Уэльсом,
властно спутали город – безнадежно, навсегда.

Сквозь блестящие окна промелькнувшего вагона
на мгновенье сверкнуло вдохновенное лицо:
два огромные глаза, – словно капли кабошона
были впаяны плотно в черной платины кольцо.

Два огромные глаза – обещанье жуткой тайны,
песня кельи забытой в час мерцанья светляков, –
рассказали мне тихо о страдании бескрайнем,
о чугунных объятьях торжествующих оков…

Угасал теплый вечер, грациозный и печальный,
между грудами зданий грохотала дико сталь,
я стоял – очарован – и смотрел в тоске прощальной
вслед сверканью вагона в голубеющую даль.

ЗЕЛЕНЫЙ СТОЛ
Полусонет

Я вытащил девятку в chemin-de-fer…
Сверкнули бубны мне кровавее рубинов,
я поднял голову, о смерти мысль откинув,
и стал ненужным вдруг в кармане револьвер.

И золото смешалось с кровью карт
приманкой пристальным, завидующим взорам,
а за окном манил в полей привольный форум
весь бледно-голубой зовущий, грустный март.

Я встал… «Куда, – сказали мне, – куда? Не верим,
что ты уйдешь отсюда, из-за карт.
Простудишься, – теперь ведь влажный март»…

И мысли о полях опять укрылись в терем:
чего искать еще средь карточных химер?
Я вытащил девятку в chemin-de-fer…

БОГАДЕЛЬНИ ПРЕКРАСНОГО

Яркие грезы фантастов, нежные песни поэтов,
странные мороки магов исчезают, кто знает, куда…
Всё, что владело, блестело радугой ярких светов,
гаснет полузаметно, – бледная в тучах звезда…

В громе вечерних улиц лампионы горят зазывно:
кумачом обитый театрик, вход – не снимая пальто.
На эстраде худые актеры поют, танцуют извивно, –
радость и скорбь поэтов, которых не помнит никто.

Жонглер с каскадом бутылок, – образ чеканного ритма,
нелепые странные сказки, – рыжепаричный враль,
чародей с поющей монетой, яйцом разрезающий бритву, –
некромант фарфоровых пагод, фиксирующий хрусталь.

То, что давно забыто, доживает больную старость
в дешевых румянах и в рвани когда-то пышных одежд…
О богадельни Прекрасного, в осеннюю слякоть и сырость
горящие желтыми светами навсегда увядших надежд!

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Мостовою несвязанная
подымается пыль,
и дрожит нерассказанная
истомленная быль…

В пыльном мареве прячется
чей-то злобный ответ,
вьется быстрая ящерица –
была или нет?

Что-то здесь похоронено, –
чьи слова, чьи дела?
Чья тоска обесстонена
и покорно легла?

Переулок томительный,
здесь я долго живу,
и, пугливый и мнительный,
я смотрю на траву,

что в ней злобное прячется?
Рассыпается смех:
это – быстрая ящерица
свой ускорила бег…

Переулок томительный…
Неразорванный плен…
Отблеск тихий, мучительный
несвершенных измен.

* * *

В жутком томленьи бредов
оцепеневшею ночью
замер в давящей тревоге
большой населенный дом…
Я думал о мертвом боге,
всю боль ему исповедав…
Танцевали белесые клочья
за мокрым, сизым стеклом.

Я думал о мертвом боге
или о боге мертвых,
распятом в улицах жестких
или распявшем всё…
О гнет мавзолеев громоздких,
о плач тротуаров истертых!
Кто, беспощадный и строгий,
мне вашу песнь принесет?

Ведь надо ж надменному солнцу
этою песнью надрывной,
этим серым рыданьем
ударить в сияющий лик!
Ведь мука моя за гранью:
тяжки железные кольца, –
и жалки мои порывы,
как избитый хлыстом старик…

* * *

Неуловимо, как сифонофоры,
как дымные медузы папирос,
больной туман неумолимо рос,
тускнил небес лазурные фарфоры.

Взвивались траурные омофоры,
как бы в слезах – в холодных каплях рос;

для литургии тьмы слепил мороз
из тяжких туч громадные просфоры…

И вот по темным улицам иду,
кричу в тоске, в горячечном бреду
слагаю гимны я могильной яме…

И вторит мне рычание тюрьмы…
И восклицательные знаки тьмы
над бледными в тумане фонарями.

* * *

О диссонансы вечеров
в безбрежьи городских окраин –
разврат в святом безмолвьи рая,
плевки на мраморе дворцов.

Зеленый ласковый откос…
В траве играют тихо дети,
и шевелит уставший ветер
случайно выросший овес.

А выше чуть – вверху холма,
за темно-красною оградой
шестиэтажною громадой
стоит кирпичная тюрьма…

Что здесь конец, что здесь «потом»?
Тюрьма? Но у подножья – дети…
Я отошел, и в смутном свете
они исчезли за холмом…

И там, где с бархатами тьмы
слился закат одним объятьем, –
гремела каменным проклятьем
громада каторжной тюрьмы.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

О алтари безвыходной тоски,
немые праздничные перекрестки!
Дух накалившейся за день известки,
глухая пыль, скрипучие мостки…

Пусть вечер благостен и небо сине, –
один стою на четверном пути, –
мне некуда и незачем идти;
сказал, – дрожу, как листья на осине…

А вот еще один. Пришел, стоит…
И перекресток пыльный, как магнит:
властительны вечерние томленья

в безмолвии неколебимой мглы.
Идут часы. Куются цепи звенья.
И вот бредем назад в свои углы…

СТРЕЛЫ ЗВЕЗД

Правда, когда ты случайно увидишь на небе
те же самые звезды, что рдели в ту ночь, когда ты был влюблен,
когда вся природа свой радостный пела молебен,
ведь кажется, правда, что всё настоящее – сон?

Правда, ведь сон? Настоящее – сон тяжелый и жуткий:
коридор, освещенный вонючими плошками вдоль по стене,
а сзади и спереди – Мрака открытые жадно желудки,
правда? Ведь так? Что, мороз по спине?

Ну вот… Ты уходишь в себя… Ты, как страус,
суешь свою лысую голову поспешно себе под крыло,
чтоб не видеть, как щупальцы тянет к тебе вечный хаос,
чтобы то позабыть навсегда, что навсегда и прошло…

Что это? Что это? Капают крупные слезы…
Что, неужели поддался великой тоске?

Неужели еще говорят тебе что-то старое старые грезы,
неужели ты сознал, что жизнь играет тобой в бильбоке?

Так зачем говоришь так серьезно, спокойно и странно-жутко,
что тебе не хочется к солнцу, под яркое небо, на юг,
что самое лучшее – это позвать в пасхальную ночь проститутку
для профессиональных услуг?!

* * *

Бронзовая статуя стынет на скале,
заревом объятая в предвечерней мгле.

Голову надменную увенчал акант.
В напряженьи вскинулся Бронзовый Гигант.

Тихо на свидание я к Нему иду.
Сладко в ожидании, сладко, как в бреду.

Ночи ткань опущена. Тихо. Никого.
Я читаю Пушкина – только для Него.

Но застыл, не движется медный истукан:
жемчуг не нанижется просто на туман.

Умирает музыка, снова краски дня, –
и иду измученный, голову клоня.

* * *

Наступающий вечер волнует меня.
От вечерних увечий не спасает броня.

Кардинал из Рима ушел за грань.
Ночь, овладей незримо и душу рань.

Ночь – вакханка… Хочу любить,
но просит негритянка жемчужную нить.

Черную грудь обвили, – вижу в окно…
«Целуйте, кто хочет. Не ты ли? – Мне всё равно».

– Я!.. Выбегаю к ночи. Обнял, прильнул.
Благословляйте, кто хочет, завороженный разгул!

ЗЕРКАЛА ПОТУСКНЕВШИЕ

Выползли серые тени из углов потемневших комнат,
смотрят глазами незрячими в стекла тусклых зеркал,
спрашивают торопливо, что они помнят, что помнят
зеркала потускневшие эти в простенках пустынных зал.

Ветер за окнами плачет, мешаясь с воем собаки,
серые тени незрячие ползают около стен;
жутко, томительно жутко в этом ожившем мраке,
здесь – нескончаемый ужас, здесь – вековечный плен.

Слышу, как тянется в воздухе тихий рыдающий шепот,
тени друг другу с тоскою говорят о жизни былой,
нежить пыльная бегает, – шаркает мягкий топот, –
нежить пыльная, серая, рожденная серой мглой.

Шепот рыдающий призраков входит мне мягко в душу,
серою пылью ложится за слоем слой в глубине…
– Демоны сонного плена, ваших я чар не нарушу,
вы победили, живите, живите, живите во мне!

Быстро умчится время… Душу окутав пылью,
я отвернусь от солнца, забуду зовущий мираж, –
старого дома созданье, – сам стану слизью и гнилью,
вы победили, тени, берите меня, я ваш…

СТРАННЫЙ СОН

Томлюсь один. Бесшумье, полумрак.
Застылый, восковой, в безвремье впаян,
внезапно встал в шкафу часов Хозяин.
«Ведь не было…» – «Взглянул, – увидел». – Так

звучат во мне мои слова. Пугаюсь
и выхожу поспешно на крыльцо.
Плывет вблизи надменное лицо.
– «Орел!» – приветственно кричу, влюбляясь.

Потом смотрю: знакомый старичок
приветно машет мне из-за колонны.
Иду к нему, тоскою истомленный:
он, старый, сухонький, – меня привлек…

А там – стоит вернувшийся «орел» –
вблизи покинутого мною дома;
на бронзовом лице плывет истома,
а голос – хрип надтреснутых виол…

Стоит, стучится в дверь жилья немого,
с тоской надрывною зовет меня,
того, кто огненное кинул слово
ему в тиши томительного дня…

* * *

К выси тянутся грезы комнаток,
мысли тихие сонных спаленок, –
так болезненно и изломно так,
как подснежники у проталинок.

Под уютными одеялами,
над подушками – тайна кроется:
снами бледными и усталыми
мир тоскующий снова строится.

И случайные веют фантомы,
уходящие, эфемерные, –
точно маятник под курантами
в ночь бросает – стуки мерные.

Как мне хочется, чтоб Вселенная
только сном была в тихой спаленке,
чтоб увидеть мне *то*, мгновенное, –
рыльце чертика, – чернь с подпалинкой…

* * *

Я в цветочный магазин завтра поступлю.
Я один, всегда один. Я цветы люблю.

Продавать их буду я для всего и всех:
то на гроб, в себе тая исступленный смех,

то – украсить чтоб альков и вплести в вуаль,
и тогда во тьме зрачков затаю печаль…

Закрывают магазин, – я сорву цветок
и пойду – один-один – сквозь людской поток.

Вот пугливые глаза быстро на меня
поглядят, – пойду назад, голову клоня…

Счастлив я, что прямо в грязь бросил мой цветок,
к небу с *девкою* стремясь, – он не одинок.

ПАНОПТИКУМ

Паноптикум: статуи из желтого воска,
уродцы в спирту, орудия пыток,
неправильные зеркала, в витрине громоздкой
как особая редкость – пергаментный свиток.

За кассою девушка. Девушка! В этом царстве смерти и пыли!
Что за странные люди связали себя незримою связью
с бледными лицами тех, кто не есть, не будут, а были…
Что за странные люди, больные светобоязнью.

Когда опускается ночь и рождается мрак в балагане,
между витринами ходит хозяин и молит о чуде,
целует пыльные маски великих, играет им на органе
и плачет в тоске безысходной… Что за странные люди.

А девушка из кассы, закрыв занавескою двери,
смотрит наверх, где ей виден треугольник темного неба
с яркою искрой звезды, и плачет о какой-то потере,
что-то странное шепчет о камне, данном ей вместо хлеба.

И ночью мне кажется, что паноптикум становится миром:
люди, смотря в зеркала, тоскуя, целуют мертвых.
Над миром светят звезды, одетые синим эфиром,
но никто никогда их не видит в зеркалах потускневших, истертых.

И только девушки плачут… Ну, тоскуйте, люди, над воском.
Девушки, милые девушки, плачьте, на звезды глядя:
скоро уж время приехать за вами большим погребальным повозкам,
скоро должны заскрипеть ворота в кладбищенской ветхой ограде.

ИКАРЫ ПОТУХШЕГО СОЛНЦА

Les amants des prostituées
Sont heureux, dispos et repus;
Quant à moi, mes bras sont rompus
Pour avoir étreint des nuées.
Ch. Baudelaire[1]

Всё тот же опять лабиринт,
громадный свинцовый город,

[1] Любовники проституток / Счастливы, бодры и сыты; / Что до меня, мои руки разомкнуты, / Чтобы обнять облака. *Ш. Бодлер* (*фр.*).

где дымы – в небо, как винт,
и лязгом воздух распорот.

Где ржавые камни и слизь,
где трупные пятна грязи,
откуда в серую высь
несутся фаланги фантазий.

Где каждый в простор бросал
обезьяньи гримасы эротик,
где льется сквозь окна зал
строгая жуть библиотек.

Родильный приют идей…
Усыпальницы, иероглифы…
Где на *могилах* людей
рождаются новые мифы.

И где, в убожьи мансард,
создаются дерзкие планы:
остро, как сталь алебард,
бросить к Солнцу аэропланы…

Но Солнце угасло давно,
не в силах сиять и бороться,
и его вам достичь суждено,
Икары потухшего Солнца!..

ЛУННЫЕ ПАЛИТРЫ

With its Phantom chased for evermore
By a crowd that seize it not.
Edgar Poe[1]

ЗВЕНЬЯ ОТСВЕТОВ БЛЕДНЫХ

Бледными квадратами пролился у стены
лик едва поднявшейся ущербленной луны…
Гимны пели тихие, серебряно звеня,
отсветы прозрачного холодного огня.

Что-то позабытое, угасшее давно,
потянулось сызнова за звеном звено.
Снова песни древние, извечные слова
в воздух поколебленный струила синева.

В мире – только лунное, только лунный свет
на вопросы скорбные и может дать ответ:
тихие влюбленности, дразнящий их предел
вместо опьяненности сплетающихся тел,
пол и пол, слиянные, живущие в одном,
вместо однополости с бушующим огнем,
вместо Веги радужной – мерцание Плеяд,
вместо розы – ландышей весенний аромат.

Эти разрешения дал мне бледный серп,
только что поднявшийся, идущий на ущерб.

* * *

Я был в норвежской тихой гавани,
в дверях серебряной земли,

[1] С ее Призраком, вечно преследуемым / Толпой, которой его не схватить. *Эдгар По* (*англ.*).

где ожидают дальних плаваний
задумчивые корабли.

Где радужна от капель ворвани
зеленоватая вода,
где миги скользче и разорванней
плывут в туманное «туда».

Где вздохи Северного Полюса,
огни, струящиеся прочь,
обвивом шелкового пояса
сжимают трепетную ночь…

О Смерть, целующая ласково
над гладью скандинавских вод,
прощай: для лезвия дамасского
меня другая Смерть зовет…

Такие нежные и белые,
как в снег оправленные мхи,
тебе дарю я неумелые,
мои последние стихи…

* * *

Сквозь морозное окно
на луну
шелковинки волокно
протяну.

Нанижу, свяжу колье
лунных слез,
им окутаю рельеф
нежных кос…

О взволнованность ночей,
светлых снов
в диадеме из лучей
и стихов!

* * *

Полынная поляна. Влажная луна.
И небо светом пьяно. И ночь опьянена.
С покатого кургана душистая полынь
бросает запах пряный в серебряную синь.

И полевые мыши танцуют при луне;
их мягкий топот слышен в прозрачной тишине.
Нежданной жизнью дышит загадочная степь,
и лунный сон колышет небоземную цепь.

* * *

На пыльных перекрестках дробится блеск луны…
В ее томленья злые мы снова влюблены.

Порочные струятся акации вокруг
и нас ввести стремятся в свой неразрывный круг.

Колдунья и лунатик – мы будем до утра…
В сияньи лунных улиц безумная игра:

как бархатные кошки, сплетаясь на песке,
мы кровь прольем в угоду томительной тоске.

Взовьются к небу стоны и заглушенный визг.
Сияньем окаймленный на небе томен диск…

Колдунья и лунатик, в порочный блеск луны,
в ее томленья злые мы снова влюблены…

* * *

Пролиты белые меды в запущенном старом саду.
Томная мука акаций застыла в душистом бреду…

Томная мука… Ни звука, ни стука не слышу в огромном саду.

Все атрибуты элегий: кладби́ще, раины, луна.
Страстная песнь ароматов струится в ажуры окна.

Страстные песни… Прелестней, безвестней в облаке тонет луна.

Старые звезды на небе. Люблю голубую звезду.
Милую ясную Вегу сейчас я тревожно найду.

Ясную Вегу, – про негу эвлегу поющую мерно звезду.

В старые сны и восторги сызнова я влюблена…
Вейные статуи лепит из туч серебристых луна…

Статуи лепит… И в трепет, и в лепет сызнова я влюблена.

Томная мука… Ни звука, ни стука не слышу в огромном саду.
Страстные песни… Прелестней, безвестней в облаке тонет луна, –
статуи лепит… И в трепет, и в лепет сызнова я влюблена, –
в ясную Вегу, – про негу эвлегу поющую мерно звезду.

* * *

Цитры нежно звучат,
и медно гремят фанфары.
Звуков ласкающий яд
мой опьяняет мозг.
В лунный иду я сад.
Пруд. На воде ненюфары
ловят волны переплёск.

Здесь я не слышу цитр.
Фанфары гремят заглушенно.
В блеске серебряных митр
в небе плывут облака.
Краски лунных палитр
я собираю влюбленно
для иммортелей Венка.

Этот светлый Венок
спрячу я вглубь шифоньеры
к пачкам любовных строк
и к ароматным саше,
чтобы припомнить я мог
праздничной ночи химеры
и воскресить их в душе.

Лунный спокоен сад.
Пруд. На воде ненюфары.
Их ароматный яд
мой опьяняет мозг.
Цитры еле звучат.
Заглушенно гремят фанфары,
целуя волны переплёск…

БЕЛЫЕ БАБОЧКИ

Медленно кружатся белые бабочки,
мне говорящие звоном ласкающим
сказку о льдистых объятиях смерти
в царстве снегов.

И, зачарованный медленным шепотом,
я превращаю в кристальную статую
и осыпаю сверкающим инеем
душу мою.

Сильный удар по серебряным клавишам –
и разрываются струны, и статуя
тысячью мелких кусков рассыпается,
тысячью брызг.

И превращаются льдистые искорки
в белых порхающих медленно бабочек,
кружатся, пляшут со снежными хлопьями
танец зимы.

И прилетают к ним нежные, светлые,
льдинками ставшие души прозрачные,
и устилают всю землю сверкающей
снежной парчой.

К утру весь мир неподвижен в серебряном,
в мантии смерти, холодной и девственной…
Небо и снег… Серебро вместе с жемчугом
и бирюза.

* * *

В морозную ночь надушу свои губы дивиньей
и быстро иду против ветра, не зная куда,
пока всё лицо не оденет ласкающий иней
в двенадцатигранные иглы внезапно-душистого льда.

Тогда я – из трепетных нитей сияния Севера,
в победной, но бледной, застылой, немой Красоте,
я – мягкие взмахи громадного снежного веера,
струящего матовый блеск в голубой высоте.

Зачем не могу я в миражных июльских томленьях
сорвать раскаленные зноем жестокие звенья оков
и мчаться безмерно по снежным полям на оленях
под звуки ледя́ных и тонких, серебряно-звонких подков.

ЛЬДЯНЫЙ МИКРОСКОП

Все деревья были
как узоры окон,
инеем покрытых, стаей снежных пчел.
В серебристой пыли
ледяных волокон
много мыслей скрытых я сейчас прочел.

Мне казаться стало,
что я меньше искры
и гуляю в дебрях снежного окна;
четкие кристаллы
к небу обелиски
вознесли застыло, бледно, как луна.

Беспредельность справа,
беспредельность слева,
тропиков ледя́ных пышные цветы,
снежно-белый траур,
скорбные напевы
о сияньях рдяных солнечной мечты.

Только в блеске утра
при восходе солнца
слезы альмандинов расцвечают лед…
На мгновенье пудра
снежного оконца
искрами колибри пальмы обовьет.

А над миром небо
бледно-голубое
вечно простирает шелковый орарь: –
бездна справа, слева,
под и над тобою,
но просторов светлых ты единый царь.

БЛЕДНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Бледные звезды вечерние,
вы опьянили меня…
Точно внимаю вечерне я,
четками тихо звеня.

Чем я могу вас приветствовать –
бедный, больной и земной?
Мягкая благостность детства ведь –
утрачена мной…

Дым папиросы кощунственной –
мой голубой фимиам…
Ритмы напевов – искусственны
и не взлетят к небесам.

Всё же примите, как тернии,
бедные эти дары.
Бледные звезды вечерние, –
моих всесожжений костры.

* * *

Ночью в степи у одинокого дерева
прикрепил и зажег я магний…
В блеске всетопящем призраки Севера
приплыли в душу: Нагель и Дагни.

В качаниях зыбких шелковой лесенки,
ведущей с балкона в темные глубины,
быстро забурлили юркие бесики,
ткачи серебряной мягкой паутины.

На балкон в ожидании страстной арии
вышла донна в кружевной мантилье
и сразу стала статуэткой от антиквария
в чехольчике пушистой пыли.

Бесики свеялись к себе в преисподнюю,
донна стала недвижной статуэткой,
одна лесенка покачивается вплоть до сегодня,
красивая, паутинной обтянутая сеткой.

Висит, качается… Для чего – неведомо…
Нагель и Дагни – те сразу расплылись во мраке…
Лесенка качается. Никуда, ниоткуда… Победно…
Магний погас, как осыпаются маки…

ЛУННОЕ ВИНО

Заглянул в мое окно мертвый глаз луны,
протянул немую нить неживой струны…
Проструилось волокно, весь опутав мир…
Я хочу мятежно пить, я устрою пир.

Лунной влагою налит ласковый бокал.
Надо мной лучистый нимб лунно засиял.
И в ночную высь летит медленный привет,
посылаю вслед за ним бледный триолет.

И взнеся свои дары, я хватаю нож…
На халдейского волхва я теперь похож…
В исступленьи злой игры выпускаю кровь;
тихо никнет голова, – не подняться вновь.

И когда зайдет луна, – мой застылый глаз
заструит, – полуоткрыт, – мертвый свой экстаз,
паутинная струна пролетит в окно…
Счастлив, счастлив, кто испил лунное вино.

* * *

Читаю ночью Жюль-Верна,
мечтаю о пленной луне.
Обманчиво и неверно
что-то поет во мне.

На серых камнях Финикии
в храме зажег я свет.
В просторы гляжу немые, –
я, бледный жрец Ашторет.

Медлительная богиня
свой тихо вздымает лик.
Камни становятся сини
близ редких олив и фиг.

Сладострастные жрицы Кибелы
обжигают лаской жреца,
и светлеет истомой белой
у богини абрис лица.

Принесши себя ей в жертву,
на алтарь поцелуи сложив, –
внимаю теплому ветру,
шуршащему у олив.

Густым благовонным нардом
умащаю губы мольбе…
Я жрец, воспетый Хоггардом,
и читаю сейчас о себе.

ВЕЧЕРНИЙ ВАЛЬС

Я люблю вечера, вечера,
я люблю умиранье зари, –
когда в небе нежней колибри́
загораются звездные бра.

Ожидается ласковый бал,
карнавал… карнавал…
Бриллианты, шелка и духи,
и стихи… и стихи…

Я внимаю напевности цитр,
понимаю биения струн…
Я влюблен в сочетания рун,
я влюблен в распустившийся мирт…

Я свой стих вечерам отдаю,
я пою… я пою…
Я люблю их прозрачные бра…
Вечера… вечера…

* * *

Есть неуловимые и нежные духи,
мягкостью ласкающие замшевой дохи…

Стынет вся мерцающая, льдеющая степь.
К небу светлозвездному взметаю звонко цепь.

Звенья ускользающие, северные сны,
мне сулят у полюса дрожание весны…

Быстро вьюсь по зеркалу сверкающего льда,
всё к зениту высится Полярная Звезда…

Вздрогнув, сани замерли у Ледяной стены, –
обманули ласковые северные сны…

Есть неуловимый и прелестный аромат, –
в нем мои любимые мечтания звучат.

* * *

Мои товарищи умчались
на лыжах в снежные поля,
и мы с тобой вдвоем остались
в пустом безмолвьи корабля.

Ты – неподвижный и угрюмый
в твоем запаянном гробу –
впиваешь в саркофаге трюма
свою свершенную судьбу.

А я при вечном звездном блеске
смотрю на контуры следов, –
под металлические трески
вокруг ломающихся льдов.

Шесть месяцев полярной ночи
нависли тяжко надо мной,

и Полюс гибель мне пророчит
своею звонкой тишиной.

И неколеблемое пламя
неугасимого костра
своими алыми глазами
глядит в просторы серебра,

но замкнута шкатулка мира,
неумолимо скрыта даль, –
и только нежный звон клавира
от громоздящегося льда.

И я один. И ты запаян
в тяжелом цинковом гробу…
Полей Антарктики хозяин,
прими смиренную мольбу!

Взмети цветной струистый веер
в чернильно-черных небесах;
пусть ветер дунет, и на север
помчусь на полных парусах.

Каким-нибудь дельфином древним
всплыви из траурной воды,
свободно чтобы пред форштевнем
раздались кованые льды!..

Молчанье. Ночь. Корабль – недвижен…
Приветствую застылый мрак!
Светлей дворцов, уютней хижин
наш оледелый саркофаг!

Пусть так! Недаром мы боролись, –
пусть веет мрак над кораблем. –
Ведь я венчан, о Южный Полюс,
твоим навеки королем!..

* * *

Сегодня – всё призрачно, всё нереально,
и сшитое из лунного бархата небо, и блестящий бассейн.
Так мистично всё, так трогательно-печально,
и мир легкою дымкою тайны, прозрачной тайны овеян.

Помню чью-то картину: кладбище, старое, тихое, бедное, –
плоские холмики, поросшие мягкой травой,
и три тени несутся над ними, – безмолвные, бледные,
точно слившиеся с лунною ночью, с ее синевой…

Мягкие аккорды громадной невидимой лютни.
Это весна… Лунный свет. Блестящий бассейн.
И всё – нереальное, всё – изменчивей, всё – минутней,
и мир легкой дымкою тайны, прозрачной тайны овеян.

КРЕМАТОРИЙ МЫСЛИ

Поздних зорь далекая Осанна…
М. Волошин

ПРОЩАНИЕ С ЗЕМЛЕЙ

Утомленные мечтами
орхидейными
плыли звоны вечерами
тиховейными.

Вечерами голубыми
безвопросными
были с нами, были с ними –
там, под соснами,

окаймленные мехами
горностайными,

опьяненные стихами
нежно-тайными.

Жертвопесни голубые
и прощальные
тем прелестней, что – простые
и печальные…

И уходим в наши кельи –
в одиночество,
и уводим в них веселья
и пророчества.

СТИХИ О САЛОМЕЕ

Я – поэт, плененный в замке гневной мысли и тоски…
Вижу свет: в окне, как в рамке, ярко вьются огоньки.
Это пляшет Саломея свой извивный скользкий танец;
перезвучный переливный серебристый льется лязг.
Смеет, рвется и смеется, как предсолнечный румянец,
обещая пьяный фейерверк пепелящих ласк.

Я – плененный поэт. Но из гордого плена
я вниз не сойду к Саломее:
мне видна облаков розоватая пена,
заката распущенный веер.

Мне из башни видна голубая, эмалевая
бесконечность холодного свода…
Пусть же пляшет внизу Саломея, вымаливая
моей ласки, в обмен на свободу.

Пусть же пляшет внизу Саломея…
Я – поэт. И из гордого плена
не сойду я вниз к Саломее:
гневная мысль – незабвенна.

Но в ночи лунные, когда обрызгана
огнем серебряным бывает тьма, –

струистых отблесков игрой капризною
переполняется моя тюрьма.

Тогда болезненно из башни каменной
хочу я вырваться на лунный свет,
и мысли прыгают, и вьется пламенный,
меня сжигающий жестокий бред:

хочу, чтоб хлынула каскадом розовым
из перерубленных артерий кровь…
И чтобы подали на блюде бронзовом
мою Ей голову…

СОНЕТ С КОММЕНТАРИЕМ

Холодный белый блеск стеклянных рубок
и кукольная теснота кают, –
безмолвный в них и ласковый уют,
невыпитый вечерних мыслей кубок.

В часах песок струит поток минут,
синеют кольца дымные из трубок.
Скрипит штурвал… Смола… Гирлянда губок…
И песню тихую касанья волн поют.

Пусть буря вслед гремяще грянет злостью:
за палисандром и слоновой костью,
за жемчугом и золотым песком –
скорей рванемся мы под рокот бури…
А там – всю ночь в таверне в Сингапуре –
макао адское, любовь и ром…

Фантазии за письменным столом,
над старою и рваною клеенкой…
Своею сетью, радужной и звонкой,
со мной сплели мечту о небылом.
Тоску по теплом, не моем, уюте,
по маленькой, несущей в ширь каюте.
Тоску по синим вздохам табака,

по старым сказкам, пахнущим смолою…
И сетью этой, радужной и злою,
надолго сплетена со мной тоска.
В тревожном, ищущем и пряном зове
звон золота еще и жажда крови,
и жажда купленных и лживых ласк…
Приятно думать вновь, что в каждом лике
живут два друга старых: Хейд и Джикель –
простор, мечта… Ножей матросских лязг.

ОГОНЬКИ-МЕРЦАЛИКИ

Мы, перелетавшие безмерности полей
зыбкими сафирами блуждающих огней,

вившие над вереском забвенно-легкий пляс,
путнику мерцавшие призывом нежных глаз, –

чьей-то волей вброшены в недвижность грузных тел,
в мир, где нашей взлетности положен злой предел.

Все-таки мы бьемся, тихо вьемся в глубине,
странные желания внушаем, как во сне, –

зовы к разложению, к томлению могил,
где умерший только что медлительно остыл:

манит нас надежда увидать опять огни, –
близ могил засыпанных рождаются они, –

видеть их мерцающий, забытый нами свет,
передать безмерности печальный наш привет.

* * *

Сны, туманно повторяющиеся,
вьются синей кисеею,
точно отблески, истаявшие
в двух полярных зеркалах,
отдаленно преломляющиеся,
чарование больное,
распыленное, измаявшее,
взвили маревом в полях.

Тихо-тихо перезванивающие,
точно звон к вечерне, в марте,
к отдаленному, замедленному,
обволакивающе влекут.
О томленья отуманивающие,
шепот волн к немой Астарте,
зовы к грозному, омедненному
звону траурных минут!

* * *

А. П. Прокопенко

О мои голубые, мои нежные дни.
В небе весенние чуть мерцают огни…

Всё небо, как мальчик пяти-шести лет,
наивное, светлое, точно первый поэт.

В детстве – я помню – мой любимый наряд:
бархат, лазоревый, как мечтательный март.

Небо – всё в бархате… Всё небо, как я…
Грусть, – моя нежная, голубая моя!

Я с неба, – ребенок, – улыбаюсь себе,
на земле – замираю в неясной мольбе:

туда, где прозрачные чуть мерцают огни!..
О мои голубые, мои нежные дни.

* * *

Н. А. Петрову

Есть волнения во мне, я не знаю их, –
точно мысли, точно сны у глухонемых,
шевелятся в глубине, в глубине души,
в расцветании весны шепчут: «не дыши».

Я люблю тогда, люблю утонченный флёрт,
вместе, – я, а не она, томно распростерт.
Я покорен, я ловлю властное «хочу»,
я – как пенная волна, данная лучу.

В темном небе я ищу, где горит Уран,
и грущу о том, что нет сладострастных ран…
Точно мысли, точно сны у глухонемых,
есть волнения во мне, – я не знаю их.

ЗАПЫЛЕННОЕ

Я помню как во сне: лицо в душистой пудре,
блестящие глаза, изящный алый рот
и золотистый шлем – чуть подвитые кудри,
как водопад лучей нависшие вперед.

Мне было только пять… Я в бархатном костюме,
отливно-голубом, и в шелковых чулках,
охваченный волной волнующих раздумий,
к Ней подходил, стыдясь, превозмогая страх.

Огромные глаза сверкали близко-близко,
и губы жаркие касались вдруг моих,
и голову пьянил мне запах тамариска,
изменчивый, как мой стозвучный гибкий стих.

Я убегал тогда, я забивался в ложу,
смеялись надо мной, дразнили: «Жорж влюблен», –
я видел лишь глаза, лишь серьги, губы, кожу,
такую нежную, как всплески дальних волн.

А ночью я мечтал, метался на постели,
воображал Ее на сцене, как вчера,
Ее – Снегурочкой, себя – в костюме Леля.
И целовал Ее… И плакал до утра.

Не знаю – кто Она. Артистка. Л. Крамская…
Ведь так давно: шестнадцать долгих лет!..
Но в мартовские дни, опять меня лаская,
встает передо мной Ее немой портрет.

Мне жаль тогда весны моих влюблений:
теперь не то; теперь – порыв на миг…
И ласка грубая. И ясность достижений…
И мысль, – как шкаф пустой от книг.

* * *

В неясную и сладкую меня бросает дрожь
рисунков стилизованных ласкающая ложь.

Небывшее, похожее, рожденное в мечте,
влекущее к мерцающей, к невиданной мете.

Как беленькие кубики – восточные дома,
кисейная развернута в лазурности чалма.

Пунктиром убегающим над морем паруса,
изгибом полумесяца песчаная коса

врезается в расплавленный, взволнованный сафир…
А там, – в дали серебряной загадочный Офир…

И нет нигде случайных и изменчивых людей.
О тихие забвенные отзвучия Идей!..

В неясную и сладкую меня бросает дрожь
рисунков стилизованных ласкающая ложь.

* * *

Мы – Образы живых и мертвых книг, –
с пергаментов железных инкунабул,
с листов, проникнутых биеньем фабул,
мы, – бледные, – мы живы каждый миг.

Наш к Солнцу путь лежал во лжи парабол.
Недосягаемо пронесся яркий Лик.
И кто-то нас безжалостно настиг
больным оцепенением сонабул.

И Библио́тека – собор для месс:
когда родится мрак в тиши небес
и черным бархатом обтянет залы, –

взвивается наш дикий danse macabre,
и наши мертвые звенят кинжалы
под звяканье хрустальных канделябр.

* * *

В кафе безмолвие. Сигарный дым
порозовел, пронизанный закатом.
С вниманием, на шахматах распятым,
безжизненно, томительно сидим.

А вечер веет пряным ароматом,
закат зовет быть снова молодым.
Качая тихо черепом седым,
мне угрожает мой противник матом.

Спасенья нет… Какой бы яркий жест
мог оживить конец игры бездарной?

…Пойду в простор, и тихий Южный Крест
мне заблестит, простой и лучезарный…

И отвечаю, неожиданно грозя,
самоубийственною жертвою ферзя.

* * *

В столах, «по случаю приобретенных»,
на распродажах и аукционах,
их ящики осматривать люблю.
Пустые, пыльные внутри, снаружи –
корявые, как лепесток от стужи,
прервавшей ток питанья по стеблю.

Что было в них? Бумаги, завещанья,
стихи, цветы, любовные признанья, –
всё сувениры, – знак надежд и вер,
рецепты, опий, кольца, деньги, жемчуг,
с головки сына похоронный венчик,
в последнюю минуту – револьвер?

Что́ захочу… О чем лишь промечтаю –
и знаю: было так. Когда сметаю
с покупки севшую обильно пыль,
взвиваются пылинки и волнами
вползают между тусклыми лучами
и пляшут легкую и быструю кадриль.

А ночью залезают в мозг и в душу,
и шепчет каждая: «Я не нарушу
твой сон, но ты внимательно смотри»…
И каждая рисует мир пред мною,
проникнутый той самою тоскою,
что скрыта в ящике была, внутри…

ФИЛИГРАНЬ

На старинной «луковице» тоненькие стрелочки
около двенадцати нежно обнялись.
Звякают серебряные звонкие тарелочки,
полночью ласкается плюшевая высь.

Тонкая чернильница и перо гусиное,
филигранным почерком испещренный лист…
Ночью бледнолунною я люблю старинное, –
ясный и задумчивый бледный аметист.

Точно из бескрайности до меня доносится
тикающих часиков переливный звон:
время пролетевшее, это мvроносица,
нардом умягчающая горе похорон.

* * *

В эти последние дни
нежно и радостно мне:
странно похожи они
на рыцаря в ржавой броне.

Кружочки пигмейных зеркал
покрыли изогнутость лат.
Как пчелка, я легок и мал,
как пчелка, я быстр и крылат.

Я сказочным принцем одет,
и мое прекрасно лицо.
Остается сверкающий след,
когда мой полет – кольцо.

Сейчас вот – железо брони,
сейчас вот – в зеркальце – я…
О мои светлые дни,
безответная песня моя!

Мне тихо, светло и легко,
как улыбке у девичьих лиц:
я срываю Manon Lescaut
лепестками по пять страниц.

В музыке чуждых слов –
забытая греза моя…
Сейчас вот – железный покров,
сейчас вот – в зеркальце – я.

ЖЕНЩИНЕ

Ее глаза, прозрачные и холодные,
как лунные камни
в оправе из серебра, –
как акварели Мусатова,
висящие в светлом зале
над зеркалами
среди бесчисленных бра.

Ее голос, –
то глуховатого тембра,
то звенит, как цитра,
то рассыпается смехом
в хрустальный каскад.
Ее волосы, –
ее мягкая золотая митра, –
струистым нимбом сияют.

Ее рот, –
из размягченного рубина.
Жадный и жаркий…
Пьянящий, как молодой шамбертен.
Змеиный насмешливый рот…

Поцелуи ее…
О, ее поцелуи!
Сколько стихов моих,
непрозвеневших стихов,

я отдал за них…
Сколько певучих созвучий
она отняла у меня,
превращая их в поцелуи.
Сколько стихов моих,
непрозвеневших стихов!

Женщина. С губами вампира.
С глазами призрака.
С нимбом святой.
Собери мои мысли,
как жемчуг нанизанный,
с разорвавшейся нитки
рассыпавшийся,
унеси их из мира…
Унеси их с собой…

Пусть на могиле твоей
вырастут ирисы…
Я хочу, чтобы дух мой
воплотился в нежном поэте
далекого будущего.
Чтобы он на рассвете
(помнишь тот рассвет голубой?),
чтобы он на рассвете
сорвал эти ирисы,
чтобы из палевых венчиков их
выпил дыхание моих стихов,
непрозвеневших стихов,
унесенных тобою в могилу.

И чтобы в тот час,
когда закатное золото
разольется на небе
в танце размерном,
в час вечерний,
он перенес на бумагу
строки стихов моих,
непрозвеневших стихов.

И чтобы сверкнули сиянием вечным
над миром, простертым в грязи и в крови,
биенья моей любви бесконечной,
моей распятой любви.
И пьяная красочность этого мига,
и твой фосфорический взгляд,
и небо синее индиго,
и в небе пурпурный закат!

СТИХИ ФАЛЬКА

В тишине исповедален
перезвон колоколов
раздается, – так печален, –
нижет звенья скорбных слов.

В темноте резных часовен
покаянные слова.
Ход признаний многословен.
Тихо никнет голова:

ведь в одной из этих будок
исповедовалась ты.
Помню: в куче незабудок
были красные цветы;

мы смеялись: так контрастно…
Берег моря, мы одни.
И в глазах твоих неясно
плыли зовные огни.

А потом, – в тиши костела, –
ты рыдала, знаю я,
повторяла: «грех тяжелый»,
боль глубоко затая.

Я был хмурый, я был дальний,
позабыть хотела ты, –

и в тиши исповедальни
похоронены мечты.

Где она? Найти стараюсь.
Эта?.. Эта?.. Вот, нашел…
Детка бедная, больная.
Слезы падали на пол.

И целую пол истертый…
Детка, слышишь ли? Прости!
Я ведь тоже, я ведь мертвый…
И закрыты все пути…

ЗАЯЧЬИ ШЕПОТЫ

Если вымочить в крови зайца белену, то
к ней сбегутся все зайцы окрестности.
Поверье

Сбегаются пугливые, сбегаются дрожащие
к волнующей, колдующей кровавой белене;
рожденные болотами, молочный свет клубящие,
плывут огни блудящие к ущербленной луне.

Вот – все. Беззвучно замерли. Безвыходно томление.
Беспомощны, пугливые. Не движутся и ждут.
Нависло что-то грозное. Клубит отравой тление,
и огоньки-мерцалики нечистый танец вьют.

Беззвучно и безвыходно. Беспомощно, безрадостно…
Над миром яды пролило колдующее «без»…
И кровью быть притянутым – так упоенно-сладостно,
что лучше ночь болотная, чем зарево небес.

НА МАЯКЕ

Теплый тревожный ветер.
Фосфорится лента прибоя.
С поля – запах полыни.
В небе – тучи и мрак.
Точно перо павлинье, –
зеленое и голубое, –
тающим светом веет,
смутно белеет маяк…

Зыбко дрожат ступени,
змейно кружатся тени
по желтым от лампы тусклой,
пыльным и голым стенам…
Смотрю в непроглядные окна,
прижимаюсь к перилам плотно,
в люк пролезаю узкий
к свету и тьме, – к небесам.

Нереальные хрустальные
чечевицы фонаря,
яркой радугою радуя,
немерцающе горят.

Голубое и зеленое, –
два зеркальные стекла
мечут солнце раскаленное,
их спокойствием смирённое,
в даль, где мерно дышит мгла.

Светло и безумно жарко
в тесной стеклянной клетке,
запах ацетилена,
светильни прерывный шип…

Вспоминаю бесшумье парка,
причудно склоненные ветки,
сладкие лунные плены,
ароматы цветущих лип.

Вспоминаю полусонные
дни и вечера,
воды, окаймленные
блеском серебра,
тихие, бездумные
ночи у костра,
первые безумные
трепеты пера…

Но довольно: я теперь –
сторож маяка.
Навсегда закрыта дверь
тяжестью замка.

Белой башни господин,
я всегда один, –
белой башни чуткий страж,
тку я *свой* мираж.

Я – певец усталости,
боли и тоски:
столько смутной жалости
в линиях руки.

Я – певец влюбленности
в Южные Моря:
алые томленности
мне дарит заря.

Я – сжигатель феникса,
сторож маяка,
и ко мне запенился
свет издалека:

смутным светом веющую
обнимаю твердь, –
принимаю млеющую
медленную смерть…

Выхожу на дрожащий балкон.
Здесь безмерен трепещущий ветер.
И огромные птицы, как стон,
в двуцветном проносятся свете.

С моря – вой ревуна.
Белеют лапы буруна.
Из-за облака – вдруг луна
и дробится в волнах многострунно…

За далью сумрачной несутся бриги
к лазури Цéйлона, на пряный юг,
и конквистадоры считают миги –
впаять оружие в железо рук.

Магнитная стрелка буссоли
в страны кокоса и перца
загорелым авантюристам
правит их зыбкий путь.
А зовы таинственной боли,
томления странные сердца
влекут их под небом струистым
свободно-свободно вздохнуть…

О чайки просторов синих,
о вороны рдяных закатов,
плывущие в сумрачных далях, –
с маяка вам свет и привет.
Тоской о нездешних святынях
навеки плененный, объятый,
приветствую вас, в вуалях
тумана свой вьющие след…

Затерян я в просторах серых
на стройной башне маяка.
Моя мечта о флибустьерах
так упоенна и легка!

Так хорошо о невозможном
мечтать над бурною водой,

под шум ее, глухой, тревожный,
слова мечты плести в рондо.

Смотрю в глухой простор… Расплывчатые бельма
танцуют медленно над черною водой.
Утопленников стон, – огни святого Эльма
летят в простор глухой.

Летят в простор глухой бесформенные тени,
летят назад, – назад, всё ближе к фонарю…
Охваченный тоской мистических томлений,
в глухой простор смотрю.

В глухой простор смотрю. И в неумолчном гуле
слова ласкают слух и тени нежат взор:
Агриппа, и Альберт, и Парацельз, и Луллий…
Смотрю в глухой простор.

А ветер тревожный, а запах полыни,
а узкий дрожащий закругленный балкон!
О храм беспредельный, без форм и без линий,
без алтарей, без икон!

Как цветные фонарики на улицах в чистый четверг,
простроились сквозь тучи лучистые звезды.
Просиял хоровод их, просиял и померк,
точно выжаты спелые грозди,

точно выжаты грозди и сок
пролился в расписные амфоры:
светлеет, светлеет восток,
голубеют неба фарфоры.

На небе развернута кардинальская мантия,
всё ярче, всё царственней пурпур…
Светлее, алее, рубинней, брильянтнее, –
и хлынуло золотом утро…

И глянув Солнцу прямо в очи,
я угашаю свой маяк.

Забыв о пролетевшей ночи,
приветственно взвиваю стяг…

Я был старик, теперь я молод.
Вдыхаю чуть соленый бриз, –
и пьяной радостью измолот –
целую край весенних риз.

А ночью опять на маяк –
смотреть в неподвижный мрак.
А ночью – снова тоска…
Я – чуткий страж маяка…

* * *

Так узывны метелей вуали,
так волнует опаловый март…
Я пришел из лазоревой дали
в тишину застекленных мансард.

Где печальны старинные томы
на огромном рабочем столе,
где в минуты вечерней истомы
голубое дымит наргиле.

Где в размерности пальмовых шахмат
я для мысли нашел зеркала,
где так пряно-миндалево пахнут
обнаженные – в грезе – тела.

Где мерцают, вибрируя, струны
палисандровых млеющих цитр,
вышивая певучие руны
на парче поэтических митр.

Но узывны метелей вуали,
но томит перламутровый март.
Я пойду в озаренные дали
без компаса, без денег, без карт…

Прозвените, последние цитры,
проструи аромат, наргиле.
Мне весенние блещут палитры
в отдаленной влюбленной земле.

Я пойду, в парусиновой торбе
отзвеневшую пряча струну,
по дороге мечтательной скорби
в голубую родную страну.

ЛИХОРАДКА

Когда озноб серебряные гвозди
порою мне вбивает вдоль спины, –
передо мной встают дурные сны,
рисуя мне рубиновые грозди.

Я рву их, рву, исполнен странной злости,
они – колышутся, тарантулов полны…
Я жажду томной лунной белизны
и тишины, как на пустом погосте…

Но из рубинных ягод пауки
взбираются проворно вдоль руки,
меня ласкают – так истомно сладко…

Я истерически хочу кричать, –
но вдруг кладет на горло мне печать,
свою печать царица-лихорадка…

* * *

Светляки мерцают зелено
в неживой траве.
Черным конусом расщелина
встала в синеве.

Пень гнилой сочится фосфором.
Я принес муку
и кощунственные просфоры
на костре пеку…

От костра летят карбункулы,
лунный рог простерт,
зарождаются гомункулы
в тесноте реторт.

Колдовство мое ненужное,
злое колдовство, –
отражение недужное
горя моего.

Мотыльки влекутся заревом
яркого огня.
В темноте белесым маревом
веет простыня.

Мышь летучая мотается,
тычется в нее.
Мутно-мутно озаряется
бедное зверье.

Я нигде не вижу пламени,
не горят огни…
Лишь белеют в черной ямине
клочья простыни.

Оттого мое ненужное,
злое колдовство, –
отражение недужное
горя моего.

* * *

Тихие тени еще не истаяли, прячась в углах.
Тихие тени тоскливо измаяли, сеяли страх.

В раннем безлюдьи ночное томительно стыло кафе.
Раним и будем – мы, двое – томиться на мягкой софе.

Странно свивались в мозгу отуманенном нежность и сталь.
Раны посыпаны пудрою, мягкой, как снежная таль…

Так сладострастно мечталось о блеске отточенных бритв;
падали в страстную алость пугливые всплески молитв.

Радостно нежили мысли, что я не достигну небес…
«Силы-то ежели скисли», – толкался, хихикая, бес…

Всё же не бойся, смелее обрюзглую душу раздень.
Люди, встречайте, бледнея, со мною родившийся день!

СКВОЗЬ ГРАНИ

Я безмерно повторен в зелени зеркал.
Разве этого хотел, этого искал?

Разве лучше для меня, если неба нет,
если только лишь во мне теплый блеск планет?

Если только я создал груды пыльных книг,
если мир, огромный мир, лишь во мне возник?

Нет! И знаю, знаю я – эти зеркала
создал Кто-то, чьи пути за пределом зла,

создал Кто-то, для кого я – небылый ноль,
кто легко меня облек в огненную боль.

И закрыв свои глаза, говорю себе:
не поверю и убью, и умру в борьбе!..

И кинжал звенящих слов в прозелень зеркал
я вонзаю, – зазвенел треснувший кристалл.

Жадно к трещинам приник: вот он, божий свет!
Не один я: небо есть, ибо я – поэт!

<ДОПОЛНЕНИЕ>

ПОХОРОНЫ

Разве тем, кто умирает на рассвете,
нужен полдень всесжигающего дня?
А. Шапиро

Когда будет плавно раскачиваться мой гроб, серебром сверкающий,
на мягких резиновых шинах катафалка первый разряд,
и прольется на улицах города траурный марш усыпляющий, –
устремлю сквозь закрытые веки я в небо пристальный взгляд.

Буду искать я в небе блески дневного сияния:
умер я на рассвете, увидев лишь сумерек тень,
и теперь, под эти фальшивые, лгущие явно рыдания, –
жаль мне, что я не поднялся еще на одну ступень,

жаль мне, что я не увидел яркой улыбки солнечной…
Не надо мне этих пóхорон, не надо мне пышных месс, –
быть я хочу обожженным, лик хочу видеть солнечный,
сын непроглядной ночи, – хочу жгучей ласки небес…

И пусть расплавленным полднем ярко вспыхнет
день всесжигающий, –
мне будет отраден пьяный солнечной тризны костер…
А так – что мне остается? Только гроб, серебром сверкающий,
а дальше – холод могилы, червя могильного взор.

ГРИМАСЫ ВЕЧЕРА

Голубые квадраты стекол в черной массивной раме
придают воздушность далекой в золотом огне панораме.
Куполы грузных соборов улыбкою старой меди
прощаются с солнцем, и взоры говорят о чьей-то победе.

И разом, – как жемчуг синий, – электрических солнц миллионы
извивами огненных линий опоясали зданий бетоны.
Зеленые молньи трамвая, как расплавленные изумруды,
вдоль проволок пляшут, бросая искр электрических груды.

Заливают всю ширь троттуаров то́лпы бескрайней фалангой,
и пляшут демо́ны кошмаров какой-то безумный фанданго.
Тысячи женщин бледных в этой блестящей клоаке
среди светов, ярких, победных, смотрят взором голодной собаки,

смотрят жалким взглядом паяца… Золото, кровь и железо…
И Город жутко смеяться начинает, как митральеза.
И зарево бешеной ночи сжигает на время горе
и сладкий кошмар пророчит безумных фантасмагорий.

ГРЕЗОВЫЙ ВАЛЬС

Когда натирают полы мастикой,
как будто готовятся к балу старательно,
ее запах тревожит меня ночью безликой
и ласкает так обаятельно.

И я готовлюсь к радостной встрече
Прекрасного Принца из страны Свободы и Славы,
я слышу как будто его приветные речи,
полные ласки и лести и мягкой, томной отравы.

Он привезет мне, я знаю, эполеты,
оплетенные солнечным кружевом и лунной филигранью:
в стране Свободы и Славы – все гениальны поэты,
грезы их носятся вместе с моими за гранью.

Он привезет мне, я знаю, певучую арфу
с жемчужными струнами, с эмалью инкрустаций,
он привезет мне японские вазы, где в радужный фáрфор
вплетены опьяняюще арабески белых акаций.

Он привезет мне, я знаю, шкатулку из кости слоновой,
полную писем ко мне от женщин, в меня влюбленных,
письма мне скажут о ласках утóнченно-новых,
о ласках, что грезятся девушкам в апрельских снах затаенных.

Он привезет мне, я знаю, сигары из гашиша и амбры,
часы, где вместо стрелок ползают серебряные черепахи,
смарагдовых ящериц, более стройных, чем колонны Альгамбры,
и игрушку из бронзы забавную – отрубленную голову на плахе.

Он привезет мне, я знаю, ткани цвета солнечного спектра,
картины, где, как живые, танцуют лани и олени,
древние четки из крупных зерен гранат и электра,
и статуэтку Поэзии, всю в снежно-мраморной пене.

Я жду… И медным стоном часы наполняют безмолвие ночи.
12… 2… 3… Засветились окна, голубея,
а Принца Прекрасного нет… Комната стала светлей и короче,
и тень моя на стене – как абрис скарабея.

А Принца всё нет. И не будет, я знаю, не будет!
Он обманул, он проехал мимо, уже слишком поздно.
Запах мастики тревожный… Я сумасшедший… Кто же разбудит,
кто же разбудит меня? Кругом всё наркозно…

Итак – Принца нет. Рассвело уж… Прощайте, красивые грезы…
Увидите Принца – привет ему от поэта…
Снова день… Снова пляска скуки и цепи прозы!
Но верю: Свобода и Слава сверкают все-таки где-то!

АПРЕЛЬ НАД ОБСЕРВАТОРИЕЙ

* * *

О эти белые фарфоровые дни
внутри расплывчатой молочно-белой башни
и алые вдали закатные огни.
О эти белые фарфоровые дни!
Грядущий нежен день, и томен день вчерашний,
и алость в лилийном, – куда лишь ни взгляни.
О эти белые фарфоровые дни
внутри расплывчатой молочно-белой башни.

* * *

Я люблю мои прохладные и матовые залы,
алюминий, медь и никель телескопов и зеркал,
плавных окон поздней ночью темно-синие овалы
и хрустальных отражений переменчивый опал.

Наплывающим апрелем против гаснущей Капеллы
подымается из мрака незаметная звезда.
В четкой призме, точно грозди переспелой изабеллы,
дымно рдеют и клубятся краски сумрачного льда.

Это странное светило заплело бескрайний холод
в опьяняющие спектры дымно-ладанных пространств.
В странных душах громыхает ограненный звонкий молот
в наковальню из туманных и хмельных непостоянств.

Я люблю мою чеканность и размеренные числа,
их спокойные напевы, их стеклянную свирель,
но милей, когда колеблет тонкий стержень коромысла
у весов оледенелых проплывающий апрель.

* * *

Голубая глубина в медленной реке.
Над бездонностью плыву в легком челноке.
И в бездонность вплетена водоверти нить,
заблудившую траву хочет перевить.

Глыбкий омут, как магнит, небо отразил.
Утомленная мечта – будоражить ил.
Легкой пляскою манит злая водоверть.
Я, влюбленный в омута, призываю смерть.

* * *

Бризы легковейные,
розово-кисейные,
в сумерки лелейные
овевают мир.
В тихом небе – радостно,
в тихом море – благостно,
и волнует сладостно
голубой Офир.

Дальний берег острова
ожиданьем пестрого,
нестерпимо-острого
знойного греха
снова отражения
страстного томления
отливает в пение,
в мление стиха.

Узкий угол паруса
в дребезгах стекляруса
вьет волокна гаруса
в дышащей воде,
и на песнях талого
ветерка усталого –

в дали небывалого,
алого Нигде!

* * *

Я люблю непрозрачные камни –
хризопрас, бирюзу и агат:
в них – мечта о забытом, о давнем.
Я люблю непрозрачные камни:
бледномутные блески таят
ту печаль, что воздушно легка мне.
Я люблю непрозрачные камни –
хризопрас, бирюзу и агат.

* * *

Бросает мне в лицо купальня
арбузной свежестью воды.
На дне волнистые следы
сложил прибой. К лодчонке дальней
приплыв, я на спину легла,
смотря, как в общей раздевальне
желтеют бронзою тела.

* * *

В музыке разбрызганной радостный извив –
голубой волнующий световой отлив,

выстланный жужжанием вольтовой дуги.
По песку упругому легкие шаги.

Торсы обнаженные, смуглые тела,
взгляды обожженные – рдяная зола.

И суровым пламенем кованно объят
новых гладиаторов медленный парад.

* * *

На черном бархате матовый
мутно сияет кристалл,
бесстрастной глубью охватывая
отточенность взглядовых жал.

В небе – закат оранжевый,
в небе – вечерний восторг, –
но притягивая, загораживая,
кристалл всю волю исторг.

И, гипнотически сдавленный
дымным сияньем стен,
не глядя на краски расплавленные,
недвижимо впиваю плен.

Так по жизни, сияющей радугой,
душа мотыльково скользит
и в смерти, что холодно радует,
неослабный находит магнит.

* * *

Американские орехи –
плесенно-маслянистый вкус.
Давно оставленные вехи –
их тайный, для меня лишь, груз.

Четыре года мне. Из окон
нашего дома в Темрюке
гляжу, как зыблются далеко
горы в горячем ветерке.

Орехи тут. И Робинзона
пестро переплетенный том…
И с этих пор томлюсь влюбленно
по жизни в море голубом.

* * *

Экзотика табачных магазинов…
Купца густой, какаовый загар,
и матовое золото сигар,
и пряный мед прессованных «marino».

На ярлыках – целый пестреет мир:
«Манилья», «Никарагуа», «Каир» –
миражно зыбки пальмовые кроны.

И вот, в мечте, гирлянды каравелл,
Армада, груды шоколадных тел,
серебряная гибель галеонов…

На улицу неспешно выхожу.
И радугой вечерние фонтаны
влекут в простор, в раздолье Океана –
и семицветную кладут межу.

* * *

Золотом горящие фосфористой бронзы
в ящике стеклянном точные весы.
Льдистые деления сеют блеск морозный
с выгнутой, застылой, тонкой полосы.

В призмах адамантовых сжато коромысло,
и на кварц поставлена скошенная грань.
Райтеры серебряные истончают числа
в зерна перламутринок в утреннюю рань.

И в упругой тонкости ясных математик
острая застылость, адамант в кристалл.
Как из нитей шелковых золотой далматик, –
так над ритмом дробностей властный Интеграл.

* * *

Д. Д. Благому

Винно-желтый янтарь и лазорево-белый яспис
тихо, бесцельно лежат в старой моей мастерской.

Бронзовый мой резец позабыл искусные геммы,
чтобы отточенным стать и беспощадным клинком.

Ибо заполнила чернь колоннады и рощи Ликея,
и окончательный бой больше не медлит, не ждет.

Желтый янтарь же, и яспис лазурный, и тонкие геммы, –
то, что дано для веков, – может прийти и потом.

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЭМЫ

СЕМИТЫ

Разомкнут горизонт, и на простор из плена
Прибоем яростным летят сыны земли.
В излогах берегов воздвигнулись кремли,
Сидона гавани и молы Карфагена.

А на глухой восток, где каменная пена
Ливанских гор горит, вся в щебенной пыли,
В горящий зноем горн упорно залегли, –
В двенадцать областей, – ревнивые колена.

Их черные глаза во глубь обращены,
Считают вихри сил в провалах глубины,
Где в темном зеркале мерцает лик Иеговы,

Где наковальнею и молотом душа
Сама в себе плотнит навечные оковы,
Вдали от вольных вод безвыходно греша.

ПУСТЫННИК

Полуднем пламенным, средь каменных долин,
Где тонко вьется нить безводного Кедрона,
Сбивая посохом горячий щебень склона,
Он тихо шествует, безвыходно один.

Присев в пустой тени иссохнувших маслин,
Томительно глядит в просторы небосклона,
И в пепел древних глаз, в бездонное их лоно,
Роняет лепестки незримый райский крин.

И в глину твердую втыкая грузный посох,
Он вновь бредет путем, хрустящим на откосах,
Пустыню вечную отпечатлев в глазах;

И рыжим золотом под этим бледным небом
Блестит верблюжья шерсть на согнутых плечах,
Там, где Фавор прилег окаменелым хлебом.

ИЕГОВА

Я, твой Господь, Я говорю тебе:
Мне ведомо времен предназначенье.
В Моих словах, в их каменной судьбе,
Страдающий да емлет утешенье.
Вся жизнь его навек обречена
Быть пламенем, сжигающим овна
На преданном, на кротком всесожженье.
Я – твой Господь. Подножием Моим
Пребудешь ты до окончанья века, –
И каждая молитва человека –
Моим ноздрям благоуханный дым.

И всей земле незыблемым законом
Неукротимые кладу слова.
И каждый миг, над каждым женским лоном,
Над каждым рвом, где прячется трава,
На высоте, над облаком нагорным,
В глубинах вод, над фиником, над терном –
Их власть, их мощь стремительно жива:
Расчислены движения и души,
Расчислены – и молот, и свирель,
И хлеб, и град, и все моря, все суши,
Всё взвешено, – и каждый шаг есть цель.

Вода несет твоих ладей ветрила,
Питает злак тебя, и травы – скот,
Сплетенья мышц перевивает жила,
И согревают волосы живот.

Твои рабы оберегают стадо.
Твоя жена – в ней для тебя услада,
И твердый меч – твоей земли оплот.
И сам ты – огнь, Мне жертву пепелящий,
Твой мозг – алтарь, где Мне звучит хвала.
Моя рука недаром сберегла
Тебя над бездной, смертию грозящей.

Но Я всеблаг. Свободой одарил
Моих детей слова, сердца и руки.
И слышу не бряцание кадил,
А ропота рокочущие звуки.
Но Я и мудр. И будет месть Моя
Не серный дождь, не язва лезвия, –
Иные Я на них воздвигну муки.
Цель бытия отнимется у них,
Цель бытия отторгнется от злобных,
И задыхающихся в смрадах гробных
Я обойду движеньем стоп Моих.

Быка, что человека забодает,
Убьют кольем и мяса не съедят.
Столетним кедром, что не запылает,
И веток шалаша не подкрепят.
Неверный меч да сгинет в вихре горнов,
Да канет в кладезь нерадивый жернов.
Неплодная, – ей жизни во сто крат.
И Каину – жить долее живого,
Бесплодный хлеб навек бесплодно есть.
Мне не служить – Моя преступным месть.
Так справедливый говорит Иегова.

МОИСЕЙ

Ты родился в раскатах грома
Под Фараоновым бичом.
В обмазанном смолой Содома
Корыте над глухим прудом

Лежал, качаемый волною,
Тая косноязычный крик,
И в зной, налитый тишиною,
Его послать не мог язык,
Стесненный Божией рукою.
Возрос. И при дворе царя,
Колышим гневом неуемным
И волей сдавленной горя,
Ты встал проклятием огромным.
Клокоча и кипя как горн,
Ребенок на путях витийства,
Ногами попирая терн,
Ты первое свершил убийство.
Бежал. Обжег песком пустынь
Подошвы с натруженной кожей
И видел в зное облик Божий
Неизглаголемых святынь.
Ведя верблюда к водопою,
Минуя каменистый склон,
Неопалимой купиною
Ты был навеки опален.
Багряное железо сердца,
Как воск, оттиснуло печать,
И казней громовую рать
Обрушил ты на иноверца.
Как скалы непреодолим
Звал тьму и воды полнил кровью,
Проказу сеял, веял дым,
Твоим веленьем Серафим
Прошел по каждому становью
С мечом губительным своим.
И темной смертью потрясая,
Ты одолел неравный торг
И плен трехвековой расторг,
И вывел свой народ из края,
Где каждый глиняный кирпич
Замешан был на детской крови,
Где истекал в бессильном зове
Непрекращающийся клич.

И сорок лет в песках пустыни
Твой вился, твой метался след,
И ропоты, и крик гордыни, –
Ты сокрушал их сорок лет.
Ты медного воздвигнул змия,
Ты золотого сжег тельца
И пеплом воды ключевые
Заквасил ты, и до конца
Их пили павшие в пороках.
В теснинах, на горах высоких
В борьбе с напором вражьих сил
Ты встал в молении трехдневном
И, к небесам в упорстве гневном
Вздев руки, их окостенил.
И говоря в Синайских громах
С железногласым Божеством,
Ты выбил в каменных отломах
Законы вековым резцом.
И яро раздробив скрижали
У ног отпадших сыновей,
Вновь шел ты в громовые дали
Средь вулканических зыбей.
И Богу рек: – Не смей карать их!
А если нет, – то и меня
Извергни в огненных проклятьях
Из вечной книги бытия! –
И к утру, помертвев в печали,
Ты головы поднять не мог.
А над тобой покорный Бог
Чеканил новые скрижали.

АВИСАГА

Подобно углю, что, истекши жаром,
Холодной опыляется золой, –
Певец Давид скрывает пеленой
Плеча, не опаленные загаром.

На ноги тянет теплые меха,
Велит жаровни разожечь у ложа,
Но старческая леденеет кожа,
И сердца жизнь – неслышимо тиха.

Но в жаркий полумрак опочивальни,
В дыхание сандаловых углей
Вдруг вбрызгивается простор полей,
Полынный, пряный дух долины дальней:

Безропотна, испуганна, проста
Суннамитянка входит Ависага.
Плывет очей сапфировая влага,
И рдеет смуглой кожи теплота.

И душное откинув покрывало,
Скрываючи томленье и испуг,
Она сплетением горячих рук
Царя больную грудь опеленала.

И к ней прильнувши грудью золотой,
Над мглой царевых глаз клоня ресницы,
Сияла теплым взглядом кобылицы
И дрожью мышц передавала зной.

И греющее было сладко бремя,
И оживленный призывает царь
Начальника певцов и хор, как встарь,
Ладонью прикрывает лоб и темя.

И – огненосный пенится псалом,
Как смоквы зрелые, спадают звуки,
В них клокотание последней муки,
Последней радости свежащий гром.

А Ависага простирает взоры,
Не слушает великого певца:
Пред нею солнце, солнце без конца
И знойные, ее родные горы.

ЭККЛЕЗИАСТ

Закат отбагровел над серой грудой гор,
Но темным пурпуром еще пылают ткани,
И цепенеет кедр, тоскуя о Ливане,
В заемном пламени свой вычертя узор.

И черноугольный вперяя в стену взор,
Великолепный царь, к вискам прижавши длани,
Вновь вержет на весы движенья, споры, брани
И сдавленно хулит свой с Богом договор.

Раздавлен мудростью, всеведеньем проклятым,
Он, в жертву отданный плодам и ароматам,
Где тление и смерть свой взбороздили след, –

Свой дух сжигает он и горькой дышит гарью.
– Тростник! Светильники! – и нежной киноварью
Чертит на хартии: Всё суета сует.

РАЗРУШЕНИЕ

Кровь стала сгустками от жажды воспаленной.
Иссохшая гортань не пропускала хлеб.
И город царственный весь превратился в склеп.
И в знойных улицах клубился пар зловонный.

И вот – задавлены. Искромсаны колонны,
И покоренный царь под иглами ослеп,
И победители, как по пшенице цеп,
Прошли по всей стране грозою исступленной.

Из чаши жертвенной поили лошадей,
Издрали мантии для седел и вожжей,
И Летопись Царей навек запечатлели.

Минувшим, небылым святая стала быль.
Но в Раме выжженной восплакала Рахиль,
И те рыдания сквозь время пролетели.

КРОВЬ ЗАХАРИИ

Захария убит. И кровь его семь лет
Стояла лужею, клубясь горячим паром,
О преступлении вещая в гневе яром
И Господа моля о ниспосланье бед.

И кровью теплою свой окропляя след,
Навуходоносор железным пал ударом;
Иерусалим овит клокочущим пожаром, –
Но кровь Захарии – как неизбывный бред.

Откуда эта кровь? – царь вопросил евреев,
И сжегши сто быков и пеплом кровь усеяв,
Вновь лужу свежую узрел на месте том.

Сто юношей он сжег, и так же кровь пылала.
– Тогда я весь народ здесь поражу мечом! –
И семилетнюю тоску земля – впитала.

ГРЯДУЩИЙ

Князь от Иуды оскудел,
И Воин не приидет боле,
И на Давидовом престоле
Четверовластник тяжко сел.
И на священных высотах
Воздвиглись капища Ваала,
И мерзость перекочевала
На жертвенный, на древний прах.
У божьего святого дома
Умяли площадь ипподрома,
Метали диск и гнули лук,
Ремнями мерзостных подпруг
На Вакховы пиры и пляски
Влекли Левиины сынов,
Срывали с дочерей завязки
Их берегущих поясов.

Священников колесовали,
Топили в быстрине реки,
Пророкам очи выжигали
И вырывали языки.
И матерей, что обожгли
Детей печатью обрезанья,
Влекли на смерть и поруганья,
Нагими по земле влекли.
И, взяв младенческие трупы,
Крепили к высохшим сосцам,
И там, где приземился Храм
И где Стена свои уступы
Взнесла к безмолвным небесам, –
Их повергали в пепел смрадный.
Так встал кровавый и громадный,
Захлестнутый проклятьем век.
И страстный исступленный бег
Стремила кровь в стесненных жилах,
Стремила мысль: Когда ж придет?
Когда ж Мессия на могилах
Победный жертвенник возжет,
Когда ж под виноградной кущей
Израиль вкусит мир и мед,
Когда ж воздвигнет свой народ
Мессия – вождь и царь грядущий?
И был закат. В песках пустыни
Кипел и клокотал багрец,
И воспаленные твердыни –
Как цепь проколотых сердец
За жребием метали жребий
В зубцах закатного венца,
И пламенели в гневном небе
Дориносимые сердца.
И в этот час над рдяной гранью
Как сердце скованной земли
Восстал в дымящейся пыли
Идущий. Обожженной дланью
Он стиснул кипарис жезла,
И власяница облекла

И шеи ствол окровенила.
Как рыжий лес в скалах Кармила,
Вокруг гигантского чела
Взметнулась грива. Пали брови
У глаз, как терние куста,
И воспаленные уста
Позапеклись меж сгустков крови:
Как будто вырван был язык
И меч архангела был вдвинут,
И вечно в небо запрокинут
Остался исступленный лик.
Гряди, Пророк! Созрело время.
Секира ждет. Гряди, Пророк!
Народ в оковах изнемог,
И выю надломило бремя.
Гряди! Как угль сердца людей,
И ты да поднесешь к ним пламень,
Да просвистит, как пращный камень,
Звук яростных твоих речей!
И он идет Тивериадой,
Идет на Иорданский брег,
И напрягают жадный бег
К нему народы – за отрадой,
За покаяньем, за клеймом.
Крестя водою и огнем,
Идет по высотам и долам,
По пастбищам, шатрам и селам,
И царский сотрясает дом
Громоклокочущим глаголом.
Вот полдень. Плещет Иордан.
И солнце жжет, и ветр подавлен.
И, в воду погрузивши стан,
Стоит громадный Иоанн,
Полдневным золотом оплавлен.
Стеснился стекшийся народ,
Клубясь белоодеждным стадом,
Прильнул к увалам и оградам,
Стоит и слушает, и ждет.
Но что такая тишина?

Там к Иоанну приступили,
Пытают: – Прореки нам: ты ли,
О ком пророки говорили,
Чья мощь была предречена?
На поле гнойных отвержений
Стоим во тьме и смертной тени
И ждем. Гласил нам Моисей,
И Илия гремел. Исайя
Рыкал, как лев. Но ты сильней,
Ты – как Господь в громах Синая.
Так прореки нам: ты ли, ты
Пришел спасти народ избранный,
На нечестивых грохот бранный
Обрушить с гневной высоты?
Воздвигнуть храм ли, кущей рая ль
Отучнить скорбные поля,
Чтоб вся увидела земля,
Как Богом вознесен Израиль?
Твоя как солнце голова,
Твоя как кедр ливанский выя,
Как Пятикнижие слова, –
Так прореки нам: ты – Мессия? –
И как подземный грузный гул
Пролился голос Иоанна:
– Не говорите невозбранно:
Век испытаний не минул.
Я – я не тот, кого вы ждали.
Но он грядет. И близок день!
И знайте: у его сандалий
Я недостоин снять ремень.

ПРОРОК

Свинцовая раскалена печать
И, зашипев, отпечатлелась в коже,
И пышет, точно горн, рубец кровавый,
Прижавшийся к бесплодному соску.
Но каплет пламенеющее млеко

Мне под ноги на всех моих путях,
И стоп моих пергаментная кожа
Осыпана в пыли иссохшей кровью.
Глаза других скользят по ровным строкам,
Сердца других скользят над словом звонким,
А я утесы слов и жала мыслей
Ощупал всем моим избитым телом,
Я изглодал железные просфоры,
Веками скованные для меня.
Я был на той горе. Оттуда видел,
Как веют рудной золотою зернью
Богатства неисчислимые царств.
Я слышал голос, предлагавший злато,
Суливший славу, власть. Но жгла мне пальцы
Точившаяся из ожога кровь,
И едкою я обтирал полынью
Ожженные, израненные ноги.
Я видел обагренные колеса,
Я видел дыбы душ, жаровни тела,
Я чуял Бога в облаке проклятий.
Их шепотом змеиным оклубясь,
Весь ощетинился он лютым гневом
И человека жег своим жезлом.
Но не мольбы исторглись человеком
Из кровью позапекшейся гортани,
А новые крикливые проклятья
Клубились дымами и застилали,
Как дым от Каинова алтаря,
Иные дымы – Авелевых агнцев…
Ты виноват, Иегова исступленный,
Что в тяжкий бой, от века возметенный,
Вступил с отвергнутой от века волей.
Ты создал всё; ты мог пребыть недвижным.
Ты жаждал самохвальных упоений, –
Ты сомневался в божестве твоем.
Не ты ли хлынул волнами потопа?
Не ты ли змей порасплодил на пашнях?
Не ты ли чумно задышал над миром?
Не ты ль гремел последнею войной?

А ныне эти каменные стогны,
Стеклом безглазым скованное небо,
Машиной взнузданные водопады, –
Нерасторжимый, неизбывный плен.
А мириады, – кто исчислит, взвесит? –
Людей, чей мозг насквозь пропитан болью,
Людей, чье тело – громовые вопли,
Висящие в гнилых пустотах душ.
Ты не считал задушенных поэтов,
Ты не слыхал истерзанных пророков,
Ты не видал тех матерей, чьи рты
Сосали кровь извергнутых до срока.
Но нет. Ты видел, знал. Ты смел метаться,
Ты смел витать над опаленным миром,
О голову его крушить скрижали,
Где в камень вкован каменный закон.
Но не напрасно кровь моя точилась, –
Не пустота в моем рождалась сердце:
Оно круглилось пламенною чашей, –
Неся в себе, ее подъемлю я.
Ты ждешь алтарных звонких восклицаний,
Ты фимиамов жаждешь благовонных, –
Я дам тебе их, – отпусти людей.
По моему веленью встанут храмы,
Коленопреклоненья сотворятся,
Весь мир тебе прозвякает кадилом,
Твой облик перед миром изменю я, –
Твой грех я принимаю на себя.
Как тот забытый галилейский плотник,
Чья боль бесплодно затерялась в далях,
На новый крест взойду я непреклонно,
Твой грех я принимаю на себя.
И пусть проклятья все, всю боль и ярость
Разверзнет мир над головой моей,
Пусть девять суток на кресте вишу я,
Пусть девять копий мне ребро пронижут,
Пусть мне не возведут высоких храмов,
Не призовут меня на литургии,
Пусть имя, что ношу я, вечно будет

Подобным имени Искариота,
И новый Дант меня с проклятьем ввергнет
В девятый круг извечных отвержений, –
Твой грех я принимаю на себя.
И пусть века веков в провале черном
Мой труп грызут другие мертвецы, –
Я за тебя снесу лихие гневы,
И лик твой снова засияет светом,
И люди припадут к тебе с молебном,
Твой грех приму я, – отпусти людей.

СПИНОЗА

Они рассеяны. И тихий Амстердам
Доброжелательно отвел им два квартала,
И желтая вода отточного канала
В себе удвоила их небогатый храм.

Растя презрение к неверным племенам
И в сердце бередя невынутое жало,
Их боль извечная им руки спеленала
И быть едиными им повелела там.

А нежный их мудрец не почитает Тору,
С эпикурейцами он предается спору
И в час, когда горят светильники суббот,

Он, наклонясь к столу, шлифует чечевицы
Иль мыслит о судьбе и далее ведет
Трактата грешного безумные страницы.

ХРАМ

Победоносного Израиля оплот
И Бога Вышнего приют неистребимый!
Где слава гордая? Исчезла, точно дымы,
И в трещинах стены убогий мох растет,

Да юркая пчела, сбирая дикий мед,
Жужжит и вьется там, где пели серафимы,
И вековечною стальной тоской томимый
У врат святилища рыданья льет народ.

Но храм разрушенный всё был на страже Бога:
Когда Отступника влекла его дорога,
И Ягве алтари он дал богам земным, –

Вкруг идолов огонь заполыхал багряно.
Израиль, радуйся развалинам твоим:
В них гроб язычества и плаха Юлиана.

ИУДЕИ

Народ, чье имя – отгулье Иуды,
Влачащий на себе его судьбу, –
О, не в твоем ли замкнутом гробу
Созрели пламенеющие руды?

Не там ли Бог сокрыл свою трубу,
Чей вопль сметет последние запруды,
Когда на суд прихлынут трупов груды
И гордый царь поклонится рабу?

Народ! Влачи звенящие оковы:
Ты избран повелением Иеговы
Распространить священные лучи.

И миру благовествуя спасенье,
Иди! Иди закланцем отпущенья,
И о своем страдании – молчи.

<ДОПОЛНЕНИЕ>

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Освещенный лозой виноградною,
он пасет между радостных лилий.
Припадаю к тебе, мой возлюбленный,
припади, мой любимый, ко мне!
Дол окутался тенью прохладною,
и луга нас росой окропили.
Точно серна по роще нерубленной,
возвратись и приляг в тишине.
Освежи ароматным лобзанием,
ибо лучше вина твои ласки.
Умащен ты душистыми смолами,
и от них твое имя, как нард.
Вот идет он, несом колыханием,
по холмам он проносится в пляске,
вот он машет плодами тяжелыми,
вот летит, как младой леопард.

Краше, чем рубины
в скиптре Фараона,
ты, что в маках красных
тихо прилегла.
Я – нарцисс Сарона,
лилия долины,
девушек прекрасных
знал я без числа.
Но что купа лилий
в жестком перелеске –
ты, о Суламита,
между всех девиц.
Золотом подвески
грудь твою покрыли.
Ты меж роз укрыта –
мантией цариц.

Каплет мед янтарный
с уст твоих, невеста.
Сладкий мед и млеко
на устах твоих. –

– Царь мой светозарный!
Это – наше место:
тихая засека
в травах полевых.
Наше ложе – зелень.
Наша кровля – кедры.
Наше опахало –
темный кипарис.
Здесь, где мак посеян,
где душисты ветры,
здесь я ожидала, –
и ко мне склонись! –

Закрытый сад
ты, о сестра моя,
колодезь ты, еще запечатленный.
Плоды висят,
медовый сок струя,
купаются во влаге благовонной.
Колодезь твой –
его излил Ливан,
в твоем саду – благоуханье мяты,
нард и алой,
корица и шафран,
и яблоки, и сочные гранаты. –

Повей, о ветр,
повей в мой вертоград:
пусть пряные закаплют ароматы.
И прям, что кедр,
любимый мой в свой сад
придет вкусить плоды и свежесть мяты.

В мой сад пришел
я, о моя сестра!
и мирры взял, и сотов, полных медом.
И тихий дол, –
о сладкая пора, –
покину я лишь с солнечным восходом.
Груди твои, Суламита, –
спящие в лилиях козы.
Бедра твои – ожерелье,
чрево – как чаша с вином.
Ты благовоньем омыта,
запах ноздрей твоих – розы.
Пью я любовь и веселье, –
ложе нам сладко вдвоем. –

Черна я, солнцем опаленная:
я много дней – послала братия –
оберегала виноградники,
но мой – я не устерегла.
Моим любимым опьяненная,
ему открыла я объятия
и нежных роз моих рассадники
его сердцу я отдала.
На краю обожженной пустыни
и повсюду тебя я найду.
И ты здесь, мой возлюбленный, ныне.
Выйдем в поле, побудем в саду.
И гляди: расцвели мандрагоры,
ароматов клубятся струи.
О, пойдем в благовонные горы, –
окажу тебе ласки мои.
Будь подобен, мой милый, оленю
на горах бальзамических ты
и, измаяв блаженною ленью,
насладись от моей красоты.
Освежите мне яблоком губы
и вином подкрепите меня:
от любви я без сил, – но как любы
эти ласки, что жарче огня…

ПУСТОТА

Да будет дом его пуст
и не будет живущего в нем.
Псал. 68, 26

Да будет дом его пуст,
и не будет живущего в нем.
Оголенный осенний куст
простучит бесплодно под окном.
Прошумят бесплодно дожди,
бесплодно провеет тоска:
там, где всё позади,
там боль пуста и легка.
Иди на заброшенный двор, –
неуютен он и понур, –
полюби обомшелый забор,
солому пустых конур.
Здесь, в этой тиши,
спокойным и вольным будь.
Здесь – больной души
больной да прервется путь.
И время коснется уст
серым сухим вином.
И да будет дом твой пуст,
и не будет живущего в нем.

ПСАЛОМ XI

Боже! Укрой и помилуй:
праведных ныне не стало,
льстивы и лживы все речи,
ядом напитан язык.
Господи! Праведной силой
вырви лукавое жало,
сгорби надменным их плечи,
гневный яви им Твой лик.

Ибо презренно глаголят:
– Всех языком одолеем:
с нами речения наши,
кто же нам, кто господин? –
Боже! Твой меч да проколет
злые сердца им, и змеем
путь им навек опояши.
Боже! Ты миру – один.

– Ради страдания нищих
и воздыхания бедных
стану как щит пред ударом! –
Вот обещанье Добра.
Слово Создателя чище
трижды в горнилищах медных
пламенем чистым и ярым
плавленного серебра.

Слово Твое Ты исполни,
будь нам защитой и силой.
Дай нам ничтожных и ложных
властью добра побороть.
Ты, нам вещавший из молний,
нас защити и помилуй.
Помни, что Ты меж безбожных
вечный, великий Господь!

АХЕР
(Из Элиши Родина; размер подлинника)

Вечер. Храм в огне. Корона Иудеи – прах.
Нежных дев Сионских вопли льются на путях.
Старики вздевают руки к небу, как во сне:
– Боже! Твоего народа перл исчез в огне! –
И бросаются герои в пламя, в рдяный дым:
– Пусть смешается наш пепел с пеплом, храм, твоим! –

Утро. Храм второй клокочет в агонии злой:
у Элиши в сердце вера стала неживой.
Пал Элиша бен-Абуя. Ныне – Ахер он.
Одинок, заброшен. Храма, веры, сил лишен.
И спокойно ночь уходит, и редеет мгла,
и на пепелище грезы – хладная зола.
Разве есть кому-то дело до мечты людской? –
Точно вопли больше гуда мухи полевой.
И восходит солнце, точно муж из-под венца.
Всё еще в дремоте: травы, мысли и сердца.
Небо – синего атласа. Ал восточный круг.
Править синею страною царь выходит вдруг.
Светы, светы царь роняет – радости лучи.
Дышит светом сердце, дышат травы и ключи.
Мир великому сиянью Властелина рад.
Но стоит *один* средь блеска, тяжестью объят.
Это – Ахер. В римской тоге. Но – еврея взор.
И во взоре том мятется вековечный спор.
Спор пророка: с целым миром тяжко бьется он, –
бой за правду, падчерицу всех, о! всех времен.
Это – Ахер. В римской тоге. Но – еврея взор.
И страданья взор исполнен, ибо тщетен спор.
Всё отравлено в основе. Тщетен скорбный зов.
Вздохи, вопли – нынче, завтра и века веков.
Пусть блистает в небе, в синем, солнце и луна, –
в сердце – дикая пустыня запечатлена.

Вечер. Звезды выплывают, – полный тайны хор, –
в нежном небе стройно вяжут, нижут свой узор.
Выплывают легионы – без числа: миры;
Он благоволит отверзнуть сразу все дары.
Как намек о беспредельном сочетанья звезд
строят в сердце человека в вечность легкий мост.
От сердец восходит в небо легких лестниц строй,
и горе взлетают души. Только нет одной.
Для нее ступени лестниц скрыты темнотой.

Полночь. В небе Тиверийском звезды не горят,
нет луны. И в бедном доме горестью объят,

раби Мейер, Ахеров любимый ученик,
над золою разрушенья весь в слезах поник.
– Раби! Не Элиша ныне – Ахером ты стал.
Раби! Ты детей на Бога маленьких подъял.
И *Другим* отныне, Раби, наречешься ты,
ибо кинул в Божью Тору камень с высоты.
Горе тем, кто видит горе. Боже! Нету сил:
сам Элиша Бен Абуя Божью речь – разбил.
Плачь же, Мейер, над великим, плачь, рыдай. Увы:
римлянин венец низринул с поднятой главы.

Раз в субботу ехал Ахер на своем коне.
Шел за ним и раби Мейер. Ахер, – как во сне, –
мыслит Ахер. И о Боге Мейер говорит.
Ахер вдруг: – Тебе обратно в город путь лежит.
Мы две тысячи шагов уже прошли вперед.
Путь субботний кончен, Мейер возвращенья ждет.
– О великий Раби, слушай: возвратись со мной,
и пойдем мы в дом молитвы, припадем душой
к Богу. – Я не знаю, Бог услышит ли меня;
где его престол, венец где – нет, не знаю я.
– О великий Раби! Ложны все твои слова:
лишь в дыханье Господа твоя душа жива.
В сердце человека тихо деревцо цветет,
Богом возращенное, и песня – дивный плод!
– Слушай, Мейер. Старой сказкой слух займу я твой.
Только ты открой Сад Божий, вход в него открой:
Жил на свете Танай Хуцпит, праведный еврей,
и считал святую Тору песнею своей.
Бога, Божью справедливость гордо он воспел
в пору истины кулачной – в пору римских дел.
Римлянин ту песню слышал и решил – певца
умертвить. Будь весел, Мейер. Хуцпит до конца
восхвалял Иегову песней – в свой последний час:
– Шма Исраэль, как евреи гибнут – Он угас.
И собака отыскала унижéнный труп
и вонзила в сердце, в Сад! вонзила смрадный зуб.
Горе! Сердце, что сияло светом с высоты,
в клочья рвут собачьи зубы, – Мейер, слышишь ты?

И лазурь была бесстрастна, скорби ни следа.
И на запад плыло солнце, тихо, как всегда.
Хуцпит, Хуцпит. Гордой песней ты обрел венец,
– вот тебе награда Божья, правоверный жрец!
И еще одною сказкой слух займу я твой,
только вновь открой Сад Божий, вход в него открой.
И среди народов – Хуцпит был: народ-пророк.
И его несчастьям горьким твой Господь обрек.
Бога, справедливость Божью гордо он воспел
в пору истины кулачной, в пору римских дел.
И на мой народ поднялся Римлянин с мечом,
в сердце меч вонзил и песню истребил огнем.
В прах поверг, пустыней сделал дивный мой Сион
и над песнею святою надругался он.
Где же был тогда Иегова, – Мейер, отзовись, –
воздвигал когда народ мой вопли к Богу, ввысь?
Плачем жертвы плакал? Разве Он *дверь слез* открыл?
Где же был тогда Он, где же, – Мейер, где Он был?
Мой народ осиротелый! Пел ты. И венец
песней создал. Вот награда, праведный певец.
Это скорбное преданье – точно мир старо,
только в каждом поколенье – лезвие остро.
Мир – мир Хаоса. Закона в этом мире нет,
и напевы сердца, Мейер, свой теряют свет.
Понял римлянин всё это, понял – не еврей.
С ними, с ними я, хоть чужд им всей душой своей. –
– Раби! Перст еще колеблет, правит времена,
вещь, оплеванная ныне, – завтра взнесена.
И в годах грядущих будет, будет торжество: –
песнь над гомоном базарным вознесет его.
Суждено – не вопрошаю, голову клоню. –

Ахер усмехнулся вкривь. И – плетью по коню.

БЫТИЕ
(Из Элиши Родина)

Касты, роды, царства, грады,
страны, Запад и Восток,
созиданья и распады, –
всё – лишь мыслевый поток.

Буря, храбрость, гордость воли, –
всё – лишь мыслевый поток.
Вот весну лелеет в поле
песней счастья ветерок.

И опять весна уходит;
дней закат и вновь восток;
всё умрет; но жив и бродит
вечный мыслевый поток.

Вечно пышет мощный пламень, –
из себя его струи.
Небо новое над нами
зиждет мысль о бытии.

ЗАВЕТ
(отрывок)

…Давно построились и пали города,
и пирамиды вздыбились в пустыне,
и люди разбрелись от Льда до Льда,
воздвиглись и обрушились святыни.
И жизней цепь ослабла, и нигде
ползком не пробираются к воде,
опасливо следов ища на глине.
Но старая неистребима ткань
и вечно веет знаменем прекрасным:
забьется при свершении опасном
и властно говорит, как прежде: Встань

и бросься в воду, ринься сквозь огонь,
отдай себя ударам разъяренным,
пади, что камень, на пути погонь,
под стрелы стань, спокойным, несогбенным! –
И эти смутные и древние слова
как звездная волнуют синева
и радостно над миром угнетенным
струят лучи. И перелив огней
давно овеял океан и сушу:
– Блажен, кто положил живую душу
любви во имя за своих друзей! –

РАКОВИНА

Посвящаю жене моей
Юлии Владимировне
Шенгели

* * *

Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отяжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, увернувшийся от пули,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал,
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул…
На сизой стали заалела кожа,
Отхваченная ледяным ожогом…

Не говори о холоде моем.

1919

МУЗЕ

Я скрипку в прорубь окуну,
На льдяном ветре заморожу
И легким пальцем потревожу
Оледеневшую струну.

И ломкий заостренный звук
Мне в ухо льдинкою вопьется,
И, как зубная боль, прервется
От музыки теченье мук.

Но, отогретая, совсем
Немой и сонной станет скрипка...
Ошибки не смягчит ошибка:
Ты хочешь, чтобы стал я нем?

Скорбишь о холоде моем?
Скучаешь по другом, горячем?
Мечтаешь, как с цыганским плачем
С тобой мы о любви споем?

Ведь ты ж сама день ото дня
Со мной была всё боле строгой, –
Так пожалей же и не трогай,
И не отогревай меня.

1922

* * *

В граненой проруби, в крутых отрезах льда
Сапфиром залегла тяжелая вода.

И пар, чуть розовый, слегка зарей облитый,
Восходит облачком и чистой Афродитой

Оплотневает там, в полярных небесах.
От белых риз ее летит к нам белый прах,

И замирает взор, лебяжьим пухом нежим,
И любят девушки умыться снегом свежим.

1918

НАДПИСЬ НА СТАТУЕ

В полдень и полночь
Ты можешь
Ощупать сей камень прохладный,

Все
Изгибы его
Чуткой изведать рукой,
И,
Чтобы радость твоя
Стала полной,
И веской,
И вечной, –
Хладное имя ему
Пусть изваяет
Поэт.

3.IV.1921

ПОЭТУ

Да, стиснуть зубы, губы сжать, как шпагу
Перо в тугие пальцы вплавить, сердце
Взнуздать и мысль рассечь ланцетом, – вот
    Поэта полуночный подвиг.
Да, только в молнийной игре, во вздохах
Насоса нагнетательного, в звонах
Дрожащих исступленных рычагов,
В порхании, в свистящем лёте поршней,
Отмеривающих стихи и строфы,
Ты золото из глубины подымешь
И вверх его по желобу косому
Тяжелой песней устремишь. А там –
Пусть сыплется густым золотопадом,
Расплескиваясь оземь, в дробь зернится,
В мельчайший бисер. Ах, не всё ль равно:
Ветр дует в парус и подолы крутит,
Но мчится, мчится, мчится. Будь и ты
Подобен ветру. Но стреми не воздух,
А вескую, а золотую жидкость, –
Настой давно угаснувшего солнца.

18.IV.1921

ПОЭТАМ

Друзья! Мы – римляне. И скорби нет предела.
В осеннем воздухе разымчиво паря,
Над гордым форумом давно отпламенела
Золоторжавая закатная заря.

Друзья! Мы – римляне. Над форумом державным
В осеннем воздухе густеет долгий мрак.
Не флейты слышатся: со скрипом своенравным
Телеги тянутся, клубится вой собак.

Друзья! Мы – римляне. Мы истекаем кровью.
Владетели богатств, не оберегши их,
К неумолимому идем средневековью
В печалях осени, в томлениях ночных.

Но будем – римляне! Коль миром обветшалым
Нам уготован путь по варварской земле,
То мы труверами к суровым феодалам
Пойдем, Орфеев знак наметив на челе.

Вливаясь в музыку, рычанье бури – немо.
Какое торжество, друзья, нас озарит,
Когда, отъяв перо от боевого шлема,
Его разбойник-граф в чернила погрузит.

Пусть ночь надвинулась. Пусть мчится вихрь пожара.
К моим пророческим прислушайтесь словам:
Друзья! Мы – римляне! И я приход Ронсара
В движении веков предвозвещаю вам!

1918

ОГОНЬ И ГЛИНА

Угрюмый облик обожженной глины
И смуглый звон чеканных кирпичей
Милей, чем плавный пересвет лучей,
Которыми звездились турмалины.

Я ювелиром был, ловцом огней,
Чей хладный пламень выбрали павлины,
Но прогудел полынный ветр былины,
И вот в кувшины звонко бьет ручей.

Где небо серо над безводным логом,
Где зной ложится бронзовым ожогом
На высушенные песком тела, –

Кирпичные там водоемы встанут,
И волны свежие, светлей стекла,
Отрадно в чаши глиняные грянут.

1916

САНСКРИТ

В странно-знакомых словах, суровых словах санскрита –
Смуглая кожа земли, – той, где струится муссон.
В призвуках тайных и темных кроются лики дравидов,
Преданных мертвой луне, солнцем сожженных людей.
В плавно-певучих разливах широко отверстых гласных
Всплески высокой волны – воли грядущих веков.
И в трепетании смутном шорохов, шепотов, шумов
Скорбные шелесты трав в мире бескрайних могил.

1917

СЛОВАРЬ

Коринф. Коричневый. Коринка. Карий.
Колье гортанно прозвучавших слов.

Отраден мой сегодняшний улов:
Мир и словарь, – как море и акварий.

Разглядывай резьбу радиолярий
Не под покровом громовых валов,
Но в хрустале недвижимых слоев,
И бережливым будь, что антикварий.

Так в малом целый познается мир.
Так в блестке золота раскрыт Офир,
И слово легкое – стигмат вселенной.

Люблю слова, певучую их плоть:
Моей душе, неколебимо пленной,
Их вестниками воли шлет Господь.

1917

МИКРОКОСМ

Обволокла медовая смола
Жука металло-голубое тело,
И капелька округло отвердела
И надолго под хвоей залегла.

Волна над новым дном проголубела,
На отмелях прозрачна и светла,
И тенью мимолетного крыла
Легко мутнели в ней чешуйки мела.

И трубка пенковая предо мной
Темнеет матовой золотизной!
И мутен желтопламенный янтарик.

И тихо в нем, как в волнах облака,
Включен металло-голубой фонарик…
В моей руке – далекие века.

1916

СЕНАТ

У Тибра водопой. Вся конница врага.
А в Капитолии, в белоколонной зале,
Сенаторы себя к сиденьям приковали,
И заседание под медные рога –

Непрерываемо. Враг топчет берега,
И, бронями кипя, пораскалились дали,
Но память о былом, – о Пирре, Аннибале, –
Как последождная победная дуга.

И, клятву выковав в произнесеньи четком,
Спокойный человек с квадратным подбородком
Запаивает жезл в медь маленькой руки, –

И, чуя пиршество, чертят по небу птицы:
По мрамору ступень упруги и легки
Шаги Диктатора – плеск молока волчицы.

1917

ПОЕДИНОК РОКОВОЙ

Я тихо спал. И в мой пригретый хлев
Вошла, шатаясь, пьяная старуха
И прыгнула. И на плечах почуя
Костлявый груз, я вымчался из хлева.
Луна в глаза ударила. Туман
Затанцевал над дальними прудами.
Жерлянки дробным рокотом рванули.
И тень моя горбатая, как пух,
Комком по светлым травам покатилась.
И чем сильнее острые колени
Мне зажимали горло, чем больнее
Меня язвил и шпорил хлыст колючий,
Тем сладостнее разбухало сердце
И тем гневнее накалялась мысль.

И длился бег. Выкатились глаза.
И ветер пену с губ сдувал. И чую:
Бежать невмоготу. И сжавши ребра
И в корче смертной зубы раскрошив,
Я вывернулся вдруг прыжком змеистым,
И захрустела старческая шея,
Мною придавленная. Свист гремучий
Взвился над взбеленившимся хлыстом.
И – понеслись. Не успевал дышать.
И тень отстала и оторвалась.
Луна и ветр в один звенящий крутень
Смешались, и невзнузданная радость
Мне горло разнесла. И вдруг старуха
Простонет: Не могу... и рухнула.
Стою. Струна еще звенит в тумане,
Еще плывет луна, и блеск и трепет
Не отстоялись в сердце и глазах.
А предо мной раскинулась в траве
И кроткими слезами истекает
Исхлестанная девушка – она,
Любовь моя, казненная безумцем.

1920

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Копьями солнца взнесенное,
Здравствуй,
Прохладное утро.
Ветер
Мой парус надул,
Белый,
Как женская грудь,
Сладко прижаться щекою
К его упругому кругу,
В гулкую чашу его
Трепеты моря ловить.

Женщины тело бездушное
Жалко свернулось у борта.
Впалая грудь
Не вдохнет
Солью пропитанных струй.
Что же мне слушать
Внимательным ухом,
Как тайным броженьем
Нежная кожа ее
В каждом изгибе звучит.

Та́латта, та́латта!
Дальше!
Разверзни широкое лоно,
Женское тело прими,
В глуби
Его упокой.
Я же,
Один и отзывен,
Навстречу солнца,
По зыби,
Бешеным бегом звеня,
Вспеню серебряный путь.

1917

* * *

Окном охвачены лиловые хребты,
Нить сизых облаков и пламень Антареса.
Стихи написаны. И вот приходишь ты:
Шум моря в голосе и в платье запах леса.

Целую ясный лоб. О чем нам говорить?
Стихи написаны, – они тебе не любы.
А чем, а чем иным могу я покорить
Твои холодные сейчас и злые губы?

К нам понадвинулась иная череда:
Влеченья чуждые тебя томят без меры.
Ты не со мною вся, и ты уйдешь туда,
Где лермонтовские скучают офицеры.

Они стремили гнев и ярость по Двине,
Пожары вихрили вдоль берегов Кубани,
Они так нехотя расскажут о войне,
О русском знамени и о почетной ране.

Ты любишь им внимать. И покоряюсь я.
Бороться с доблестью я не имею силы:
Что сделает перо противу лезвия,
Противу пламени спокойные чернилы?

1918

* * *

Трагические эхо Эльсинора!
И до меня домчался ваш раскат.
Бессонница. И слышу, как звучат
Преступные шаги вдоль коридора.

И слышу заглушенный лязг запора:
Там в ухо спящему вливают яд!
Вскочить! Бежать! Но мускулы молчат.
И в сердце боль тупеет слишком скоро.

Я не боец. Я мерзостно умен.
Не по руке мне хищный эспадрон,
Не по груди мне смелая кираса.

Но упивайтесь кровью поскорей:
Уже гремят у брошенных дверей
Железные ботфорты Фортинбраса.

1918

* * *

Да, грозный сон приснился мне. Стою я
На берегу реки, а за рекой
Закат невыносимый хлещет в небо,
И Богоматерь с черными глазами,
С лицом охряным, в аспидном плаще,
Под ним скрывая наглухо младенца,
Над пламенем кипящим возлетает.
Внезапный вихрь распахивает плащ,
Соскальзывает он, младенец виден,
И это – слушай! – не ее Христос,
А мой Исидор. Я бегу к реке,
Вброд не решаюсь, простираю руки,
Рыдаю, а она, а Богоматерь,
Запахивает с сердцем плащ и, круто
Вдруг обратясь, уносится в закат…
Я ринулась, проснувшись, к колыбели.
Спокойно всё. Ребенок ровно дышит,
И все-таки я всей душою знаю:
Недолго жить ему…

25.VIII.1920

* * *

Встало утро сухо-золотое.
Дальние леса заголубели.
На буланом склоне Карадага
Белой тучкой заклубились козы.
А всю ночь мне виделись могилы,
Кипарисы в зелени медяной,
Кровь заката, грузное надгробье
И мое лицо на барельефе.
А потом привиделось венчанье.
В церкви пол был зеркалом проложен,
И моей невесты отраженье
Яхонтами алыми пылало.

А когда нам свечи засветили
И венцы над головами вздели, –
Почернели яхонты, погасли,
Обратились высохшею кровью.
Я проснулся долго до рассвета,
Холодел в блуждающей тревоге,
А потом открыл святую книгу,
Вышло Откровенье Иоанна.
Тут и встало золотое утро,
И леса вновь родились в долинах,
И на росном склоне Карадага
Белым облачком повисли козы.
Я и взял мой посох кизиловый,
Винограду, яблоков и вышел,
Откровенье защитив от ветра
Грубым камнем с берега морского.

1918

* * *

Лес темной дремой лег в отеках гор,
В ветвях сгущая терпкий запах дуба.
С прогалины гляжу, как надо мною
Гигантским глобусом встает гора.
А подо мной размытые долины
В извилинах, как обнаженный мозг,
И бронзовые костяки земли
Вплавляются в индиговое море.
Втыкая палку в подвижную осыпь,
Взбираюсь по уклону. Рвется сердце,
И мускулы усталых ног немеют,
И сотрясается, клокоча, грудь.
Вот весь внизу простерся полуостров.
Синеет бледная волна Азова,
И серым паром за тончайшей Стрелкой
Курится и колеблется Сиваш.
А впереди прибоем крутолобым

Застыли каменистые хребты,
Всё выше, всё синее, встали, взмыли, –
Прилив гранита, возметенный солнцем.
А солнце, истекая кровью чермной,
Нещадные удары за ударом
Стремит в меня, в утесы, в море, в небо;
А я уже воздвигся на вершине,
Охваченный сияющим простором,
И только малые подошвы ног
Меня еще с землей соединяют!..

1918

* * *

Закрыв глаза, пересекаю брег.
Прибоя гул растет и подавляет.
И, обожженный хладным брызгом влаги,
Я останавливаюсь и гляжу.
Как тусклы лопасти стальных валов,
Как бледны свитки фосфористой пены,
И крупные алмазы Ориона
Дробятся в возметенной глубине.
О море! Родина! Века веков
Я полыхал сияньем фосфористым
В твоей ночи. На рыбьей чешуе
Я отливал сапфиром и смарагдом.
Я застывал в коралловую известь
В извивах древовидных городов.
И вот теперь, свершась единым сгустком,
Несу в себе дыхание приливов,
И кровь моя, как некогда, нагрета
Одною с южным морем теплотой.
Стою. И слушаю. Клубится гул.
В глухих глубинах беглый огнь мерцает.
И, побежденный подвижным магнитом,
В разбег волны я медленно вхожу.

1918

* * *

Пологий берег мягко сошел к волне;
Песок сияет, зноем прогрет насквозь;
Прозрачный парус тихо скользит вдаль;
Ленью ленивой ласкает полдень.

А там, за мысом, выгнулся тонкий мол;
Над белым молом млеют в лучах дома;
И легкий пепел, чуть голубой прах
Веет над лентой казарм и боен.

Дыши, Везувий! Мирно, Помпея, спи!
Пред смертью сладок отдохновенья час.
И кто, безумный, не изберет смерть
Без агони́и под синим пеплом?

1921

* * *

Всю ночь в окно плескал тревожный ветер,
Луна дрожала, и тяжелый гул
В подвале возле дома расседался.
А утром точно голубой Везувий
Рассыпал пепел голубой, – и небо,
И море, и казармы у залива
Запорошилися голубизной.
Лед в бухте взбух, как голубая пробка,
А там, за молом, антрацитной синью
Сияющий расправился залив,
И сахарные льдины побежали,
Свободные под ветром на волне...

1921

* * *

Закаты в августе! Плывут издалека
Полей дыхания и ветерки тугие,
И снежные встают над морем облака
Такие белые, что даже голубые.

1921

БОСФОР КИММЕРИЙСКИЙ

Песчаных взморий белопенный лук,
Солончаковые глухие степи,
И в тусклом золоте сгущенных сепий
Вздымается оплавленный Опук.

Раздавленный базальт, как звенья цепи,
На сланцевых боках означил круг.
Волчцы и терн. И тихо вьет паук
Расчисленную сеть великолепий.

Потоки вздутые остылых лав
Оставили железно-бурый сплав
И пыл свой отдали в недвижный воздух.

И медленный плывет свинцовый зной,
Растягиваясь в колоссальных звездах,
В рубинных радугах над крутизной.

1916

ПОРТ СВ. ИОАННА

Исчерченный коринфскою резьбой
Иконостас из черного ореха.
Сгоревшего полудня льется эхо
Из купола струею голубой.

И бледным золотом дрожащий зной, –
Шипы уже незримого доспеха, –
Зигзагом быстрым, молниею смеха
У закоптелых ликов – как прибой.

Забытый порт Святого Иоанна...
В долине – церковь, где молчит осанна;
Безмолвный храм Тезея на холме.

И выше всех, в багряной мгле заката,
Над пропастью, на каменном ярме,
Гранитный трон – могила Митридата.

1916

СКИФИЯ

Курганов палевых ковыльные уклоны.
В нагретой тишине курлычут журавли.
Дорога тонкая. И в золотой пыли –
Степных помещиков льняные балахоны.

А там – часовенки дубовые пилоны
На берегу пруда свой темный мох взнесли,
И хмурый грузный лад невспаханной земли –
Как закоптелый лик раскольничьей иконы.

Отрадно воду пью из ветхого ковша,
И тихой радости исполнена душа
И льнет молитвенно к преданьям стен омшелых.

Но в тайной глубине поет степная даль,
И сладко мыслится о дымчатых пределах,
Где залегла в полынь былинная печаль.

1916

ПАЛИНГЕНЕЗИЯ

Песком и глиною утоптан плотный пол.
Холщовый полумрак и холодок палатки.
Густой полынный дух, прибой прерывно-краткий –
Их бриз вечеровой в одно дыханье сплел.

За поднятой полой курганный сизый дол.
Раскопок медленных нахмуренные складки.
И на земле могил тяжелые рогатки,
Телеги скифские и варварский прикол.

Закат отбагровел на заводях Сиваша.
Работа кончена. Костры. Уха и каша.
И говор сдержанный усталых копачей.

Здесь – мусикийский звон и вещий выклик Дива, –
Могила юного. И в благости лучей
Селена тихая у тихого залива.

1916

* * *

Я знаю тихий дол. Отлогие холмы
Взбегают от него к лазури небосклона,
И высохший ручей, солончаки размыв,
Змеит по нем слюдой сияющее лоно.

Забытые в пыли железные пути
Случайный волопас лениво так минует.
Лишь травам вкрадчивым отрадно там цвести
И душный яд струить, что колдовски волнует.

И в час, когда лучи алеют на песке,
Скользят по врезанным в сухой полыни рельсам,
Люблю я там бродить в задумчивой тоске
С моим пергаментным преступным Парацельсом,

И тайный слушать звон полдневной тишины,
Душой холодною багровый зной впивая,
И тихо раскрывать головки белены,
И в склянку собирать сок листьев молочая.

Мне яды не нужны. Но, знаю, так бродил –
И не один – в веках мой отдаленный предок.
И вот, сквозь бледный дым магических кадил
Мое бессмертие бросает мне объедок.

1915

* * *

Икона вделана в старинный пегий сруб;
Бьют в водоем струи из деревянных труб;
И камень, брошенный под темною айвою,
Улитка радужной измазала слюною.

1919

* * *

Давно в колчане крупный жемчуг
С печалью смешан наравне.
Давно резной на крыше венчик
Без матицы приснился мне.

Давно под черным покрывалом
Текут замедленные сны, –
И в поле трепетным шакалом
Провыт призывный вой войны.

И терем мой зловещ и гулок,
И крыс не слышно за стеной,
Но в клети каждый закоулок
Наполнен злобою живой.

В божнице синие лампады
На ликах не отражены,
И подвижных теней громады
Ползут за мною вдоль стены.

Бежать! – но сторожат погони,
Дорога выбита кольем,
И пораскованные кони
Опоены крутым вином.

Последний вечер. Слышу: филин
Кричит и бьется у окна.
И там, средь облачных извилин
Багровая встает луна.

1916

САМАРКАНД

Над белизной одежд ореховые лица.
Светило белое в глазах повторено.
Осталось позади былого моря дно,
И бешено взята мятежная столица.

Здесь – громовой парад. А там – за птицей птица.
Там трупы вздутые навалены в одно.
И небо токами дрожащими полно,
И, чуя тление, взывает кобылица.

Позеленелую развеивая медь,
Сияет куполом упорная мечеть.
Распахнутая дверь дымится, точно рана.

И вор оглядчивый в сияньи рдяной мглы
Берет из твердых рук убитого муллы
Парчовый фолиант столетнего корана.

1916

БАРХАНЫ

Безводные золотистые
пересыпчатые барханы
Стремятся в полусожженную
неизведанную страну,
Где правят в уединении
златолицые богдыханы,
Вдыхая тяжелодымную
златоопийную волну.
Где в набережных фарфоровых
императорские каналы
Поблескивают, переплескивают
коричневой чешуей,
Где в белых обсерваториях
и библио́теках опахалы
Над рукописями ветхими,
точно ветер береговой.
Но медленные и смутные
не колышутся караваны,
В томительную полуденную
не продвинуться глубину.
Лишь яркие золотистые
пересыпчатые барханы
Стремятся в полусожженную
неизведанную страну.

1916

КОРАБЛЬ

Пахнет смолою и дубом под куполом темного дока.
Круто и кругло осел кузовом грузным корабль.
Быстрый топор отдирает обросшую мохом обшивку.
Твердые ребра цветут ржавчиной старых гвоздей.
«Эй, проберемся в пробоину!» Душно в незрячем трюме.
Днище набухло водой. Тупо стихают шаги.
Чую пугливой рукой прикрепленные к стенкам кольца, –
В реве тропических гроз здесь умирали рабы.

Где-нибудь: Тринидад, Вера-Круц, Пондишери, Макао;
Низкий болотистый брег; тяжкий расплавленный зной.
Дальние горы дышат, клубясь вулканною зыбью,
И неколеблемый штиль высосал жизнь парусов.
В тесной каюте над картой седой сидит суперкарго.
Глух он; не слышен ему тяжкий и сдавленный стон,
Что точно пар проницает дубовые доски палуб:
В трюме сквозь желтый туман желтая движется смерть.
Крысы по палубе брызнули топотом быстрых лапок.
Прыгают в волны, плывут. На корабле – тишина.
Только на главной шлюпке, мучась упорной греблей,
Куча матросов влечет ветхим канатом корабль.
День, и другой, и неделя. Штиль неподвижен, как скалы,
Порван буксир, и ладья мчится к родным берегам.
Только лицо рулевого становится бледно-шафранным,
Только и юнга дрожит, чуя последний озноб.
Там же, где брошен корабль, не слышно ни стука, ни стона.
Боком на запад плывет, тайным теченьем влеком.
Точно стремится догнать отрезы шафранного шара,
Что уплывает за грань сеять шафранную смерть.
«Эй, вот ржавчина эта, что пачкает наши пальцы!
Это не тленье ли тех, чьею могилой был трюм?
Это не мертвое ль золото старых гор Эль-Дорадо,
Что, растворившись в крови, красный развеяло прах?»
Быстрый топор стучит, отдирая гнилую обшивку.
В черную рану борта светит лазурная даль.
«Эй, посидим здесь еще! Ты любишь бродить по кладбищу, –
Позадыхайся ж в гробу, где подыхали рабы!»

1917

МОГИЛА

Где воды пресные, прорвав скупой песок,
В зеленой впадине кипят холодным горном,
На сланце слюдяном, под очервленным терном
Иссохший кожаный полуистлел мешок.

И слитков золота нетронутый поток
Ползет из трещины, опутываясь дерном,
А в двух шагах скелет в стремлении упорном
Лоскутья рук простер на выжженный восток.

В миражном зеркале расплавленного ада
На дальнем западе сиерры Эль-Дорадо,
И здесь в оазисе – предельный бег пустынь.

И грезу знойную навек покрыли травы.
Лишь бульканье ключа плывет в глухую синь
Да воя волчьего случайные октавы.

1916

РОБИНЗОНОВ СКЛЕП

Песком серебряным и пылью слюдяной
Сухой сверкает грот, закатом осиянный.
Сквозь плющ нависнувший и занавес лианный
Вплывает медленный вечеровой прибой.

Бюро, изрытое топорною резьбой,
И человек за ним, – угрюмый и туманный, –
В камзоле шерстяном времен британской Анны
Сжимает библию мозолистой рукой.

Три века залегло от смерти Робинзона
До пламеней, что жгут вспоившее их лоно,
Что вьют багряный вихрь на стогнах у дворцов.

Но неистлевший прах священника скитаний
Всё льет свой вкрадчивый неуловимый зов –
Зов к берегам чудес, в страну очарований.

1916

SALT-LAKE-CITY

Безводно-белые сухие облака
Над белым городом, обрезанным квадратно,
В пустыню брошенным, в сияющие пятна
Закаменевшего навек солончака.

Подложной библии тяжелая рука
Над жизнью избранных простерлась необъятно,
Но гневно сорваны и кинуты обратно
Шипы упругие тернового венка.

Безводны облака над рыжею пустыней,
Напоен жаждою солончаковый иней,
И время грузное иссохло в вышине.

Но в храме мраморном склоняются в поклоны,
Звеня кинжалами на вышитом ремне,
Священники земли – угрюмые Мормоны.

1916

* * *

В последний раз могиле поклонились.
И батюшка свернул эпитрахиль,
Сказал любезность и конвертик принял,
И мы пошли через пустырь полынный.
Безводное лазуревое небо,
Пузырь луны и фольговое солнце
В осеннем ветре колыхались тихо,
И далеко, налево, журавли
Волнообразным клином трепетали...

Да, друг! Нам больше двадцати пяти.

1919

* * *

В звездный вечер помчались, в литые чернильные глыбы,
Дымным сребром опоясав борта и дугу означая
Пенного бега. Слева кошачья Венера сияла,
Справа вставал из волн Орион, декабрем освеженный.
Кто, поглядев в небеса, или ветр послушав, иль брызги
Острой воды ощутив на ладони, скажет: который
Век проплывает, какое несет нас в просторы судно:
Áрго ль хищник, Хирама ли мирный корабль, каравелла ль
Старца Колумба?.. Сладко слышать твой шепот, Вечность!

4.I.1921

CARMEN AETERNUM[1]

Зеркальный шар лилового стекла
Меж яхонтовых гроздий винограда,
Из травертина грузная ограда,
И даль холмов – как синий взмах крыла.

Так нежно италийская прохлада
В извивы дымной тени протекла, –
И мысль, отточенная как стрела,
Размягчена в округлых волнах лада.

Где алый зной покоят мягко мхи,
Латинские усталые стихи
Поют, как медленный ручейный лепет, –

И вижу в быстрой смене, как Эней
Под звонким вихрем легкий парус крепит
И пенит синь неведомых морей.

1916

[1] Вечная песнь (*лат.*).

* * *

Сижу, окутан влажной простынею,
Лицо покрыто пеною снегóвой,
И тоненьким стальным сверчком стрекочет
Вдоль щек моих источенная бритва.
А за дверьми шумит базар старинный,
Неспешный ветер шевелит солому,
Алеют фески, точно перец красный,
И ослик с коробами спелой сливы
Поник, и тут же старичок-торговец
Ленивое веретено вращает.
Какая глушь! Какая старь! Который
Над нами век проносится? Ужели
В своем движении повторном время
Всё теми же путями пробегает?
И вдруг цырульник подает мне тазик,
Свинцовый тазик с выемчатым краем,
Точь-в-точь такой, как Дон-Кихот когда-то
Взял вместо шлема в площадной цырульне.
О нет! Себя не повторяет время.
Пусть всё как встарь, но сердце внове немо:
Носильщиком влачит сухое бремя,
Не обретя мечтательного шлема.

1919

EX ORIENTE UMBRA[1]

Плащи из мутно-белого сукна,
Разрез направо, алый крест налево.
Их нежно вышивала королева,
И женская рука была верна.

Под медный плач латинского напева
Колышется органная волна,
И сердца рыцарского глубина
Вся рдеет от расплавленного гнева.

[1] С Востока мрак (*лат.*).

Окончено. Звенящий вопль трубы.
На весла тяжко налегли рабы,
И в море мерно выплыли галеры.

И с берега ловил их долго взгляд,
Прощальный взгляд на тех, кто солнце веры
Понес в провалы первых круазад.

1917

ВАТИКАН

Из мягкого белого шелка
На мне шелестит сутана.
Шапочкой белого бархата
Прикрыта моя седина.
Лиловые яхонты четок,
Хмуро мерцая и рдея,
Виноградной гроздью повисли
На белой тонкой руке.

Тетрадь из плотной бумаги
Цвета слоновой кости
Кордуанской узорною кожей
Драгоценно переплетена.
Сухой изящной латынью
Пишу короткие фразы –
Чеканенные медали
Из металлов прошедших веков.

В гулкой тиши Ватикана
Слышу смутные шумы:
В мире и в Городе – знаю –
Юные орды встают.
Подымаюсь на белую башню
И, старчески медля, с балкона
Новым urbi et orbi
Благословение шлю.

1917

* * *

Вон парус виден. Ветер дует с юга.
И, значит, правда: к нам плывет
Высокогрудая турецкая фелюга
И золотой тяжелый хлеб везет.

И к пристани спешим, друг друга обгоняя:
Так сладко вскрыть мешок тугой,
Отборное зерно перебирая
Изголодавшейся рукой.

И опьяненные сказанья возникают
В Тавриде нищей – о стране,
Где злаки тучные блистают,
Где гроздья рдяный сок роняют,
Где апельсины отвисают,
Где оседает золото в руне.

Придет поэт. И снова Арго старый
Звон подвига в упругий стих вольет,
И правнук наш, одеян смутной чарой,
О нашем времени томительно вздохнет.

1919

* * *

Не выходи: над серым городом простерто
Всё пламенеющее тигровое небо,
И окна, и распахнутые настежь двери,
Провалами зияя черными, глотают
Насквозь прогретый воздух. А ввыси гудит
Бог весть откуда колокольный перекат;
Кружат грачи; над черепичным гробом кирхи
Кремневый крест распластывает высоту,
Как мельничные паруса дрожит под ветром;
И женщины повысыпали из домов

И говорят, что видели и там, и там
Старуху прокаженную с клюкой и фляжкой –
Ядоносительницу; что колодцы все
Отравлены крысиным мором, что вчера
Какой-то перс гулявшей девочке в лицо
Раствор стрихнина впрыснул... Нет, не выходи.
Пусть ночь сойдет, и осияет светом звездным
Смятение и ужас, и прохладный мрак
Спокойные навеет людям сновиденья.
Тогда иди, и проходя по звучным стогнам,
И тихо глядя на созвездья голубые,
Что так же пламенели некогда над Нилом, –
Помысли мудро о вращении времен.

8.V.1921

СМЕРТОНОСЦЫ

В подводной лодке в рубке капитана
На столике расчерченный картон.
Текучей майоликой отражен
Мутно-зеленый облик океана.

Но хода выверенного уклон
Прямолинеен в тусклостях тумана,
Где массою надменного тарана
Нос панцирного судна напружен.

Вот шелковистый быстрый свист торпеды
Змеиные томительные бреды
Вплетает в четкий перестук машин.

И в лепком воздухе – гранитны лица,
И в сдавленных глазах – осколки льдин.
Но радость вспыхивает как зарница.

1917

ЖЕЛТЫЕ БРЕДЫ

Я шел на восток от Урала
Вдоль пегих откосов дорог.
Октябрьская буря свистала
И бронзовый лист рассыпала
На глину и камни у ног.

Оплывы чудовищной Оби
Остались давно позади,
И скорби в безвыходной злобе
Давно, как летаргики в гробе,
Изгрызли друг друга в груди.

Шагаю, бездумен, спокоен,
Шагаю на Дальний Восток,
Шагаю, оборванный воин,
Туда, где на доньях промоин
Задавлен шимозами бог.

Кустарник, корявый и редкий,
Бесснежные горы вокруг.
По ним, задевая за ветки,
Кочуют морозные предки,
Туманом кочуют на юг.

И дым свой бросают пожарный
Бревенчатые города.
Но мимо… И – царские бармы –
Одни острога да казармы
Глаза угнетают всегда.

И хмурые длятся недели.
Иркут, Ангара, Уссури.
И серые тучи зардели,
Рубахой холстинной одели
Пронзенное сердце зари.

И вот оно – Желтое море,
Безглазая, с глиной, вода.

Так в этом взметенном просторе,
В огнях, в тяжкодымном уборе
Проржавлые гибли суда.

Железо изгорбленных палуб,
Чеканные плиты брони,
Под взвизги орудийных жалоб,
Под минные взревы дрожало,
Больные взметая огни.

За клочьями дымного пуха
Обломки свергались на дно,
И в небо обросшее брюхо
Направили, лязгая глухо,
«Ослябя» и «Бородино».

А ночью прожекторы взмыли,
Снопы голубые взнесли,
Как туча клокочущей пыли
Кольцом миноносцы обвили
Затравленные корабли.

И утром на глинистых волнах
Хрипели одни кузова,
И в лодках, бессмысленно полных,
Матросов, бездумных, безмолвных,
Хлестала морская трава.

И желтое солнце вставало
Сквозь желтую хмурую муть,
На хляби морского провала
Пожарищный блеск проливало,
Чертило безвыходный путь…

…Безмерные тянутся дали,
Безмерно катятся валы.
На глиняной мягкой скрижали
Минутно зачертят печали
И смоют, и снова из мглы

Катятся, бесстрастны и седы,
И всё говорят об одном:
Восставили желтые бреды
Над миром победы и беды
И мутным вспоили огнем.

Стою я – бездумен, спокоен, –
Стою я, гляжу на восток.
Стою я, оборванный воин.
Я – там, где на доньях промоин
Задавлен шимозами бог.

1912

* * *

Полночь. Ветер. Лодка покачнулась,
Задержалась на валу прибоя;
Виноградною волной плеснуло
Прямо в парус, в полотно литое.

Узкий луч по волнам простирая,
Там на взморьи сторожит нас катер;
Ветер плещет в дуло митральезы; –
Луч мы видим, слышим пенье ветра.

Проскользнули! Прямо руль! По ветру!
Ах, как звонок бег наш полнокрылый!
Ах, как пахнет сеном и свободой
Берег тот, куда наш путь направлен!

В море кинут островок песчаный.
Здесь ночуем, здесь мы солнце встретим.
И, спугнувши уток, мы выходим
На песок, уступчивый и теплый.

Спать... Не спим. Сидим и курим трубки,
И молчим, глядя на берег черный,

Где ревут паровики, и в небе
Винной розой взвешен дым пожара.

1919

22 ЯНВАРЯ 1793 г.

Мороз острел. Мучительно иззябли
Сведенные в каре гвардейцы; пар
От их дыханья на штыки и сабли
Сел инеем звездистым. Просочившись
Сквозь тучи, снегом взбухнувшие, встало
Слепое утро. В ледяном кольце
Штыков и сабель, синих губ и глаз
Слезящихся – два хобота дубовых
В графитное взносили небо нож, –
Косой пятипудовый сгусток блеска.
Французы ждали, стыли... Вдалеке,
Запряженное в черную карету
Подъемы преодолевало время,
Скользя и падая. Вдруг крик: Везут! –
Хлестнул по воздуху. И увидали
Французы, как король, без парика,
В ночном камзоле всходит по ступеням.
Сыпнули крупным градом барабаны,
Метнулись палачи, и эшафот,
Как бы кадильница, пурпурным жаром
Дохнул, – и в небо серый клуб взвился
От стывшей на морозе крови... Пушка
Немедля отозвалась топору.
Париж стонал, рычал. А королева,
Зовя дофина к похоронной мессе,
Уже его именовала: Сир.

1919

27 ИЮЛЯ 1830 г.

Случайным выстрелом старуха сражена.
И рота гвардии глядела с перекрестка,
Как с телом поползла капустная повозка,
Зардели факелы и взмыли знамена.

За полночь перешло. Всё двигалась она.
Толпа всё ширилась, нелепо и громоздко,
И ярость плавилась, и сыпалась известка
И битое стекло от каждого окна.

А в бедной хижине, за Севрскою дорогой,
Священник молодой, томим глухой тревогой,
Решил вплоть до утра сидеть и ожидать.

И, пред распятием клоня свои поклоны,
Не знал, что в этот миг его старуха-мать
Дрожаньем мертвых рук ниспровергала троны.

1917

* * *

Как тускло он сияет – летний рынок:
Холстом, и табаком, и лютой синькой;
Как душно пахнет хлебом и рогожей;
Как яростно скворчат на сковородках
Разрезанные розовые змеи.
Гляди: стоит халдей с огромной лупой,
С колеблемой картонною ладонью –
Гадальщик: там, на бронзовом подносе,
Колода карт, спринцовка, рыжий глобус.
Бредет старуха в кружевной наколке,
Пучок бумажек голубых сжимая,
И, глядя вбок, поет через одышку:
«В полдневный жар, в долине Дагестана»...
И тут же как невнятная тоска,
Как память бессловесная о чем-то,

Давно минувшем, дымном и далеком –
Над трепаной парчою, над шарманкой,
Что «яблочко» наяривает, сонно
Качается в кольце, закрывши веки
И роговой чуть высунув язык,
Великолепный голубой и алый
С покорными крылами какаду.

1921

* * *

Замок упал. Тяжелый створ широко
Зевнул прохладой, чернотой и цвелью,
И с лампочкой в руках, как рудокопы,
Спустились мы в темно-зеленый ледник.
Ушастые ушаты с огурцами,
Крутой бочонок деревенской браги,
Круги колбас и жернова сыров
Повеяли довольством черноземным,
Мозолистой спокойной добротою.
Подняв эмалированные ведра,
Чьи дужки холодом врезались грузным
В горячие ладони, вышли мы.
Бледнел закат. Шло стадо по домам.
Захлебывались лаем псы цепные.
А мы глядели в голубые ведра,
Где белым янтарем на холоду
Густое устоялось молоко
И сливочной морщинкой побежало.

1921

* * *

Квадратный стол прикрыт бумагой,
На ней – чернильное пятно.
И веет предвечерней влагой
В полуоткрытое окно.

Стакан топазового чая,
Дымок сигары золотой,
И журавлей витая стая
Над успокоенной рекой.

Бесстрастная стучит машинка,
Равняя стройные слова.
А в поле каждая былинка
Неувядаемо жива.

И вечер я приемлю в душу,
Безвыходно его люблю.
Так люб и океан – на сушу
Закинутому кораблю.

1917

* * *

Поужинав холодной кашей –
Теперь война и хлеба нет, –
Я выпиваю полной чашей
Твои волнения, поэт.

Но я люблю восторг восходов
И ветра углубленный гул, –
И мне не нужен ни Триродов,
Ни скуки чопорный разгул.

Мне чужды трепеты Маира.
Земля! Земля, а не звезда!
Блуждая в изобильях мира,
Я не скучаю никогда.

Да вот теперь: полет метели
Уютен – за моим окном.
И женщина в моей постели
Свернулась теплым колобком.

1917

* * *

Январским вечером, раскрывши том тяжелый,
С дикарской радостью их созерцать я мог –
Лесной геральдики суровые символы:
Кабанью голову, рогатину и рог.

И сыпал снег в окно, взвивался, сух и мелок,
И мнились чадные охотничьи пиры:
Глухая стукотня ореховых тарелок
И в жарком пламени скворчащие дары.

Коптится окорок медвежий, туша козья
Темно румянится, янтарный жир течет;
А у ворот скрипят всё вновь и вновь полозья,
И победителей встречает старый мед.

Январским вечером меня тоска томила.
Леса литовские! Увижу ли я вас?
И – эхо слабое – в сенях борзая выла,
Старинной жалобой встречая волчий час.

1919

* * *

Прибой на гравии прибрежном,
И парус, полный ветерком,
И трубка пенковая с нежным
Благоуханным табаком.

А сзади в переулках старых
Густеют сумерки. Столы
Расставлены на тротуарах.
Вечерний чай. Цветов узлы.

Черешен сладостные груды.
Наколки кружевные дам.

И мягкий перезвон посуды
Аккомпанирует словам.

И так доступно измененье
Девятисот на восемьсот,
Где жизнь застыла без движенья
И время дале не идет.

И радостью волнует райской,
Что впереди – свершенья лет
И что фонтан Бахчисарайский
Лишь будет в будущем воспет.

1917

* * *

Худенькие пальцы нижут бисер –
Голубой, серебряный, лимонный;
И на желтой замше возникают
Лилии, кораблик и турчанка.

Отвердел и веским стал мешочек,
А́нглийская вдернута бечевка;
Загорелым табаком наполнить –
И какой ласкающий подарок!

Но вручен он никому не будет:
Друга нет у старой институтки;
И в глазах, от напряженья красных,
Тихие слезинки набегают.

И кисет хоронится в шкатулку,
Где другие дремлют вышиванья,
Где отцовский орден и гравюра:
Кудри, плащ и тонкий росчерк: Байрон.

1919

* * *

Плитный двор пылает в летнем полдне.
Жалюзи прищурились дремотно.
Низенькое устье коридора
Обнимает ясною прохладой.

Прохожу по чистым половицам,
Открываю медленные двери, –
И в задумчивый уют гостиной
Незаметно поникает сердце.

Раковины на стеклянной горке;
На воде аквария скорлупка –
Судно; на стене в овальной раме
Ястребиный профиль Альфиери.

И хозяйка в кружевной наколке,
В бирюзовых кольцах и браслетах
Старчески-неспешно повествует
О далеком, о родном Палермо.

А в руках приметна табакерка,
Где эмаль легко отпечатлела
Гиацинт кудрей, и рот двулукий,
И прикрытых глаз глубокий оникс.

Всё в минувшем... Лишь глаза всё те же…
Да браслет и кольца голубеют,
Свежей бирюзой напоминая
Родины немеркнущее небо.

1918

* * *

Так хорошо уйти от голосов людей,
От стукотни колес и въедливого лая
На отдаленный холм, где, полночи внимая,
Свой портик мраморный вознес к луне музей.

Спиною чувствуя прохладу старых плит,
Прилечь на лестнице и вглядываться в небо,
Где Веги пламена и нежный огнь Денеба
Светло проплавили индиговый зенит.

1917

ДЕРЖАВИН

Он очень стар. У впалого виска
Так хладно седина белеет,
И дряхлая усталая рука
Пером усталым не владеет.

Воспоминания... Но каждый час
Жизнь мечется, и шум тревожит.
Всё говорит, что старый огнь погас,
Что век Екатерины прожит.

Вот и вчера. Сияют ордена,
Синеют и алеют ленты,
И в том дворце, где медлила *она*,
Мелькают шумные студенты;

И юноша, волнуясь и летя,
Лицом сверкая обезьяньим,
Державина, беспечно, как дитя,
Обидел щедрым подаяньем.

Как грянули свободные слова
В равненьи и сцепленьи строгом

Хвалу тому, чья никла голова,
Кто перестал быть полубогом!

Как выкрикнул студенческий мундир
Над старцем, смертью осиянным,
Что в будущем вскипит, взметнется пир,
Куда не суждено быть званным!..

Бессильный бард, вернувшийся домой,
Забыл об отдыхе, о саде,
Присел к столу и взял было рукой, –
Но так и не раскрыл тетради.

1918

РУКОПИСИ ПУШКИНА

Как нежны, как надрывно милы
И этот пыльный аромат,
И порыжелые чернилы,
И росчерков округлый ряд.

В сияньи Крымских побережий,
В Михайловской тиши, – один, –
Размашистые эти мрежи
Сплетал мой вечный властелин.

Как выскажу? И слов мне мало:
Здесь, где моя легла слеза,
Его рука перебегала
И медлили Его глаза.

И эти влажные напевы
Неистлеваемым зерном
Вздымают золотые севы
На поле выжженном моем.

1917

НАДПИСЬ НА ТОМИКЕ ПУШКИНА

Теперь навек он мой: вот этот старый, скромный
И как молитвенник переплетенный том.
С любовью тихою, с тревогой неуемной
К нему задумчивым склоняюсь я челом.

И первые листы: сияет лоб высокий,
И кудри буйствуют, – а утомленный взор
И слабым почерком начертанные строки
Неуловляемый бросают мне укор.

Томлюсь раскаяньем. Прости, что не умею
Весь мой тебе отдать пустой и шумный день.
Прости, что робок я и перейти не смею
Туда, где носится твоя святая тень.

1918

* * *

...Никитские ворота.
Я вышел к ним, медлительный прохожий.
Ломило обмороженные ноги,
И до обеда было далеко.
И вижу вдруг: в февральскую лазурь
Возносится осеребренный купол,
И тонкая, как нитка, балюстрада
Овалом узким ограждает крест.
И понял я: мне уходить нельзя
И некуда уйти от этой церкви;
Я разгадаю здесь то, что томило,
Невыразимо нежило меня.
Здесь я забвенный разгадаю сон,
Что мальчиком я многократно видел:
Простые линии в лазури, церковь,
И радость, и предчувствие беды.
И я стоял. И солнце отклонилось.
Газетчик на углу ларек свой запер, –

А тайна непрестанно наплывала
И отлетала снова... А потом
Всё это рассказал я другу. Он же
В ответ: А знаешь, в этой самой церкви
Венчался Пушкин. – Тут лишь понял я,
Что значила тех линий простота,
И свет, и крест, и тихое томленье,
И радость, и предчувствие беды.

1919

НАТАЛИ

Наталья Пушкина! Наташа Гончарова!
Ты звонкой девочкой вбежала в дом чужой,
Где грянула в паркет Петровская подкова
И Командор ступал гранитною стопой.

Где обаянием неизъяснимой власти
Тебя опутала стихов тугая нить,
Где хлынул на тебя самум арабской страсти
И приневоливал его огонь делить.

Как часто полночью в уюте русской спальной
Ладонь прохладная касалась глаз твоих,
И ты, впросонках вся, внимала песне дальной
О бедном рыцаре в просторах стран чужих.

Головка бедная! Мадонна снеговая!
Шесть лет плененная в святилище камен!
Кто укорит тебя, что молодость живая
Твоя не вынесла любви державной плен?

Пускай разорвана священная завеса,
И ринулись в певца из потрясенной мглы
Мазурки шпорный звон, и тонкий ус Дантеса,
И Кухенрейтера граненые стволы.

Пусть пуля жадная и дымный снег кровавый
У роковых весов склонили острие,
Пускай лишились мы России лучшей славы, –
Морошки блюдечко – прощение твое!

Наташа милая! Ты радость и страданье.
Ты терн трагический меж пьяных роз венца,
И создано тобой чудесное преданье
О гордой гибели негордого певца.

1921

МОГИЛА БАРАТЫНСКОГО

Я посетил величественный город,
Подземную безмолвную столицу,
Где каждый дом украшен мавзолеем,
А мавзолей отягощен крестом.

Я проходил по мягкой меди листьев,
Влеклись глаза вдоль твердых барельефов,
И тлела мысль теплом и ломкой болью,
Священные встречая имена.

Но проходил, не замедляя шага.
Меня манил неогражденный камень,
Где иссечен великолепный профиль
Дорически-прекрасного певца.

О, чистота всесовершенных линий,
Напрягшихся в певучем равновесьи,
О, ясная и умная прохлада
В Финляндии зачатых Пропилей!

О счастьи скорбь, томление о Музе,
И мысли боль, и отягченный якорь,
Что подняли марсельские матросы, –
Всё в ясности отпечатлелось тут.

1917

КРЕПОСТЬ-ФАНАГОРИЯ

Из мягких рвов туманом возникая,
Поднялся вечер млечно-голубой.
Прибой примолк, и в ясной тишине
Отчетлив выклик запоздалой чайки.

Округлым выступом старинный вал
Надвинулся на впалую долину,
Некошеной отросшею травою
Играя с мимолетным ветерком.

Я расстилаю парусинный плащ, –
И так отрадно повалиться навзничь,
Руками распростертыми касаясь
Слегка овлажненной травы.

Суворовская спит Фанагория...
Ключ к отдаленным, к вольным океанам...
Последние оржавевшие пушки
Валяются у церкви в городке.

И только я сейчас припоминаю
Стремленья, что давно перегорели, –
И предо мною тихо возникает
Певец заброшенной Тамани.

И облака, что убежали к югу,
На миг слагаются в печальный профиль,
И млеет нежным отдаленным звоном
Коротенькое имя: Бэла...

1918

ЕРМОЛОВ

Он откомандовал. В алмазные ножны
Победоносная упряталася шпага.
Довольно! Тридцать лет тяжелый плуг войны,
Как вол, упорная, влекла его отвага.

Пора и отдохнуть. Дорогу молодым.
Немало думано, и свершено немало.
Поля Бородина еще дрожат пред ним,
«Ермоловъ» выбито на крутизнах Дарьяла.

И те же восемь букв летучею хвалой
В Кавказском пленнике сам Пушкин осеняет.
Чего еще? Теперь Ермолов пьет покой,
В уединении Ермолов отдыхает.

И злость безвластия лишь раз его ожгла,
И птицы старости ему лишь раз пропели,
Когда июльским днем с Кавказа весть пришла
О том, что Лермонтов застрелен на дуэли.

Он хрустнул пальцами и над столом поник,
Дыбились волоса, и клокотали брови,
А ночью три строки легло в его дневник:
«Меня там не было; я бы удвоил крови.

Убийцу сей же час я бы послал в поход,
В передовой огонь, в дозоры и патрули,
Я по хронометру расчислил бы вперед,
Как долго жить ему до справедливой пули».

15.VIII.1920

ДОМИК

Я помню: яркий в летней дреме
На солнцем залитом песке
Уютный выбеленный домик
В уютном южном городке.
Я помню: пол, натертый воском,
Смоленый мат по светлым доскам,
Медовый запах табака,
В окне герани два горшка,
На стенах выцветшие флаги,
Фрегата стройная модель,
За ширмой строгая постель,
На письменном столе бумаги –
Последний угол моряка
В тиши сонливой городка.

Моряк, старик под девяносто,
Но бодрый, молодой, живой,
Всегда приветливо и просто,
Встречаясь, говорил со мной.
Я был влюблен в оттенки моря,
Мечтал о пальмах, о маори,
И в голубые вечера,
Когда зеркальная игра
В зеленой полутьме купальни
Блуждает по изгибам стен, –
Земли тяжелой цепкий плен
Меня томил, а сумрак дальний,
Окутывающий пролив,
Струил волнующий призыв.

Однажды – в заревой истоме
Вдали клубились облака –
Отправился я в белый домик,
В приветный домик старика.
Тот мне обрадовался очень
И, хлопотлив и озабочен,

Соорудил нам чай «с ромком»,
И так прекрасно мы вдвоем,
Жуя варенье из инжира,
Не зажигаючи свечей,
Проплыли волны всех морей
От Гельсингфорса до Алжира
И только ночью в два часа
Свои убрали паруса.

И много вечеров в беседах
Провел я с милым моряком.
Он говорил мне о победах
И о «воздействии линьком»,
О женщинах в портах Китая,
О том, как Веспер, выплывая,
Роняет в воду алый щит,
Как море фосфором горит,
Как ночь в полуденных широтах
Струит зодиакальный свет,
О том, что флота больше нет,
О альбатросовых полетах,
И что «поверьте, я уж стар:
Лучше манильских – нет сигар».

Прошли года. Моряк мой умер.
Я – закопался в груды книг.
Но где-то в самом дальнем трюме
Родной мечты остался лик.
И нанял домик я знакомый,
Уединился в нем, влекомый
Томленьем сладостным. Светло
В моих трех комнатках, тепло,
И пахнет славной старой трубкой
И так легко-легко – смолой,
И я приют спокойный мой
Себе рисую верхней рубкой
На адмиральском корабле
В пути к неведомой земле.

И вот пишу я эти строки,
Ведя их пушкинской строфой.
Они просты и неглубоки,
Но я пресыщен глубиной.
Хочу о том, что повседневно,
Сказать волнующе-напевно,
О тихой молвить красоте,
Что поразвеяна везде,
О том, что полюбил я землю,
Уютный домик, вечера,
Мечту о прошлом, что игра –
Окончена, и я не внемлю
Фанфарам запредельных сфер
И воплям сказочных химер.

1916

<ДОПОЛНЕНИЕ>

ДВЕ КНИГИ

От вкрадчивого бронзового Гонга
до Раковины, твердой и простой,
где в завитках, прочерченных нетонко,
колышется прибоя гул густой.

Я полюбил спокойность и прохладу.
Я полюбил бумаги белизну.
И к пенью слов, к их вдумчивому ладу,
отрадно так и навсегда прильну.

Поэзии суровый математик,
я вычислил всё то, что мне дано,
и эта Раковина – мой крещатик,
где иппокрены пенится вино.

КОКОСОВЫЙ ОРЕХ

Я видывал: в голодной страсти
берут кокосовый орех
и грубым молотком на части
дробят его литой доспех.

Обломки. Раненая мякоть
теряет молоко струей.
И хочется по-детски плакать
о непонятливости злой.

Ведь надо осторожно-тонким
сверлом проникнуть скорлупу.
Дать каплям, плотным и незвонким,
наполнить стойкую стопу.

Головку отпилить. Упругий
спиралью перерезать плод
и думать о далеком юге,
где пальма пламенно растет.

Соединить петлею цепкой
разреза оголенный знак
и в чаше, ароматно-крепкой,
хранить задумчивый табак.

И верный друг наш, папироса,
в любой неуловимый миг
над пыльными листами книг
повеет запахом кокоса.

ПОЭТ

Одет монашески и коротко острижен,
по миру шествуя легко и не спеша,
прямолинейною иглой карандаша
он вносит в книжечку слова церквей и хижин.

И целомудренным размером осветлен,
и умной скупостью расчисливая краски,
для ткани будущей сплетения и связки
в устоях каменных натягивает он.

И треугольником скульптурного отвеса
по уравнениям разметивши слова,
ведет нетленный стих. И пламенно жива,
взвиваясь к небесам, священная завеса.

МАРОН

Обмякший пляж. Коричневая глина.
Оливковый базальт – галопом глыб.
В глухой воде – клинки холодных рыб
и ветровых разбегов паутина.

Прочерчивает бухтовый изгиб
отполированный плавник дельфина,
и в вечер уплывает бригантина,
и гаснет вымпела червленый шип.

Топор и карабин, бурав, лопата,
кремень, брезента клок, моток шпагата,
и я один – покинутый марон.

Но вольным вижу я себя Адамом.
Мой лоб загаром новым опален.
Мне библией – земля. И небо – храмом.

ЛАГУНЫ

Лагунное морцо окаймлено
желтеющим коралловым атоллом,
и млеет в колыхании тяжелом
туманно-малахитовое дно.

И любо хороводы вить эолам,
и людям пить их пение дано,
где пальмовое пролито вино
и в чаши опийным прилито смолам.

Ловлю дыхание глубинных влаг,
и горних облаков архипелаг
лелеют волны у моей пироги.

И там во мне пылает на бегу
лукавое: «и будете как боги».
Но алый плод упорно берегу.

* * *

Александру Прокопенко

Снаружи мерцает на меди
восьмилучевая звезда.
Как изморозь, матово-бело
сияет внутри серебро.

На стержне двуиглая стрелка,
бело-черная, зябко дрожит:
гладкий кружок рубина
посредине вделан в металл.

Образ тревожного духа –
тускло-блестящий компáс:
черным глядит на север,
белым рвется на юг;

хочет безмерного солнца,
жаждет полярных аврор;
попав на магнитный полюс,
тоскливо вертится вкруг.

И все-таки, – зыбкий, случайный, –
ведет в океан корабли!

Кто, владеющий тайной,
создал его для земли?

СЛОНЫ
(Леконт де Лиль)

Максимилиану Волошину

Песок багровый нем, бессилен в сонном бреде,
как море жаркое, чей беспределен строй,
и воздымается недвижимый прибой
вдали, где Человек взвил дымы цвета меди.

Безжизненная тишь. Наевшиеся львы
за много сотен миль спят по глухим пещерам,
и в рощах пальмовых, столь ведомых пантерам,
жирафф воду пьет в бассейнах синевы.

Ни птица не мелькнет, крылами рассекая
тяжелый воздух, где гигантский шар плывет,
и лишь боа порой в тепле своих дремот
клубится медленно, весь чешуей сверкая.

Так даль, сожженная огнем, простерлась в синь.
Но вот, когда всё спит в глухом уединенье,
громоздкие слоны в топочущем стремленье
бредут на родину в безбрежности пустынь.

Прорезав горизонт громадою чугунной,
идут, вздымая прах, и, чтобы не свернуть
с точеной линии, в которой прям их путь,
стопами тяжкими раздавливают дюны.

Поднявши голову, идет их старый вождь,
чье тело – точно ствол, изъеденный годами,
и череп – как скала, и аркой за плечами –
спина, таящая невиданную мощь.

Не медля, ни на шаг не ускоряя хода,
товарищей ведет он к избранным брегам.
И шествуют за ним по втоптанным следам,
как бы паломники за патриархом рода.

Их уши веером, и хоботы в клыках.
Идут, закрыв глаза. Тела томятся жаром.
И пот на воздухе плывет горячим паром.
И мошек тысячи кипят на их боках.

Но что вся жажда им? Что насекомых бремя?
И солнце, жгущее морщины черных спин? –
Мечтают на ходу о благости равнин,
о рощах фиников, где выросло их племя.

Они увидят вновь потоки между гор,
где вой и фырканье, и рев гиппопотама,
где, белы от луны и тень отбросив прямо,
они влеклись к воде сквозь камыши в упор.

Так, полны твердости и важности шагают,
чернея линией в бескрайности песков.
И над пустынею опять глухой покров,
когда за горизонт скитальцы исчезают.

ОТМЕЛИ

Там тихие-тихие отмели,
подводные травы, актинии –
дневные сияния отняли,
вплели в оттенения синие.

И любо на пробковом ялике
к прохладным ласкаться теченьям
и полной ладонью хрусталики
развеять округлым созвенем.

И молоди стайки пугливые
прорезать ажурною драгою,
и, скинув одежды дремливые,
облечься упругою влагою.

Ныряя в каскаде взбарахтанном
и выдохнув воздух замедленно,
на дне эластичном и бархатном
прилечь – там, где нежно и зелено.

Там рябью, порывно порхающей,
рыбешки вильнут над коленями,
и ялик, пустым уплывающий,
овеет прощальными тенями.

ОСНОВАТЕЛЮ ГОРОДА
(Эредиа)

Устав преследовать Офир неуловимый,
в излоге берега у этих чудных вод
штандарту короля ты даровал восход
и новый Карфаген воздвиг – неодолимый.

Ты славы пожелал, навек неистребимой,
и думал навсегда впаять ее оплот
в кровавой впадине, где город твой цветет.
Но – на песке мечта и тает, точно дымы.

Лазурью дьявольской задушен, Карфаген
с дворцами черными узрел паденье стен
в горячечный прибой, в алканье Океана.

И только шлем хранит, о Конквистадор, твой
свидетельство герба о грезе, светом пьяной:
твой Град серебряный под Пальмой золотой.

ЦЕПЬ

Константину Цагарели

О, эти бледные шафранные закаты
над серыми утесами домов.
Опять нижу им ожерелье слов,
безвыходным томлением объятый.

Я помню студию. В соломинку лениво
нагая девушка дышала. Меж грудей
неуловимых мыльных пузырей
лиловые всплывали переливы.

Один пузырь дрожал на мраморном челе
безмерно удивленного Платона,
и абрис девушки в глуби цветного лона,
округло выгнутый, белел в струистой мгле.

Я помню комнату. Обитый цинком стол.
Нагая девушка простерта без движенья,
и алебастровый живот ее расцвел
чудовищной сиренью разложенья.

И тленья сладкие невидные волокна
запутались в развеянных цветах,
и в дымно-сизых мертвенных зрачках
изогнуто прорисовались окна.

И помню сон. Лиловыми шарами
наполнен воздух. Тяжело в груди…
И тихое, повторное – иди! –
зовущее вдали развертывает знамя.

И далее. В багровые пески
вплавляется мучительное солнце.
Через гнилые мелкие болотца
влачусь по берегу неведомой реки.

Холодный мир забытым и усталым
лежит, ночной окутываясь мглой,
и Антарес так низко над землей,
что бороздит ее кровавым жалом.

А я иду по илистой земле,
настойчиво иду к речным истокам.
Там легкий шар на мраморном челе
глядит в простор своим лиловым оком.

Там колокола медленная медь
пролаяла, что Бог моей тоски наследник.
Последний сын из племени Последних,
иду в пустыню тихо умереть.

* * *

Чадили факелы смоловые
и капали на пальцы ног.
Вы шли, глухие и суровые,
пересекая черный лог.

Утесы дыбились и таяли
в недвижной влаге темноты,
и красные шакалы лаяли
на обагренные щиты.

Пройдя неиденными тропами,
вы на берег крутой пришли
к реке, что хитрыми подкопами
прорезывает глубь земли.

И с плеч усталых тихо скинули,
сложили мертвые тела,
связав, на душегубках сдвинули
в реку, и влага унесла

во тьму беззвучную флотилию,
как вихрь уносит облака.

И так плывем уже века,
глухому преданы бессилию.

* * *

Земля, дождями вспоенная,
что стекли с обросших курганов,
туманом плывет, угнетенная,
в осеннее канув.

Овражная, серая, безликая
цепит ветер окреплый,
в октябрьском роге мыкая
погребальные пеплы.

В два моря уперлась, бескрайняя,
прочертила мелкие реки;
по просторам в безвинном раскаянье
разбрелись калеки.

Костями болота загатили,
из челюстей сбили подковы.
Плачут бездетные матери,
безмужние вдовы.

Ветер, кликуши, рыдания, –
твой вечный саван, Россия, –
крестильные поминания
непрозревшего Вия.

* * *

О, Всадник Бронзовый! Твой лавроносный лоб
в недвижности литой зрит гневные закаты.
Их пламя повторив, напруженные латы
не чуют за спиной иных огней потоп.

От газов сдавленных там лопнул ветхий гроб
и стерты, сметены бессильные охваты.
О, Всадник Бронзовый! Твои дела распяты
у взморий илистых, у заводских трущоб.

Там ржавой осенью и сгнившею зимою
кровавый колют лед, мешают пламя с тьмою
и трупы чумные когтят тупым багром, –

там исступленный вихрь рвет на дыбы Свобода…
Там, впившись в колокол, оглохший Квазимодо
над гулкой бездною набатный шпорит гром.

ЗАХОЛУСТЬЕ

Виталию Рыжкову

Туманным оловом плывет холодный день.
Туманным оловом наполнен дух усталый.
Минуты падают, как будто камень малый,
и канут без кругов в мою глухую лень.

Истерикой собак затравленный олень
так обретает вдруг приют свой запоздалый,
уйдя в расселину, куда и полдень алый
бессилен втиснуться сквозь вековую тень.

О чем я расскажу? О чем я промечтаю?
Гляжу я под ноги и жаворонков стаю
хоть слышу, дальнюю, но взглядом не найду.

Как мертвый груз вишу на роковом отвесе.
Я знаю, я обрел предельную узду:
здесь Федор Сологуб писал о Мелком Бесе.

КОРМЧИЙ

Где взнуздан вихрь в смородинном просторе
и яростно кипят лохмотья туч, –
напряжены отвесы глинных круч
над пеною песчаных лукоморий.

И тяжкий воздух зноен и колюч
и кипятит свинец мне в каждой поре,
и вывихнутый в штормовом напоре
ударил мне в зрачки червонный луч.

И навалясь на колесо штурвала,
нос корабля я мчу на покрывало
из дробной ряби, где бежит тайфун, –

чтоб в смерче истереть воспоминанья
о кладе, спрятанном в тиши лагун
на острове, чье имя: «Без названья».

ПОЛЕТ

На гладкой мартовской полянке,
где первые так нежны мхи,
я выстрогал прямые планки
из мягкой кремовой ольхи.

Оклеил шелком, руль наставил
и в голубую высоту
аэропланом их направил,
легко дрожащим на лету.

И тонкая в руке бечевка
виолончельною струной
поет отточенно и ковко,
впивая ветер молодой.

И упоенный этой дрожью,
впитав ее отрадный мед,
потом иду по бездорожью,
как будто совершив полет.

КАБИНЕТ

Наваленные на пол книги
и узенькая дверь балкона
в сияньи раннего апреля
топазово осветлены.

И полн классического хмеля,
подъемлю звонкие вериги,
и книги для меня – икона
сквозь ясный фимиам весны.

И ясным я живу поэтом,
и дух ничем не затуманен,
читаю о делах героев,
спокойно голову клоня.

И с розовеющих обоев
под юным пушкинским портретом
Эредиа и Северянин
так бодро смотрят на меня.

e2–e4

Н. А. Петрову

Квадратов темно-красных – тридцать два,
и тридцать два соломенных квадрата.
Доска, где мысль расчисленно распята,
но тонкая – отрадна бечева.

Здесь пешки, ферзь, – их линия поката:
различны изощренные права.
Но лишь один у них ярлык: слова
о четкой предначертанности мата.

Люблю, бросая мысли на весы,
так остро длить неверные часы,
холодный, злой, – как строй полярных игол,

чтоб в синих дымах медленных сигар
невидимый, но исступленный прыгал
скрещенных шпаг серебряный пожар.

* * *

Вдали расплавленно-топазовая
величественная река
колышет, в зеркале показывая,
павлиновые облака.

Горят серебряными блюдечками
кувшинок пышные цветы.
Иду, помахивая удочками,
на обомшелые плоты.

Невнятные, неутоляемые
в душе томления плывут,
и облачки, волной качаемые,
в невозвратимое зовут.

Зовут в эпохи знойно-пурпурные,
в разгулы молодой земли, –
когда слонов рычанья рупорные
во влажном воздухе цвели.

Когда вот я, ночлег отыскивая,
впервые подбежал к реке

и, смуглою рукой разбрызгивая
волну, у скал прилег в песке.

И снова, эту быль показывая,
меня волнуют облака,
и нежит гаснуще-топазовая
величественная река.

НОРД

НИНА, – ТЕБЕ.

МУЗЕ

Я груб и неумыт, я на ветру дрожу
В одежде, порванной, истленной.
Мне надо жить и есть, – и по дворам хожу
С тобою, с обезьянкой пленной.

В лоскутной курточке, с гремушкой, с бубенцом,
Вся опушившись шерстью зябкой,
Ты сахару кусок сжимаешь кулачком, –
Такою человечьей лапкой.

И, озираючись на раздраженный хлыст,
Ты представляешь всё, что надо:
Как служит мессу ксендз, как плачет гимназист,
Как вьется меж ветвей дриада.

Мальчишки норовят тебя толкнуть, щипнуть, –
Ты ничего не замечаешь.
Ты слабо кашляешь и вдавленную грудь
Ладонью узкой согреваешь.

Отдать бы, уступить! В тепло!.. Но без тебя
Кто денег мне на бубен бросит?
И вот тебя вожу, терзая и знобя,
Пока обоих смерть не скосит!

12.X.1922

* * *

От звезд тревожным ветром тянет,
Сквозь ветер чайка промелькнет
И точно камень в темень канет
За фосфористой нитью вод.

И я один. И шаг за шагом
По отсыревшему песку
Влачу навстречу беглым влагам
Мою старинную тоску.

Слеза к слезе, ко влаге влага,
А к сердцу путь кратчайший – где?
Его прокладывает шпага
В освобождающей вражде!

25.IX.1923

АЙСИГЕНА

Кто изваял ей каблучок
Из пальмы золотой,
Чтобы паркет орхестрой лег
Под легкою пятой?

Кто ионийские глаза
Ей настежь распахнул,
Когда веселая гроза
Горами гонит гул?

Кем ключевой расплескан смех
Над бедной жизнью той,
Где в прахе распластался грех
Под легкою пятой?

О, стрелка звонкая моя,
О, Айсигена, Ты!..

Зачем ты вьешь, тоску тая,
Венок из высоты?

Как будто хочешь закрепить
Навеки твой полет?
Венком ли можно умолить
Земли могильный гнет?

Как ни тоскуем, все уйдем
Мы в Прозерпинин дом
И асфоделевым венком
Венчаться будем в нем.

Но будет мать-земля легка
Тем, кто не мял цветы,
А ведь нежнее ветерка
По ней порхала ты!

29.VI.1925
Коктебель

* * *

Стаял точно льдинка час,
Ночь туманом распахнулась.
Жизнь истает ломкой льдинкой,
И в туман прольется время.

Но не жаль мне ничего.
Жаль мне домика пустого,
Где в окне желтела свечка
И мерцал клеенкой столик.

Жаль мне ящерки ручной,
Что доверчиво дышала,
Разведя резные лапки
На моей ладони твердой.

Жаль пушистое саше,
Что порою из комода

Вынимала мать, и сладко
Я вдыхал забвенный запах.

А всего больнее жаль,
Что никак я не умею
Рассказать об этих малых
Милых малостях былого...

Ломкой льдинкой тает жизнь,
И в песок уходит влага.
О, когда б песок отволгший
В гроб мне бросить не забыли!

4.VI.1923

* * *

Белый дом, большой и ровный,
Над ракушечною дюной.
В чисто вымытые окна
Бьется ветер и закат.
Посредине дверь открыта
На балкон полуаршинный,
И в гостиной старой люстры
Блекло блещут хрустали.

Целый день брожу по дюне,
Целый день гляжу на окна:
Я из окон этих слышал
Медной скрипки медный звук.
Неужели та старуха
В кружевной, в крутой наколке
Ревматической рукою
Заставляет петь смычок?

Неужели в старом сердце
Вместо помыслов о гробе
Есть такая буря скорби,
Сумасшедшей страсти взмыв?

Неужели Страдиварий
Палисандровою скрипкой
Перевесил гроб дубовый
На решающих весах?

Тишина в тяжелом доме.
Гуще ветер в небе темном.
Дробной галькой сыплет море, –
И такая пустота!
Поменяться бы судьбою,
Холод свой отдать за старость,
За клокочущую скрипку,
За бунтующую боль!

1923

* * *

«Neue Zeiten, neue Voegel,
Neue Voegel, neue Lieder»…[1]
Ах, неправда, милый Гейне:
Песни те же, что всегда.
Слишком быстро вянет время,
Слишком быстро тело стынет,
Чтоб успели мы придумать
Песни новые для всех.

Десять весен, лун сто двадцать,
И уже блестят седины,
И в тоске непоправимой
Успеваем лишь одно:
Поцелуем рифмы легкой
Чуть коснуться уст умерших,
А о новом, несказанном,
Вновь из гроба промолчать.

<VII–VIII.1924>

[1] Новые времена, новые птицы,
Новые птицы, новые песни… (*нем.*)

* * *

Семечки полускать у ворот…
Дни летят плевками шелухи.
Вырастает месяц, пухнет год, –
Но медлительны стихи.

Где полынный холм и озерцо?
На обрыве красной глины срез?
Запрокинутое в высь лицо, –
В голубой загар небес?

Не читал тогда совсем стихов,
Складно слово молвить не умел,
А в ушах степного ветра зов
Козьей флейтой пел и пел.

13.VII.1922

ЛЬСТЕЦ

Шумит английский клуб. Колокола гудят.
А он с фельдъегерем в певучий Кремль въезжает
И проведен к царю. И оловянный взгляд,
Как в ранцы гвардии, в его глаза вползает.

«Ты образумился, надеюсь, там, в селе?
Сам буду цензором»... Поцеловать ли руку?
Пять черных виселиц в адмиралтейской мгле!
Сто двадцать – в рудники, на каторжную муку!

А там – псковская глушь. Там нету ни души.
Там музу резвую тоской заспишь, задавишь.
Там... Не могу туда... Капральский бас: «Пиши,
Твое отечество и мой престол прославишь».

А? Право? Может быть. Что если станс-другой
Кого-нибудь из тех, товарищей, кандальных,

Хоть в чем-нибудь спасет? что разберет *такой*?
И долу клонятся ресницы глаз опальных.

А после, в номере, сидит он до утра,
То бакен дергая, то кулаки сжимая.
И губу закусив, ведет, перо ломая:
«В надежде славы и добра»...

4.II.1922

БЕТХОВЕН

То кожаный панцирь и меч костяной самурая,
То чашка саксонская в мелких фиалках у края,
То пыльный псалтырь, пропитавшийся тьмою часовен, –
И вот к антиквару дряхлеющий входит Бетховен.

Чем жить старику? Наделила судьба глухотою,
И бешеный рот ослабел над беззубой десною,
И весь позвоночник ломотой бессонной изглодан, –
Быть может, хоть перстень французу проезжему продан?

Он входит, он видит: в углу, в кисее паутины
Пылятся его же (опять они здесь) клавесины.
Давно не играл! На прилавок отброшена шляпа,
И в желтые клавиши падает львиная лапа.

Глаза в потолок, опустившийся плоскостью темной,
Глаза в синеву, где кидается ветер огромный,
И, точно от молний, мохнатые брови нахмуря,
Глядит он, а в сердце летит и безумствует буря.

Но ящик сырой отзывается шторму икотой,
Семь клавиш удару ответствуют мертвой немотой,
И ржавые струны в провалы, в пустоты молчанья,
Ослабнув, бросают хромое свое дребезжанье.

Хозяин к ушам прижимает испуганно руки,
Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки;

Мальчишка от хохота рот до ушей разевает, –
Бетховен не видит, Бетховен не слышит – играет!

8.VI.1923

* * *

Был весенний, был тревожный ветер.
По булыжникам трещали дрожки.
Чешуей по крышам разбегались
Абрикосовые черепицы.
За плечами восемь лет сгрудилось,
Впереди гудело двадцать, тридцать!
Я изнемогал от ноши буйной
На меня обрушившейся жизни…

Звякнув, дверь гостиницы раскрылась,
Протолкнула в полутемный номер,
А в ушах еще буянил ветер,
Черепицы пред глазами мрели.
Ах, не знал я, что такой тоскою
Навсегда меня тот день исполнит,
Что всю жизнь я протомлюсь любовью
К этому коротенькому утру!

1.III.1924

* * *

Этот корень виноградный,
Узловатый и тугой,
Я схвачу рукою жадной
И конец нажму ногой.

Мы поборемся упорно
У зазубренной скалы,
Над которою просторно
В небе плавают орлы.

Я сломлю его крутую
Туго скрученную плоть,
Чтобы трубку золотую
Изогнуть и проколоть.

Чтобы горький дым табачный
Взвился в небо вдоль скалы,
Где плывут в простор прозрачный
Равнодушные орлы.

Чтоб хоть в этих фимиамах
Мне прославить удалось
Всех высоких и упрямых,
Презирающих насквозь!

30.VI.1925
Коктебель

* * *

Ну что же: кончено! Ушла теперь и ты.
А время так же пролетает,
И полная луна спокойно с высоты
Над белой церковью сияет.

Была ты взбалмошной, доверчивой и злой,
Свободу звонкую и звонкий стих любила,
Но женская ладонь горячею золой
В меня сыпнула, ослепила.

Зрачок дымящийся тебя не различал.
Я верил: ты всегда была и есть со мною,
И всюду полетишь, куда б я ни помчал,
Покорной будешь и ручною.

И не тебе – другой я посвящал стихи.
С тобою некогда и незачем мне было
Делить и трезвый ум, и резвые грехи,
И на ночь не тебя рука моя крестила.

О, как ты мучилась, как ревновала ты!
И тихо умерла второю ночью мая.
И мертвая луна льет холод с высоты,
Твой трупик худенький лучами обнимая.

Да, майской полночью мне стало тридцать лет.
Томительно влачусь под ношею земною.
О, молодость моя! Тебя со мною нет!
Да и меня теперь уж нет со мною!..

27.IV.1924

* * *

Я постарел. О чем теперь мечтаю?
Не о лужке пастушьем, не о балке,
Зияющей в солончаках морозных
Под киммерийским под полынным солнцем.
Я не хочу ни парусного бота,
Свистящего сквозь августовский фосфор,
Ни хриплого авто, что вылетает
На круглый мост чрез Зимнюю Канавку.
Что мне ковры йомудские и синий
Фаянс, и колкий сахар кокаина
У рыжего художника, к кому
Мы из театра заезжаем на ночь?
Мечтается столовая большая,
Часов стеклянный гроб, где древоточец
Отмеривает время, вата в окнах,
В углу багаж еще в наклейках свежих,
Сознание, что всё осталось там,
Где станции, где алебарды стрелок, –
И ты в соседней комнате звенишь
И плещешь умывальником, и скоро,
Вся свежая, и грустная немного,
И добрая, придешь и сядешь рядом...

2.IX.1922

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Над выкругленным лбом взлетает белый кок,
Задорно с бальным ветром споря, –
И эта седина – как снежный островок
Среди каштанового моря.

Так было с юности. Но протекли года,
Румяные сошли загары,
Метнув на грудь звезду, умчались без следа
Наполеоновы гусары.

Есть рассказать о чем! Но резв мазурки звон,
Но сине юной жженки пламя, –
И чувствует себя как будто старым он
Под боевыми сединами.

Закрасить эту прядь! Искусный куафёр
Варит канадские орехи.
Теперь та девочка не будет, кроя взор,
Откидываться в звонком смехе.

Теперь та девочка... Но в эти дни поэт,
Пьян отгремевшею войною,
В пунш обмакнув перо, чертит его портрет
Всё с той же славной сединою.

С ней блещут серебром под инеем штыки,
Березина звенит под шпорой,
И заливаются военные рожки
Сквозь ямб, раскатистый и скорый...

Прославленную прядь велел он вымыть вновь.
Гордится этим пенным грузом.
Что девочкин смешок? Что светских дам любовь,
Когда он стал любезен Музам?

6–7.XI.1923

* * *

Вторую неделю из тундровых недр
Серпом свистоносным проносится ветр.
Над нищею глиной, не ведавшей хлеба,
Лазоревой льдиной изгорбилось небо.
Ни дома, ни дыма. Пустыня пустынь.
Бесснежная буря и льдяная синь.

Надвинув на лоб меховой капюшон,
Клюкой заостренной он пробует склон.
По склону скользит каблуком оледелым
И падает, стукнув коснеющим телом.
Стон скрипнул о зубы и скрипом замолк,
И щиколка щелкнула точно замок.

И час, и другой он лежит недвижим,
И ногу гнетет раскаленный зажим,
И боль раздувается шаром огромным,
Безумным Сатурном, багровым и темным.
Сатурн зачинает созвездийный бег, –
И в пламень и в лед пролетел человек!

Круженье, круженье – миров или строф?
Стих Пушкина цедится между зубов.
Большая Медведица лапу простерла,
Звездою касается мерзлого горла.
Звездинкой, снежинкой стих падает в твердь.
Изгнанник-поэт, это лучшая смерть!

13.XI.1924

* * *

В песчаных степях ледяных
Проведена долгая насыпь.
Когда-то по ней поезда
Стальными осями скрипели.

И прыгая гулко, вагон
В другой упирал буферами,
И пасть паровоза огнем
В беспалые шпалы дышала.

И радугою нефтяной
Струистые выплески топок
Блистали на мерзлом песке,
Его орденами даруя.

И снова метлой сторожа
За орденом орден сметали,
И вновь их должны заслужить
Работою шпалы и насыпь...

В песчаных степях ледяных
Теперь не бунтуют вагоны.
И редко отара овец
Пройдет по заржавленным рельсам.

Но в дни гробовые зимы,
В декабрьскую дикую стужу
Пойди сквозь безумный буран,
Сквозь лунную бурю пробейся.

Увидишь: седой паровоз,
Без пара, и рева, и лязга,
Тринадцать вагонов промчит,
Вагонов без тела и веса,

И в каждом вагоне в окно
Увидишь людей исступленных
И мертвенный блеск эполет,
И блеск обнажаемых сабель.

И волосы этих людей
Как пепел пушисты и седы,
И лица латунные их
Столетней морщиной прорыты.

Но грозных раздоров вино
Им гневом запенило губы.
И верность, и гибель презрев,
Они обнажают оружье.

То мертвые штабы летят,
Рубя палашами победу.
И шпалы с площадок они
Глазетовой кровью даруют.

А мертвый седой паровоз,
Погасшею пастью зияя,
Беззвучно глотает простор,
Глотает версту за верстою.

И вечно, и вечно они
Должны по дороге той мчаться,
Без отдыха, в ужасе, вновь
Рубя палашами победу.

А шпалы, – а тем всё равно:
Как прежде звездой нефтяною,
Так ныне они почтены
Глазетовыми орденами.

31.XII.1924

* * *

Вместо воздуха – мороз.
В безвоздушной глубине –
Плоский, легкий, вырезной,
Алюминиевый Кремль.

На реснице у меня
Колкий Сириус повис,
Промерцал и отвердел
Неожиданной слезой.

Ах, недобрый это знак,
Если плачешь от красы.
Это значит: в сердце нет
Никого и ничего.

15.III.1924

У ГРОБА БРЮСОВА

Тяжелый серебряный креповый свет
От крепом затянутых накрепко ламп.
В дубовом гробу костенеет поэт,
И костью над гробом ломается ямб.

Как странно звучит панихида стихом.
Как странно и стих в панихиде звучит.
Кость мыши летучей, разрыв и разлом,
Крошится о крестик, нашитый на щит.

О, магия слова! Игрушка ночей!
Вот скулы камфарные вдвинуты в гроб.
А ну-ка, попробуй под крепом лучей
С крахмальной подушки поднять этот лоб!

И вьются летучею мышью слова
Под крепом затянутых накрепко ламп,
Крошится мышиною косточкой ямб,
В гробу – парафиновая голова.

20.X.1924

* * *

Поникаем в тугие диваны,
Закрываем устало глаза,
И – пускай в отдаленные страны
Золотая уходит гроза.

Не откликнемся ветру и грому,
Крупный запах дождя не вдохнем.
Скука шорхает мышью по дому,
А мышами уютнее дом.

Пусть гремит и грохочет на воле,
Напрягается времени бег.
От работы, и страсти, и воли
Беспримерно устал человек.

И печальное право и счастье
Опоздавшим родиться даны:
В безжеланье и в безучастье
Упокоить последние сны.

17.X.1925

* * *

Засинели с неба снежного,
Как былые мечты мои,
Волей ветра неизбежного
Мягко прорванные полыньи.

Вверх плеснуло сердце тесное,
Точно слыша призыв трубы:
Там Медведица небесная
Запрокинулась на дыбы.

И лепешкой белой падает,
Быстро падает вглубь луна,
Ветром оттепели радует
Неожиданная весна.

Мнится: выйду, – за воротами
Лукоморье легло дугой
С опаданьями и взлетами
Пены белой и голубой.

И опять под легкой ношею
Зачертит по волнам ладья,
И опять такой хорошею
Станет бедная жизнь моя!

1924

* * *

Умолк вечерний дождь. И горних облак вязь
Пылает в воздухе промытом.
Матрос налег на руль. Упруго накренясь,
Бриг двинулся, дрожа бушпритом.

А буревестники над пепельной волной,
Скользя, стеклянным кличут кликом,
Но мысли мерные рокочут надо мной
О непреклонном и великом.

Да, воскресить, друзья, великолепный бред,
Сны о Колхиде несравненной,
И золотым руном, как знаменем побед,
Отяготить корабль надменный!

Необозримые потом проплыть моря
И, руль направя к землям старым,
В родимой гавани повергнуть якоря,
Гордясь богатством и загаром!..

И расступается пред водорезом Понт,
Музыка ветра мачту клонит,
И бронзовым зерном, расплавя горизонт,
Закат ссыпается и тонет...

Друзья! Созрела жизнь! Уже прошел июль,
И нам одна осталась вера:
Мы жаждем подвига. Мы нажимаем руль
Как бы гашетку револьвера!

30.I.1926

* * *

Никогда не забуду я этот сухой известняк,
Оборвавшийся круто навстречу прибою и бризу.
Никогда не забуду я этот соленый сквозняк,
Что полынью звенит, пробегая обрыв по карнизу.

Я сполз по скале, повторившей удары волны,
К золотому песку, к византийскому черному морю,
Где на черной волне поплавками стоят бакланы,
А вдали «Антигона» уходит, покорная горю.

Но какое мне дело до этой печали чужой,
До печали плывущих навеки в чужие пределы?
Подо мною скала, окрапленная мраморной ржой,
Предо мною волна, закипевшая кипенью белой…

На прогретом песке я лежу и слагаю стихи;
Да уйду я, как день, да погибну я попусту, даром, –
Но певучая лень, но бездельные эти стихи
На любимую брызнут горячим и звонким загаром!

6.II.1926

* * *

Февраль. Морозный луч на крашеном полу.
Сверкает кафлями большая печь в углу.
Мне утренний досуг игрой заполнить надо, –
И вспоминается бывалая отрада:
Открыв нехитрую укладочку мою,
Рукою бережной я тихо достаю
Давно лежащие в истрепанной бумажке
Три черных свечечки, три угольных монашки;
На трехкопеечник одну из них кладу,
Зажженной спичкою у острия веду,
И конус крошечный вдруг зацветает жаром
И дышит сладостным, как росный ладан, паром,

И книзу медленно сплывает слой огня,
Струя отрадою и миром на меня...

Сгорела свечечка. Но конус не распался,
Был прежде угольным, а пепельным остался,
Хоть смертью чистою покорно заплатил
За кратковременный, за благовонный пыл...

Вот так и мы с тобой. Затлев душистым жаром,
Пройдем по времени и отойдем недаром:
Посмотрит кто-нибудь, внимательный, в веках
На нежные стихи – сгоревшей жизни прах!

6.II.1926

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ

Ты здесь не найдешь знаменитых могил,
Куда привозили б вождей на лафете,
Где б юноша глупый слезою почтил
Лирический вымысл о нищем поэте.

Другая здесь гордость, иная мечта
Соскучилась в замкнутом издавна круге:
Здесь орден Георгия – образ креста,
Какие встречаются только на юге.

Над каждой могилою – орденский знак,
Плита перед ним – не плита, а кираса,
Чтоб ведомо было: укрылась во мрак
Особая, раз приходящая раса.

Одни из Парижа, а те из Афин,
Одни из Далмации, с Мальты другие,
Вот сын Барселоны, вот Генуи сын,
Вот имя звенит, как венец Византии.

И угль карбонара, Фанара фонарь,
Мушкеты Этерии, шпаги Вандеи

Здесь, в южной России, легли под алтарь,
На отдых последний легли в мавзолеи…

Бывает однажды в столетье пора,
Когда неудачники сходятся вместе
На службе суровой чужого двора
Мечтать о победе и плакать о мести.

И крепости, флоты, заводы, порты
Родятся и крепнут присягою строгой,
Пока на кладбище не встанут кресты,
Как орден мечты над неверной дорогой...

Я, поздний потомок нездешних кровей, –
Недаром Георгий мне выбрано имя, –
Хочу я в такой же сойти мавзолей,
Таким же крестом поравняться с другими!

24.II.1926

* * *

В комнате этой всё живо и радостно мне.
Синяя карта широко висит на стене,
Мраморный глобус округло надулся в углу,
Клипер игрушечный выпрямился на полу.
А за высоким, весенне промытым окном
Воздух гуляет и машет горячим крылом;
И по излучью до дна ослепленной реки
Баржу, груженную сеном, влекут бурлаки.
В комнате этой впервые почуялось мне,
Сколько простора прильнуло к домашней стене,
Сколько прозрачного воздуха в мире моем,
Как атлантический сладостен мне водоем!
В комнате этой, глаза прикрывая рукой,
Я замечтался о гордой свободе мужской,
Я захлебнулся полетом путей и побед, –
И тетивой зазвенел и напрягся поэт…

12.III.1926

* * *

На выезде был неотворчивый дом,
И бледная девочка в окна глядела,
А дальше, за парком, над желтым прудом
Весна ручейками кипела и пела.

Я часто бродил там на звонком ветру,
Весне отвечая румянцем и смехом,
И речка и ветер вступали в игру,
Плеща по моим рукавам и прорехам.

Я счастлив там был на весеннем ветру,
Я шлепал по лужам, по кочкам я прыгал,
Разглядывал жадно лягушью икру,
Будил муравейник меж елочных игол.

И вырезав тросточку с милой корой,
Тритонов набрав и другие трофеи,
Весь легкий от голода, шел я домой
Сквозь голые, полные ветра аллеи.

А бледная девочка в темном окне
Глядела мне вслед, неотступно глядела, –
Но гордому десятилетнему мне
Какое до пленницы-девочки дело?..

Чужая весна за окошком моим
Мальчишеским смехом играет и плещет,
И вслед проходящим, веселым, другим,
Тоска моя долго глядит и трепещет.

И взрослый досуг мой тосклив и тяжел,
Особенно тем, что я радость изведал,
Но мимо затворницы важно прошел,
В окно к ней не стукнул и тросточку не дал...

23.III.1926

СОН

За мокрым садом, под лазурью дикой,
Под аспидной, под грозовой лазурью
Изламывался острыми углами,
Охватывая впадины горы,
Огромный дом. Как будто зеркала,
Как черные литые зеркала,
Блистали окна. Был ли то музей,
Храм, или мавзолей, иль просто память, –
Но там, по гулким комнатам, по залам,
Где к потолкам прильнул широкий ветер,
Там проходили, там стояли, стыли,
Там жаловались вечною обидой
Незнаемые, но родные дива.

В угольной – видел я – была печать,
Искусно вырезанная по яшме:
Как будто слово, лилия и лев.
Ее там не было, – но без нее
Совсем бы этой комнаты не надо…

В другой мерцала гипсом золотым
На постаменте чья-то голова,
Не знаю чья, – но не было милее,
Но не было святее человека,
Чем этот, – я не знаю, кто был он,
Но если бы его я в жизни встретил,
Я мог бы для него пойти на казнь,
Я мог бы уступить ему жену…

А в третьей из угла ко мне ползла,
Повизгивая, рыжая собака;
Глаза ее мерцали, как светляк
Июльской душной ночью у дороги.
Я знал, что самый низкий, самый черный
Мой грех – я совершил против нее,
Я знал, что и тысячелетья кары

Его не искупят… Я никогда
Не видывал собаки этой… Дальше…

Кто шарики стеклянные рассыпал
Здесь по паркету? Отчего луна
Блестит в них голубыми волосками?
И отчего я должен перечесть
Их все и каждый на ладони взвесить?
И если я не выполню того,
То стану вдруг пустой сушеной кожей
И здесь качаться буду на ветру,
А шарики звенеть и прыгать будут…

А в этом зале, как собор, высоком,
Посередине блюдечко стоит,
Наполненное жидкостью прозрачной,
А в жидкости утоплена и тускло
Сверкает, маленькая, как брелок,
Изогнутая золотая шпора,
И если блюдечко слегка толкнуть, –
То воздух превратится в ритм, и сразу
Обрушатся на землю небеса…

А вот идет, закутанная в пеплум,
Высокая, в два человечьих роста,
Неведомая женщина. Гляжу:
Осыпаны миндальные персты
Серебряною перхотью проказы.
Она берет из воздуха сосуд,
Неправильный, нечистый, шишковатый, –
Я сразу понимаю, что она
Цикуту пьет из черепа Сократа…
И мне уже невыносимо здесь,
Я пробегаю по чудесным залам,
И мне вослед Гуигнмы ржут, и старый,
Весь восковой и высохший Вольтер
Парик швыряет, превратясь внезапно
В те ножницы, что я сломал вчера…

4.IV.1926

* * *

Мокрая медная чашка,
Мальва крахмальная в ней,
Солнце закатное тяжко
В медь накидало огней.

Я подхожу и хмелею
Этим холодным лучом, –
Но ни о чем не жалею
И не молю ни о чем.

Я погляжу, как пылает
Мертвая слава цветка,
Как на меня наплывает
Пышности медной тоска.

И, вспомянув Македонца,
Перевернувшего шлем,
Выплесну мальву и солнце
И позабуду совсем,

Чтобы упрямо и прямо
Двинуться вновь по песку,
Чтобы незрячая яма
Мне ослепила тоску!

17.II.1926

ПЛАНЕР

ПЛАНЕР

Мячик футбольный тиская,
Выкруглилась фанера, –
Тело супрематистское,
Веретено планера.

Гнутся, как брови умные,
Вздрагивая от страсти,
Крылья его бесшумные,
Кинутые в пространстве.

Это не рев и ржание
Конных бригад мотора, –
Ветреное дрожание,
Пульс голубой простора.

Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина.

Именно над могилами
Тех, кто верил химерам,
Скрипками острокрылыми
Надо парить планерам.

Там, где камни ощерились,
Помнящие Гомера,
Надо, чтоб мальчики мерялись
Дерзостью глазомера.

Там, над памятью старого,
Надо, чтобы играла

Юная блажь икарова
Мускулом интеграла.

И́наче требовать не с кого,
И́наче не нужны нам
Радуги Богаевского,
Марева по долинам.

Надо ж в горнем пожарище
Выверить (помощью метра),
Правда ль, что мы – товарищи
Воздуха, неба, ветра?

13–14.VIII.1933

ГРОЗОВОЙ ФРОНТ

ТРУДОВЫЕ СЛОВА

Я люблю эту трудную смесь:
трудовое арго,
Столь непринятое
в поэтическом доме,
И я знаю: второй
для него народится Гюго,
И вагранка с Ваграмом
поспорит о громе!

Я люблю эту смесь,
эти вздутые мускулы слов,
Что трудом налились
и упорством созрели:
Шерстобит, стеклодув,
краскотер, сукновал, рыболов, –
Эти парные сплавы
удара и цели.

Косный мир и формующей воли
горячий клинок,
И (грамматика здесь мне
подскажет сравненье)
В них предмет и глагол,
в них «действительный» слышен «залог»,
В них действительно
гордый залог возрожденья!

Я люблю их законченность,
их смысловой глазомер,
Безошибочно ставящий
вехи и грани:
Вал есть вал, шкив есть шкив,
бессемер – он всегда бессемер.
Никакой элоквенции!
Нет колебаний!

Но в их точном чекане –
широкая воля мечте,
Полной гула и силы,
земной и румяной:
Повтори, прошепчи, –
и в слова обыденные те
Отдадут свою душу
эпохи и страны.

В трудовом словаре
собрались отовсюду слова.
Вот голландские корни,
с их привкусом моря,
С горьким запахом смол, –
и кружится уже голова,
И огни маяков
воскресают в просторе.

Вот немецкие корни, –
в них готика шиферных крыш,

Мейстерзингеров песни,
работа на диво,
И кожевник веселый,
считая гильдейский барыш,
С подмастерьями пробует
доброе пиво.

Вот французские корни, –
в них ломкий фарфоровый звон,
В них поросшие бархатом
ткацкие станы,
Хищный профиль Кольбера;
и в шелковом свисте знамен
Королевскую конницу
бьют тиссераны!..

Пусть филологи плачут,
что смолкла навеки латынь,
И пуристы скорбят,
что язык засорился, –
Звон латыни живет
средь железных фабричных святынь:
Он в моторах и тракторах
вновь повторился.

А в смешеньи наречий
нам новый язык расцветет!
За его красоту
ты борись и воинствуй:
Трудовая латынь,
обвивая народы, ведет
От единства труда
к мировому единству…

И я знаю: придет он,
сверкающий никелем век,
Санаторно промытый
сонатным озоном,

И в его языке
наших слов неуверенный бег
Отольется литавровым звоном!

18–19.IV.1928
Симферополь

ПЕРЕПЛЕТЧИК

Остро пахнет золотая кожа;
Выделанным ласковым сафьяном
Весь завален узкий подоконник,
А окно распахнуто во двор;
Во дворе чумазые ребята
Голубей пугают; бабка Марья
Пронесла капусту с огорода, –
Всё как было тридцать лет назад.
И, как прежде, старый переплетчик,
Оседлав широкий нос очками,
Сбрасывая со станка обрезки,
Расстилает на станке сафьян;
Нож свистит вдоль древнего аршина,
Прорезает мерянную кожу;
Четырехугольные пластинки
Аккуратной стопкою лежат.
Двадцать штук. Серьезная работа!
Если хоть на волосок ошибся –
Пропадает порченая шкурка,
А цена-то шкурке нынче рубль;
Раньше бы ее подклеил просто:
Ничего, что переплет с изъяном, –
Книгу барин-то воткнет на полку,
Красовался б только корешок.
А теперь пошла иная книга,
И заказчик не такой, как раньше:
Ленина «Собранье сочинений»
В коже заказал рабочий клуб.
Надо сделать, чтоб на загляденье,
Надо сделать, чтобы без износу:

Сам Ильич-то был характер твердый,
Ну – и переплет ему под стать!
А читать-то эти книги станут
И тогда, когда и нас не будет, –
Пусть же видят бережные внуки
Наш умелый, терпеливый труд…
И любовно старый переплетчик
Пригоняет кожу на форцессы,
Стукает ольховою киянкой
По вздувающимся корешкам.
К завтрему просохнет. Надо будет
От себя сюрприз ребятам сделать –
Вытеснить в цветах и завитушках
Имя ЛЕНИН вдоль по корешкам…
У окошка встал мальчонок смуглый
И болтает, шепелявя малость:
«Дедушка, я буду пионером…
Дедка, расскажи про Ильича…»

<1924>

ТОТ ГОД

Он тучей медною прошел,
Набухнув молнией и громом,
Над каждым лбом и каждым домом,
Над морем бед и морем зол.
Огромный год, девятьсот пятый,
Поник, расстрелянный, распятый,
Но над могилой боевой
Горячей вскормленные кровью
Взошли ростки могучей новью,
Неистребимой и живой!
И мы, обласканы победой,
Теперь стоим, глядя назад,
И вспоминаем явь и бреды,
И слышим стихнувший набат.
И с доброй грустью вспоминаем
Те молодые мятежи,

Когда казались первым маем
Любой недели рубежи.
И вспоминаем с гневом новым
Тот волчий, тот свирепый ляск
Царя, что ливнем лил свинцовым
В людей, сыскавших путь в Дамаск!
Да, на страницах ваших библий
Нам не прочесть про зимний день,
Когда перед дворцом погибли
Сыны наивных деревень.
Когда в бреду, в огне расстрела,
Изменою поражена,
Вдруг опьянилась и прозрела
Священной яростью страна!
В часовне Иверской пугливо
Лампад мигнули огоньки,
И сотряслись в разгуле взрыва
Кремлевских древних стен коньки.
В щепы обращена карета,
Зардели кровью снег и грязь,
И стынет вензель эполета
Над месивом, что было – князь!
И взмыливается, как пена,
Кровь, нарастает с каждым днем:
Уже гудит разгром Мукдена,
Цусимы бесится разгром.
И трупные чернеют пятна
У царской власти на лице,
Но царь упорно и невнятно
Приказ бормочет о свинце.
Отлитою из пули пломбой
Он хочет заключить позор, –
И снова отвечает бомбой
Уже безудержный террор!
А там, в губерниях, ночами,
Из брошенных дворянских гнезд
Веселое восходит пламя
До удивляющихся звезд.

И откликается пожарам
Ударом пушек громовых
Корабль «Потемкин», гневом ярым
Бушуя из-под лат литых.
И к осени весь флот мятежит:
Кронштадт, Свеаборг, вновь Кронштадт.
И Севастополь бурю режет
Приказом Шмидта наугад!
И вдруг в крутую летаргию
Повсюду застывает труд,
И крепость, что гнетет Россию,
Холодным приступом берут!
Твердыня сдвинута! Свободой
Доверчиво упоена,
Готова позабыть невзгоды
Вся необъятная страна.
Но тут царь-сыщик, царь-убийца,
Уйдя во тьму венчанным лбом,
Лукавым жестом византийца
Устраивает вновь погром.
Рубль, водка, низкий лоб, дубина –
Вот скипетр тот, держава та,
Которой воля властелина
По всей России разлита.
И напряглась последним боем
Ожесточенная земля:
Пошла Москва рабочим строем
На стены древние Кремля!
Но царской гвардии снаряды
Сильней рабочих кистеней, –
И взяты, взяты баррикады
На много лет, на много дней.
И страшную заводит песню
Пугливо-мстительный расстрел,
И груды безымянных тел
Покрыли сдавшуюся Пресню!..

Мы не забудем этот год,
Когда впервые треснул лед

Под смелой, под горячей кровью, –
Чтобы, спустя двенадцать лет,
Великий ледоход побед
Нам зазвучал весенней новью!

1925

КАНУН

Голубые шелковые ниши;
Лоск лакейских фраков и салфеток;
Скрипки расслоились в зеркалах;
Канонада реже, но не тише;
Маузер матроса будет меток;
И со стен косят и лгут афиши:
«Красным город я не сдам».

Пропадай! А ну-ка, ну-ка, скрипки,
По-румынски, сквозь туман коньячный,
В пудру, в рану у лопатки, – жарь!
– Что, полковник? – Трубка из улыбки
Проторчала, пыхнул дым прозрачный…
Трубка… браунинг… И вызвизг зыбкий.
Пуля? Нет: тапер сорвал струну.

Пудра. Душно. Воздух полон пудрой.
В ноздри так набьется прах могильный.
Не всегда уложат наповал…
Корабли? Мерзавцы… И с лахудрой
Погибай здесь, выкидыш бессильный!
Лейтенант английский… Ишь – премудрый!
Продырявить бы тебя насквозь!

Скрипки, скрипки, скрипки… Канонада!
Почему там в зеркале матросы?
Почему такая тишина?
Ух… почудилось… Скорее надо
Срезать эти пудреные косы,

Стулья увязать, чтоб – баррикада…
– Что? Полковник? – Он сошел с ума!

<1923>

ПЯТЬ ЛЕТ

Пять лет! Пять черепах железных!
О, танки времени, – их строй
Прополз в безумствующих безднах,
В разгуле бури мировой,
И укатал в поля тугие
Набухший кровью чернозем, –
И освеженную Россию
Теперь мы плугом прогрызем…

Что видели! Какие были
Катились бредом над землей
Со дня, когда гудки провыли
Как бы архангельской трубой;
Когда спокойно и нескоро,
Винтом взрезая синеву,
Вошла мятежная «Аврора»
В порабощенную Неву!

Шел бой в Москве и в Петербурге,
Страна в жару хрипела, – вновь,
Всё вновь сермяжные хирурги
Штыком ей отворяли кровь.
Ей предвещали гибель злую
Крахмаленные лекаря, –
Но пела про судьбу иную
За мглой всходившая заря.

Ее – кто чуял? Лишь рабочий,
Вставать привыкший на заре,
Рабочий, знавший эти ночи
На баррикадах в Октябре.

Салютовал ей треск мгновенный
Винтовок, взятых на прицел,
И Александр Благословенный
Нам о «Двенадцати» пропел.

Немногие певцу внимали
Из тех, кто внемлет звуку слов.
Иные на Урал бежали
В сень охранительных штыков
И там бессильно ожидали,
Что обратятся вспять века,
И, точно божий крест, лобзали
Кровавый кортик Колчака.

Иные, позабыв заветы
Патриотической тоски,
Вели на русские Советы
Иноязычные полки.
Иные, сбившись тесным рядом
И в канцеляриях засев,
Обрызгивали трупным ядом
Чуть зеленеющий посев.

Так старой жизни, лжи бывалой
Пришел великий листопад,
И мертвых листьев покрывала
На робкой озими лежат.
И грянули зима и холод…
О, да, мы знаем этот сон:
Морозный мрак и грозный голод
В пурпурном трепете знамен!

Мы не забудем, как грозила
Нам гетманская булава,
Как на Дону крепчала сила
Под жадным лозунгом: «Москва!»
Как шла она, послушна зову,
Детей вздымая на штыки,

Хватая в пьяную подкову
Красноармейские полки;

Как шаек рой в лесах скитался,
Как хлеб шел дымом в глубь небес,
И на Коммуну подымался
Бандита яростный обрез;
Как, сея смерть зерном каленым,
Губя и нас, и тех равно,
Метался меж Днепром и Доном,
Весь в пене бешенства, Махно.

Мы помним страшные вокзалы,
Их ярость хриплую, когда
Толпою брались одичалой
Изглоданные поезда;
Когда, во тьме таясь полночной,
Повиснувши на буферах,
Великий промысел мешочный
Страну развеивал, как прах.

Когда шагал в простор по шпалам
И полз в щелях пятнистый тиф,
Как груду дров, под снегом талым
Тела разбухшие сокрыв;
Когда чумой томил и маял
Клейменный трупами откос,
И панихиды сыто лаял
На пустырях бродячий пес…

Всё видели, всё пережили:
Кровь, голод, мрак, измену, мор, –
Но ни винтовок не сложили,
Ни прекратили гневный спор.
И ныне радостно, широко
Гремит военная труба
О взятии Владивостока
Под сень советского герба!

И ныне у границ суровых,
У обагренных рубежей
Стоят полки в надеждах новых,
В железной твердости своей.
Теперь восходы и закаты,
Горя багряно над землей,
Нам освещают шлем крылатый
С пятиконечною звездой!

А там, на Волхове, в Кашире,
Уже клокочет строй турбин
И скоро-скоро кинет в шири
Безумье силовых лавин.
Там тяжко создает рабочий
Громады новых пирамид
И глубь над миром легшей ночи
Великолепно озарит…

Так вспомним, вспомним в день великий,
В день двадцать пятый Октября,
И пушек рев, и стук мотыки,
И стон последнего царя,
И дрожь голодную, и пламя
Пожаров ярых – все пять лет,
И красное подымем знамя –
Предвестье будущих побед.

1922

* * *

Акации, голубизна и зной,
И море неподвижно как литое.
Мы задыхаемся в застылом зное
Под вылинявшим голубым стеклом,
Над этой жидкой голубою солью...
Где пресной взять? Безводен солончак,
Нет угля, не дымится опреснитель,
Клоаки пересохли и полны,

И облака акацийного духа
Пропитаны ужиным смрадом их.
Весь город бредит, и кладут в больницах
На лоб тифозным вместо льда чугун,
И шепотят в церквах, что лето – мститель
За дерзкий бунт, за этот красный флаг.
Лишь кое-где горластый кран пожарный
Начнет сочиться медленно и скупо,
И вмиг к нему слетается, толкаясь,
Двухдневной жаждой истомленный люд.
Кувшины, ведра, чайники, баклаги
Горят глазурью, блещут хрусталем;
Тот, кто набрал, бредет как паралитик,
Как дароносицу несущий поп, –
Не расплескать бы драгоценной влаги!
Иссяк источник, не хватило всем;
Плач, жалобы, пузырный плеск удара,
Секретный шепот, что «пошла в порту»;
И вдруг в голубизне литой и душной
Крутой струей восходит медный дым.

Пожар! Еще пожара не хватало...

1923

1 МАЯ ПРИ НЕМЦАХ

«Ja, ich erlaube»[1]. – И Феликс Кон
Повел рабочих. Шли угрюмо, вяло:
О поражении напоминала
Гряда еще пылающих знамен.

Но, проходя, любая из колонн
Кидала руки, точно гребень вала,
И лозунгами братства размывала
Комендатуры каменный балкон.

[1] Да, я разрешаю *(нем.)*.

С балкона ж лейтенанты и майоры
Цедили снисходительные взоры,
Скрестив скульптурно руки на груди.

А из глубин казарменной Валгаллы
Над пятнами солдатских лиц – гляди! –
Как ласточка, платок взвивался алый.

5.IX.1933

ИМЯ

Был тиф, и лед, и голод, и блокада.
Всё кончилось: патроны, уголь, хлеб.
Безумный город превратился в склеп,
Где гулко отдавалась канонада.

Вдруг – всё не так! Вдруг – умирать не надо!
Прорвав блокаду, как бумагу – цеп,
Он отменил решение судеб,
Он к нам пришел, – чугунная громада!

– К нам! Бронепоезд! – Мчатся на вокзал.
Он там стоял, он горячо дышал
Средь черной грязи нефтяных проталин.

Протискавшись, на погнутой броне
Я прочитал впервые имя: «Сталин»…
Оно как символ прозвучало мне.

9.X.1934

В РАБОЧЕМ КЛУБЕ

Еловый запах от скамей,
Дух масляный от блуз прожженных.
И шорох пятисот грудей,
Дыханьем тихим напряженных.

Взлетаю на широкий стол:
– «Верхарн, товарищи…» – и льется
Не слово – громовой глагол,
И в каждом сердце отдается.

– Так, значит, наш извечный труд
Не только мука и обуза,
Когда о нем стихи поют
И говорит с поэтом муза.

Так, значит, он (я!), в сюртуке,
В воротничках, – не враг, не барин,
Коль том таких стихов в руке
И слово на устах – Верхарен…

И, прыгнув со стола в прибой,
В приветный рев рукоплесканий,
Стою с горячей головой
В товарищеском, в добром стане…

Благословен будь сей урок,
Меня живой водой обрызни!..
Подходит русый паренек:
– «Товарищ лектор, в чем цель жизни?»

1925

ОДА УНИВЕРСИТЕТУ

Такой тяжелый и простой
Огромный дом на Моховой…
Гордясь моей фуражкой синей,
Туда студентом я вбегал,
Туда, в торжественный портал,
Профессором вхожу я ныне.
Но и тогда, но и теперь,
Как только распахнется дверь,
Как только старых сводов холод

Сомкнется туго надо мной, –
Я снова робок, мал и молод,
Внимая времени прибой.
Тысячелетия, как море,
За валом вал стремят свой бег
Здесь, в рокоте аудиторий
И в тишине библиотек.
Здесь в каждой формуле и схеме
Увидеть зоркому дано
Былых наук седое семя,
Познанья первое звено.
Какая славная победа!
Сплошная цепь проведена
От влаги трезвой Архимеда
И до Эйнштейнова вина.
От звездочета, что, слабея,
Следил, как сфера звезд плыла,
От бедных стекол Галилея
До телескопного жерла.
От хроников Александрии,
От ведунов, что колдовские
Сбирали зелья до зари,
До ослепительной стихии
Пастера, Маркса и Кюри!
Здесь мысли золотое вёдро,
Здесь, в этой шумной тишине,
За человечество мне бодро,
За человека – гордо мне!
Он в историческом буране
Сумел создать строй светлых зал, –
Коммуну мировую зданий,
Культурный Интернационал.
Сквозь мрак страданий, нужд и бедствий
Как бы провидел он вдали
Расцветшую в повторном детстве
Судьбу свободную земли,
И, ограниченный и скудный,
Сегодняшнему дню служа,

В веках он строил форум чудный
Для рокового мятежа, –
Когда народы рой за роем
В решительный рванутся бой,
И освятится Новым Строем
Окровавлённый шар земной…
И, осознав тот жребий трудный,
Выходит первым в путь побед
Наш бедный, наш немноголюдный,
Наш юный Университет.
Крепка в нем воля трудовая:
В нем след оставила рука
Мозолистая и крутая
Архангельского мужика.
А он умел в науке строгой
Почуять розмах буйных сил:
Мятежный посвист над дорогой,
Лирический и знойный пыл!
Как Пугачев, он брал науку
Ударом точным кистеня,
И Муза обжигала руку,
К ретортам голову клоня…
И ты, его праправнук быстрый,
Сумей такой же зной сыскать
В том, что доценты и магистры
Тебе успеют рассказать.
Недаром с плеч свисает блуза,
Ее прогрел у горнов труд, –
Десятая с тобою Муза,
Что Революцией зовут.
И в час мятежной непогоды
Достойным делом осени
Твои лирические дни, –
Академические годы!

1927

ОКТЯБРЬСКИЕ СТРОКИ

Я просыпаюсь в комнате суровой
Средь бедной мебели и книг.
В окно глядит зари медно-багровой
Простой и напряженный лик.
На новый труд день пробудился новый;
Он подвигом сияет – труд,
Он напрягает полнотой суровой
Любую из дневных минут!
И он велик – сей будничный и скудный
Труд, сотканный из малых дел:
Девятый год напором воли трудной
Все силы взяты на прицел.
Девятый год, не сдавшись утомленью,
С холодной зоркостью глядим
На солнце, что сверкающей мишенью
Нам блещет сквозь туман и дым.
Мы овладеем благостным светилом,
Кем озарен грядущий век,
Развяжем крылья всем плененным силам,
Чтобы родился человек,
Чтобы из хаоса и рабства встали
Кристальный план, хрустальный смех,
Чтобы из электричества и стали
Был создан светлый мир для всех!
Как в азбуку, как в клятву друга верю,
Что эти дни недалеко,
И бездну циркулем карманным мерю,
Как план измерил бы – легко.
И, просыпаясь в комнате суровой
Для повседневного труда,
Я знаю, что я мир построю новый,
Несокрушимый навсегда!
За празднеством и лихорадкой бури
Пришли простые дни забот,
И каждый их упрямой диктатуре
Себя отрадно отдает.

И верит каждый тверже и смелее,
Что в этом ключ победы скрыт, –
Как верил Тот, что ныне в мавзолее
На Красной площади лежит!

1926

СИНЯЯ КНИГА

Год как дождь прошумел.
Но работалось глубже и шире
В этом будничном, скромном,
в таком-то по счету году…
Я на прямоугольной,
на твердой бухгалтерской лире
Вновь на нижней струне
золотую костяшку кладу.

Если годы одеты –
то в пепел сожженных просторов,
То в отрепье, то в саван,
то в белый больничный халат, –
Этот – синей холстиной,
почетным мундиром монтеров,
В гибком поясе схвачен
и этой холстиной крылат.

Синева! Я люблю этот цвет
кислорода и моря,
С горизонтов стекающий
в синее хаки труда,
Чтобы воин машины,
простору и воздуху вторя,
Их дрожанье, их пульсы
в себе ощутил навсегда.

Этой синей холстиной
отсчитанный год был затянут,

В глубине генераторов
синею искрой дрожа;
Мы работали, зная,
что синие радио грянут,
Нашу волю повсюду
с рабочею волей дружа.

Мы рванулись навзрыд –
от войны, от бесхлебья, от сапа;
Вместо сердца был вложен
недавним рабам динамит;
И года, и года –
Революции львиная лапа
Пятиострой звездою
судьбу мировую гранит…

Льется скрипка динамо,
и счетов вибрирует лира,
На короткой волне
до любых долетая широт;
В этой нежности нот –
голубиная почта эфира
Знаки львиных когтей
на любой материк донесет!

26.X.1928
Симферополь

ЛЮДИ И СТРАНЫ

ГЁТЕ

Там – Фауст, Вертер, годы странствий.
Здесь – тихий Веймар, герцог, перстни,
И старость притупила рифму
И зубом пробует суставы.

А он в стакан венецианский
Кусочек шелка черный вдвинул
И рад, что лоскуток мерцает
Сквозь желтое стекло лазурью.

8.V.1922

КАРФАГЕН

Точно из серой глины вылеплен слон мой послушный,
Глины горячих болот, тех, где рождается Нил.
Великолепен мой слон! Как тяжел и громаден хобот!
Как нерушимо крепка бивней веселая кость!
Молод мой слон! Я к нему прихожу в затененное стойло.
Он мне приветно трубит, ласково дует в лицо,
Хобот подставит потом, я взберусь к нему на затылок, –
И тяжелой стопой он к водопою идет.
Щеткой из трав морских я ему протираю морщины,
Складки железной спины, хобота, брюха и ног;
Он, веселясь, набирает полводоема в хобот
И окропляет меня теплым и мутным дождем.
После мы снова идем в затененное старое стойло,
Раб приносит туда скошенных трав вороха,
Сочно хрустит трава в бледно-розовой ласковой пасти, –
Любо смотреть на него! Молод и весел мой слон!
Так мы проводим дни. Но недолог покой и отдых:
Скоро мы поплывем на золотых кораблях
Через родимое море на север, неведомый север,
В темные страны, туда, где собирается враг.
Будет работа слону. Оденутся добрые бивни
Медью, горящей как жар, копьями станут они,
На всемогущей спине вскинется башенка остро,
Пращники сядут в нее, лучники лук напрягут, –
И веселый мой слон, разъярясь от укола в затылок,
Хоботом тяжким своим бурю врагу протрубит!
Триста слонов, клыками касаясь клыков соседа,
Топотом смерти рванут твердое сердце врага!
Элефантерии смерч сомнет, как траву, легионы,
В трупах проложит тропы́, втопчет сраженных в песок!

Радуйся, слон мой веселый, что старая мощь Карфагена
Под ноги бросит тебе слишком заносчивый Рим!

13.I.1926

АЛЕКСАНДРИЯ

Здесь перо и циркуль, и прекрасная
Влага виноградная в амфоре,
И заря, закатная и страстная,
Кроет фиолетовое море.

И над белым чертежом расстеленным,
Над тугим папирусом развитым
Иудей склонился рядом с эллином,
И сармат ведет беседу с бриттом.

А внизу, отряд фалангой выстроя,
Проезжает меднолатый всадник,
И летит крутая роза быстрая
На террасу через палисадник.

«Добрый час! – Ладони свел воронкою: –
Это я, центурион Валерий.
Написалось ли что-либо звонкое
В золотом алкеевом размере?»

«Добрый час! Мы за иной беседою;
В сей чертеж вся Азия вместилась,
И увенчан новою победою
Мудрого Эратосфена стилос».

И глядят с улыбками осенними
Риторы и лирики седые,
А закат играет в жмурки с тенями
В белых портиках Александрии.

20.IX.1926

* * *

В голубом эфира поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.

Догаресса молодая,[1]
Призадумавшись, глядит,
Как звезда любви, играя,
Мутны волны золотит.

Глянул дож и поникает,
Думой сумрачной томим:
Ах, опять красой сверкает
Тот патриций перед ним.

Тот прелестник и повеса...
Вдруг донесся дальний крик,
И пугливо догаресса
Обратила бледный лик.

Молвил дож, помедлив мало,
Указуя на волну:
– «То спустили в глубь канала
Долг забывшую жену».

Догаресса поневоле
Прикрывает взор живой.
В голубом эфира поле
Никнет Веспер золотой.

1925

[1] Первые пять стихов принадлежат Пушкину. *(Примеч. автора.)*

ЛИЛИЕНТАЛЬ

Когда я вижу травяные скаты,
Отлогие, как женское плечо,
И чую ветер, плещущий крылами,
И запах чобра, мяты и полыни, –
Я вспоминаю золотую дюну
И прорастанье человечьих крыл...

Ивняк тугой увязан и затянут,
Как про́жилки кленового листа,
И полотна промасленного слой
Его облек свистящей перепонкой.
И невысокий человек спокойно
Затягивает ремни у плеча,
Становится на гребень звонкой дюны
И, отыскав ось ветра, наклонившись,
Шагает в воздух и скользит, скользит...

Уже забыли мы Лилиенталя…

20.VI.1925
Коктебель

ТУРКМЕНИЯ

1. По «романам»

Я в эту ночь сойду с ума!
Тысячеградусная тьма
Огромной звездной духотой
Висит над площадью пустой;
Бродячих фонарей лучи
Врезаются в карагачи;
Кой-где костер дотлел дотла
Под медным яблоком котла;
Дух плова, черных роз гряды
И дыни, нежные, как льды;

Кунжут и розы, и кунжут;
И кони у приколов ржут;
Верблюжий скрип, ишачий рык;
У ног лопочущий арык;
И с веток сладких там и тут
В пыль каплей шлепается *тут*.

Я в эту ночь сойду с ума!
Машкарабазов кутерьма,
Дутаром душу тормоша,
Меня пьянит, как анаша;
И капля крови золотой,
Прабабкою в меня влитой,
Горячей крови тюркских орд,
Катясь от шлема до ботфорт,
Разносит век, взрывает мир,
И – под седлом карабаир,
И – в пальцах сжат мгновенный клыч,
И – в уши бьет военный клич,
И – лавой тысячи подков
Гремят по темени веков –
В неведомое, в темень, в мрак,
В Месопотамию, в Ирак!

30.VIII.1933

2. По «географиям»

Бугристый бархатный уголь гор;
Грубые звезды над вырезом гор;
Там глетчеры, там зернистый фирн, –
И туда из Кашмира поднялся фэн.

Миллиарды калорий рухнули в лед;
И лед водою рванулся в Пяндж;
И лиловые молнии с высоты
Прибавили грохота и дождя.

Медное сусло горных вод
Разорвало аорту горных русл, –

И поворачивается Аму,
Соскребая дамбы, сады и лёсс…

Утром – неистовая лазурь;
Солнце выгранивает хребты;
И в русло уже вошла вода,
Мутная, точно козий глаз.

А где был кишлак – нет кишлака,
А где был сад – и сада нет,
И мертвые тигры лежат в песке,
Обсыхая, как коконы на ветру.

5.X.1933

3. На самом деле

Здесь Македонец вел железные полки,
Но замерли пески, пустынных тайн не выдав;
И на путях своих роняли костяки
Когорты римские и орды Сассанидов.

И поступь времени означена в песках:
Вот замков глиняных разрушенные груды,
Вот перламутровый фиалов древних прах,
И ржавые бредут, бренча звонком, верблюды.

И там, где золотом поит пески Аму,
Где из Атрека пьют скупую воду тигры, –
Номады к очагу садятся своему,
И воскрешает песнь былых набегов игры.

И вновь звенят пески, и убежать нельзя,
И солнце вечное на беспощадной страже
Стоит над всей страной, сжигая и грозя,
И грезят о воде полдневные миражи…

Такой, Туркмения, ты рисовалась мне,
И ты действительно была такой когда-то, –

Но всю в движении, всю в буре и огне
Я увидал тебя с востока до заката.

Вот силы скрытые выходят из земли,
На трубы стройные сменились минареты,
И вместо сладостных газелл Махтум-Кули
Гимн гордому труду твои поют поэты.

Вот Губкин врезался бурилом в грудь твою,
И нефть забрызгала из небывалых скважин;
Вот в небо дымную направили струю,
И воздух облаком, вдруг созданным, увлажен.

Вот на твоих полях, где рдел бесплодный мак,
Сгустился волокном великолепным хлопок;
Вот обещает дать безводный Гаурдак
Фосфаты для полей и снова нефть для топок.

И солнце древнее, в стекло кидая зной,
Гелиостанцией запряжено в работу,
И близок день, когда моторов звучный строй
Его энергией с песков стряхнет дремоту.

Столетья сжаты в год. И видим мы уже
Твое грядущее вплотную перед нами:
Сверкающие дни встают на рубеже,
Твоими юными ведомые сынами.

Люблю на них глядеть: их пламенность всё та ж,
Что прежде, тот же глаз, загадочный и узкий, –
Но зубы вдруг сверкнут улыбкою: «Йолдаш![1]»
Да, все товарищи – йомуд, текинец, русский!..

О, нет, то не мираж: над россыпью песков
Не лжет истории отточенная призма:
Сменился навсегда застой былых веков
Державной поступью годов социализма!

1934

[1] Товарищ! (*туркм.*)

* * *

Панамская соломка,
И ленты ультрамарин,
И глупенькая забота
О стрелках вдоль чулка.

И в туфельку мотоциклетки
Легко ложится она,
И двести тысяч взрывов
Вдаль унесут ее.

А парень рыжий и ражий
В марсианских больших очках
Обнимает простор руками,
Расставленными на руле.

Истаивая в перспективе,
Мчится мисс Гвендолен,
И сумочка из сафьяна
Зажата в узкой руке.

И в самом дальнем кармашке,
В пудренице стальной,
Спрятана фотопленка
В марку величиной.

А вдоль шоссе под ветром
Гудом гудят провода,
И где-то глаза ледяные
По ленте Юза бегут.

Далёко, очень далёко
Едет мисс Гвендолен,
Сумевшая даже в штабе
Горячих друзей найти...

На нервных нежных ручках
Позвякивают слегка

Никелевые браслеты
На никелевой цепи.

И сыро, очень сыро
В зеленом рву крепостном,
И четко ставит ногу
Невыспавшийся взвод.

Двенадцать маленьких взрывов
Горсткой гороха в пол, –
И золотая панама,
Как голубь, слетает вбок.

26.VII.1933

КОНЕЦ ИНДИВИДУАЛИСТА

Я знал его. Он был умен, как бес, –
Неотразимый спорщик, скептик, циник.
Любитель женщин, вечный именинник,
Ниспровергатель всех семи небес.

Потом состарился, иссох, как финик.
Но всё язвил и шел всему вразрез,
Гремел, громил и наконец – исчез
И отыскался в тихом мире клиник.

Я посетил его. Был ясный день,
Порхали бабочки из света в тень,
И коридор был весь в гирляндах света.

Вошел я и – зубами стиснул крик:
Веселый голый маленький старик
На четвереньках нюхал у клозета.

14.IX.1933

PLEIN AIR

ЭСТРАДА

Стоит, нелепая... Как нищенка стара...
Ей доски серебром сусальным обтянуло...
Снят рваный занавес, – и гулкая дыра
Навстречу ноябрю тугим зевком зевнула.

Пюпитры ржавые под ветром дребезжат, –
И этой нищеты, и этой скуки скудной
От глаз не заслонит безумный листопад,
Что кружится вокруг над площадью безлюдной.

Должно быть, жутко тут, за полночь перейдя...
Тут звуки шелестят, как мышь из-под обоев, –
Косноязычие пугливого дождя,
Душа порочная кларнетов и гобоев...

1928

МОЩИ

Как засохшая шепталá
(Тот же цвет и фактура та ж),
Кожа мертвая облегла
Костяка трехсотлетний кряж.

Только нету в глазницах глаз,
И ногтей отошла слюда,
И отдельная улеглась
Темно-рыжая борода.

Только волосы – моль их ест,
И ушей обломился хрящ,

И на этом лемуре – крест
И епископский белый плащ!

9.VIII.1933

* * *

Парусинная койка; под ней сапоги, чемодан;
На гвозде парабеллум, морская накидка и цейс;
На столе ремингтон миньятюрный, дорожный стакан
И тетрадь записная с зачеркнутым титулом: «Рейс...»

Виноградная гроздь натюрмортом легла на фаянс;
Электрический шар двести градусов льет с потолка;
Темно-бархатный бражник, влетя в электрический транс,
Как планета, кружится вокруг золотого мирка.

А хозяин побрился и двинул в общественный сад;
Там красивая глупая женщина встретит его;
Будут слушать валторны, гремящие с белых эстрад,
И за мраморным столиком – дальних ракет торжество.

Им не надо условий, дуэний, отцов, опекунш;
Два покорные глаза уронят на розу ответ;
Перед ними сверкает морозными иглами пунш;
И усталость прекрасную им обещает рассвет.

А назавтра опять пакетбота роскошный гудок;
Указательный палец бушприта очертит дугу...
Он бинокль наведет, он веселый увидит платок,
Крупным планом лицо он увидит в хрустальном кругу.

22.VII.1933

* * *

Через черную бухту, фосфор, смятенье и золото
Бликов, зыби, рефлекторов, августовской теплоты

Он навел телескоп на каскады черного города,
Лестницы и аллеи низвергающего в ночь.

Крупно и опрокинуто – будто пространство надломлено,
Будто воздух стал призмой из черного хрусталя –
Поплыли в кругу жалюзи, балконы и лоджии,
Бронзовый адмирал и лавчонки с грудами смокв.

Лица, большие, точно у статуй, прóсверки
Белых зубов, мешанина батиста и тьмы,
Купорос бульварных скамеек, розы огромные,
Гренадин и мороженого розовые снежки.

И над этим кишеньем, флиртом, оркестрами, лампами
Опочила аквариумная тишина:
Шевелятся напрасно беглые губы девушек,
И напрасно пальцы по клавиатурам бегут.

А на самой грани этого мира странного
Он ищет знакомое под самой крышей окно,
Он крадет видение: золотистая женщина
Вздрагивает под душем, сверкающим, как нарзан.

7.VIII.1933

* * *

Сырая теплая полночь,
Потушенные огни,
И напрягается рокот
В облачной высоте.

И, как пульверизатор,
Конусом голубым
По черному горизонту
Шарят прожектора.

И вдруг из черного неба
Молнией шаровой

Сияющая ракета
Плавно сплывает вниз.

И следом удар тяжелый,
И стекла звенят в окне,
И санитарной кареты
Сирена заводит вой.

И ползают всё и шарят
В небе прожектора, –
И вдруг серебряный крестик
Вспыхивает в луче.

И сразу десятком гончих
Кидаются на него,
Впиваются и по тучам
Ведут, ведут, ведут.

Он штопором ускользает,
Он падает на крыло, –
Но ахает вдруг зенитка
Раз и другой по нем.

И в синем огне бензина
Далёко за горизонт
Громадной звездой падучей
Он рушится – Люцифер!

6.X.1933

ШЕЛК

Пересыпай с ладони на ладонь
Облаточные мятые орешки, –
Сухие, невесомые, цветные,
Из войлока нежнейшего гроба,
Где сохнут гусеницы шелкопряда.

Гогеновскою желтизной одни,
Другие персиковой желтизною,
Нефритовою празеленью третьи,
Четвертые голубизною блеклой
Лосиной кожи, пятые – как снегом,
Как голубою сединой подшерстка
Каких-то небывалых шиншилла́, –
Просыплются перед глазами.
Небо
Индиговой нависло синевой
Над глиняными кубами домов,
Над звездною майоликой мечетей,
Над золотыми плитами циновок,
Где грудами навалены они,
Как головы, снесенные Тимуром.
И в воздухе – к журчанью арыка,
К легчайшей дымке вспугнутого лёсса,
К идущему с земли и с неба зною
Примешивается халвовый дух, –
Густой, слюну зовущий запах тленья.
.....
Тугие косы нежности и блеска
Они в муравленых купают чанах,
Где плещутся глубокие настои
Голубооких и багряных трав;
Где остывают тайные растворы
Дробленых камней, окисей и прахов;
Где раковины, черви и кораллы
Воде кипящей отдали свой цвет.

И возникают светлые, как воздух,
Зовущие, как женских плеч мерцанье,
Прохладные, как чешуя форели,
Как сизые отливы ятаганов,
Сгущенные, как грозовая туча,
Как моря аметистовая муть,
Безумные и страстные, как пламя,
Как золото вина и Тинторетто,
Зловещие, как яды и гангрены,

Веселые, как тигровый зрачок,
Торжественные, как закат и кровь,
И расточительные, как павлинье
Играющее радугой перо, –
Каскады, ливни, катаракты пряжи.
.....

1933

* * *

За окнами – многоэтажный дом, –
Но вечером мне видится другое:
По этажам огни горят вразброску,
И кажется, что домиков гурьба
Ступенчато на холм крутой восходит...
И снова я в моей Пантикапее...
Мой пробковый сейчас надену шлем
И в темноту, в темно-соленый ветер,
По улицам, по крупной чешуе
Булыжников, пойду туда. Там бело;
Акации, как Пропилеи, встали
И древностью, и медом, и любовью
Струятся вниз... А там, на черной глади,
На ониксе полуночного моря
Хрустальными огнями обведен
Настороженный очерк миноноски...

1925

* * *

Дом стеклянный и крылатый
Возникает над тобой,
Точно пенка розоватый,
Точно пемза голубой.

И сопрано чистых линий
(Только циркуль и отвес)

Никель, медь и алюминий
Окаймляют наотрез.

Каждым утром голубиный
Слышен гурл и слышен плеск,
И прозрачные кабины
Отражают синий блеск.

Каждым утром на террасе,
На газоне, на ветру
День в сверкающей кирасе
Вызывает на игру.

На планере, на байдарке,
На рапирах – всё равно! –
Ты возьмешь твои подарки:
Воду, воздух и вино.

День проходит невозбранно;
И как голуби шуршат –
Неба нежная мембрана,
Ритм поэмы и оршад.

Небо цвета оришалка,
Золотого гонга рев...
День прошел, – тебе не жалко
Дня в разливах вечеров.

Ветер веет тиховейно,
И в закатный океан,
В море темного портвейна
Твой плывет аэроплан.

8.X.1934

СНЫ

* * *

Вчера мне снилась мертвая вода,
Сияющие мутно водоемы,
Такого цвета, как глаза щенят
Молочных. А вокруг песок и щебень,
И солнце бесится, и ядра облак
Восходят и восходят в вышину,
Как пузыри из золотого мыла.
И странная гнетет меня тягóта:
Вдоль водоема по песку следы;
По ним идти я должен, ставя ногу
На отпечатки; но огромен шаг
Прошедшего здесь, но слепит глаза
Слюда стрекозья на откосах. Трудно,
Пойми, как трудно мне идти! И вдруг
Передо мной забор, и в нем калитка,
Чуть приоткрытая, и в узкой щели
Торчит сухой и длинный палец. Нагло,
Бессмысленно смеясь, я подхожу
И щелкаю огнивом. Огонька
Почти не видно. Подношу его
К отросшему загнувшемуся ногтю,
И ноготь на огне трещит, свиваясь,
И вьется роговой дымок, внезапно
Преобращаясь в исступленный вопль!

Я судорожно просыпаюсь. Солнце
Мне бьет в глаза. Жена мне кипятит
Чай утренний на керосинке. Слышу,
Как во дворе стекольщик запевает...
Так просто всё. Такой поганый сон...

1.VI.1922

ЛИХОРАДКА

Холодной мятой и малиной жаркой
Я чествовал подругу-малярию,
Когда в стекле игольный столбик ртути
Над красной заупрямился чертой,
Когда подушка стала вдруг конвертом,
А голова сургучною печатью,
И знал я, что ни я, ни кто не должен
Воздушный почерк пуха разгадать!
Да, 39º... Почему же время
Лишь тридцать три мне уделило года,
И уравнять грань возраста и ртути
Ни мятой, ни малиной не могу?
Не потому ль, что с потолка мортирой
Глядят Двенадцать Дюймов Зодиака,
И вступит жизнь в созвездие Торпеды,
Когда покажет Цельсий: 42º?
И я стакан с питьем отодвигаю:
Он разобьется, и кривой осколок
Слой сургуча легко с конверта сколет,
И все прочтут лебяжьи письмена,
А 42º их растерзают взрывом,
И снег пойдет, лебяжий и безмолвный,
И шар багряный станет клюквой снежной...
...Мне холодно!.. Дай полушубок мне...

28.I.1927

МАЛЕНЬКИЕ ДРАМЫ

ПРИПАДОК

Броненосцы домов разрезают полуночный воздух,
Непомерной эскадрой над домом моим громоздясь.
Прорезь панцирных башен качается в траурных звездах.
Между бурей и мною рождается темная связь.

Лето. Ливень. Тоска. Я один. Гром скрежещет по жести.
Магний молний и взрывов, рулады и трели сирен.
Выход наглухо заперт: в бою остаются на месте.
В сердце кровь передвинулась влево: я чувствую крен.

В бедной комнате, скудной и голой, один я, как шпага.
Убежала прислуга, и крен точно заледенел.
И сусальные нити, и звезд золотая бумага
В картонажной Цусиме мой флигель берут на прицел.

Погибаю! Нет воздуха! Стены смещаются в рубке.
Знаю: стереометрия хочет мне смерть доказать.
Я бегу по наклонному полу, я прядаю к трубке, –
Боевой телефон: хоть бы чей-нибудь голос поймать!

Я ломаю рычаг, – но органною спит тишиною
Гулкий мир телефона: исчезли друзья и жена.
Абордаж атмосферных разрядов стоит за спиною,
И магнитною синею шерстью дичает спина!

VI.1929

* * *

Глухая коробка со вставленным в бок
Граненым зеркальным стеклом.
За стеклом золотой задрожал огонек
Музыкой, смехом, теплом.

Там крахмальная скатерть стол облегла,
Там сливок хрустальный кувшин,
Там с черного диска сводит игла
Согласный свист окарин.

А он стоит под зеркальным стеклом,
А он к стеклу приник:
Ветер хлещет его ледяным помелом,
Дождь плещет за воротник...

Бродяга ль, уставший от мраков и луж,
Лунатик, нашедший луну?
Иль просто женою загубленный муж,
Любующийся на жену?

22.VII.1933

* * *

Я опять во сне видал
Розовый многоэтажный
Дом, похожий на кристалл,
Чуть затаявший и влажный.

И опять мерцали мне
Затуманенно и блекло
Отраженные в волне
Аметистовые стекла.

И опять манил уют
Хрупких, как в стереоскопе,
Этих лоджий и кают,
Погруженных в синий опий.

И опять не удалось
Отыскать – до самой ночи –
Эти меркнущие вкось
И лукавящие очи.

26.XI.1933

* * *

Она ушла, Омфала,
Наиздевавшись всласть.
А Гераклу жаль, что мало
Ему удалось попрясть.

Да, смолкла навеки прялка,
Да, истощилась нить, –
И Гераклу глупому жалко,
Что веревку ему не свить.

Что, сидя на стыдной лавке,
О вечной забыв борьбе,
Он ни бича, ни удавки
Не сплел ни ей, ни себе.

Но в мире не всё иссякло, –
Найдутся львы и быки
Для палицы Геракла,
Для гневной его руки.

Украшенный львиным зубом
И бычью жилу сжав,
Он диким пойдет и грубым
Заснуть средь горьких трав.

И снова, как бывало,
Железо глянет из глаз...
Не подходи, Омфала:
Смех удается раз!

4.XII.1934

* * *

Ну что же, – нарзаном, гимнастикой, душем,
Стихами, бездельем, шикарным бельем
Заслоним, закроем, зароем, задушим,
Задавим, растопчем, сгноим, заплюем...

Всё к дьяволу! Жизни осталось немного,
И эти ли годы мне к юбке склонить?
Я компас ломаю; мне всюду дорога;
От гроба до грога протянута нить.

Но помнишь, как было? И видишь, как стало?
Но ты не увидишь, и ты не поймешь:
Любовь над тобой лишь фокстротом свистала,
И только десертную знала ты дрожь.

Когда запорожцы стояли под Дубном,
Прекрасной полячке всё отдал Андрий.
Но ты не полячка; ты ангелом клубным
Сумела пройти средь военных стихий.

Конечно, мы глупы, мы тянемся к тайне;
Под кожей атласной мы рады найти
Die Kleine, die Meine, die Eine, die Reine,[1]
И вдруг спотыкаемся на полпути.

И вдруг осязаем смятенной рукою
Не нежность, а пудру, не душу, а тюль...
О, мне ли томиться тобою, такою?
Есть ритмы, и зори, и пение пуль.

13.XII.1934

[1] Маленькую, мою, единственную, чистую. *(Гейне.)*

НА ПОСТАНОВКУ «ГАМЛЕТА» В ТЕАТРЕ ВАХТАНГОВА

Пусть Гамлета как воина взнесут
На катафалк четыре капитана.
Шекспир

Не ходите лучше, детки,
Старых драм глядеть хвосты:
Вот Офелия на ветке
Дура-дурой рвет цветы.

Вот стремится толстый Гамлет
Королю втереть очки,
Дурака валяет, мямлит,
Лотошит про башмаки.

Вот кого-то дразнит пьесой,
В старика сучит клинок…
Онанистом иль повесой, –
Кто его понять бы мог?

Станет хером, станет фертом,
Прянет, прыгнет, отлетит:
То у Гамлета с Лаэртом
На рапиры аппетит.

Стали дюйм-другой проглочен –
Рюмку яда закусить!
Самый скверный сорт пощечин,
Что приходится сносить!

Право, жребий жизни горек!
Это знает старый шут,
Полусгнивший бедный Йорик…
(Так и автора зовут.)

Близок отдых нищей труппы,
Скоро кончен пир рапир:

Выволакивает трупы
Прямо за ноги Шекспир…

А в партере неустанно
Шелестят о том, о сем…
Мы – четыре капитана –
Прах Гамлета вознесем!

1933

ВРУБЕЛЕВСКИЙ ЗАЛ

Нефтяные радуги и павлиньи
Переливы спектров идут на убыль:
Яды тусклые ползут в анилине,
И уже навек умирает Врубель.

Смуглый перламутр льдов абсолютных,
Объярь и опалы цейлонского рая
Задыхаются в пленках скудных и мутных,
Выцветая, обманывая, выгорая.

Мазков драгоценных гранные караты
Обволакивает душный защитный хаки,
Чтобы с грунтом слился Демон крылатый,
Чтобы бунт утонул в желчи и мраке.

Друзья! Мы – последние, кто видали
Этих дымных глаз непреклонную муку,
Этих крыл остывающие эмали
И захлестнутую на локоть руку!

27.VII.1933

НЕСКОЛЬКО ПЕРЕВОДОВ

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ

Джунгли

В сухой траве, где уж с рубиновой спиной
На солнце выгнулся спиралью золотой,
Спит зверь чудовищный, жилец степного края,
Ввысь обратив живот и когти расправляя.
Из пасти пышет жар, струится сонный рык;
И жесткий, розовый, колеблется язык;
И грудь широкую, что темный зной впивает,
Дрожь удовольствия порою сотрясает.
И всякий шум утих среди высоких трав.
Пантера в тишине ползет, к земле припав;
Питон, агатовой сверкая чешуею,
Скользит в смоковницах точеной головою;
И в жарком воздухе мелькает и кружит
Сверкающий полет проворных кантарид;
А он, царь джунглей, спит, довольный и согретый,
Сияньем солнечным и синевой одетый.

Но вот с востока тень восходит пеленой,
И тело ежится от свежести ночной;
Шуршат верхушки трав; и темнота всё глуше.
Он озирается и наставляет уши,
И вскакивает вдруг. Безмолвно всё. У вод,
Где лотос пламенный меж тростников растет,
Не слышится ему, чтобы стада шумели –
Ни лани легкие, ни быстрые газели;
По втянутым бокам дрожь голода бежит;
Весь ощетинившись, он медленно рычит;
Вдоль кочек тянется и выгибает спину,
Нанюхивает путь, ведущий на равнину,
Зевоту жадную не в силах превозмочь,
И шлет мяуканье в нахлынувшую ночь.

1922

Черная пантера

Мерцанье алое дрожит в прозрачных тучах;
С Востока быстрый луч взлетел в их пелену;
И ожерелье тьмы в жемчужинах текучих
Нискатывается в волну.

Всё небо облеклось в лучистые извивы,
Захлестывая их на своде голубом.
И шлейф зари багрит смарагд волны ленивой
Искристым огненным дождем.

С бамбуков подвижных, где ветер бьет крылами,
С корицы бронзовой, чей твердый лист угрюм,
С бананов, где роса бросает блеск снопами,
Возносится легчайший шум.

И горы, и леса, и мшистые поляны
В нагретом воздухе струят свой дух густой,
И распускается внезапно запах пряный,
Весь сладострастьем налитой.

Тропой, укрывшейся в глубоких дебрях леса,
Где жирная трава дымится под лучом,
Где родники звенят вдоль брежного отвеса,
Приосененные плющом, –

Царица Явская, тревогою объята,
Лишь занялась заря, спешит к норе своей,
Где всё мяукают голодные котята
Среди обглоданных костей.

С глазами быстрыми, как стрелы, наготове
Упруго движется, – там прянуть, там прилечь,
И пятна свежие неохладелой крови
Смочили мягкий бархат плеч.

Добычу добрую она влачит с собою:
Достался ей олень прекрасный на обед,

И на цветущем мху кровавою чертою
Горячий означает след.

Над нею бабочки и рыжие москиты
Кружатся взапуски, воздушный лёт клубят;
Корзиночки цветов бесчисленных раскрыты
И расточают аромат;

Питон пурпуровый, меж кактусов зажатый,
Пружинно зыблется, лианами обвит,
И плоской головой – лукавый соглядатай –
За уходящею следит.

И меж густых ветвей она скользит в молчаньи,
И вот – скрывается меж тёрновых завес.
Шум гаснет. Воздух жгуч. И тяжкое сиянье
Покоит небеса и лес.

1922

ЭРЕДИА

Кентавры

Все к яствам свадебным бегут, тесня друг друга,
Кентавры, воины, прекрасные на вид;
И плоть героев тех меж факелов блестит
Среди горячих шкур, что помнят солнце юга.

Смех, суета… Вдруг крик… Осквернена супруга,
Под грудью черною мятется и кричит
В лохмотьях пурпура; звон меди, стук копыт,
И сбитые столы катятся вон из круга.

Вдруг тот, чья выше всех подъята голова,
Встает. На нем не шлем: вздыбилась грива льва
Тяжелым золотом. Геракл! Железо взгляда –

И в дальний край двора, внезапно отрезвев,
Под взором яростным, где пламенеет гнев,
Зафыркав, пятится чудовищное стадо.

1925

Пан

Через кустарники сокрытыми тропами,
Что прячутся, виясь, в глухой зеленый лог,
Преследователь Нимф пугливых, Козлоног,
Беззвучно крадется с горящими глазами.

Так сладко слышать вздох, скользящий меж ветвями,
Прохладный шум, что льет безвестный ручеек,
Когда смиритель туч, сверкающий Стрелок,
Бросает золото в живую мглу стрелами.

Вот Нимфа, заплутав, остановилась. Ей
Ласкает слух роса, что каплет в мох с ветвей, –
Ей сердце юное пьянит и жжет желанье.

И вдруг одним прыжком предстал ей бог лесной,
Схватил ее, хлестнул победным смехом зной,
Исчез. И вновь леса погружены в молчанье.

1925

Охота

Четверка жеребцов, летя во весь опор,
Взбегает на́ небо; их жаркое дыханье
Равнины золотой волнует очертанье;
И чует грудь земли их пламеносный взор.

Напрасно пышный лес смежает свой убор
Сквозь переменное густых вершин дрожанье,
Сквозь тень, где серебром струится вод журчанье,
Рисует Солнца луч сверкающий узор.

И в этот рдяный час, пренебрегая терном,
Мчась между гончими, в стремлении упорном,
Сквозь вопли смертные, сквозь хриплый лай и кровь,

Развеяв волосы, вся – ярость и обида,
Стрелу звенящую спуская вновь и вновь,
Леса ввергая в дрожь, несется Артемида.

1925

М. РОЛЛИНА

Чудовище

Вот перед зеркалом, в него кидая взгляды,
Сдирает женщина затейливый парик,
И череп, как лимон желтеющий, возник
Из мертвых локонов, весь жирный от помады.

Под лампой яркою освобождая рот
От пары челюстей (они слюной покрыты)
И глаз фарфоровый извлекши из орбиты,
Их с осторожностью в бокал с водой кладет.

Нос восковой слущив и пышный бюст из ваты
Сорвав, швыряет их, скрипя, в ларец богатый
И шепчет: «Он меня (вуаль и туалет!)

Нашел хорошенькой, он стиснул мне перчатку!» –
И Ева гнусная, обтянутый скелет,
Отвинчивает прочь резиновую пятку.

1925

Лунатик

Как кукла выпрямясь и тростью чуть играя,
Затянут в черный фрак, в цилиндре щегольском,
Автоматически-размеренным шажком
Он тихо движется по крыше, возле края.

Гуляка призрачный, свершая моцион,
Без устали бредет карикатурой странной,
И в грозовой выси, пергаментно-туманной,
Свой контур траурный вычерчивает он.

Сверкнула молния. При беглом свете этом,
Пока лунатик плыл застылым силуэтом,
Касаясь пустоты и прорезая тьму,

И желоб сотрясал стопой канатоходца, –
Объятый ужасом, увидел я: к нему,
Чтоб разбудить его, громадный кот крадется!

1925

Маниак

Я весь дрожу, когда увижу контур странный
В тяжелом башмаке иль в туфельке жеманной.

Да (можете кривить усмешкой глупый рот!),
Я весь дрожу, и вдруг башмак меня зажжет!

Меня вопрос язвит: нога-то в нем живая
Или протез? – И вот слежу, не отставая,

Слежу, не явится ль стальная скрепа вдруг
Под юбкой пышною или под складкой брюк?

И – лишь блеснет она – я замираю, пьяный,
И ширит ноздри мне дух пятки деревянной!

1925

Ф. ЭНГЕЛЬС

Барин Тидманн
(Стародатская народная песня)

Ранним утром, – светлый день едва настал, –
Барин Тидманн одеваться в спальне стал,
И расшитую сорочку надевал.
– Это любят все южане.

Облачив сорочкой вышитой свой стан
И надев зеленый шелковый кафтан,
Он сафьянные штиблеты шнуровал.
– Это любят все южане.

И сафьянные штиблеты затянув,
Золоченые к ним шпоры пристегнув,
Как обычно, в Зюдергард пошел на тинг.
– Это любят все южане.

И на тинге он, не тратя лишних слов,
Новых требовал налогов с мужиков, –
С плуга каждого семь шеффелей зерна.
– Это любят все южане.

С плуга каждого семь шеффелей зерна,
С четырех свиней одну – да чтоб жирна.
Но старик один разгневался на то.
– Это любят все южане.

Но старик один разгневался на то:
Столько дать – не мог никто из нас, никто,
Мы едва могли бы подать эту счесть.
– Это любят все южане.

– «Прежде чем сумеем подать эту счесть, –
Пусть останутся на тинге все, кто есть, –
Зюдергардцы, собирайтесь в тесный круг!»
– Это любят все южане.

– «Зюдергардцы, собирайтесь все в кружок,
Чтоб отсюда Тидманн жив уйти не мог!»
И старик ему дал первый кулаком.
– Это любят все южане.

И ему старик дал первый кулаком;
Барин Тидманн сразу наземь кувырком;
Вот лежит он, барин Тидманн, кровь вокруг.
– Это любят все южане.

Вот лежи он, барин Тидманн, кровь вокруг;
Но свободно в черноземе ходит плуг,
И свободно свиньи кормятся в лесу.
– Это любят все южане.

1932

<ДОПОЛНЕНИЕ>

* * *

Поздно, поздно, Георгий!..
Ты пятый десяток ломаешь,
Стала зубы терять
клинописная память твоя,
Стало слово черстветь, –
а ты всё о бессмертной мечтаешь
О поэме твоей,
о «венце» твоего «бытия»...

Жизнь ты жадную прожил;
встречался ты с морем и небом;
Ты, прильнув к телескопу,
Сатурны и бриги следил;
Был под пулями ты;
революции благостным хлебом

Ты жену молодую
и звонкую музу кормил.

Ты с Верхарном дружил;
ты с Гюго заседал в трибунале
Всех легенд и веков;
ты легко на эстрады взлетал,
И стихи твои с них
от Москвы до Тбилиси звучали,
И шампанским прибоем
взметался навстречу им зал.

Ты спокойно входил
к знаменитым поэтам эпохи;
Ты с Валерием спорил,
с Максимилианом «на ты»
Пил согдейским вином, –
тех пиров оброненные крохи
Подбирали другие
в свои золотые листы...

А теперь – и закат!
Проживешь ты, надеюсь, немало:
Ты двойного заряда,
ничем не болел никогда;
Но мечта о бессмертной поэме
(ты видишь?) увяла:
Мир – тебя обгонял,
а твои уходили года...

Не жалей! Поклонись
всем дарам *равнодушной природы*,
Что дала тебе радость
по чудному миру пройти
Братом *вечной красы*
и любовником *вечной свободы*,
Звезды, бури и песни
встречая везде на пути!

1.I.1939

ПАМЯТЬ КОММУНЫ

Он тороплив – наш неуемный день:
От нас, минуту берегущих,
Торопится он схорониться в тень,
Очистить путь для дней грядущих.
Наш взор упорно устремлен вперед,
Нам некогда оборотиться:
Истории тяжеловесен ход,
И многое должно свершиться.

Десятилетьем мы закалены,
Но, постарев, мы не устали,
И серебро почтенной седины
Напоминает нам о стали.
Мы навсегда опьянены трудом,
Его железной диктатурой, –
И, мускулы пружиня, день за днем
Встает законченной скульптурой.

Мы статуи ваяем для веков:
Резец наш трудится над Боем,
Над Хлебом для Голодных Городов,
Над Грамотой, над Днепростроем,
Над Песнею, над Детством для Игры,
Над Новой Площадью Цветочной,
Над Радостной впервые без Чадры
Улыбкой Женщины Восточной.

Меж статуй вьется трудовой наш путь,
Но путь мечты – суров и скуден;
И все-таки – случается сверкнуть
Мечте средь наших строгих буден.
Не слабость, нет. Сквозь точный строй ума
Встает иное беспокойство:
Мы вспоминаем давние грома,
Как первой юности геройство.

На памяти тугую тетиву
Мы прошлое, как бусы, нижем:
Мы покидаем Тулу и Москву
И застываем над Парижем.
Иные дни; высокое число
Как роковая пала карта:
Мы видим, как историю прожгло
Днем Восемнадцатого Марта.

Мы видим их, надвинувших на лбы
Наполеоновские кепи,
Взбесившихся в безудерже борьбы
И рвущих вековые цепи.
Мы слышим их: их шутки у бойниц,
Их первых ликований клики,
Сопутствуемых вешним гамом птиц
И звоном самодельной пики.

Мы видим их: бескровное лицо,
В глазах голодных рдеет вера, –
Хотя вкруг горла жадное кольцо
Костлявых синих пальцев Тьера.
Мы видим их в отчаянном бою
Средь памятников Пер-Лашеза.
Мы слышим, как заводит трель свою
Палаческая митральеза.

Потом мы видим матерей и вдов,
Дающих волю смертным болям,
Скользящих возле вражеских дворцов
С огнивом, паклей и петролем.
Мы видим сатанеющую злость
Кокоток, буржуа, военных,
Втыкающих булавку, шпагу, трость
В пороховые лица пленных.

И после – от зари и до зари –
Неумолимый и крылатый

Безумный столп огня над Тюильри, –
Как завещание расплаты…
И памяти тугая тетива
Звенит под этим страшным грузом,
И мы клянемся: Сена и Москва
Навеки связаны союзом.

И мы клянемся: строй железный наш
Достоин будет братской муки.
Мы взяли их ружье и патронташ
В свои уверенные руки.
Мы победили. Из тяжелых руд
Мы плавим новый мир и юный.
Нам некогда, – но наш вседневный труд
Пронизан музыкой Коммуны.

1928

ПАНЦИРЬ

ВОЙНА

Я раскалил щипцы, твоя затлеет шкура!
Гюго

ЛОГИКА

Кто смеет оспаривать мое право
истребить несколько миллионов?
Гитлер

Оспаривать?!
Нет, господин ефрейтор!
Мы этой чести не окажем вам.
Возможен спор с товарищем, с женой,
С извозчиком, с философом, с убийцей,
С землетрясеньем, с Ниагарой, с богом…
С тарантулом не спорят никогда:
Его, брезгливо морщась, давят.

26.I.1944

UEBER ALLES[1]

Кроватка детская, но странно велика
Для девочки большой. Ах, да: она безнога!
Чернильные зрачки, бескровная щека, –
И говорит она уверенно и строго:
«Нет, я счастливая: лишилась только ног,
А у Васютки вот и ручки оторвались»…

[1] Превыше всего (*нем.*).

Мне что-то помнится: про голубой цветок
Писал
не призванный еще в войска
Новалис.

26.I.1944

ПАМЯТНИК СЛАВЫ

Врозь расступись, не мешай *прусской* удалой игре!
Пушкин (вариация)

Чтоб потешить свою девятилетнюю дочь, он использовал маленьких детей в качестве живой мишени, заставляя подбрасывать их, и стрелял по ним.
Рассел. Проклятие свастики, стр. 153

Глаз вылупя заботливым прицелом,
С осклабленным лягушьим ртом, пруссак
По форме стал и четко сделал шаг,
И медленно приподнял парабеллум.

Пред ним, сияя персиковым телом,
Ребенок лет пяти. Он бос и наг.
Он думает, что это «просто так»,
И всё ж – вопрос во взоре оробелом.

Рывок, дымок. Вскрик легкий. Горяча,
Кораллом кровь плеснула из плеча.
Рывок, дымок. Струя ползет другая,

Пузырясь, из груди. Рывок, дымок.
«Ой, дяденька, не бей! Мне больно!»
Зная
Про это всё, ты не взведешь курок?

26.I.1944

ПОЭТУ

Испуг разбуженных детей
Вовеки не простится.
Пастернак

Ах, только это?! Только то,
Что детки заревели,
Когда, укутанных в пальто,
Вы их тащили в щели?

А те, которых в белый день
Босых в сугробы гнали,
Когда хатенки деревень
Из края в край пылали?

А те, которым с маху лбы
Дробили как тарелку,
Для улучшения стрельбы
По ним ведя пристрелку?

А те, кто по два, по три дня
Ворочались в могиле,
Покуда, танки пригоня,
Ее не прикрутили?

А те… Да что перечислять!
Полно полмира стоном!
Поэту рупором бы стать,
Реветь бы мегафоном!

Поэту б раскалить клеймо,
Убийцам в лоб впечатать!..
А Вы, сдается мне, трюмо
В подвале стали прятать…

Мы ничего им не простим,
Мы им простить не смеем,
Покуда всю их землю дым
Не стиснет черным змеем!

Пусть Ненависть трубит свой зов:
Нет горше нашей боли;
Ее «как пятна с башлыков»
Не снять щепоткой соли.

Пера задача и Ножа –
Убийцам в сердце впиться!
И писк жеманного чижа,
Поверьте, не простится!

27.I.1944

ШОФЕР ЗОНДЕРКОМАНДЫ

Он едет. Он жмет педали,
Он быстро крутит баранку,
Он смотрит привычно-зорко,
Он чувствует тормоза;
До крошечного пригорка
Изведаны эти дали:
До вечера спозаранку
Он пялит на них глаза.

Там, сзади, тюрьма гестапо,
А там, впереди, могилы:
Болотистая равнина
Для заступов хороша.
Ревет и храпит машина,
Свои напрягая силы, –
Его же бесстрастна лапа,
Спокойна его душа.

За ним завинченный ящик,
Железом обитый старым;
В убойном этом фургоне
Сограждан моих везут.
Там скрежет и стон агоний:
Там газовым перегаром

Людей обдают хрипящих,
С гортанью, сухой как трут.

Там тайные дышат трубы,
И едких дымов булавки
Ежами вползают в груди
И бронхи рвут на ходу,
И в темени, в дикой давке
Червями корчатся люди,
Впуская в ладони зубы,
В предсмертном хрипя бреду.

Там женщины, старцы, дети…
Их всех берлинский убийца,
Прищуря пивное веко,
Удушной смерти обрек, –
И копия человека,
Заведшаяся на свете,
С бараньим взором «арийца»
Их мчит вдоль грязных дорог…

5.I.1944

РАПОРТ

Листок. Прекрасная хрустящая бумага;
Машинки четкий шрифт; ни лишней запятой;
Штамп, дата и печать, и подпись точно шпага:
Витая рукоять и лезвие – чертой.
Текст:
«Русских отобрал 100 штук: 17 – дети,
12 – женщины и 71 –
Мужчины. Им отвел канаву № 3-й,
В откосах заложить велев пироксилин.
Всем лечь велел на дно, затылком вверх; как бревна
Лежать, не двигаться. Велел поджечь запал.
Откосы рухнули и завалили ровно
Карьер во всю длину. Отряд мой притоптал

Неровности. Потом два-три бугра вскочило:
Рванулись под землей. Но взвод прошел опять
И снова притоптал. Не видно, где могила.
Затрата времени: минута-двадцать-пять
На операцию (для первого этапа).
О чему и доношу. Хайль Гитлер».
Шеф гестапо
Жемчужным почерком черкнул наискосок:
«Прекрасно сделано. Установить как метод»…

Бери скорей иглу. Бери иглу и этот
К заветнейшим делам души подшей листок!

2.I.1944

ЖАБА

Нарекают жабу Иваном…
Пушкин

Был самый тусклый за столетье год:
Восемьдесят девятый. Ничего
В году том не случилось. Отшумела
Панама. Кайзер номер два успел
Вполне догнить и уступить корону
Ублюдку сухорукому, – но это
В году минувшем занимало прессу,
А в этом было скучно. На России
Царь Александр сидел медвежьим задом
И не давал дыхнуть. Престол австрийский
От крови и от грязи был отмыт.
Торговля шла. Жизнь ковыляла. Тихо,
Так тихо всюду было в этот год!..

Но в этот год в промозглом Браунау,
Где пахло пивом, где холсты пылили,
Где бюргеры по воскресеньям в кирхе
Жевали жвачку сплетен и молитв,

Где все трудились тупо и упорно,
Гроши копили скаредно и тупо
И тупо жрали неизбывный вурст, –
В семье Шикльгрубер совершилось чудо:
У фрау Минны жаба родилась,
Мерзейшая из всех презренных гадов!

Вся испузырясь ядовитой слизью,
Нарывами завистливых гляделок
На жизнь пропучась, шлепогубый рот
Раззявя на цветы и звезды мира,
Дряблобугристым языком клубя
Утробный квак, – сама себе презренна
(Но втайне, втайне, в самых недрах желчи),
Она из колыбели поползла
Сначала в школу, после в мастерскую,
Потом в охранку, дальше под погоны
Ефрейтора, затем в перины Рома,
Затем в рейхсканцлерское кресло – и
К тому распределительному пульту,
Где, выключая жизнь, включают смерть!

Да, в самый тусклый за столетье год
Судьба решилась миллионов жизней:
В кровавых одеялах фрау Минны
Уже лежали бомбы те и мины,
Которые через полсотни лет
Над Герникою, Ковентри, Варшавой,
Над Киевом, Москвой и Ленинградом
Сквозь воздух взвыли, низвергая смерть
На стариков, на женщин, на младенцев;
В ее бинтах, облипших кровью тухлой,
Уже свернулись грязные удавки,
Которыми на площадях душили
Всех, кто посмел свою страну любить;
В щипцах и зондах грубой повитухи
Уже звенели шомпола и сверла,
Которыми дробили кости людям,
Которыми выхлестывали мозг…

Та бомба, что меня швырнула наземь,
Моей соседке голову сорвав;
Та пуля, что пробила грудь твою,
Тот штык, которым изорвали груди
Твоей жене, тот яд, которым губы
Намазали ребенку твоему, –
Всё зародилось в спальне фрау Минны!..

Но тих был год. Всем было невдомек:
Какая жаба родилась в паршивом
Австрийском бурге. Приняли, повили,
Обмыли, окрестили, нарекли
Адольфом.
И никто-никто на свете
Ноги не поднял – растоптать ее,
Размазать по камням, с ее глазами,
Со ртом и мозгом, с желчным пузырем!..

И всё же растоптать ее не поздно!

Встань и ступай! Ты подковал каблук?

3.I.1944

КОМПЛЕКС НЕДОСТАТОЧНОСТИ

> …и никто из детей сызмала не хотел играть с ним… ему всё чудилось, что все смеются над ним… И на другой день находили мертвым того человека.
>
> *Гоголь*

Душевных мук и зудов – множество.
К ним привыкают. Но одно –
Сознание самоничтожества
Как зуб гнилой раскалено!

Рисуется весь мир ареною,
Где, под безжалостным лучом,

«Ты», – существо, себе презренное, –
Кривляться должен нагишом.

Кругом – умы, таланты, щеголи,
Князья удачи и мечты,
Наполеоны, Канты, Гоголи,
А посредине, голый, – «ты»!

Лицо в любые гримы мажется,
Но пользы мало от того,
И *недоделанному* кажется,
Что зубы скалят на него!

И сердце, завистью палимое,
В подполье гонит, на чердак,
Где ненависть неодолимую
Как флюс лелеет маниак.

Как чад висит сознанье дымное, –
И в мелководье пресных дней
Он письма пишет анонимные
И гадит у чужих дверей.

Или отыщет дуру кроткую
И пляшет на чужой душе,
Чтоб издевательской чечеткою
Свое в ней вытоптать клише.

Но в эру, грозную и страшную,
Он, загноившийся в ночи,
Вступает с миром в рукопашную,
Идет в шпионы, в палачи.

А повезет – и он властителем,
Он фюрером взойдет на трон,
Себя объявит небожителем,
Как в ванну сядет в титул он!

Но тайный зуд самопрезрения
Не остывает ни на час,

И блеск насмешки и сомнения
Он ловит в каждой паре глаз.

Он всюду видит: зубы скалятся.
Невыносим всемирный смех!
И головы вприпрыжку валятся
У сомневающихся всех.

Он казнями пройдет и войнами,
Испепелит он города,
Чтоб с подлинными и достойными
Покончить раз и навсегда!..

Глупец, самим собой ужаленный!
Ведь нет, пока сияет твердь,
Улыбки более оскаленной,
Чем та, с какою ходит Смерть!

20.I.1944

РАСОВОЕ ЕДИНСТВО

Я освобождаю людей от той химеры, которая называется совестью.

Гитлер

Право на бесчестье? Да ведь к вам этак все сбегутся.

Достоевский

И впрямь сбежались, а верней – сползлись
Из всех щелей, где вековая слизь
Копилась, где на социальной стерве
Пилавом жирным копошились черви!

Пропойцы, рукоблуды и коты,
Хозяйчики, ростовщики и скряги,
Вся бездарь, мразь, все евнухи мечты –
Все потянулись к животворной влаге.

О, свежесть! Воздух! Больше нет стыда!
Он упразднен рукою хладнокровной,
И свастикою навсегда
Зачеркнут кодекс уголовный!

Не терпишь книг? Библиотеки жги!
Мазилка жалкий? Можешь сапоги
В наплыве упоительного хмеля
Оттиснуть на полотнах Рафаэля!
Скот любострастный? Оскверняй детей,
Едва дыша от хохота и храпа!
Садист? палач? Для пыточных затей
Открыта академия гестапо!

И, главное, не стыдно никого:
Все отлиты по мерке, все такие ж,
Хоть растопчи ребенка своего,
Хоть мозг из кости человечьей выешь!

Вот этаких – сплотил и изваял.
Была ж резцу работа и ваялу!

По скульптору – материал,
Но ведь и скульптор по материалу!

26.I.1944

КАЖДОМУ СВОЕ

Все культурные ценности на Востоке
не имеют значения.
Из германского приказа

Накажи, святый угодник,
Капитана Борозду… *и т. д.*
Пушкин

Конечно! Где же им поднять свиное рыло
В то небо, где Игла Захарова застыла?

Что может жабий глаз увидеть на холстах,
Где Врубель раскидал алмазов гранный прах?
К струне Чайковского навек пребудет глухо
Вполне ослиное, хоть и без шерсти, ухо.
И что великий Лев для тех, в чей затхлый рот
Свои стишки вложил Хорст Вессель, пьяный кот?
Они ж у фюрера берут свои уроки!
А фюрер отыскал бы на Востоке
Одну лишь яркую звезду…
Какую?
– Капитана Борозду.

5.I.1944

ЖАЛОБА МЕРТВЕЦА

Бездарная книга Гитлера «Мейн Кампф» считается у фашистов перлом стилистики.

«Покоя и в могиле нет!
Я думал, что кладбище это,
Где я почию рядом с Гете,
Одарит миром мой скелет.
Сто лет уже, земные гости,
Мы спали, накормив червей,
Но вот – близ головы моей
Соседа шевелятся кости.
Стук, грохот; в гроб набилась пыль…
Нет сил терпеть возню поэта!
– Что вы ворочаетесь, Гете?»
– «Там Гитлер свой шлифует стиль!»

3.I.1944

МАГАЗИН САМОУБИЙСТВА
(Подражание М. Роллина)

Вам надоела жизнь? Вас манит мрак могилы?
Извольте просмотреть наш новый каталог
Вернейших способов протягиванья ног.
Вот миленький ланцет: им открывают жилы.

Вот яды, горькие и сладкие: глоток –
И не спасут уже вас никакие силы.
Вот пистолет: у пуль глубокие надпилы,
Чтоб на полчерепа разворотить висок.

Но если хочется вам быть оригинальным,
Вступайте в полк СС. Тогда вы триумфальным
Путем сойдете в гроб: в бою размажут вас,

Иль партизанская пристукнет вас дубина,
Иль, фюреру вослед, свой выкатите глаз,
Когда вас вздернут всех на площадях Берлина!

5.I.1944

ИЗЪЯН

Как гениален фюрер! Он –
Сверхчеловек на самом деле:
Он вдохновенней, чем Наполеон,
Рисует акварели.

Он исключительный стратег;
Весь мир в том убедился нынче:
Воюя с ним, разгрома не избег
Ни Рафаэль, ни Винчи.

Что океана пенный вал
Ему – хотя бы в шторм чертовский?
Ведь он куда отважней адмирал,
Чем даже Айвазовский.

Он музыкальный виртуоз;
Что скрипки все и пианино
Пред музыкой накликанных им гроз
На голову Берлина?

Что перед ним мудрец-Платон
Иль бог любви с его нахрапом?
В мужских делах с Платоном спорит он,
А в мудрости с Приапом.

Над всей вселенной вознесен
Он в непреклонном превосходстве!
И всё ж Иуде уступает он…
В чем? – В благородстве.

19.I.1944

РЕФОРМА ПАЛИТРЫ

На Берлин сброшено свыше 1000 тонн бомб;
пламя пожаров было видно за 400 километров.
Из газет

Художник написал закат – один из тех,
Что ослепляют взор, как демонский доспех,
Где с пламезарных туч на мир гремит лавина
Разгулом пурпура, безудержем кармина!
Вся гамма красного! Вишневые шлепки,
Шелков коралловых размывы и клоки,
Размазы рдяных лав меж дымными клубами,
Жаровни яхонтов и пламя, пламя, пламя!..
Я с наслаждением на этот пир глядел.
Будь кардиналом я, немедля б я надел
Вот этот грубый холст взамен муаров алых,
Чтобы понежиться в багрянцах небывалых…
Я у художника спросил: «Скажи мне, как
Ты это выписал? Что здесь? Кармин? краплак?
Крапроза? киноварь? Горит, аж дрожь по коже!»
Художник отвечал с весьма ехидной рожей:

«Здесь этих красок нет, как ты глаза ни щурь:
Тут настоящая берлинская лазурь!»

2.I.1944

ПОСЛЕ КАПИТУЛЯЦИИ

Шли двое. Ночь. Пустырь вблизи болотной Шпре.
Вдали, подобная уродливой горе,
Громада черная – костлявая руина
Сплошь размозженного бомбежками Берлина.
Ночь. Мелкий дождик. Грязь. Вдруг из-под ног во мрак
Метнулось, зарычав, десятка два собак;
Блеснули их глаза зеленые во мраке, –
Все звезды здешние на здешнем зодиаке;
Со свалки мерзостной повеял трупный смрад.
«Фу, черт, – сказал один, – да тут могильщик ахнет!»
Но спутник возразил: «Чудесный аромат!
Тут мертвым Гитлером, насколько слышу, пахнет!»

26.I.1944

СМЕРТЬ МУССОЛИНИ

Традицию он выдержал вполне –
Последний цезарь… Как прохвост последний
С дизентерийным холодом в спине
Он верещал, что старца нет безвредней,
Что безобидней не найти раба,
Чем он, свои проклявший заблужденья,
Что болен он!.. И липкая губа
С сапог солдатских лишние мгновенья
Сосала: «жить!» И слезы – в три ручья –
Карата по три каждая тянули,
Прозрачные!..
О, честный лязг ружья!
О, зной и сухость неподкупной пули!

5.V.1945

МАТЕРИ РЮРИКА ПАВЛОВА

Против хищников закаленных
(Было трое на одного)
Ваш не выстоял соколенок,
И они убили его…

Он, по-юношески ликуя,
В огневую взмыл синеву –
Умереть за страну родную,
За родную свою Москву.

Он взлетел в небосклон разверстый,
Он ворвался в ливень огня,
Лица матери и невесты
На веселой груди храня.

Отдавая себя отчизне,
Ваш ребенок и ученик,
Пережил он светлейший в жизни
Исступленно-прекрасный миг!

Плачьте, плачьте! Вы – мать, и плачьте!..
Только сын приказал Вам так:
Чтоб на каждой башне и мачте
Охраняли Вы красный флаг;

Чтоб Вы помнили неустанно,
Вспоминали бы вновь и вновь,
Что на ткани этой багряной
Вам родная алеет кровь!

27.II.1942

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

Здесь пали мы все Триста, повинуясь
законам своего отечества.
Надпись на Фермопильской гробнице

Велика Россия, а отступать некуда:
позади – Москва.
Слова Одного из Двадцати Восьми

Старый учитель, давно не учащий,
Школе не нужный отставленный «грек»,
Едкий брюзга, на эпоху ворчащий,
Слезы в газету ронял из-под век.

Он прочитал, как пошли Двадцать Восемь,
Как на высотке засели в окоп,
Как неприятелю «милости просим»
Снайперской пулею кинули в лоб.

Разные люди, несхожего склада,
Разного возраста, разных племен,
Стали – литая из стали преграда, –
И перед ними полег батальон.

Четверо суток бессонницы лютой
Прожили жизнью мишени они,
Меря свой век пулеметной минутой,
Числя веками ползущие дни.

Всё это были обычные парни,
Склонны к футболу, от рюмки не прочь, –
Но не бывало Звезды светозарней,
Чем их окоп в их последнюю ночь!

В дальних углах блиндажа остывали
Десять… пятнадцать… и двадцать… А те,
Кто хоть простреленной грудью дышали,
Длили свой Бой на своей Высоте!

Родину чувствуя в стынущих жилах,
Ненависть бруствером стлали у рва
И умирали в своих Фермопилах,
Зная всем телом: за ними – Москва!

Пали… погибли… Но этою ночью
Сердце победы стучало в Кремле…
Плакал учитель: он видел воочью
Тень Леонида на русской земле!

7.I.1944

ИЮЛЬ 1941

Уходит солнце мертвой розой,
День меркнет, и нельзя помочь,
И склеротической угрозой
Как жила набрякает ночь.

Она стоит, она коснеет
Тысячетонной тишиной,
И некий черный тромб густеет
В безмолвной дрожи кровяной.

И, разрывая людям уши
И миру придавая крен,
Вдруг тошным голосом кликуши
Вопит отчаянье сирен.

И в небо, в известковый свиток,
В апоплексический сосуд,
Тугие выдохи зениток
Удушье смертное несут.

И бредом фосфорного пыла
Встают и в небе до утра –
Бедлама синие стропила –
Шатаются прожектора.

А небо, купол, круче-круче
Свой перекладывает руль,
Чтоб рухнуть в бешеной падучей
Зеленых, синих, алых пуль!

15.XII.1942

РАССВЕТ

На горизонте меркнут пожары,
Чуть выцветает черная ночь,
Реже и глуше рвутся удары,
Клекот моторов кинулся прочь.

Тихо, всё тихо. Небо свинцовей.
Сонною рыбой мякнет баллон.
Тише движенье вспугнутой крови,
Куришь ровнее, страх под уклон.

Тихо как мрамор. Улиц каньоны
Пусты и голы. И над тобой
Голос клубится, далью рожденный:
«Больше угрозы нету. Отбой».

Медленный выдох! Медленно с вышки
Сходишь на землю. Жизнь – впереди:
Около суток… Дальние вспышки?
Это пустое, – и не гляди…

В комнате серой ровно и скучно.
Мне подарили двадцать часов.
Чем их заполнить? Время беззвучно,
Мысли застыли – чашки весов.

Нечего взвесить, нечего бросить.
Атараксия… строгий покой...
Только, должно быть, новая проседь
Снова поладит с новой тоской.

1941

ОЖИДАНИЕ

Надвигается ночь. Надвигается ужас ночной.
Раскрывается с хрустом огромное пресное небо.
Повисает луна. Повисают под белой луной
Меловые ковриги небесного дутого хлеба.

Этот мертвый как проповедь, этот банальный пейзаж,
Эти хлебы скупые, подобие вялых баллонов,
Неотвязной, тифозною тяжестью давят. Глаза ж
Ищут знамений рдяных, и сердце стоит, захолонув.

И они возникают, и мне угрожают они
Безысходностью гибели, жадною хваткой измора…
И в громах тяжкомраморных серные сходят огни.
Я не знал никогда, что мой город зовется: Гоморра!

1941

ПОДПОЛЬЕ

Раннее послеобеда;
Мертвоснежный зимний день;
Вьет поземка, нету следа,
Нет прохожих; думать лень.

В доме пусто, в сердце пусто.
А у дальних переправ
Целый день подобье хруста:
Бьются, смертью жизнь поправ!

Ты огня не зажигаешь,
На диван не хочешь лечь,
Ты спиною осязаешь
Мертвокафельную печь.

Кто-то бьется, гибнет кто-то,
Кто-то волит. Ты – стоишь;

У тебя одна забота:
Затаиться точно мышь.

За тебя давно решили,
Всё решили без тебя;
Повинуйся ж мертвой силе,
В мертвом снеге взор знобя!

Для тебя найдется дело,
Только после, – погоди!
А пока – заледенела
Льдинка колкая в груди...

1941

ОДИНОЧЕСТВО

Мы живем вчетвером: я, собака и наши две тени;
Неразлучны, мы бродим по комнатам нашим пустым;
Мы диваны меняем, полны отвратительной лени,
И две тени кривляются, – ноги бы вывернуть им!..

Ничего... Это нервы гудят, это фосфору мало,
Это нет телеграммы от где-то живущей жены.
Ничего, ничего... Лишь бы ночь без пальбы прохромала, –
Лишь бы в снежных сугробах завяз Джаггернаут войны!..

К нам не ходит никто, да и некому. Я и собака
На прогулку выходим на мерзлый и мутный чердак.
Слабо кашляет крыша под вьюгой, и грубого шлака
Скрип и хруст регистрируют каждый мой сдержанный шаг.

И – стою: интеллект, гражданин, пожилой и почтенный;
Оловянная изморозь, слышу, растет на стене.
Я затерян среди равнодушно висящей вселенной,
Свидригайловской вечностью душу расплюснувшей мне...

24.XI.1941

ПАНИКА

Я помню эти дни постыдного испуга,
Когда прослышали, что смят московский фронт,
Когда прожекторы от севера до юга
В слепую муть и мглу впускали робкий зонд,
И выли поезда, как сдавленная вьюга,
Срываясь на восток, за ночь, за горизонт…

Мелькали ужасом изжеванные лица;
С трамваев пучилась червей густая гроздь;
Старух навьюченных тащилась вереница,
Еще влача надежд обглоданную кость.
И думалось: по швам уже трещит столица,
И, в падшую, в нее кровавый вступит гость.

Я был совсем один в пустой моей квартире.
Шла громом ночь. Я сел за телефон, приник, –
Но нету ни души во всем огромном мире:
На все звонки ответ – мембраны мерный мык,
Как будто на убой в неведомые шири,
Уже замученный, бредет покорный бык.

И встало бешенство, холодное как ледник,
Как ночь полярная, как абсолютный нуль!
«Ты веришь?» – я спросил. И совесть-исповедник
Ответ услышала: «Я верю в бога пуль;
Но если все умрут, им буду *я* наследник,
И поглядим тогда: промажу ль, попаду ль?»

Я эту ночь провел как Ласкер за доскою:
Я комбинировал, гамбиты создавал;
Я знал, что делать мне! С восторгом и тоскою
Я подпускал врага: что делать мне – я знал!
Под утро сон сморил, но и во сне рукою
Как женское плечо я стискивал кинжал…

На следующий день я вышел в сумрак серый,
Увидел на стенах белевшие листки –

Воззванье Сталина!.. И вздорною химерой
Предстали призраки ночной моей тоски:
Москва пошла на бой с неистребимой верой,
Как знамена подняв лопаты и кирки!

Вставали надолбы, дыбились баррикады;
На дальних подступах рванулись из дубрав
Гвардейцы Жукова!.. И – откатились гады!
И понял я навек, внезапно и стремглав:
Сдаются города, но не сдаются Грады,
Когда Народ и Вождь в единый слиты сплав!

6.I.1944

БЛЕРИО

Он был милый и легкий,
самодельный какой-то,
из холстины и дранок,
В перекрестах шпагата,
с парой велосипедных
многострунных колес.
От земли отрываясь
метров на́ двадцать к небу,
он летал спозаранок, –
И хрустальное утро
на глаза наплывало
поволокою слез.

Непохож на машину,
походил на пенал он,
на коллекцию марок,
На дорожную ванну,
на словарь эсперанто,
на мальчиший брелок…
Утро пахло гвоздикой
и перчаткою бальной,
и – нежданный подарок –

Сотня флагов нерусских
трепыхалась по ветру,
напрягая флагшток.

Как нам весело было,
как нам было завидно,
и свободно, и гордо!
Это Новая Эра
нам себя показала
и в себя позвала;
Это молодость наша
напряглась и запела
как скрипичная хорда
В резонаторе гулком
полнозвучного неба,
голубого стекла!

Светло-желтый на синем,
он шатался по небу,
отвергая все грани;
Он зачеркивал карту,
он сближал континенты,
он таможни сбивал.
В мире больше не будет
ни войны, ни проклятий!
и, ликуя заране,
Мы, как тысяча братьев,
велодром облепили,
замыкая овал...

Тридцать лет миновало...
Я, седой и согбенный,
прочитавший все книги,
Повидавший поэтов,
кардиналов, министров,
девок и палачей, –
Вспоминаю то утро
со стыдом недоучки
и с презреньем расстриги,

Выходя на дежурство
под железное небо
бомбометных ночей!..

13.XII.1942

МЫ ЖИВЕМ НА ЗВЕЗДЕ

Мы живем на звезде, на зеленой,
Мы живем на зеленой звезде,
Где спокойные пальмы и клены
К затененной клонятся воде.

Мы живем на звезде, на лазурной,
Мы живем на лазурной звезде,
Где Гольфштром пробегает безбурный,
Зарождаясь в прогретой воде.

Но кому-то захочется славой
Просиять и провеять везде, –
И живем на звезде, на кровавой,
И живем на кровавой звезде!

31.VII.1942
Фрунзе

ПЕСТРЫЙ ФАРАОН

А перед ним Воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
Пушкин

ПАНЦИРЬ

Он выплыть из всех напрягается сил,
Но панцирь тяжелый его утопил.
Жуковский

Но то ведь «слуга паладина убил»,
Но то ведь лакей нарядился, но то ведь
Измена дерзнула, не выверив сил,
Свое торжество за углом приготовить.

Но панцирем блещет небесный простор,
Когда разверзаются зори над мраком;
Но панцирем был огражден «Монитор»,
Когда в поединок вступал с «Мерримаком».

И панцирь, кираса, кольчуга, броня
Как сердце сверкают среди паноплии, –
Уже не отвагу, а память храня
О том, чем прославлены годы былые.

6.I.1943

У СЕБЯ

Здесь долго жить мне. Взгляд кругом кидаю зоркий:
Окно шершавое уперлось на задворки,
А за амбарами – петуший хвост: закат,
И рыжие лучи на потолке дрожат.
Сияет комната. И панцирь черепаший
В углу на столике своей пятнистой чашей

Зачерпывает блеск... Тут хорошо мечтать
О том, что никогда не явится опять.
Тут к месту были бы, средь тишины и блеска,
Кинжал Печорина и рыжая черкеска,
И локон женщины, и между пыльных книг
Разочарованный, придуманный дневник…

20.V.1922

ЧЕРЕПАХА

Мои стихи есть бронза пепельниц,
Куда бросаю пепел я.

Шершеневич

Testudo elegans! Твой панцирь золотой,
Как бы из облака закатного литой,
Прекрасно выгорблен, – как лоб высокодумный,
Как чаша с нектаром. А с моря ветер шумный
Во влумине твоей играет и гудит...
Ах, только струны бы, да рядом Бакхилид, –
И строй высоких дум, и звуков мед тягучий,
И ветер, пляшущий под заревою тучей,
Всё заструилось бы и в вечность потекло,
Лаская чье-нибудь горячее чело!..
Ах, только струны бы – и в пене песни ярой
Из пепельницы стать бессмертною кифарой!

21.XII.1940

РОМАНТИКА

Нине Манухиной

Нам всегда хотелось «иначе»,
Нам сквозь «это» виделось «то»;
Если жили просто на даче,
То шутили: живем в шато…

Рдеет пурпур и гарь заката,
Переулок твой озарив;
Это «два золотых фрегата
На коралловый стали риф».

Ты растерянно притулился
Меж винтёров и винопийц;
Это «принц Флоризель томился
В мутном клубе самоубийц».

Вянет месяц над Самаркандом,
Синей влагой залив бассейн;
Это «в Ко́рдове по верандам
Лунной ночью гулял Гуссейн».

Летом пил ты бузу наверно,
Но и в трезвом напитке хмель:
«Замечательная таверна!
Превосходный шотландский эль!»

Мглистый вечер, туман с болотца,
Но не стоит идти домой:
Сладкой жутью в тумане вьется
«Баскервильской Собаки вой».

Каждый дом на горе – «акрополь»,
«Монтезума» – каждый цыган;
Называется – Севастополь,
Ощущается «Зурбаган»…

В мире всё – «как на той картине»,
В мире всё – «как в романе том»,
И по жизни, как по пустыне,
За миражем вечным бредем.

13.XI.1942
Фрунзе

УЗНАВАНИЕ

На старой гравюре
В истрепанной книге:
Укрылись от бури
Пугливые бриги;
На прочных причалах
Стоят корабли;
Вдоль скал одичалых
Дома залегли.

На старой гравюре:
Неведомый город,
Кинжалами бури
Взрезан и вспорот,
Весь выветрен, матов
И сух как змея, –
То сердце далматов,
Рагуза моя!

Из каменной рамки
Глядят исподлобья
Дома, точно замки,
И замки-надгробья;
Тут скорчены ветки,
Тут скудны струи;
Упрямые предки
Тут жили мои!

Гляжу и не знаю:
Во сне ли вчерашнем
Вот к этим, по краю,
Взбирался я башням;
Откуда знакомы
Вот эти, вблизи,
Сквозные проемы
Щитов жалюзи?

Откуда мне любы
Зубцы и бойницы,
Гончарные трубы,
И зыбь черепицы,
И ярость ветров, и
Растресканность плит, –
Не голос ли крови
Во мне говорит?

Ужели не здесь, не
Отсюда дана мне
Та вера, что песни
Прочнее, чем камни, –
Чтоб стих, как в гравюре
Прорезанный в медь,
Сквозь бешенство бури
Сумел прозвенеть?

5.XII.1936

ПОЭТУ

Дней осталось у тебя немного;
Не растрать хотя бы одного:
Далеко не пройдена дорога,
А с тобою – никого...

Ты, безвестный керченский бродяжка,
Одинок, запуган с первых лет, –
С первых лет любовью болен тяжко
К слову легкому: поэт.

Ты, дрожа с Епископом Гатоном,
Рея на воздушном корабле,
С первых лет скитался отрешенным
По родной твоей земле.

Помнишь день, когда тебе впервые
В синем море белые ладьи

Развернули паруса крутые
В запредельном бытии?

Помнишь день, когда амфоры древней
Ты впервые тронул стройный бок,
И гончар, вовек безвестный Эвний,
В пальцы вдунул холодок?

Помнишь ночь, когда над бухтой южной
Как падучей ауры душа
Просиял кометы клин жемчужный,
Не мерцая, не дыша?

Помнишь – в сердце – в эти миги трепет?
Ты не знал, что это стих цветет,
Что в тебе уже поэта лепит
Море, вечность, небосвод;

Что тебе дано пройти по миру
В зной без шляпы, в ливень без плаща,
Беззащитным, – маленькую лиру
Верным компасом влача;

Что тебе дано пристрастьем жадным
Ко всему томиться, ко всему:
К людям, к песням, к зорям виноградным,
К звездам, канувшим во тьму,

К бронзе статуй, к шерсти Калибана,
К плоти дуба, к звону топора,
К тайне ядов, к реву урагана,
К мутным бредам баккара,

К четким числам, к томным каплям мирры,
К тлену мумий, к свежести озер, –
Ко всему из-за решетки лиры
Простирая пленный взор!..

Что успел ты? Где твой Мир Певучий?
Долог путь, а мало впереди

Дней и лет... Так стисни зубы круче –
И спеши! Не жди! Иди!

12.II.1938

ЖИЗНЬ

Мне шесть, а ей под шестьдесят. В наколке;
Седые букли; душные духи;
Отлив лампад на шоколадном шелке
И в памяти далекие грехи.
Она Зола читала и Ренана,
Она видала всякую любовь,
Она Париж вдыхала неустанно
И в Монте-Карло горячила кровь.
Она таит в своем ларце старинном
Сухие розы, письма, дневники;
Она могла бы объяснить мужчинам
Все линии несытой их руки.
Всезнающей, загадочной, упрямой
Она заглядывает мне в глаза,
Из книг возникнув Пиковою Дамой,
Суля семерку, тройку и туза…

Мне двадцать лет, а ей, должно быть, сорок.
Он вял слегка – атлас и персик плеч,
И перси дышат из брюссельских сборок,
Маня юнца щекою к ним прилечь.
Как сладко будет овладеть такою –
Порочною, подклеванной вдовой:
Жизнь надо брать с холодной головою,
Пока она – с горячей головой.
Она за дерзость будет благодарной,
Под пальцы ляжет, – нежной глины пласт, –
Она мундштук подарит мне янтарный
И том стихов на ватмане издаст.
Она раскроет деловые связи,
Она покажет в полутьме кулис

Все тайны грима, все соблазны грязи,
Все выверты министров и актрис.
Она уже не кажется загадкой,
Хоть жадный взор стыдливо клонит ниц...
Мне тоже стыдно, и гляжу украдкой
На трепеты подстреленных ресниц...

Мне тридцать семь, ей двадцать два едва ли.
Она резва, заносчива и зла,
Она с другим смеется в бальной зале,
С другим к вину садится у стола.
Всё ясно в ней – от похотей до страхов,
Хотя он лжет – лукавый свежий рот,
И никель глаз среди ресничных взмахов
Мое же отраженье подает.
Не упустить задорную беглянку!
Девчонка! Ей ли обмануть меня?
Билет в балет, духов парижских склянку –
И льнет ко мне, чуть голову клоня.
Но горько знаешь этот пыл условный
И медлишь, и томишься, и грустишь,
И ей в глаза как в кодекс уголовный
В минуты пауз трепетно глядишь...

Мне пятьдесят, а ей, пожалуй, девять.
Худа, и малокровна, и робка.
В ней спит болезнь, – ее боюсь прогневить:
Столь сини жилки в лепестке виска.
О, девочка! О, дочь моя больная!
На солнце, к морю, в Ялту бы, в Сухум!
Она всё та ж, но каждый день иная:
Она слабеет, и слабеет ум.
Учить ее? читать ли ей баллады?
Играть ли с нею в хальму и в лото?
Таясь, ловлю испуганные взгляды,
В которых мглою проступает – *То*!

Мне шестьдесят. И вот она – младенец.
К ней в колыбели жмется дифтерит,

И сверстников моих и современниц
Кружок последний на нее глядит.
Поднять ее, зажать ее в ладони,
От старости холодные как лед:
Быть может, ужас, за душой в погоне,
Как жар, хоть на полградуса спадет?
Но нет: хрипит!.. Стою бессильным дедом:
Как ей помочь? как вдунуть воздух в грудь?
А Черный Ветер, страшен и неведом,
Уже летит в ней искорку задуть...

23.VII.1943

ТАК УМИРАЮТ

Так умирают. Широкая мокрая площадь;
Небо как некий писатель слезливо и тускло;
Очередь в тро́ллейбус; ветер подолы полощет;
Толстый портфель избугрился под мышкой, как мускул.

Где-то далёко колотит в комод канонада;
Это привычно, хотя до сих пор неуютно.
Долгая очередь… Мне же на лекцию надо!..
Небо как Надсон: фальшиво, слезливо и мутно.

Посвист и фырканье в дымной выси над музеем:
Видно, идет самолет с неисправным мотором;
Мы равнодушно в безглазое небо глазеем,
Мы... вдруг удар… и сверкающий столб… на котором…

В спину ладонью толкнуло громадной и слабой;
По́д носом радуги в мокром асфальте играют;
Толстый портфель мой по слякоти шлепает жабой;
Рядом – безглавая женщина... Так умирают…

Так умирают… Холодная синяя ванна;
Женщина моет меня, мне не стыдно ни капли;
Бритва тупая дерет мне затылок, и, странно:
Кажутся сладкими мыльные синие кафли.

Дальше меня по стеклянным ведут коридорам;
Зябко в халатике из голубой бумазейки;
Комната, койка; я – под одеялом, в котором
Быстро бегут к пояснице горячие змейки.

Я понимаю: я болен и очень серьезно;
Скоро ль вернусь я к моим стиховым теоремам?
Я умираю, и тут разговаривать поздно...
Синие кафли... как вафли... с фисташковым кремом...

Мне говорят: «Вы неделю без пульса лежали»;
Мне улыбается Нинка, мне дверь отворяют…
Синее небо! Прозрачные горные дали!
Значит, не умер я! Странно: ведь так умирают…

19.XI.1942

СОЛНЦЕВОРОТ

Вот прошел он – самый длинный,
Самый светлый день в году.
Голубою паутиной
Тени стелются в саду.

Я сижу, больной и старый,
Слышу возгласы ребят.
Фирюзинские чинары
Надо мною шелестят.

И еще пройдет полвека,
И такой же будет день, –
И не вспомнят человека,
Отступающего в тень...

23.VI.1944
Фирюза

ДИСТРОФИЯ

Юных – скликает Победа,
Мне же – болезни рука
Песенкой бледного бреда
Трогает вены виска.

Жидкой берлинской лазурью
Жалкие жилки полны
Под алебастровой хмурью
Втертой в висок тишины.

Небо, намеренно голо,
Веет холодным огнем:
Белой облаткой ментола
Белое солнце на нем.

И мировым напряженьем
Стынет апрельская синь
Над непонятным скольженьем
Уличных плоских пустынь.

Это – цыганской цингою
Смерть ворожит надо мной,
Вечно звенящей серьгою
В мочке повиснув ушной.

Бродишь бездомным фантомом,
Тенью безмолвной кружишь,
Отдан холодным истомам
Под сталактитами крыш...

1–4.IV.1943

ИТОГ

Я к минувшему стал равнодушен,
О несбывшемся поздно жалеть,
А любимый мой город разрушен,
И в чужом предстоит умереть.

И не будет для мертвого взора,
Что и раньше в туманах одрях,
Ни бессмертной лазури Босфора,
Ни колонны в коринфских кудрях.

19.V.1945

ЭКРАН

Я грубый холст экрана...
Льном голубым я рос
Средь вешнего тумана
Сквозь бисер летних рос.

Я облачком кудели
Клубился как руно,
Я струйкою метели
Кружил веретено.

Я белой мог сорочкой
Спускаться с женских плеч,
Воздушной оторочкой
Вдоль реи легкой лечь!

Но нет! В презренном храме,
Где жизнь боится дня,
Навек в упрямой раме
Распялили меня.

И плоскостью покорной
(Двумерное рядно)

Вишу я в зале черной
Базарного кино.

Я вечной стал мишенью
Для лживого луча,
Что бредит, – зыбкой тенью
Судьбу теней влача…

VIII.1944
Фирюза

СОБЛАЗН

Пол блестит как желтый мед,
Беспорочен кафель белый,
Окон мелкий переплет
Осенен лозой омшелой.

Запах кофе и тепла,
Ходит маятник, мигая;
Жизнь меж пальцев утекла,
С прялки нитью низбегая.

Так прозрачна тишина,
Так мягка, душой владея...
Но досаден у окна
Пьяный профиль Амедея.

15.XII.1941

НЕВРАСТЕНИЯ

К туманам этаким весьма пошел бы газ,
Душа зеленая фонарных гранных келий:
Он так бы замирал, он так бы нежно гас,
Едва пульсируя средь уличных ущелий!

Но соответствия нигде я не найду,
И гаснуть одному на улицах дано мне...

Кухарка бреется; Голядкин спит, в бреду;
И шкура барсова над домиком в Коломне...

Какая чепуха!.. Мотора дальний альт
Один бы в тишине звучал, не застони я...
И черным двойником ложится на асфальт
Всегда двумерная – моя неврастения…

21.III.1934

СИРОТСТВО

Терпкий ветер, день тревожный,
Весь белесый, налитой
Ледяною последождной
Беспредельной пустотой.

Два часа. И человеку
Места нет и дела нет:
В этот час библиотеку
Запирают на обед.

А на улицах пустынно,
На бульварах мокрота;
Скучной жизни половина
Несомненно прожита.

В лужах рябь под ветром резким
Палым спрыснута листом;
Даже слово молвить не с кем
В этом городе пустом.

И стоит в тоске отдельной
Человечек, сам не свой,
Поникая головой
У окошка москательной.

1938

ОТРАЖЕННОЕ БЫТИЕ

О тебе. О таком. Который
Кем-то выдуман. Кто во сне
Управляет большой конторой
С гиацинтами на окне.

Кто глядит, как несут корзины
С океанского корабля:
Груз мушката, кофе, резины,
Чем твоя богата земля.

Кто лежит, нестерпимо болен,
Равнодушен к земным плодам,
И кому с резных колоколен
Отряхает звон Амстердам.

О тебе. Кто лежит и жалко
На весенний глядит каштан
Из-за факелов катафалка:
Бедный-бедный Каннитферштан!..

1934

А МОЖЕТ БЫТЬ

А может быть, вовсе не надо
Быть ясным, логичным и стройным?
Не грубую ль кисть винограда
Промазывал кистью Сезанн?
Не комья ли розовой глины
Вибрируют в воздухе знойном?
Не все ли затмил анилины
Чешуйчатой медью фазан?

Не магия ль крупного плана
В пушке над губами любимой?
Не ломкое ль слово корана
Восток пронизало и Юг?

Быть может, не львиная лапа
Мечтою столетий хранима,
А лишь треугольная шляпа
И серый походный сюртук?

8.V.1944
Ашхабад

АТАРАКСИЯ

Налетали летние грозы,
Набегали теплые ливни,
И пузырные человечки
Расплясывались по асфальту.

А в комнате хмурой и темной
Человек сидел настоящий
И ничего не делал,
О чем бы стоило вспомнить.

11.VII.1936

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

Пароход подходит к пристани,
Пеня белые бугры,
И висит звезда над зубьями
Митридатова холма.

От ладоней пахнет сыростью,
Губы солоны на вкус;
Я вернулся, – и неведомо,
Для чего вернулся я.

По лобастому булыжнику
Рыбный рынок прохожу,

Где уже считают выручку,
У фонариков клонясь.

И сквозь темные проулочки
В портовую пустоту
Вдруг пахнет с бульвара музыкой
И акацией пахнет.

Мне домой идти не хочется,
Да и незачем домой;
Вот кофейня, сяду к столику,
Папиросу раскурю.

Из окошек слышно щелканье
Лаконических шаров...
Это будни, лето, молодость,
Одиночество мое.

30.XII.1939

2

Я в окошко стукнул пальцем,
Под окошком пес лайнул,
И твой отклик нежным жальцем
Каплю меда протянул.

И как тучка голубая
В пенной пряже серебра
Ты ко мне, плащом порхая,
Полетела со двора.

Легкий стан твой, как бывало,
Дрогнул у моей груди, –
И желанное настало,
И былое впереди!

8.VII.1943
Фрунзе

МГЛА

И так – до Полюса! Огромной пустотой,
Безглазой впадиной висит недвижно стужа,
Как лимфа мутная, как мертвых звезд отстой
Пространство затопя, загладя и завьюжа.

И так – до Полюса! Сплошным бельмом легла,
Сырая, вязкая, презрительно-слепая,
Полна сама собой и торжествуя, Мгла, –
Как невесомый спрут обвив и прилипая!

11.I.1943

ЗА ОКНОМ

Ты веселую лампу зажгла...
Отступи, заоконная мгла!
Не пролизывай мутью стекло:
В нашей норке светло и тепло.
Но бубнит заоконная мгла:
«Я недаром к тебе подползла;
Эта светлая норка – обман;
Не в тебе ли слоится туман?
Не твои ль замутились пути?
И тебе ли до цели дойти?
Выходи! Мы с тобой побредем
Подружиться с бездомным дождем;
Он прохватит тебя до кости;
А издрогнув, не стильно ль брести?
Вот тогда мы с тобою вдвоем
О грохочущем солнце споем!»

24.I.1943

МОРОЗ

Иди и зубами не ляскай,
Иди, а иначе погиб:
Мороз раскаленною маской
К лицу бездыханно прилип.

Какой-то надменною мутью
Заполнен кирпичный туннель,
И градусник лопнул и ртутью
Как пулей ударил в панель.

Дома исключительно немы
И слепы, и только (смотри)
Под мыльно-пузырные шлемы
Ушли не дышать фонари.

Иди же, иди же, иди же!
Квартал за кварталом – иди!
Мороза скрипучие лыжи
Скользят у тебя по груди.

Межзвездный презрительный холод
Во весь распрямляется рост,
И мир на ледяшки расколот
Средь грубо нарубленных звезд.

1940

ТАМ, В ГОРАХ

Нине Манухиной

Буря болтает ночь напролет
Грубо нарубленный звездный лед;
Стынет горы угловатый ком,
Кованный чертовым каблуком;
Слушая бури чугунный гул,
Ухом к ущелью прильнул аул.

Камни подковами колет конь,
Пули в погоню гонит огонь,
Грохота горный черпнул черпак,
Кровью червонной черен чепрак;
Стремя как время мерно звенит,
Стужу на темя рушит зенит.

Бури упорной рычи, рычаг;
В юрте пылает в ночи очаг,
В юрте от вьюги угли поют,
Путника в мутный зовут уют.
Позднее время, путника нет;
Звездное племя душит рассвет.

Тихо у снежных, у грозных круч;
Нежный по снегу мерзнет сургуч...

15.XI.1942

НОЧЬ

Как бритва буря в улицах, черных сплошь;
Звенит промерзлый, зеркалом став, асфальт;
Со звезд условных колкий метут снег
Черные мётлы деревьев голых.

Ни зги не видно; пробую тростью путь;
Озноб нарзанный по позвонкам бежит;
В душе и в мире всюду легла мгла,
Смерзлось пространство, застыло время.

А в черном небе радио стелет вопль,
Грудным контральто воя нивесть о чем,
И у больницы, вбив костылем ритм,
Два инвалида чечетку пляшут.

8.XII.1942

ДОК

Безлюдье, вечер. Темный док.
На стапелях суда.
В раздутых кузовах гудит,
Свистит в снастях норд-ост.

И мутной пены пятерни
Царапают песок,
И душу черту отдает
Повешенный фонарь.

А я продрог, но всё стою
Под брюхом корабля,
И пахнет гнилью и смолой
Весь в раковинах киль.

И сладкий хмель морских легенд
И жуть баллад морских
Ревут мне в уши, бьют в виски
И плечи леденят.

И я не смею ни уйти,
Ни спину повернуть
К утопленничьей пене той,
Что лезет на песок!

30.XII.1939

АЛАМЕДИНКА

Ирине Алексеевне Бах

Чую сквозь носок ботинка
Перегретой гальки зной,
И гремит Аламединка
По камням голубизной.

Хлещет с горного отрога,
Быстротой обострена,
Ледяная недотрога,
Кружевная быстрина.

И, от края и до края,
Стелет пену на песке,
Крупным гравием играя,
Как горошиной в свистке.

Гравий млеет в пленке пенной,
Громоздясь на рубеже
Миньятюрною мореной
Пестроцветного драже.

А вдали сквозит в тумане
Невесомый горный кряж, –
Как былых декалькоманий
Умирающий мираж.

25.XI.1942

У ОКНА

Ночь. Два часа. Напротив – черный дом
На фоне выцветающего неба;
Погашен газ, и улица, каньоном,
Прорезана у самого окна.
Я вынимаю из футляра цейсс
И навожу на ветер предрассветный,
И он, с прохладой, мне приносит дрожь:
Спиртовую голубизну Капеллы...

Мне дико здесь в трехметровой пещерке,
Где в потолок уперлись переплеты;
Мне дико здесь за письменным столом,
Усеянным опавшими годами:
Спиртовый луч летел сто тысяч лет,
Пока разбился о мою ретину, –

А кто увидит и каким увидит
Тот, что сейчас рванулся от звезды?

Мне дико здесь, среди утесов книжных,
На берегу кирпичного каньона,
Когда ко мне летят тысячелетья,
Когда я сам с планетою лечу!

И так отрадно, что безмолвье неба
Вдруг надорвут ликующей руладой
Проснувшиеся в зоопарке львы!..

3–4.VI.1936

КАЛЕЙДОСКОП

Премилая игра нам
Придумана в былом:
Два зеркальца, двугранным
Сведенные углом.

Футлярик с оторочкой
Из фольги ледяной
С глазком – прозрачной точкой,
Как будто слюдяной.

И всыпан в нижний ярус
Под матовым стеклом
То бисер, то стеклярус,
То канительный лом.

Прелестный беспорядок,
Пуэнтеллистский вздор:
Возня толченых радуг,
Хрустальных игл задор!

Но во сто раз блаженней,
Коль взор в глазок введу:

Там оси отражений
Слагаются в звезду,

И, зе́ркальным магнитом
Охваченные сплошь,
Всецветные огни там
Цветную нижут ложь.

Тряхнешь, и врассыпную
Раскатятся огни
И снова ложь цветную –
Другую – вьют они…

8–10.XII.1942

ЖИДКИЙ ВОЗДУХ

Как голубые чернила, как жидкое небо,
Как небывалая темно-лазурная ртуть,
В узкой пробирке ожиженный плещется воздух
Синим шартрезом заоблачных монастырей.

Если глотнуть лазулит вот такого ликера
(Крепость 170º ниже нуля),
Горло окрепнет серебряной ломкою льдинкой,
Рогом Роланда навеки замолкнет гортань.

Тут и почувствуешь душу глубин межпланетных,
Тут ощутишь голубую межзвездную ночь, –
А не туда ли хотел ты земными ночами,
В лодке покачиваясь над морской глубиной?

6.VIII.1933

ВИТРИНА

За зеркальной литой плитой
Весь блистающий эталаж:
Медь буссолей и компасóв
И хрусталь чечевиц и призм.

В них меняется луч и взор,
В них ломается путь и цель, –
И совсем по-иному мир
Понимает, кто любит их.

Надо мною лопочет дождь,
За спиною трамвай брюзжит,
А в глаза мне сияет спектр
От угасшей давно звезды.

Я пошел купить папирос,
А настойчивая буссоль
Вся играет в морях и льдах
Синевою и серебром.

Я в старинной книге прочел
Про китайский хрустальный шар,
Столь прозрачный и шаровой,
Что увидеть его нельзя.

Что его точили сто лет,
Шлифовали сто лет его, –
И китайцы гордятся тем,
Что не нужен он никому...

Я такой бы похитил шар,
Я на звезды в него б глядел,
И поверил бы я, что мир
Изменяется сам собой…

14.IX.1933

ПТИЧКА

…И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.
Туманский

Щегол стрельнул из клетки тесной
В простор сияющего дня
И песней в синеве небесной
Клял на чем свет стоит меня.

Восьмерками по небосводу
Чертя, он резал высоту
И, празднуя свою свободу,
Склевал козявку на лету.

24.VI.1945

ПОДРАЖАНИЕ ПЕРСИДСКОМУ

Из кованой парчи твои крыла, бабочка,
И у моей свечи ты их сожгла, бабочка,
Но не погибла ты, влетя к поэту:
Узнает мир, что ты жила, бабочка!

1934

СОБАКА

Я ухожу, и ты не знаешь,
Куда я ухожу теперь.
Ты терпеливо ожидаешь:
Когда же снова стукнет дверь?

В твоем сознании померкшем,
Тоской покорною полны,
Плывут о давнем и умершем
Собачьи медленные сны.

Судьбы ведь не переупрямить,
Хозяина не воротить, –
И всё разматывает память
Ослабевающую нить...

Вот я вернусь, и ты – метаться,
Лизать мне руки, лаять зря:
Готово сердце разорваться,
За скудный дар благодаря.

Но день придет, – уйду навеки,
Мой шаг не прозвучит опять,
А ты – года, смежая веки,
Всё будешь слушать, верить, ждать...

1935

ХУДОЖНИК

1

Алеет уголь в чугунной печке,
Прозрачно-розов как пастила.
Он вздернул штору; ее колечки
Переблеснулись в глуби стекла.

И свет как мрамор прекрасным кубом
Встал неподвижно средь мастерской,
И он склонился к помятым тюбам,
Подняв палитру большой рукой.

Наморщив брови, он рылся в тюбах,
Он как смарагды ронял слова:
«Сиенна», «умбра», – и в жестах грубых
Сквозила нежность как синева.

Потом неспешно в разлив ореха
Лепил он кляксы из тюб цветных,

Как самоцветы на грудь доспеха
Чеканщик ставит, жалея их.

24.I.1943

2

Ребристым золотом багеты облегли
Даль невесомую сияющей земли,
И воздух бисерный, и зарева, и розы
Закатной замшею затянутой березы.

Червонным золотом на чеках залегли
Червонно-круглые тяжелые нули, –
И тяжелела кисть, чье молодое пламя
Дымилось фосфором над лунными шелками.

Песочным золотом ссыпался к мигу миг
В пробирке Кроноса, и конусом возник,
Могильным горбиком, груз лет, ушедших даром, –
Но грустным человек казался, а не старым.

Ядреным золотом пшеницы и зерна
Он птиц приманивал на зымзу у окна,
И голуби, свистя, слетались и крылами
Касались лба его, как он холста мазками.

И было хорошо… Но стал вдруг людным дом
И был таким три дня. И траурным пером
Тряхнули лошади и потащили валко
Серебряный рокайль и громозд катафалка.

И зымза нищая звенела много дней
Под вереницами голодных голубей.

2.II.1944

ПОЛИХРОМИЯ ВЕЧЕРА

1

Срезала девушка сирень
К вечернему столу;
Закат сиреневую тень
Развеял на углу.

А дальше – золотой брусок
Закатного луча
Ударил в девичий висок,
В покорный скат плеча.

И, как надкрылья раздвоясь,
Густая мгла волос
Бразильской бронзовкой зажглась,
Короной рыжих кос.

И стали зелены глаза,
И в них, как нож узка,
Застыла зоркая гроза
Кошачьего зрачка.

13.XI.1942
Фрунзе

2

Бледно-зеленый купорос
Под станиолем оловянным
Медяной окисью пророс,
Протаял леденцом багряным.

И бархатный пурпурный диск
Как силуэт помятой митры
Набряк среди махровых брызг
Небесной тающей палитры.

Комком малинового льда
Сползал он в тучи над пустыней,
И стала фольговой вода
И неправдоподобно-синей.

Он сполз, и облачная вязь
Как пена ангельского мыла,
Курчавясь, нежась и виясь,
Воздушными шарами взмыла.

Их розовые пузыри,
Легчая, млели, – и в просторе
Лизали языки зари
Ализариновое море.

2.I.1943

3

Наш лоцман, старый наш «дарга»,
Нагнулся через борт:
Аму ломала берега,
Как шоколадный торт.

Как ложку погружал каик
Поджарую корму
В какао «золотой ярлык» –
В бурлящую Аму.

И, мутным золотом обвит,
Лицо нам обжигал
Пустыни розовый бисквит,
Песочных зорь закал.

И вырисовывал рога
Хрустальный лунный джинн,
И всё внимательней «дарга»
Глядел в игру пучин.

И падали с небесных лат
Червонные лучи,
И стал дрянной его халат
Из кованой парчи.

И в медь угрюмого чела,
Подчеркивая грань,
Пендинской язвы залегла
Крылатая герань.

31.XII.1942

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

Я – тот портрет. Гуляет где-то
Нетленный мой оригинал,
Чтобы у пленного портрета
Свинцовел взор и рот ветшал.

Чтобы морщины по межбровью
Густели сетью паука,
Чтобы стыдилась – мутной кровью
Запечатленная рука.

Но пусть пылюсь я, пусть хладею,
Пусть увядаю день за днем, –
Лишь он носил бы орхидею
На фраке девственном своем.

Лишь он бы, низкий и жестокий,
Мог вольным быть, как не был я,
И не вонзил бы эти строки
В себя – взамену лезвия!

20.II.1943

ВЕНЕРА

На Венере, ах, на Венере
Солнце пламенней и золотистей.
Гумилев

Ты нена́долго восходишь
Над землей, Звезда Марии,
Светлоглазая Венера,
Зорька влажная моя!
Ты сияешь каплей счастья,
Гесперидовой черешней,
Над мерцающею гладью
Грустных сумеречных вод!

Но, незрелая планета,
Ты сама не видишь солнца:
Ты живешь в тумане банном,
В ватном панцире паров;
На тебе, как спрут белесый,
Плесень пучится грибная
И чудовища сырые
Слепо шлепают в грязи...

Значит, можно быть нечистым,
Значит, можно быть поганым,
Вместо воздуха глотая
Перегретый мятый пар, –
И дарить другому миру
Несказанное сиянье,
Лишь бы солнце издалека
Отражалось от тебя!

12.II.1943

ОБЛИКИ

ЛЕРМОНТОВ

1

Тугой сафьян кавказских ноговиц,
Сукно рейтуз, гусарских иль драгунских,
Серебряные кованые ложки
Не по плечам широких эполет,
Несытые напруженные губы
И усиков подкрученные лунки, –
Чем не корнет: буян, бахвал, рубака,
Любитель пунша, баккара и баб?

Но подыми глаза немного выше:
Огромный лоб, морщиной рассеченный,
И два огромных непроглядных глаза, –
Полуночный и траурный отстой
Тоски и мысли, нежности и гнева...
И Врубель прав был, Демона повергнув
Среди павлиньих опаленных радуг
И гранных ледников и наделя
Безумца – лермонтовскими глазами!..

Всегда двойной: повеса и мудрец,
Всегда двойной: в борьбе стиха и прозы,
Всегда двойной: над прозою казармы
Взлетая серафической мечтой,
Ища покоя в бурях и свободы –
Когда звезда с звездою говорила,
И требуя, в долине Дагестана
С свинцом в груди, немыслимой любви,
Он Байроном, но с русскою душою,
Он бунтарем, вовек неукротимым,
Прошел по николаевской России

И, беглый мцыри, пять годов коротких
Звал, бился, пел и тосковал, – и жил!

1939

2
(ПОЧТИ ШУТКА)

Старушки нежной внучек,
Балованный слегка,
Жил Лермонтов, поручик
Тенгинского полка.

Он жил весьма привольно,
Он совершал грехи,
К тому ж писал – довольно
Хорошие стихи.

Но не дружил ни с кем он
И не любил вовек:
Он пролетал как Демон,
Не глядя на Казбек.

Он был дурного нрава
И женщин обижал,
И феминистка-Слава
Свой занесла кинжал.

Он вынул лучший нумер
В аллегри мировой;
Он на дуэли умер,
За миг – вполне живой.

И почему-то всем он
Стал дорог с этих пор,
И врубелевский Демон
Примерз к алмазам гор!

5.XI.1942
Фрунзе

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Иоанне Матвеевне Брюсовой

Подобен панцирю затянутый сюртук,
Подобен мрамору воротничок сорочки,
Скульптурно-четок слом скрещенных цепко рук, –
И бронзою звенят и тяготеют строчки…

В гортанном клекоте всегда каленых слов,
В пантерьем отблеске зрачков неугасимых
Вилось предчувствие грядущих катастроф
И скорбь о рухнувших Ассириях и Римах.

Как резонатором огромная душа
На гуды всех эпох стозвучно отозвалась
И, всеми гарями и дымами дыша,
Тяжелой поступью столетий любовалась.

А в повседневности, среди обычных дел,
Умела находить рубеж, накал, кипенье, –
Вдоль черной пропасти прочерченный предел,
За коим страстный бред иль пытка преступленья.

Кишенье толп людских, труда извечный лязг,
Отравы мятежей, самоубийств соблазны,
Загадки звездных сфер и судороги ласк –
Все им воплощены, как стих многообразны.

Так, в сердце бытия, он *трепет без конца*
Постиг и подстерег, и окунулся в трепет, –
И в нас вливалась дрожь, в нас прядали сердца,
Когда, бывало, он, читая, руки сцепит,

Как бы сдавив огонь и молнию взнуздав…
И в годы гневные, когда его Россия
Тряслась до самых недр, потоком алых лав
Сметая и крутя преграды вековые,

Не мог он не пойти навстречу лаве той,
Не мог не сделаться *напевом бури властной*
И лиру не сложить к ногам страны родной,
Преображенной и прекрасной!

1939

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

И жил он на брегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя...
Пушкин

Огромный лоб и рыжий взрыв кудрей,
И чистое, как у слона, дыханье...
Потом – спокойный, серый-серый взор
И маленькая, как модель, рука...
«Ну, здравствуйте, пойдемте в мастерскую», –
И лестница страдальчески скрипит
Под быстрым взбегом опытного горца,
И на ветру хитон холщовый хлещет,
И, целиком заняв дверную раму,
Он оборачивается и ждет.

Я этот миг любил перед закатом:
Весь золотым тогда казался Макс...

Себя он Зевсом рисовал охотно;
Он рассердился на меня однажды,
Когда сказал я, что в его чертах
Остался след от выходки с Европой;
Он так был горд, что силуэт скалы,
Замкнувшей с юга бухту голубую,
Был точным слепком с профиля его!..

Вот мы сидим за маленьким столом;
Сапожничий ремень он надевает
На лоб, чтоб волосы в глаза не лезли,
Склоняется к прозрачной акварели

И водит кистью, – и всё та ж земля,
Надрывы скал и спектры туч и моря,
И зарева космических сияний
Ложатся на бумагу в энный раз.

Загадочное было в этой страсти
Из года в год писать одно и то же:
Всё те же коктебельские пейзажи,
Но в гераклитовом движенье их;
Так можно мучиться, когда бываешь
Любовью болен к подленькой актрисе,
И хочется из тысячи ужимок
Поймать, как настоящее, одну...

Пыль, склянки, сохлые пуки полыни
И чобра, кизиловые герлыги,
Гипс масок: Достоевский, Таиах,
Отломыши базальта и порфира,
Отливки темноглазой пуццоланы,
Гравюры Пиранези и Лоррена
И ровные напластованья книг...

Сижу, гляжу… Сюда юнцом входил я
Робеющим; сюда седым и резким,
Уже «на ты» с хозяином, вхожу.
Всё обветшало; стал и он слабее;
Но как мальвазия течет беседа:
От неопровержимых парадоксов
Кружиться начинает голова!
Вот собственной остроте он смеется,
Вот плавным жестом округляет фразу,
Сияя как ребенок, – но посмотришь:
Как сталь спокойны серые глаза.

И кажется: не маска ли всё это?

Он выдумщик; он заговор создаст,
Чтоб разыграть неопытного гостя;
Он юношу Вербицкою нарядит,

И будет гость ухаживать за ней;
Он ночью привидением придет;
Он купит сотню дынь и всех заставит
Их выедать, едва головку срезав,
А после дынной кожицы шары
Фонариками по саду повиснут
И вечером, со свечками внутри,
Нефритово-узлисто-золотые,
Вдруг засияют сотней нежных лун...

Стихи читает, и стихи такие,
Что только в закопченное стекло
На них глядеть, – и он же, нарядясь
Силеном или девочкой-подростком,
Всех насмешит в шарадах, – а вглядишься:
Как сталь спокойны серые глаза.

Не маска ли?

Какая, к черту, маска,
Когда к Деникину, сверкая гневом,
Он входит и *приказывает*, чтобы
Освобожден был из тюрьмы поэт, –
И слушается генерал! Когда
Он заступается за Черубину
И хладнокровно подставляет грудь
Под снайперскую пулю Гумилева!
Когда годами он – поэт, мыслитель,
Знаток искусства, полиглот, историк, –
Живет всё позабывшим Диогеном,
Чтоб коктебельский рисовать пейзаж!..

И он прошел – легендой и загадкой,
Любимый всеми и всегда один
В своем спокойном и большом сиротстве, –
«Свой древний град воспоминая» втайне...

Я не поеду больше в Коктебель!..

6.VI.1936

НА СМЕРТЬ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА

Милый Вы мой и добрый! Ведь Вы так измучились...
И. Северянин

Милый Вы мой и добрый!
Мою Вы пригрели молодость
Сначала просто любезностью,
Там – дружбою и признанием;
И ныне, седой и сгорбленный,
Сквозь трезвость и сквозь измолотость,
Я теплою Вашей памятью
С полночным делюсь рыданием.

Вы не были, милый, гением,
Вы не были провозвестником,
Но были Вы просто Игорем,
Горячим до самозабвения,
Влюбленным в громокипящее,
Озонных слов кудесником, –
И Вашим дышало воздухом
Погибшее мое поколение!

Я помню Вас под Гатчиной
На Вашей реке форелевой
В смешной коричневой курточке
С бронзовыми якоречками;
Я помню Вас перед рампами,
Где бурно поэзы пели Вы,
В старомодный сюртук закованы
И шампанскими брызжа строчками.

И всюду – за рыбной ловлею,
В сиянье поэзоконцертовом –
Вы были наивно уверены,
Что Ваша жена – королевочка,
Что друг Ваш будет профессором,
Что все на почте конверты – Вам,
Что самое в мире грустное –
Как в парке плакала девочка.

Вы – каплей чистейшей радости,
Вы – лентой яснейшей радуги,
Играя с Гебою ветреной,
Над юностью плыли нашею, –
И нет никого от Каспия,
И нет никого до Ладоги,
Кто, слыша Вас, не принес бы Вам
Любовь свою полной чашею...

15.III.1942

АННЕ АХМАТОВОЙ

Гудел декабрь 16-го года;
Убит был Гришка; с хрустом надломилась
Империя.
А в Тенишевском зале
Сидел, в колете бархатном, юнец,
Уже отведавший рукоплесканий,
Уже налюбовавшийся собою
В статьях газетных, в зарисовках, в шаржах,
И в перламутровый лорнет глядел
На низкую эстраду.
На эстраде
Стояли Вы – в той знаменитой шали,
Что изваял строкою Мандельштам.
Медальный профиль, глуховатый голос,
Какой-то смуглый, точно терракота, –
И странная тоска о том, что кто-то
Всем будет мерить красный башмачок.
И юноша, по-юношески дерзкий,
Решил, что здесь «единства стиля нет»,
Что башмачок не в лад идет с котурном...

Прошло семь лет...
Тетрадку со стихами
Достали Вы из-под матраца в спальной
И принесли на чайный стол, – и Муза
Заговорила строчкой дневника.

И слушатель, уже в сюртук одетый,
В профессорскую строгую кирасу,
Завистливо о Вашей с Музой дружбе,
О Вашем кровном сестринстве подумал:
Он с Музой сам неоткровенен был.
Не на котурнах, но женою Лота,
Библейскою бездомною беглянкой,
Глядела вдаль заплаканная Муза,
И поваренной солью женских слез
Пропитывало плоть ее и кожу.
Глядела вспять... На блеклый флаг таможни?
Или на пятую, пустую, ложу?
Или на двадцать восемь штыковых,
Пять огнестрельных? Или?.. или?.. или?..
И слушатель, опять двоясь в догадках,
Пересыпал с ладони на ладонь
Покалывающие самоцветы, –
А Вы, обычной женскою рукой,
Ему любезно торт пододвигали...

И двадцать лет еще прошло. В изгнанье
И Вы, и он. У кряжей снеговых
Небесных Гор, в песках Мавераннагра
Нашли приют и крохи снеди братской.
В ушах еще кряхтят разрывы бомб,
Вдоль позвонков еще струится холод,
И кажется, что никогда вовеки
Нам не собрать клоки самих себя
Из крошева кровавого, что сделал
Из жизни нашей враг...
Но вот очки
Рассеянной берете Вы рукою,
Тетрадку достаете из бювара,
Помятую, в надставках и приписках,
И мерно, глуховато чуть, поете
О месяце серебряном над Веком
Серебряным, о смятой кризантэме,
Оставшейся от похорон, – и Время
Почтительно отходит в уголок,

И в медном тэмбре царственных стихов
Шаль бронзовую расправляет Вечность.

22.X.1943
Фрунзе

ПОРТРЕТ МАСЛОМ

А.Д.Р.

Ох, – семь чертей в любом глазу!..
Всё верно,
Что говорят о Вас и говорили:
Царица Феодора, лэди Макбет,
Раскольничья мадонна, Гипполита,
Пантера, пума, наконец – Лигейя
(Добавлю в том же духе от себя);
Всё верно: и медовый гонг в груди,
И профиль, что достоин Бенвенуто,
И отлитой из невесомой бронзы
Как музыка изменчивый постав.
Всё правильно; готов скрепить печатью
И подписом.
Но, видите ль…
Представим
Вас Гипполитой иль Пентезилеей;
Вы, отмахав верст пятьдесят верхом,
Прогрев седло и взмыля Гальтимора,
Сойдя, его в пуховую губу
Целуете, да так, что старый конюх
Завистливо свою губу закусит
И, уводя в конюшню скакуна,
Его нагайкой ни за что огреет, –
Не правда ли?
Представим Вас Лигейей;
Вы, охмеля талантом и умом
Эдгаров (и Георгиев), идете
Усталая от красоты домой,
Суете ноги в бархатные туфли

И, в кресле приуютясь, предаетесь
Мечте о новых платьях, о горжетках,
О шляпах; Вилламовитц позабыт,
Петроний нем; пред Вами блеск шифона,
Свеченье крепа, логика отделки,
Диа́лог фетра и мехов, – не так ли?
Представим Вас хотя бы Магдалиной,
Что кается в ошибках перевода
И тут же, в лэди Макбет превратясь,
Ч<уковскому> распарывает брюхо;
Все ахают: вот выдержка! вот смелость!
А Вы, отужинав среди друзей,
Отведав тонких вин и фимиамов,
Запретесь дома в спальне и в подушку
Ревете гимназисткой до утра:
«Обидели!» (Я подтвержденья тут
Спросить не смею!)
Вот Вы – Клеопатра;
Как в тронной зале Вы в своей гостиной
Едва выслушиваете восторги,
Лениво поворачивая очи,
Загадочную негу затая;
А завтра, – может быть, не причесавшись,[1*] –
За стол садитесь, засучив рукав,
И напролет часов шестнадцать в ямбы
Вгоняете как молотком Шекспира,
Ворочаете лексикон матросский,
Чтобы пирату Марло угодить,
И, перемазавшись чернилом, пачки
Изводите бумаги драгоценной,
Громадные выкалывая буквы,
Похожие на скобяной товар,
И после – уф! – лежите с облегченьем,
Вся ноя и ликуя: родила!

Итак – всё верно. Но всего вернее
Четырнадцать чертей в глазах (в обоих),

[1] * Оригинал портрета с негодованием заявляет, что это предположение абсолютно нелепо. *(Примеч. автора.)*

Огромным буйством налитое тело,
Мясным экстрактом налитая жизнь.
И если бы Вас вправду кинуть в клетку,
То надпись я бы вывесил не «пума»
И не «пантера», а чуть-чуть сложнее:
Я б «Femina formalis»[1] написал!..

Ах, черт возьми! Мне сорок шесть минуло!..

1.V.1940

ПНЕЙМОПЛАСТИКА

Сергею Аркадьевичу
ВЕКШИНСКОМУ

МОЙ ГОРОД

Помню ясный полдень, когда впервые
Я сюда приехал, когда с вокзала
Я катил на дрожках и ждал: когда же
Явится море?

И оно возникло, сломив пространство,
Синею стеною в гирляндах пенных,
Млело и мерцало, качая в далях
Парус латинский.

И оно дышало соленым ветром,
Рыбьей чешуею, арбузной коркой,
Влажной парусиной, смоленым тросом, –
Вечною волей.

И душа, вдыхая, вдруг закружилась;
Я почти заплакал; я стал как парус,

[1] «Женщина образцовая» (*лат.*).

Что звенит под ветром и только жаждет
Мчаться в просторы.

И потом ни разу не повторилось
Детское виденье: надлом пространства,
Синий блеск и трепет, и зыбь, и эти
Сладкие слезы...

1927

ЗИМА 1901

Зала бледно-голубая,
Лампы в матовых шарах;
Здесь блистала дрянь любая
На губернских вечерах.

Но совсем иное дело
В ней свершилось для меня:
В некий вечер в ней висела
Над эстрадой простыня.

И ее водой смочили,
Луч волшебный навели,
И по кругу застрочили
Голубые корабли.

И на крошечные верки
Хрупкой крепостцы речной
Налетели канонерки
Стаей бабочек ночной.

А потом, серо и рыжо,
Потекли куда-то вкось
Крыши гранные Парижа,
Башни Эйфелевой ось.

И с тех пор, неодолимо,
Жизнь, бесцветна и нема,

Для меня проходит мимо
Синей марой cinéma.

10.I.1943

ПАНОРАМА

Мы в душной уселись комнатке
(По гривеннику за вход)
Перед серым прямоугольником
Размерами в простыню.

На миг мы ослепли: выключен
Был свет. Прошуршал холст,
И в черной глуби наметился
Изрубцованный горный кряж.

И кремом яблочно-розовым
Блеснул на вершинах снег,
И синим яхонтом озеро
Загустело и налилось.

И меж тонкоперых сосенок,
Колоколенку окружив,
Забелели по склонам домики,
Маленькие как брелок.

И внизу, в нетленной зелени,
Над про́волочками рельс
Фарфоровым бисквитиком
Радовался вокзал.

И оттуда тихонько свистнуло,
Затикало как в часах,
И пяток пигмейных вагончиков
Пробежал и юркнул в туннель.

И снова всё гаснуть начало,
Из-за гор чернота нашла,

И булавочными головками
Рассыпались огоньки.

И вновь пробежал вдоль озера
Карликовый экспресс,
Сверкнув вишневым фонариком
И свистнув, как сурок.

И всё погасло. И сразу же
Загремел жестяной гром,
И лиловая молния дернула
Наискось по облакам.

И бешенством ливня горного
Шумит непроглядный мрак, –
И мальчик понял за гривенник,
Как прекрасен и крупен мир!

18.XII.1939

СУНДУК

Помните – в «Острове сокровищ» –
Таинственный сундук капитана?
Две затейливых раковины, компас,
Кортик в серебряной оправе,
Ветхий плащ, от соли побелевший,
Пачки табаку и запах терпкий
Дерева тленного и дегтя…

Нанята первая квартира;
Перевозятся сундуки со склада;
Был один, срезанный косо,
Приспособленный к задку тарантаса.
Из него пахнуло сладким тленьем;
Из него достали кипсеки
На тряпичной пожелтевшей бумаге:
Английские мягкие пейзажи,
Флорентийские церкви и платаны,

Красавицы с плавными плечами,
Со спиралями локонов томных,
В черепаховых высоких гребнях,
Похожих на графские короны.

Из него достали шкатулку,
Полную курительных свечек,
Конических угольных «монашек»,
И медную к ним подставку –
Пифии крохотный треножник.

Из него достали коробку
С ломтями очаковского мыла,
Ноздреватого, легкого как губка,
Что в воде не тонет и в море
Мылится миндальною пеной.

Из него достали футляр китайский
Для очков, похожий на коробку
Фиников – такой же узкий, пестрый,
Только вместо гурий и пери
Рыбаки на нем в конических шляпах
Рядом с журавлями золотыми
К золотому морю склонялись.

Из него достали мягкие шали,
Плюшевые теплые сапожки,
Огромную подкову магнита,
Пресс-папье – хрустальный многогранник,
Где запаян был дворец дожей,
Купоросно-синий язык канала
И скрипичный гриф черной гондолы.

Из него достали старые книги,
Журналы годов пятидесятых,
Пук очиненных гусиных перьев
И карикатуру на Пальмерстона.
И еще, в ларце самодельном
С золотой бумажной оторочкой

И картинкой фрегата на крышке, –
Прихотливый бронзовый ковчежец,
Где на черном бархате тускло
Отливал перламутровый крестик,
А в углах, прихвачены нитью,
Пористые косточки торчали –
Мощи трухлые невесть какого
Бонифация или Бенедикта:
Прадед был католиком, а может
И масоном…
Я тогда впервые
Ощутил пространство и время,
Средиземноморские дали,
Вкус и запах ушедшего века…

1939

КЛИК

Дивъ кличетъ врѣху древа,
велитъ послушати земли незнаемѣ.

Слово о пълку Игоревѣ

Полна полынью степь. Латунная луна
Над гребнем черных скал стоит совсем одна,
Непроницаема как маска гробовая.
Невидимый залив гудит, не уставая;
Безгромной молнией вонзаясь вдруг в глаза,
Ползет из Турции в громаде туч гроза;
А мне уютно тут под древнею стеною,
Чьи глыбы тяжкие нависли над спиною...

Тут Золотой Курган. Тут был босфорский форт,
Оплот античности противу скифских орд;
Отсюда, с этих глыб, вытягивая шеи,
Громили пращники гоплитов Гераклеи;
Тут буйствовал Помпей, и понапрасну яд
Глотал затравленный, как кошка, Митридат.

Лет тысячу спустя монахиню Елену
Фавн заманил сюда – с ним лечь под эту стену
И заласкал ее. Лет тысячу спустя
Здесь Пушкин проезжал, болтая и шутя,
А через день всего послушное ветрило
Тоской гарольдовой над ним прошелестило...

Теперь тут пусто всё. Порой среди отар
С герлыгой медленно пройдет старик-овчар;
Порой присядет в тень охотник утомленный,
Да юркнет ящерка извилинкой зеленой,
Да смелый мальчуган, как я тайком удрав
Из дому, ляжет здесь меж горьких душных трав
И будет слушать ночь в томленье непонятном
О тайном, горестном, любимом, невозвратном...

Лежу. Вдруг издали таинственный возник,
Меняя высоту, необъяснимый клик,
Раскат серебряный, – сирена ль заводская,
Безумный ли фагот, – до сердца проникая...

Див кличет!
О, какой сумятицею полн
Я слушал этот вопль – прибой кристальных волн
О скалы черные!..
Незнаемые земли!
Ищи их, осязай, вдыхай, и виждь, и внемли!..

1927

ИЗ-ЗА ЗАБОРА

Пустяки... Обычный домик
С галереей светлоглазой,
С улицы одноэтажный,
Двухэтажный со двора;
Там старинные стояли
Сундуки в наклейках пестрых:

Видно, кто-то воротился
Издалека в отчий дом.

Двор, когда-то садом бывший,
Плел бурьянные тропинки,
Гнулся грушей одичалой
За серебряный забор,
А за ним пустырь полынный,
Завитки речушки мелкой,
И китайский ветхий мостик
Спину горбил над водой.

Там я мальчиком шатался,
Драл камыш, ловил тритонов
И не видел в темных окнах
Никого и никогда,
Но *тоскою доживанья*
На меня дышали окна…
Не Паденье ль Дома Эшер
Мне угадывалось там?

1938

БАЛ

Дверь на блоке. Галдарея.
Хлещет холод по ногам.
Торопливый бег лакея,
Услужающего нам.

Подлый запах тухлой кухни,
Теплой водки подлый вкус...
Меркни, взор, и, сердце, тухни,
Став тяжелым, точно брус.

Вот в ушах плотнеет вата:
Пухлый бормот пьяных слов...
Нежным вальсом Травиата
Из-за двери шлет нам зов.

Там, за дверью, в зале бальной,
Пелеринок белый плеск;
Там зеркальный и хрустальный
Теплый звон, душистый блеск;

Там... А мы стоим, коснея,
Кухней дышим в полутьме.
Вороватый бег лакея;
Муть беспутная в уме...

21.I.1945

МОЛОХ

Ночь, пустырь, осенний дождик.
Над понурыми домами
Мукомольня паровая
Пять возносит этажей;
Желтой угольною лампой
На углу окошко светит;
Подхожу к нему, к решетке,
Приникаю и гляжу.

Там в желточном мутном свете
Приводные ремни пляшут,
Там эксцентрики – ладони
Потирают не спеша,
Там, поглубже, в полумраке,
Рукава куда-то всходят,
Как чудовищный кишечник
Раздуваясь и урча.

И выходит в белой блузе
Мелолицый и бесшумный,
В три погибели согбенный,
Куль влачащий человек...
Я в гимназии немало
Видел разных прокламаций,

Но теперь лишь – телом! – понял
Слово жадное: Молох.

15.XII.1941

ОТРЫВОК

Хорошие книжки читал я когда-то
В вечерней читальне, ныряя в туман:
Плыла Илайали на бриге пирата,
И с мудрым Улиссом беседовал Глан.

А в окнах старинное море стояло,
И парус латинский над ним золотел,
Крылами фламинго заря трепетала,
И воздух оливковой радугой млел.

Хорошие книжки читал я когда-то
В вечерней мечтальне, в забытом порту,
А в ясные окна гора Митридата
Дорическим храмом пьянила мечту.

И глупое сердце под форменной блузой
Уже понимало, роняя удар,
Что буйство и мудрость равны перед Музой,
Что храм величавей – врезаясь в пожар!..

15.VI.1931

СНЫ

ТАЙНА

1

И опять я странный видел город –
Весь в каскадах улочек и лестниц,
В балюстрадах, в лоджиях, в колоннах,
Розовый и хрупкий, точно вафли.

Он висел на известковых срывах
Над рекою небывало-синей,
И в домах, в их башенках стрельчатых,
Мягким ветром шевелило шторы.

А за шторами приоткрывались
Оперными ложами каморки,
Где среди зеркал и медальонов
Медленные женщины сидели.

Я один бродил вдоль улиц узких,
Розовую трогал штукатурку
И старался никому не выдать,
Что моя фамилия – Гварнери.

19.I.1940

2

Огромная черная комната,
Оловянный рассвет в окне,
Круглый стол под суконной скатертью
Стоит, совершенно пустой.

Тишина атмосферною тягостью
Распахнула дверь в коридор,

И неведомой жизни логово
Неизвестно: спит или нет.

Далеко в коридорной темени
Прорвалась золотая щель,
И с поднятой лампой женщина
Выглянула в коридор.

Постояла мгновенье и спряталась,
Вновь защелкнув наглухо мрак...
Я успел заметить, что волосы
Были рыжими у нее.

21.VII.1933

ПЛЕН

Ночь как в шахте. Влажный мрак.
Странный пряный винный запах.
Клином в черной ртути влаг
Фонари торчат на трапах.

Нагибаюсь через борт:
Мрак безглазый правит миром;
Дальний берег распростерт,
Световым отбит пунктиром.

И оттуда в кровь плывет
Всё отравней и капризней
Арф гавайских струнный мед,
Не вмещающийся в жизни.

И дымит в глазах дурман:
Там бы... с кошкой той проклятой!..
А над островом вулкан
Пышет в небо розой мятой.

14.I.1940

КАТЕР

That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea.
Swinburn<e>[1]

В лицо мне пахнула сырость
И сладость расцветших лип,
И черная роща тайной
Скользнула впродоль реки.

Порою желтые окна
Зияли среди ветвей –
Домá ли умалишенных,
Лачуги ли рыбаков.

А справа огромный город
Сверкал, звенел и гудел,
И дуги мостов, как кошки,
Кидались на берег тот.

И древние космы тучи
Менялись, хватая блеск,
И дымной радуги окись,
Играя, вилась по ним.

И зренье мое двоилось,
Двоилась во мне душа:
Налево тянуло в липы,
Направо манило в блеск.

А больше всего хотелось,
Чтоб катер мой шел и шел,
Пока река не вольется
В какой-нибудь океан.

1937

[1] Что даже самая изнуренная река / Где-нибудь благополучно впадает в море. *Суинберн* (*англ.*).

АМФИБИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

Воздух густ и весь сиренев;
Грунт податлив; легок я:
Чуть припрыгну, дали вспенив,
И лечу, как свист копья.

Я порхаю, извиваюсь,
Кувыркаюсь колесом,
Слиться с воздухом стараюсь,
Равновесен, невесом.

Потолком легли стеклянным,
Как в музее, небеса;
Шевелятся краем рваным
Темно-алые леса.

Незнакомое знакомо;
Сколько дива там и тут:
Вот мясистый, как саркома,
Колыхающийся спрут.

Только странно: небо немо,
Звука в этой нет стране...
Капитан суровый Немо,
Вижу, движется ко мне.

Поднимает ствол ружейный,
На меня наводит ствол –
И внезапно в жиле шейной
Смертный чувствую укол...

1940

УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Пустырь, и фонарь, и ветер;
Иду, воротник подняв,
И в луже рты золотые
Мою калошу сосут.

А дымно-лиловый фосфор
Над городом изнемог,
И волосок виадука
Продернут сквозь него.

И, черным зевая горлом,
Раскачивая шатуны,
Локомотив проходит
В путаницу путей...

Чужая, странная полночь,
Чужая, странная жизнь, –
И вкусно холодный браунинг
Осязать в кармане пальто.

1940

КУВШИН

Старый еврей продавал мне кувшин,
Плохо муравленный, грубый как ступка:
«Вылеплен он из особенных глин;
Это чудесная будет покупка!»

И, размахнувшись, его он швырял
О стену, об пол, с размаха, с разгона, –
И отзывался гончарный закал
Медом и золотом долгого звона.

«Вы поглядите: ни трещинки нет;
Вы лишь послушайте: это же скрипка;

Я вам открою старинный секрет;
Если не купите – ваша ошибка».

И рассказал он, что в черной стране,
В недрах болот меж Евфратом и Тигром,
Черное небо, доныне в огне,
Сходит грозой к человеческим играм;

Что раскаленный архангелов меч,
Архистратига военная риза,
Пламя клубя вкруг адамовых плеч,
Блещут поныне у врат парадиза;

Что в старину хитроумный раввин,
Хоть гончаром он и не был умелым,
Сделал «вот это» из розовых глин,
Бывших когда-то адамовым телом,

И, подстерегши архангелов меч,
Грозно витающий вправо и влево,
Он ухитрился «вот это» обжечь
В бешеном пламени горнего гнева;

Что обладатель кувшина того
В мире бесцветном, скупом и суровом
Будет звенеть необузданным словом...
«Что ж вы предложите мне?» – «Ничего!»

<1928>

ЛИРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ

ВПЛАВЬ!

Я вышел утром. Был тот серый, теплый,
Немного аметистовый денек,
Когда приятен горький дым асфальта
И запах сыроватого газона,
И у невзрачной девушки навстречу
Так мягко шоколадятся глаза.

В такие дни всегда немного грустно –
И оттого, что ты большой и старый,
И оттого, что знаешь всё на свете
И слишком трезво смотришь на людей.
А хорошо бы за угол внезапно
Свернуть, – чтобы совсем не по дороге, –
Глазеть на склянки в окнах москательной,
Поссориться с мальчонкой босоногим,
За три копейки выпить у киоска
Стакан воды с сиропом ядовитым
И вдохновенно в школу опоздать!..

Я был свободен. Мог купить сигару
В серебряной обертке; мог нанять
Автомобиль и за город поехать;
Мог выпить ледяной бокал коктейля;
Мог посетить чертоги букиниста –
Приобрести Гюго в сафьяне синем,
Или (не больше спичечной коробки)
Конфуция в английском переводе,
Или мадам Жанлис…
Я грустно шел;
Мне не хотелось ничего, что мог я
В богатом городе себе купить
На щедро заработанные деньги.

Я грустно шел.
На площади Арбатской,
Тогда еще загроможденной сквером,
Уборною, киосками и прочим,
Я увидал толпу. Она теснилась
К бульвару Гоголевскому. Конечно,
И я побрел глядеть, еще не зная,
На что глядят, но по веселым лицам
Поняв, что там не драка, не мертвец,
Не распродажа…
Остроносый Гоголь
Сидел на постаменте, норовя
Кого-то клюнуть. Рядом
(с удивленьем
Я увидал)
второй такой же Гоголь,
Но уменьшенный втрое, восседал
На постаменте, тоже уменьшенном.

«А! Киносъемка!» – догадался я,
Споткнувшись тут же о змеистый кабель
К юпитеру… «Но для чего бы надо
Лепить модель и привозить сюда,
Когда оригинал стоит на месте?»

Тут зажужжала вольтова дуга
В юпитере, и страшным синим светом
Всё обдало; на статуях обеих
Рельефны стали, резки и упрямы
Малейшие изгибы, срезы, ямки
Усов, ноздрей и глаз, – как на луне,
Когда ее в большой бинокль поймаешь.
Казалось: мир застыл в неверном блеске,
В каком-то мертвом, фосфорном сиянье,
И межпланетным холодом сейчас
Охватит всех.
Вдруг рупор режиссера
Команду подал.
Гоголь (тот, второй)

Как на шарнире голову рванул
Направо, дернулся, вскочил, – как будто
Аршин складной расправили, – и вновь
Сломился, сел, закоченел…
Громадный
Ком тошноты мне к горлу подкатил!
Я ощутил с железным омерзеньем
Оживший труп – скачок за грань закона,
За логику; из истины – в кошмар!..

Я шел и думал: как прекрасна жизнь
В ее прозрачном и *необратимом*
Течении!
Ах, – вплавь! Немедля – вплавь!

25.IX.1937

СТЫД

Сад ниспадал от главного проспекта
Отлогими уступами к реке.
Эстрады, и киоски, и фонтаны,
И клумбы оставались на парадных
Аллеях, а пониже, у реки,
Редели скамьи, был газон небрежней
И выцветала и нищала роспись
Пустующего тира.
Тополя
Желтели и сквозили в жидком небе;
По гальке воркотал поток холодный;
И пары запоздалых мотыльков
Вились над худосочной георгиной.

Я каждый день ходил туда, купив
Маслин, и хлеба теплого, и кисть
Такой же странно-теплой изабеллы, –
И тем обедал. Я читал тогда
Курс лекций в местном университете
И тут готовился. Большие книги,

Что распирали мой портфель, я клал
На серебристую скамью, где мягко
По ветхим доскам плыли вензеля
Любовников, бывавших тут…
Мне грустно,
Мне одиноко было в эти дни.
Я был тогда покинут и осмеян,
Был сбит с пути, растерян, болен, беден;
Я прорастал из самого себя,
Уродливо кривясь и разрывая
Свою же кожу, треснувшую всюду…

Однажды я сидел, склонясь над книгой
Тупого академика. Вдруг – шорох;
Оглядываюсь, – из кустов ползет
Громадная лохматая собака,
Костлявая, как старый тарантас,
Отчаявшаяся, – и: хвать мой хлеб!
И тут же, припадая и дрожа,
Затравленно косясь, любой удар
Готовая принять, – жрет, рвет, глотает,
С бумагой, не жуя, и, проглотив,
Бежит…
Назавтра я опять сидел
На том же месте. Снова слышу шорох:
Собака, та же. Хлеб мой был в портфеле,
Взамен академического камня,
Который утром я вернул на полку,
Надеюсь – навсегда. Собака, видя
Себя замеченной, метнулась было,
Но передумала и села – ждет.
Я вынул хлеб и отломил горбушку,
И кинул ей. Щелк – нет горбушки. Я
Еще кусок ей бросил и еще,
И наконец последний ломоток
Она взяла уже из рук.
Назавтра
Свиданье повторилось. Так как денег
Негусто было у меня, – я псу

Купил в пекарне корок и обрезков.
И так пошло.
Когда я приходил,
Уже в кустах сидел мой верный Лохма,
Как я его прозвал, и бил хвостом,
Вбирая в войлок шерсти все травинки,
Весь мусор. Мы обедали по-братски,
И он со мной сидел до темноты,
Ловя мой взгляд и яростно хлеща
Хвостом, лишь только шевельнусь. Порою
Задумаюсь (а горестно тогда
Задумывался я!), он мокрым носом
Мне в руку тыкался и чуть скулил,
Сочувствуя…
И вот настал конец
Из-за моей брезгливости и глупой
Жестокой осторожности…
Однажды,
Когда при встрече он упал на спину
И отреченно растопырил ноги,
Я увидал, что у него на брюхе
Лишай алеет, мокрый и огромный.
И я затопал на него и крикнул,
И камень сгреб с земли, и замахнулся…

Пес отбежал и стал, и так смотрел
На божество солгавшее, что я
Не мог снести. Встал и ушел, и больше
Туда не приходил. К тому же осень
Всё круче холодала…
Нищий пес
Поверил в то, что есть *один*, *особый*,
И обманулся. А ведь сколько раз
Меня, – как он, бездомную собаку, –
Он дружбой согревал своей!..
Мы сами
Прочь гоним то, чего вернуть нельзя…

1936

ПЕВИЦА

До ближних домов километр или два;
Дорога в ухабах, сухая трава;
И, зад оттопыря тяжелый и плечи,
Как бабы торчат известковые печи,
И едкою пудрой играют ветра,
Свистя сквозь ворота в безлюдье двора.

А дом узколобый колодою плоской
Лежал на пригорке, заветрен известкой,
И дюжина окон, немытых давно,
Глядела на поле, а в окнах темно,
И чахлая лампа слепыми ночами
В одном лишь светила скупыми лучами.

Я видел однажды (в окно подглядел):
Старик обомшелый над книгой сидел,
Конторскою, узкой, – и счетов костяшки,
Колеса Фортуны в железной упряжке,
По стержням летали, – и скудный итог
Раз десять сводил он и кончить не мог.

А дочка его, перелетною птицей,
Из города в город порхала певицей,
Томила концертами Клин и Торжок,
Стеклянным сопрано скобля потолок;
В уборных рыдала над пудерной склянкой
И всё унижалась пред славой-беглянкой.

В мечте покоряя Милан и Париж,
Хранила охапки исцветших афиш,
Венки покупала к затасканным лентам,
И взятки давала собой рецензентам,
И деньги выклянчивала без конца
У преданного, точно пудель, отца.

Мы встретились как-то… Пристали бы кукле
Пустые глаза, и пеньковые букли,

И щеки из гипса… Любой психиатр
Ее поглядеть забежал бы в театр, –
Но публика… публика смехом бессмертным
На вопль откликалась ей в зале концертном.

Истерику эту как в сердце кинжал
Ей тенор залетный когда-то вогнал;
Дай звезды ей, небо алмазами вызвездь –
Она не возьмет: негашеная известь
Ей в рану набилась и в каждый наезд
Под жидкими плесками травит и ест…

Я был там недавно. Тот дом сохранился,
Но весь обветшал и совсем покосился.
Обрушились печи. Бочарный завод
Сменил их, трубою проткнув небосвод.
А где тот старик, что с певицею стало –
Никто и не знал, да и помнили мало.

14.I.1940

БОРИСОГЛЕБСКИЙ, 15

Я много лет всё в том же переулке
Живу. Проходит незаметно время…
Жил Писемский в соседнем доме, – тускло
Блестит мемориальная доска;
Подальше жил Бальмонт, – удрал трусливо;
Подальше Вячеслав Иванов, – тоже;
Стал кардиналом, – пусть и папой станет,
Прабабка символистская. Подальше
Жил Скрябин. Тут же Павел Антокольский;
Наискосок – Цветаевы: Марина
И Ася… Подлинный Парнас… А нынче
Нет никого. И я уеду скоро:
Квартиру отвели…
Пятнадцать лет
Я здесь провел!..
Была напротив церковь;

Ее снесли, и слава богу: реже
Покойников приходится видать.
А за углом, где двор был дровяной,
Воздвигли школу: ясная постройка
С большими окнами; мне там хотелось
Преподавать: люблю, когда мальчишка
Сперва торчит, упрямый как вихор,
Весь протестуя, а потом, глядишь,
И слушает, и задает вопросы,
И начинает понимать… Так славно
Лепить в нем мысль, учить любить звезду,
Морской простор, историю и книги,
Жалеть животных, не давать в обиду
Девчонок…
Жаль, что не завел своих!..
Пятнадцать лет!..
Точильщики весною
Бродили по дворам, пуская искру
Из камня серого; весной стекольщик
Вверх задирал стеклянное крыло,
Сплошь голубое. Летом все панели
Асфальтовою мазали икрой,
Чтобы мерцали осенью под мелким,
Под «достоевским» дождиком. Зимой
Автомобиль резиновою пяткой
Печатал елочку по снегу. Часто
Аэростат серебряной планеткой
Плыл в мыльном небе. Иногда пожар
Вдруг воскрешал легионеров Рима
В их шлемах медных. Помню раз: туман,
Каких и в Лондоне не встретишь, залил
Весь мир, и я у дома заблудился…
Ну, что еще? Прошло пятнадцать лет.
Болел; любил; писал. Завел щенка, –
Он вырос, он состарился, он скоро
Умрет, мой Воронок…
Я помню: рядом
Жил старичок; он каждый день гулял
С двумя шпицами; мордочкой лукавой,

Высоким лбом и черными глазами
Они напоминали мне Вольтера.
Шли годы; старичок седел и гнулся;
Всё больше лоснились пальто и шляпа
Из «довоенных». Вижу как-то: он –
Идет, ведя лишь одного шпица.
Еще прошло два года; он сменил
Пальто бекешей Москвошвея, шляпу
Каскеткой мятой. Вскоре я уехал,
Потом вернулся; вижу: мой старик
Идет один; понурился, волочит
Трость узловатую. А через год,
Гляжу, ведет ушастого бульдожку,
Ужасно удивленного и носом
Работающего как пылесос…
Вновь минул год; не вижу старичка,
Всё нет и нет; и узнаю вдруг: умер…
А глупого бульдожку на цепочке
Выводит девочка – худа, невзрачна,
Но яркие веселые глаза
Глядят вперед, весь мир в себя вбирая…

Живи, расти!
Сменяй, смени, сменись!..

1.X.1937

ДВЕ КОМНАТЫ

Старушечья горенка. Ночничок.
Овальное зеркальце на комодике.
Заботливо нижут свой счет и щелк
Тирольские – точно скворешня – ходики.

И старческий сон прозрачен и тих:
Довольно прожито и проработано,
И хоть на излете годов твоих,
А всё же достигнуто счастье. Вот оно:

За стенкою внучек: надежда, моряк;
Чудесный мальчишка по всей справедливости!
Немало пришлось хватить передряг,
Чтоб в гардемарины буяна вывести.

А внучек (надежда, моряк!) не спит:
То в щеку ногтями вопьется бледную,
То в зеркало снова на грудь глядит,
На мелкую сыпь, розовато-медную.

11.VIII.1933

НЕЗНАКОМЕЦ

Гостиница. В четвертом этаже
Веранда, полная плетеных кресел;
Сюда, скучая, ходят постояльцы
На море глянуть и джаз-банд послушать,
Томящийся недалеко в саду;
Сюда из нумеров бегут ребята
Бумажных голубей пускать по ветру;
Пустынно здесь и неуютно здесь,
Необжито́, и проходно́, и сорно.

Был вечер. Порыжелые холмы,
И черепицы ветхие на кровлях,
И силуэты башен генуэзских
Сплошь золотом тяжелым налились
Под уходящим к Сарыголю солнцем,
А море, в низкий упираясь берег,
Всё млело, блекло и переливалось,
И неправдоподобными над ним
Плескал фрегат учебный парусами.
Ныл саксофон.
Отбившись в уголок,
Засев глубоко в неудобном кресле,
Стареющий тревожный человек
Палил сигары не переставая.

Он прочитал пять или шесть газет,
О фокусах затейливую книжку,
Журнал несвежий, вновь шуршал газетой,
Листал блокнот и всё курил, курил.
Казалось, будто ждал он телеграммы,
Или опасный осознал диагноз,
Иль денег не хватает для расчета,
Иль поединок предстоит ему, –
И желчный взор за круглыми очками,
И сжатость бритых губ, и шевеленье
Ног заплетенных и нескладных рук
Легли магнитным полем непокоя.

С ним заговаривали. Он любезно,
Но коротко, как пистолетный выстрел,
Давал ответ. Казалось, знал он всё:
И что за горы там, и что за башни,
Каких времен и высоты какой,
И чем фрегат отличен от корвета,
И очень ли глубок залив, и где
Растят своих детенышей дельфины…

Он подымал с колен нередко цейсс
И наводил на город и на горы,
Но чаще на́ небо, где туча рдела,
Как пурпуром обитый Буцентавр…

Вот подошел к нему, робея, мальчик
И попросил бинокль. Он дал. А дальше
Вопрос, ответ, вопрос, ответ – и начал
Кроссвордом развиваться разговор.

Еще к нему приблизились ребята,
Засыпали, немного щеголяя
Друг перед другом, тысячью вопросов
О море, о горах, о кораблях,
О долголетье, о цветах и травах,
О полюсе, о летчиках, о снах,
О римлянах, о капитане Немо.

Он отвечал спокойно, сухо, точно,
Не приноравливаясь, будто равным,
И мир вставал как строгая модель.
Давно стемнело, проступили звезды;
Он показал созвездия и альфы,
Он отыскал Туманность Андромеды,
Он рассказал о световых годах.

По многу раз мамаши прибегали,
То ужинать, то спать зовя детей, –
Напрасно: цейсс от одного к другому
Скользил, и все готовы были слушать
Таинственного друга до утра.

Но стало поздно. Он свернул газеты
И, детям пожелав спокойной ночи,
Ушел, –
и странный облик, речь сухая
И космоса неумолимый ветер
В их памяти остались навсегда…

4–5.VI.1936

ОПЫТ

Профессор разрешил попробовать:
больному хуже стать не может;
И две недели в санатории
все разговоры лишь о том,
Бессмыслица святая музыки –
она ли мертвый ум встревожит,
Чтоб воскресить хоть на мгновение
мечту, лежащую пластом?

Больной же бродит куклой глиняной
в цветистой шелковой пижаме;
В глазах уставленных – ни проблеска;
полуоткрыт лиловый рот;

Он на слова не отзывается,
        он ест прерывными глотками,
Он вяло шевелит ладонями –
        изживший душу идиот.

А было время: перед толпами
        на всех великих сценах мира,
Сверкая в плясках ослепительных,
        он вился, воплощенный звук;
Бог ветра, эльф, как будто сотканный
        из дрожи струнного эфира,
Он из земного притяжения
        взлетал небрежным взмахом рук.

И люди, толстые и косные,
        за ним следили бездыханно
И сами пламенем колеблемым
        включались в ветровой извив,
И тем, кто видел чудо, верилось,
        что снова арфы Амфиана
Из глыб, циклопами изглоданных,
        слагают стены древних Фив.

Всё было: слава, деньги, женщины;
        вечнозеленый лавр успеха
Атласом обвивал ласкающим
        работы повседневной терн;
Виолончели каравеллами
        везли немыслимые эхо;
Цвели рогами изобилия
        спирали медные валторн.

Но тяготело неизбежное
        над этим вдохновенным телом,
Над этой, крыльями стрекозьими
        всегда трепещущей душой, –
И вот он бродит грузным Големом,
        в самом себе отяготелым:

Три теплых пуда мяса жадного,
приоткрывая рот большой.

И вот пришло внезапным домыслом
другому венценосцу пляски
В его же одеянье избранном
его же танец отпорхать –
«Коронный номер»: буйство музыки,
сиянье жеста, крутень краски
Прольют, быть может, в душу мертвую
грозы весенней благодать!

Профессор разрешил попробовать.
Всё приготовлено; рядами
Стоят вокруг площадки теннисной
пюпитры меж цветочных гряд;
Танцовщик в тунике малиновой,
как бы сгустившееся пламя,
Стоит, готовый в пляску ринуться,
и стразы в поясе горят.

И по дорожке между няньками
бредет, переставляя ноги,
Понурый, медленный, бесчувственный;
подходит, с глиняным лицом,
И застывает, остановленный,
у царства сказки на пороге,
Стоит как идол безнадежности,
по горло налитый свинцом.

И вот – взмах палочки. Вступление
бежит на флейтах и фаготах,
Восторженно взнывают струнные,
и гонят медные грозу.
Удар! Еще! И буря мерная
клокочет, вся в громоворотах,
И вылетает сгусток пламени,
витая в звуках на весу.

А тот – стоит. И все мучительно
глядят в черты его пустые:
Он чувствует или не чувствует?
И вдруг он – медленной рукой –
Как будто стеблем прорастающим –
коснулся воздуха – стихии,
Ему подвластной, – слабо дернулся,
и вдруг – прыжок, и вдруг – второй,

И вдруг, как бы волной подхваченный,
упругий, легкий, невесомый,
Весь в ритме, весь на крыльях ангельских
он закружил и залетал,
Он взвился музыкою зримою
сквозь нарастающие громы, –
И два порхало сгустка пламени,
ведя ликующий финал.

Конец. Он встал. Грудь жарко зыблется.
К нему бегут. Волненье, вскрики.
А он, с лицом из глины розовой,
стоит, как прежде, глух и туп,
Чуть шевеля ладонью вялою, –
и ложью солнечные блики
Ложатся на чело понурое…
Махнул рукой профессор: «Труп!»

6.II.1945

ИНОХОДЕЦ

Викентий Никодимович
ДРЖЕВЕЦКИЙ
Врач
Принимает от – и до –

Такая
Есть на дверях латунная табличка.

Дверь тяжела, солидна. Из нее
Вальяжная порой выходит дама
И важно «в город» шествует.
Вглядись:
Отборный экземпляр! Глаза как ложки
С густою синей акварелью. Ноздри
Как розовые раковинки – туго
И круто вырезаны. Рот как мальва:
Надменный, дерзкий, крупный. Велика
Нога немного, но прекрасной формы…
Такую бы одеть в кунтуш лимонный,
Обуть в сапожки алого сафьяна
На каблучках как рюмки, посадить
На серую поджарую кобылу,
Дать в руки плеть, придать борзых и – в поле,
По следу волчьему, в свист, в гомон, в топот,
Чтоб шляхтичи, кусая сивый ус,
Дышали страстью и вином: «крулева!»

Она идет по мягкому асфальту,
По известковым раскаленным плитам,
Усыпанным акацией отцветшей;
Она заходит в шляпный магазин,
Перерывает полки и уходит;
Идет к мануфактурщику и час
Там роется в батистах и атласах;
Заглядывает к ювелиру, долго
Толкует с ним о переделке брошки;
У парфюмера сладко осязает
Холодные граненые флаконы
Пивера и Герлена и потом
Велит отлить «из развесных» два лота
Coeur de Jannette[1]; в персидской темной лавке
Как жеребца ласкает ворс ковров
И ноготками по-кошачьи дразнит
Сухую невесомость кисеи,
Но покупает фунт рахат-локума.

[1] Сердце Жаннетты (*фр.*).

Потом сворачивает к балаганам
Базара, выбирает вишни, рыбу,
Торгуется, торговца в пот вгоняя,
И, вымаклачив гривенник, уходит:
«Отложишь для меня; пришлю». Потом
Идет лениво на бульвар, глядит
На море, на лиловый дальний берег
И ждет.
Проходит гимназист высокий
И робко кланяется. Властный жест:
«А ну-ка, юноша, сюда!»
Краснея
И напрягаясь, тот рысцой трусит
И сламывается в поклоне. – «Вы
Куда?» – «Гулять». – «Проводите меня?»
И – взгляд!
Юнец лопочет и шалеет,
И, гнутой жердью, как-то загребая
Ногою, семенит рядком. Базар.
«Ах, да! Зайдите, милый: там покупки
Оставлены». Юнец летит. Он рад,
Он счастлив услужить. Он… правда, даме
Уже под сорок, сын давно студент,
Но в гимназической курилке часто
Твердят, что «с нею можно»… Ну, а вдруг?

Они идут. Она уже небрежна,
Почти не слушает, не отвечает.
Он выдыхается; губа готова
Отвиснуть, и в глазах – баранья грусть.
Но вот и дверь. Она звонит. Безмолвно
Протягивает руку (ах, рука!
Горячая, пружинная!). И – взгляд!
И он стоит, глаза на дверь тараща…

Из той же двери, утром, рано-рано,
Выходит человечек. Бороденка,
Усы – как те очески, что снимают
Брезгливо с гребня. Темные глаза,

Пугливые и глупые. В руках
Тяжелый саквояж и трость.
Он смотрит
В листок, где два десятка адресов
Разнумерованных. Потом бежит
Особенной побежкой почтальонов,
Рассыльных, акушерок. Он заходит,
Отмахиваясь тростью от собак,
В глухие и зловонные дворы,
На чердаки вползает и в подвалы
Ныряет. Торопясь, брезгливо морщась,
Выслушивает жалобы, глядит
В горящие багрянцем грязным глотки,
Выстукивает жаркие тела
Немытые, улавливает хрипы
Из-под лопаток острых, быстро пишет
Рецепт – и убегает, чтобы вновь
Всё это видеть, обонять и слышать
За часом час, за годом год – всю жизнь!..

Он – «врач для бедных».
Иногда ему
Застенчиво суют полтинник в руку,
А то и четвертак, и он – берет:
Управа платит в месяц полтораста…
Порой, набрав целковый или два,
Верст десять пробежав, он разрешает
Себе в пролетку сесть и едет, робко
Глядя вокруг: не встретить бы жену!

Окончен список. Он летит, как пуля,
В гимназию: там у него прием
Оболтусов, что увильнуть хотят
От остающихся уроков. После
Опять бежит – в кутузку, в морг, в притон
На обморок, на драку, на убийство,
На вскрытие, на следствие – копаться
В раздутом трупе, щупать синяки
И переломы – год за годом – жизнь!

Ведь он и «полицейский врач»: ему
Градоначальство сто целковых платит…

Уже четыре. Он бредет домой,
Не слыша ног, с отбитой поясницей,
Влача пудовый саквояж. Поест,
Повалится в каморке кабинета
На жесткую врачебную кушетку,
И, как коллодий, тонкий и прозрачный
И липкий сон глаза ему зальет…
Потом – прием, бесплатный («врач для бедных»,
Да и плохой; кто может заплатить,
Идут к Эрдели или к Эйзенштейну),
И наконец, в одиннадцать часов,
Свободен он. Он может жить. Читать.
Любить. Отцом быть, мужем, человеком!..

Он ежится. Он слышит за стеной
Знакомый голос, звучный, влажный, арфный,
Тот голос, что он любит двадцать лет,
Что двадцать лет назад его, студента,
Приехавшего на́ лето домой,
Хрустальной влагой обдал на концерте.
Тот голос, что звенел хрустальным смехом,
Когда он бормотал слова любви.
Тот голос, что спустя полгода, глухо,
Подавленно, отчаяньем и мукой
И ненавистью прозвучал, когда
Она ему «согласна» скрежетнула.
Он знал тогда, что это значит, – знал,
Что гордую сверкающую панну
Увлек улан заезжий; что она
По глупому случайному скандалу
В гостинице застигнута была
При обстоятельствах бесспорных; что
Ее отец, вдрызг разоренный шляхтич,
Рад был ее куда-нибудь спихнуть,
Чтоб хоть меньшую дочь сберечь для брака,
И что пред нею выбор стал: мышьяк,

Или панель, или студент плюгавый –
Он!.. И она, в отчаянье, в слезах,
Ломая руки, за него пошла…
Он подобрал заплеванную розу,
Мучительно и вдохновенно счастлив,
Унес ее, насиловал, надеясь
Обмять шипы хотя бы грудью. –
О!
Она ему жестоко отплатила
За свой позор, за две отцовских плюхи,
За фарс постыдный первой брачной ночи,
Когда она «невинную» играла,
А он «доверчивого», оба зная,
Что лжет другой и понимает ложь;
За нищету его, за ту поспешность,
С какой он принял первое ж местишко,
Что подвернулось («тоже! врач для нищих!»),
За суетливость, робость, преклоненье,
За жадную испуганную страстность,
За боль родов, за редкие минуты,
Когда в ней тоже буйно кровь вскипала
Под неотрывной лаской.
В «идиотах»,
В «плюгавцах», в «нищих», в «павианах» он
Ходил годами. Есть ему давали
Швырком. Его травили за бездарность,
За то, что он не «доктор медицины»,
А только «лекарь». Деньги у него
Выдаивали до полушки. Дети
С трех лет учились над отцом смеяться
И презирать его: не раз он слышал,
Как мать у сына спрашивала: «что, –
Наш иноходец прибежал?»
С годами
Для города посмешищем он стал.
Управские статистики сочли,
Что дважды обежал он шар земной
За двадцать лет своей гоньбы врачебной,
И спрашивали докторов других:

Не выросли ли у него копыта?
А член Управы, толстый Балабан,
Хватал его в купальне за худую
Во вздутых венах ногу и орал:
«А дэ ж воны?» На улице жена,
Ему порой с собой идти дозволя,
Вдруг гневалась и отсылала прочь,
«Чтоб не срамил», – и он трусил рысцой
По противоположной стороне,
Не смея плюнуть и уйти.
С годами
Он позабыл, чтó знал. Он все болезни
Лечил хинином да касторкой; стал он
Какой-то проституткой медицины, –
Крикливым, торопливым, равнодушным, –
Он имитировал осмотр, как та
Страсть имитирует…

Он слышит голос,
Любимый голос, звучный, влажный, арфный;
Летят слова: «картошка», «помидоры»,
«Подсунул», «жулик», «в морду бить таких»…
Он ежится: сейчас вспылит кухарка,
И визг пойдет, а там влетят к нему
С попреками, с хватаньем за плечо;
Лицо «крулевы» исказится, губы
Пунцовые пойдут собачьей складкой,
А там – а там и за ухо его
На кухню сволокут, чтоб он «унял»
«Наглячку».
Нет, затихло…
Он письмо
Берет с конторки. Строчек пять небрежных:
От сына. Ну, конечно: денег надо;
Ведь политехник – не юрист, не медик,
Он должен одеваться безупречно:
Крахмальные воротнички, шевро.
Вновь, значит, завтра жалованье нужно
Просить вперед и намекать больным,

Что хоть он и бесплатный врач, а всё же
Не худо б «за извозчика» отдать…

И он ложится спать, будильник ставя,
И спит, и стонет. В вымотанном сердце
Тугая боль. Ему блаженство снится;
Вот дочь, вот сын; они к нему прильнули:
«Устал ты, папа? Отдохни!» – и тут же
Подмигивает брат сестре: «Гляди-ка:
Ишь – иноходец! А копыта где?»
И дочь вдруг за ухо его хватает,
И тащит в лавку, и визжит: «Плюгавец!
Мне бархат нужен!» И подходит к ним
Сам Балабан, с лицом жены, и в руку
Двугривенный сует: «На, нищий, на!»

Ну, вот и всё.
Так двадцать лет прошло,
Так пять еще проходит. Наконец
Сын – инженер (холодный, важный, сытый);
Дочь – замужем (за сыном Балабана);
Им он не нужен: выкормил, пристроил;
Он и жене не нужен: пенсион
Им выслужен, ей хватит вдовьей доли.

И вот, оформив нужные бумаги,
Дав сыну время на завод уехать
И закрепиться посолидней, дав
Уехать дочери в именье с мужем,
Он, в неурочный час прервав обход,
Идет домой, кухарку отсылает
Словить жену («должно быть, на бульваре;
Скажи, что заболел»); сидит недолго
В ее душистой спальне; в кабинет
Потом идет, записку ровно пишет,
Шприц достает и ампулу (она
Смешно на шоколадную похожа
Бутылочку с ликером), набирает,
Иглу впервые не стерилизуя,

В шприц жидкость и ложится на кушетку,
И с наслажденьем впрыскивает в вену
Сон и покой.
Покой,
покой,
покой!..

1.II.1938

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

ФЕОДОСИЯ

О, эти переулочки с уютными фонтанами,
решетчатыми окнами и плитной мостовой!
О, тень благоуханная под нежными каштанами,
узорчато объятыми густою синевой!

Впиваю воскрешенную, изнеженную Геную,
развеявшую в воздухе неуловимый прах,
осевший утомленною акацийною пеною
на этих изогнувшихся морщинистых горах.

А жившие, забытые в ажурных этих домиках,
они вдыхали запахи каких еще эпох –
улыбчивые, пьяные, как в стихотворных томиках,
среди листов оставшийся неулетевший вздох?

И знаю, сберегаются вдаль уходящим временем,
то в книгах, то в надгробиях ряды тяжелых слов,
и есть края, где зыблются как тонким, звонким стременем
одни очарования и аромат веков.

<1917>

* * *

Два зеркала дымно-серебряных медленным в небе сливаются
взглядом:
безмерно, повторно я еду по белым пушистым лесным амфиладам.

Тяжелые хлопья летят, повторяя движенья мои и томленья,
и тихо, так тихо шуршит по сугробам саней моих шкура оленья.

Шуршит по сугробам… Серебряным гробом безвыходны
белые своды,
и пусто, и бело в просторах безвольных безвольной
ненужной свободы.

И гаснут за небом, за матовым небом, холодные белые струны,
и в сумраке сизом всплывают и плачут, и плачут, и веют Кануны.

И вечно, безвольно, спокойно и бело влачусь по лесным амфиладам:
два зеркала дымно-серебряных в небе встречаются
медленным взглядом.

<1917>

* * *

За кормой воздушной бригантины
расплылась муаровая лента:
выцветая в радостную зелень,
темных волн всплывал ультрамарин.
В золоте заката лиловели
дальние обрывы Фиолента.
Ветерки овеяли вантины
музыкой далеких окарин.

Много миль дрожала лента бега,
вставшие в себе колебля звезды,
добежавши, к берегу прильнула,
исчезая в бархате песка.
Сладкие таил томленья воздух,
неумолчные звучали гулы,
и сияла голубая Вега
пламенем благого Маяка…

…Вот сейчас на васильковом небе
расплылись жемчужной полосою
облачки, скользящие несмело, –
плаванья легчайшие следы…

Чье же судно там прошелестело,
перловой побрызгавши росою?
И когда волны вспененный гребень
оплеснет меня лучом звезды?

<1917>

* * *

Плывут силлабической мерой
глубокие плачи виол:
восемнадцатого brumaire'а
родился червонный орел.

Не белеют нежностью лилий
вновь чеканенные гербы;
развернуты тяжкие крылья
над магнитною бездной Судьбы.

Размеренностью касаний
не ласкает граненый рок:
безумья титанных блистаний
пути везде без дорог.

Но своим истекает жаром
расплавленно-стальный болид.
Торжествует над вольным пожаром
спокойный и четкий магнит.

И нет развернутых крылий,
и вновь, обвивая мир,
цветет обманностью лилий
властная алость порфир.

<1917>

* * *

Медленно, въедливо цокают капли в углу.
Скорчившись, в ужасе тихо лежу на полу.

Тяжко вздыхает, железно грохочет тюрьма.
День угасает, вползает неверная тьма.

Я замурован в размерности каменных стен.
Я замурован; до ночи, до ночи лишь плен.

Медленны, Боже мой, медленны капли минут.
Будет: войдут и подымут, возьмут, поведут…

Липко хватаюсь за стены, за дверь, за себя,
зубы стучат, на кусочки безмолвье дробя.

Связаны руки. И – неудержимо вперед.
Двор. Фонари – точно гвозди в глаза. Эшафот.

Льется негромкий, икотный, прерывистый вой.
Шею обвили холодною мыльной петлей.

Что-то качнулось и дрогнуло. Возглас… И я
даже не слышу, как стукнула оземь скамья.

<1917>

* * *

Раннее утро. Солнце еще низко,
но черепицы и стены уже огнисты и ярки.
По улицам снуют кухарки, –
и в корзинах коралловая молодая круглится редиска.

Неуловимый бриз
дышит смоленым канатом и солью.
Белая шхуна – точно Нарцисс
в спокойном заливе.

Кто счастливей
плывущих к раздолью?

У самого берега за белой оградой
древняя церковь синий
возносит купол.
Вокруг – кипарисов купы.
Стройная строгость линий
волнует Элладой.

Рядом с церковью – белый домик.
Окна раскрыты в море. Над ними виноград завился.
В окне – ты, над столом склонился,
и перед глазами, – знаю, – стихов аккуратный томик.

Прохожу неторопливо. Старинный кретон дивана.
Гравюры в рамках овальных. Ряды книжных полок.
День здесь отраден и долог,
и часы протекают плавно.

Книги, старинные, ясные.
Море, вечное. Даль, голубая.
Воспоминанья прекрасные.
Свои негромкие песни.
Что прелестней? –
Не знаю.

<1917>

* * *

В стране, где чистое золото,
где оникс и камень-бдолах,
в песках раскаленно-желтых
бредет монах.

Заметил следы верблюжьи,
спешит, ожидая воды,

но у пересохшей лужи
исчезают следы.

Бредет. И солнце кровавое
растягивает его тень.
Неуверенно, будто плавая,
скрывается в темноте…

Отчего так знакомы эти
из пепла и желчи глаза?
Кто, когда мы были – дети,
о нем рассказал?

Откуда мы знаем, что вечен
безводный его путь?
Что он – ничей предтеча,
что его – не вернуть?

И отчего так больно
видеть его среди тьмы?
Неужели: дышать – довольно,
и он – это мы?

<1917>

* * *

Ф. Я. Долидзе

Есть острова, далекие, как сон,
И нежные, как звонкий холод альта:
Майорка, Минорка, Родос и Мальта, –
Лежат среди беспарусовых волн.

Выпиленный из белого базальта,
Застыло-сливочный спит Гамильтон.
Я непорочно в белый блеск влюблен
И я простерт на черноте асфальта…

А солнца алого овальный шар,
Весь облачной флотилией овитый,
Развеяв легкопламенный пожар,

Плывет своей размеренной орбитой…
Плыви, неси, неси мои слова
На милые, на злые острова!

<1917>

* * *

Я славлю белую, как мрамор, пустоту, –
Холодный зал развеявшейся воли,
Безбольно пригвожденный ко кресту,
Я славлю белую, как мрамор, пустоту.
И белым легким веером триоли
Последний прах зари с колонн смету:
Я славлю белую, как мрамор, пустоту, –
Холодный зал развеявшейся воли.

<1917>

АКРОСТИХ С КОДОЙ

Алмазный пепел хладных вечеров
Лавиной тихой стелется над миром…
Едва загрезишь над слепым Омиром,
Как зрячий Блок осыпет снегом снов.

Снежинки тяжелее жерновов,
Алтарным привлеченные надиром,
Но ты всю кровь свою отдай порфирам,
Да царственный пребудет ал покров.

Рокочущий размерными громами,
Умей облечь их вескими словами,
Где медь отпечатлит твою мечту,

Алоэ воскурится в бронзе темной…
Так древо плотное мчит в высоту
Отдельный лист, – и ты в тиши укромной

Впаяй кристаллы талые в металл,
Узнав, что сладостно звенит кинжал.

26.XII.1917

УРИМ И ТУММИМ

Из льна крученого лазоревый квадрат,
Нашиты в три ряда на нем двенадцать плиток, –
Холодной радуги сияющий избыток,
Холодной радуги задумчивый распад.

Лал, альмандин, сапфир, аквамарин, гранат, –
Двенадцати колен неистребимый свиток.
На пряже полевой, на легкой вязи ниток
Гигантский бег веков в двенадцать камней сжат.

Первосвященников воздушные эфоды
Торжественно хранят завещанные годы,
Их нарастающий, их сдержанный порыв.

И мы, рожденные среди багровых дымов,
Запекшуюся кровь в квадраты огранив,
Сверкаем радугой для тысячи Уримов.

<1918>

НАД ПРЖЕВАЛЬСКИМ

Китайских карт соломенный папирус;
зигзаги рек и сыртов пелена.
Простертая в пустых горах страна, –
твой облик пепельный пред мною вырос.

Пески – наследие морского дна –
безвлажные: так редок в небе циррус,
и дюны легкие – полночный клирос:
поет звездам песчаная струна.

Во впадине сыпучего простора
бамбуковые заводи Лоб-Нора
впивают бред загималайских стран,

где под ночные всхлипы гамеланга
из Индии в звенящий океан
уносит мертвецов теченье Ганга.

<1918>

В СТРАНЕ ОТЦОВ

Где пролит перламутровый пожар
полуденных и облачных сияний,
в холодных волнах мраморных пыланий
над Адриатикою – Мирамар.

Округлых окон взор, пугливо-ланий,
таит задумчивость холодных чар,
лишь отдаленный гонговый удар
порой колышет мумии желаний.

Здесь погружен в неизгонимый транс
изломный, запоздалый Ренессанс
в двух днях пути к славянскому Дунаю,

к монгольской Венгрии. Обломки грез,
когда-то плывших к эллинскому раю
через летейский сумрачный откос.

<1918>

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Норд-ост ревет и бьет о дом пустой.
Слепая тьма ведет меня в трущобы,
Где каменные обмерзают гробы.
Но – поворот, и вот, над чернотой

Стеклянный куб, сияньем налитой,
Тень от штыка втыкается в сугробы,
И часовых полночные ознобы
Вдруг застывают в ледяное «стой!».

И пуговица путается туго
Под пальцами, и вырывает вьюга
Измятые мандаты, – а латыш

Глядит в глаза и ничему не верит:
Он знает всё, чего и нет… Вдоль крыш
Лязг проводов верстою время мерит.

1918

«ДУХ» И «МАТЕРИЯ»

Архиерей уперся: «Нет, пойду!
С крестом! На площадь! Прямо в омут вражий!»
Грозит погром. И партизаны стражей
Построились – предотвратить беду.

И многолетье рявкал дьякон ражий,
И кликал клир. Толпа пошла, в бреду,
И, тяжело мотаясь на ходу,
Хоругви золотою взмыли пряжей.

Но, глянув искоса, броневики
Вдруг растерзали небо на куски,
И в реве, визге, поросячьем гоне –

Как Медный Всадник, с поднятой рукой, –
Скакал матрос на рыжем першероне,
Из маузера кроя вдоль Сумской.

1918; 4–5.IX.1933

ВОСКРЕСНЫЙ ОТДЫХ

Суббота истекла. Окончена неделя.
Блаженный впереди, весь мой, мне данный день.
Трудолюбивая меня объемлет лень:
Работа милая! в тебе так много хмеля.

Работа милая, вся, целиком, моя, –
Отдохновение от чуждой мне работы.
Я просветленно пьян в последний миг субботы.
Я, – утро встретивший сквозь мглу небытия.

О волны воздуха над белою бумагой!
О волны музыки под медленным пером!
Томительных шесть дней я вами был влеком
И ныне сладостно обрызган свежей влагой.

И ставя первую живую жердь вехи,
Означивая путь в элегиях и одах,
Тебе я поклонюсь, о мой воскресный отдых,
И первые тебе я напишу стихи.

<1919>

<РОНДО>

Преодолей! Пять лет ушло как дым, –
И всё ушло. Зачем она лукавит,
Зачем не выскажет, не прямо явит
Всё, чем больна? О, благодатный Крым!
Пускай его проклятие раздавит!

И сон, и явь – всё злость и муку плавит,
И пламень дум под черепом моим
Смуглит виски и волосы курчавит…
Преодолей!

Сок искупленья да не обесславит
Твои ладони брызгом кровяным!
Пусть хладный ум вспененной волей правит!
Пусть хладный ум цементом ледяным
В гранитном склепе сердце замуравит!
Преодолей!..

<1919>

КОРОЛЮ СОНЕТА

И темных радуг буйные тона,
и вглубь времен втуманенные дали,
и грузных формул медные скрижали,
и золотые пляжи, и луна;

и пурпуром вспоенные эмали,
и зовы запредельного Руна, –
виолы смолкшей мертвая струна, –
тобой вчеканены в твои медали.

Как литургии медленный напев,
их травленный, оплавленный рельеф
отпечатлел наш мир для взора Бога.

А мне, чья здесь проведена дорога,
как пристальный, как чарный взгляд боа, –
твой бронзовый чекан, Эредиа!

<1919>

* * *

Мороз хрустальный, тихозвонный.
На убеленной глади льда
остыла в проруби граненой
темно-лазурная вода.

И накипь снега отвердела,
округла, упадая вниз,
и пятна инейного тела
в сапфирной глубине зажглись.

И, чистой синевой омытый,
прозрачный пар летит к мечте,
оплотневая к высоте
гиперборейской Афродитой.

1919

ПУТЬ В ЭММАУС

Тихий путь простерся к Эммаусу.
Солнце тлело тихо и прохладно.
Тихий ветер предвечерне веял,
пронося расцветшую маслину.
И брели по пыли золотистой
к Эммаусу Симон и Клеопа,
но не свет вечерний тихо таял
в их измученных и гневных душах, –
а закат кровавый, что пролился
и вскипел над гаснувшей Голгофой.
Говорили Симон и Клеопа:
Иисус был праведник великий,
но и он прогневал чем-то Бога
и погиб мучительною смертью.
Что же обещания пророков?
Где же долгожданный избавитель?
Видно, нету в мире ни Закона,

ни Судьи. –
И подошел к ним Некто,
и пошел он с ними нога в ногу,
говорил им о Голгофской казни:
– Неразумные! Вам непонятно,
что Мессии быть распятым должно,
что стенает Божье правосудье
под бичами ваших прегрешений.
Но Мессия выпил чашу гнева
и вернул на землю милость Бога;
Царствие Мессии же – не царство,
а любовь, усвоенная сердцем. –
И Попутчик изъяснял пророков,
песнопения, преданья, притчи.
Выходило то же по-иному,
и тоска бредущих исчезала.
Вот пришли. И он уйти пытался.
Не пускали Симон и Клеопа:
– Раздели ты с нами ломоть хлеба
и сосуд вина. – И сели вместе.
Спутник накрошил тут хлеба в чашу
и вина налил, благословляя,
и лицо его вдруг просияло,
точно солнце в полдень над Фавором,
и тотчас же сделался невидим.
И сказали Симон и Клеопа:
– Вот Кто нашу разделил дорогу!
Слушая его святые речи,
разве не горело наше сердце?

Сколько раз и я шел к Эммаусу,
сколько раз и я рыдал от боли,
и ко мне иные подходили
и мои загадки изъясняли.
Но ни разу света не видал я,
и ни разу не горело сердце.
Где ж ты, мой желанный избавитель,
где ж ты, наше Солнце Эммауса?

1919

НИЩИЙ

Картуз отрепанный надвинувши в упор,
по ветру шелестя одеждой длиннополой,
не отгоняя мух, обсевших череп голый,
вступает медленно он в незнакомый двор.

– Евреи здесь живут? – Скользит усталый взор
по окнам вымытым, по зелени веселой,
и в старческой руке колодкою тяжелой
монеты медные, – и шепчут мне укор.

– Нет, здесь евреев нет. – Но говорю другое:
– Один лишь я – еврей. – Смущенною рукою
монету достаю, и он уходит вновь,

моею робостью неведомо обманут.
Пускай обманами колышется любовь:
все скорби в глубь ее невозвратимо канут.

1919?

СВОЯ НУЖДА

На фронте бред. В бригадах по сто сабель.
Мороз. Патронов мало. Фуража
И хлеба нет. Противник жмет. Дрожа,
О пополнениях взывает кабель.

Здесь тоже бред. О смертных рангах табель:
Брюшняк, сыпняк, возвратный. Смрад и ржа.
Шалеют доктора и сторожа,
И мертвецы – за штабелями штабель.

А фе́льдшера – лишь выйдет – у ворот
Уже три дня бабенка стережет,
И на лице – решимость, тупость, мука:

«Да ты ж пойми! По-доброму прошу!
Ведь мужа моего отбила, сука!
Сыпнячную продай, товарищ, вшу».

1919; 18.VIII.1933

САМОСУД

Он ползает. Растоптанной губой
Он ловит жизнь по сапогам суровым.
И голос рваным выпадает ревом,
Захлебываясь кровью и мольбой.

А солнце золотит глаза коровам,
Жующим жвачку. Воздух – голубой.
А мужики – работают, и вой
Скользит по лицам их железнобровым.

Могила вырыта. Удар сплеча, –
И конокрад слетает, вереща,
И снова заработали лопаты.

Перехватила глина взгляд и крик,
С травой сровнялась. Но бугор горбатый
Рывком последним выперло на миг.

1919; 20–21.VIII.1933

МАТЬ

Был август голубой. Была война.
Брюшняк и голод. Гаубицы глухо
За бухтой ухали. Клоками пуха
Шрапнельного вспухала тишина.

И в эти дни, безумные до дна,
Неверно, как отравленная муха,
По учрежденьям ползала старуха,
Дика, оборвана и голодна.

В ЧК, в ОНО, в Ревкоме, в Госиздате
Рвала у всех, досадно и некстати,
Внимание для бреда своего.

Иссохший мозг одной томился ношей:
«Сын умер мой... костюм на нем хороший...
Не разрешите ль откопать его?»

1920; 18.VIII.1933

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР

На улицах безводный полдень. Зной.
Дома ослепли и остекленели.
Лишь кое-где на мякнущей панели
Легли платаны тенью прорезной.

Безлюдье. Вдруг – бегут. Вдруг – залп сквозной
Ударил, взвизгнул. Звезды зазвенели
Окон разбитых... В сердце ль, по стене ли
Прополз дымок прокислой белизной.

И за углом – лежит вдоль тротуара
Расстрелянный. Сквозь медный тон загара
Овосковелость мертвая глядит.

Глаз вытаращен правый. Левый выбит.
И на груди афишку: «Я – бандит»
Лениво раскаленный ветер зыбит.

1920; 19.VIII.1933

ПРОВОКАТОР

На мальчугана римского похож,
Остряк, знаток вина, стихов, блондинок –
Он щеголял изяществом ботинок
И пряностью матросского «даешь!».

А белый террор полз на черный рынок,
Скупал измену; гибли ни за грош.
А он грозил: «ну будет сукам нож,
Когда закончит Фрунзе поединок!»

Закончил Фрунзе. С дрожью, по ночам,
В подвалах контрразведки, здесь и там,
Запоротых откапывали грудой.

И в эти дни мелькнуло мне: узлы
Едва таща, он юркал за углы
С детенышем, с женою жидкогрудой.

1920; 1.IX.1933

* * *

Мне сладко думать, вспомнить любо
О том, как жил, как умер он.
Его встречал я в залах клуба
За тихой партией в бостон.
Всегда приветливый и ровный,
Всегда в учтивом сюртуке, –
Он подневолен был бескровной,
Как бы асбестовой тоске.
Не раз мне видеть приходилось,
Как ночью поздней у окна
Сухая тень его томилась,
Не ожидающая сна...
Кто люб ему был? Книги, люди ль,
Мерцанье ль звезд, плесканье ль крыл,
Или невыстриженный пудель,
Что над его могилой выл?
Или тетрадь в тисненой коже,
Нетронутая двадцать лет, –
Мечты невоплощенной ложе
О сладком имени: поэт?
Кто знает... Я вошел несмело.
Был черный пуст и гулок дом,

И тонкое пахнуло тело
Еще не отданным теплом.
Я видел, как большая муха
Порхнула от раскрытых глаз,
Как с кухни волокла стряпуха
С водою гретой медный таз.
И я подумал: слишком много,
Чтоб выдать, он в душе таил...
Пусть хоть бессмертие у бога
Ему не будет выше сил.

<17.VIII.1920 – III–V.1922>

* * *

Фортепиано звуки вяжет
В растрепанный, в неверный лад,
Час поздний беспощадно кажет
Неумолимый циферблат.
Мой день истаял незаметно,
Как льдинка летом на песке;
Шумлива ночь и безответна
Всё нарастающей тоске.

<25.VIII.1920>

* * *

Вечер. Свечка в бронзовом шандале.
Тени изломились у карниза.
Мальчик, по-дорожному одетый,
На кроватке задремать не может.
Мама над комодом наклонилась,
Сумочку бумагами набила,
В бархатные валенки обулась
И белье в дорогу отбирает.
А белье слегка фиалкой пахнет;
Плоские подушечки с духами
Папа же принес в подарок маме,

А она их в сторону бросает.
«Мамочка, зачем?» – «Мы лучше купим».
«Как же папа?» – «Папа нас не любит».
И сквозь слезы, не по-детски строго,
Мальчик шепчет: «Мамочка, не надо…»

25.VIII.1920

К ПОРТРЕТУ А. О. РОССЕТИ

На вдумчивом не потускнел портрете
Огромных глаз прозрачный черный мед…
О ласточка, о милая Россети,
Не досягнул к нам легкий твой полет.

Жуковскому твой смех звучал приятно.
Пред Пушкиным твои уста цвели.
И думал я не раз: как благодатно
Ты заменить могла бы Натали.

Но слушая капризный лепет Музы,
Как трезво, как спокойно знала ты:
Не для тебя любовные союзы
С любовниками вечной красоты.

Бедняк услышал вздох твой, страстью пьяный…
Кому тебя за это осудить?
Друг Пушкина, для нас ты будешь жить,
Как для него, – красой смугло-румяной.

25.VIII.1920

В МОСКВУ!

Да, поезд тронется, – о Боже мой: в Москву!
Где северная вновь восходит миру слава,
Где, корни в хлеб пустив, рабочая держава
Ввысь запрокинула упорную главу.

Где старый сонм богов неумолимо вымер,
Где на Москва-реке, железною рукой
Сплотив на берегу гудящих толп прибой,
Вторым крещением их жжет второй Владимир…

Там буду я – в Москве! Пройду по площадям,
Трепещущим в заре, – в порханьи флагов алых,
И на гробах царей, в соборах обветшалых
Привет прошедшему в последний раз отдам.

Там под замасленной, под бедной синей блузой
Твердеют мускулы флорентского Кремля; –
Исполненная тайн, нещедрая земля
Там не истоптана новорожденной Музой.

8.XI.1920
Одесса

ОДЕССКИЙ КАРАНТИН

Дома уходят вбок, и на просторе пегом,
Где ветер крутизну берет ноябрьским бегом
И о землю звенит, – обрисовался он:
Старинной крепости дерновый полигон...
Солдаты некогда шагали здесь вдоль вала.
Здесь пленная чума в цепях ослабевала.
Потом здесь вешали. Потом над массой стен
Взлетели острия уклончивых антенн,
И кисточки огней с них в темноту срывались,
Портам и кораблям незримым откликались.
Потом – убрали всё. И ныне – пустота,
Простор иззябнувший, – могильная плита...

10.XI.1920

* * *

Когда свеча неспешно угасает,
Торопит мысль и подгоняет стих, –
Кладу перо, гляжу, как воск свисает,
И тихо жду, чтоб огонек затих.

И странная вдруг возникает радость:
Недосказать и утаить хитро
Всё то, о чем поет живая младость,
Чем зыблется послушное перо.

И вижу я, как смерть меня торопит.
Не выскажу, лукаво промолчу.
И пусть меня летейский мрак утопит,
Как топит ночь и стих мой, и свечу.

1920

АКЕЛДАМА

Вторую неделю из тундровых недр
Серпом свистоносным проносится ветр.
Над нищею глиной, не ведавшей хлеба,
Лазоревой льдиной изгорбилось небо.
Ни дома, ни дыма. Пустыня пустынь.
Бесснежная буря и льдяная синь.

И ветер стремится. Из плоской земли
Встают, подымаются к небу кремли,
Безлюдно царят над пустынею дольней, –
И ветер стремится, качнет колокольней,
Просвищет, провоет над ветхой стеной,
И дальше, и дальше в простор ледяной.

И в каменной глине не стерлись, свежи,
Замерзшею кровью полны рубежи,
По рвам, по валам разбежались надгробья
И стали, застыли, глядят исподлобья, –

И ветер стремится, ломая кусты,
Курганы буравит и хлещет кресты.

Ни дома, ни дыма. Пустыня пустынь!
Бесснежная буря и льдяная синь.
Но кто там идет по дороге суровой?
Но чье там чело под иглою терновой?
Но чья изломилась мучительно бровь?
Но чья позамерзла росистая кровь?

И ветер стремится, клубится, ревет
И в гвоздные раны свой ноготь сует,
Коробит хитон, отрывает дыханье
И, нимб угасив в ледяном колыханье,
Несется в простор. И хранит синева
Повисшие в иглах морозных слова:

Я, Сын Человеческий, что я спасу?
Кому благодатную весть понесу?
Пред кем совершу благовестное чудо?
Обратно сребро свое отдал Иуда,
И землю купили пустую. Она –
Землею горшечника наречена.

Ее не коснулся ни заступ, ни плуг.
Над нищею глиной дыхание вьюг.
Над нищею глиной, не ведавшей хлеба,
Пустое, пустое раскинулось небо.
Кладбище для странников, царство бродяг.
И вот прихожу я, измучен и наг.

Я – плотник забытый, я – бедный Христос,
Я душу свою на распятье понес.
Но, Боже мой! Снова меня Ты оставил
И нищим бродягой в пустыню направил.
Теперь не страдать, не спасать, не гореть,
Теперь не молиться, теперь – умереть.

1920

РУЧКЕ

Да, кажется, пора тебя сменить.
Ты преданно мне восемь лет служила,
И пальцы твердые мои тебя
Как золотую отполировали.
А ныне я тебя стыжусь. Да, да...
Ты бегло выводила рифмы «Гонга»,
Над «Раковиной» медлила ты, тяжко
«Поэм Еврейских» возносила плиты.
Сальери орлий клекот, резкий голос
Нечаева, весенний бриз Нимфеи, –
Всё закрепляла ты в округлых знаках, –
И было ведь что закреплять. А ныне...
Другая пусть, неопытная ручка
Дрожит в моей руке окоченелой,
Неверные выводит строки, резко
Зачеркивает и бросает их...
Так старики меняют жен своих,
От них принявших юный трепет силы, –
На девочек неопытных и робких,
Перед которыми безмолвен стыд.

<1920>

* * *

Ожиженный сапфир лег морем душным,
И лютый ветр его как масло месит
Кипящее. Пузырь гигантский вздулся,
Чистейшей твердью землю обволок, –
И задыхаемся под ним от зноя.
Мол бел как мел. Белы купальни. Глина
Обрывов побелела и крошится.
Крошится штукатурка на стенах.
Асфальт запорошен меловой пудрой.
И в нестерпимой этой белизне
У тысяч и у тысяч проходящих,

Ползущих, скорчившихся неподвижно
На площадях, на улицах, в проулках,
В подъездах – леопардовеют лица:
Пришла в страну пятнистая чума.

<1920–1921>

* * *

Нет воздуха, – так резки и ясны
Прямой каменноугольный обрыв,
И пересыпь лимана, и над степью
Бегущая между холмов двойная
Серебряная проволока рельс.
Нет воздуха, – в огромной тишине
И песнь, и парус повисают пусто, –
Ни высказать, ни двинуться нельзя
В неизъяснимой ясности заката...
Нет воздуха, – и что бы ни сжигать:
Овец ли Авеля или зерно
Его убийцы, – ни огня, ни дыма
В пустые не взовьется небеса, –
И Богу будет нечего ответить...

5.I.1921

* * *

О книжный плен! Истаял год, как льдина.
Полнее папки и пестрей тетради, –
И сны гудят суровым сквозняком,
Последний пепел унося в просторы.
Уходит жизнь, но остается книга...
Да, кто, когда, глядя на полки шкафа,
Помыслит, что их урны уставляют,
И, взяв мою и прочитавши имя,
Помыслит, что и я когда-то жил?

30.III.1921

К МОРЮ

На́долго я уезжаю. Долго тебя не увижу,
Но не изменишься ты, и – не ревную тебя.
Как легко покидать неизменного старого друга,
Зная, что он никогда не потускнеет красой.

23.IV.1921

* * *

Гляди: сияя свежей чесучой,
Стал на припеке старичок прелестный
И сводит лупой луч отвесный
На край сигары золотой.

Пойдем за ним. И видишь: домик тот,
Где к жалюзи акация прильнула:
Мой старичок там сорок лет живет
Вдали от городского гула.

Взгляни в окно: ряды массивных книг;
А на столе четыре фолианта,
И вот уж он к ним вдумчиво приник,
И так – всегда: он изучает Канта.

Он изучает Канта сорок лет,
Два божества он в мире славит:
Закон добра, что нашим духом правит,
И звезд величественный свет.

Пусть жизнь идет. Зачем томиться страхом
Того, что нас за гробом ждет,
Когда возможно вознестись над прахом,
Как милый киммерийский звездочет?

<1921>

* * *

К у́тру просты́нь полотно остыло и, сладко озябнув,
Я пробудился тотчас, в чистое глянул окно, –
И, точно колокол синий, мне грянуло свежее небо
Утренний благовест свой – запахи, звуки, цвета…

Воды ночные проплыв, вчера я вышел на берег,
Шел по чужому песку, слышал, как плачет шакал,
Чуял, как пахнут вином и просом незримые горы, –
Первой свободы моей час обволокся тоской.

<1921>

* * *

Да, так: ни женщины нет у меня, ни друга,
Я не люблю вино, постылы мне стихи.
Какая скучная мне свищет в уши вьюга:
Слова привычные, обычные грехи.

А лет немного мне: всего лишь двадцать восемь,
И восемь лет из них украдены войной, –
Весна короткая и сразу, сразу – осень,
И той уж нет: зима снежит над головой.

Но верю я... Да нет, я ни во что не верю,
Хоть раз не стану лгать ни Музе, ни себе:
Я только циркулем дела и песни мерю,
Чтоб до конца стоять в ненужной мне борьбе.

И этот хилый стих, и этот стих унылый
Я не литаврами, я стоном заключу:
Я в страшный век живу, когда одни могилы
Десною глиняной осклабились лучу.

Подумать, – Боже мой! – там, где когда-то Ризнич
Любила Пушкина, где синий пунш горел,

Теперь могильщики в четырехлетней тризне
Чумное миро льют на груды нищих тел.

Так кто же скажет мне, кто мне сказать посмеет,
Что я слабей других, что я увял, отцвел,
Когда у мужика издох последний вол,
Когда вселенная, почуя льды, коснеет?

1.III.1922

* * *

……
Все умерли: Татьяна и Наташа,
Людмила, Анна, Бэла и Рэнэ...
Кого любить мне, если не умею
Их отыскать среди живущих ныне?
О, нет: Прекрасной не ищу я Дамы, –
Не знал бы я, что делать мне с Марией, –
Себе земную я хочу подругу,
Покорную и радостную мне.
Но книги! Зажигательным стеклом
Они сгущают легкое сиянье
В огонь, в клинок, – и кровяным рубцом
Их вечное горит очарованье.
И вот уже я не хочу другой,
Чем та, о ком мне Пушкин спел небрежно,
Чем та, кому бубенчик под дугой
Звенел про жизнь сквозь визги вьюги снежной.
Увы, я не хочу иной, чем та,
Кто пламенела виноградной кровью
На южных бастионах и взята
В тот русский плен нерусскою любовью.
Как быть без той, истаявшей в тоске,
В скучающих шелках Парижа
Грешившей безоглядно – налегке,
Но каявшейся, крестной мукой брызжа?
Но нет их, нет, не для меня они!
Да, все они родились слишком рано,

Все умерли: и Бэла, и Татьяна,
И нищая Рэнэ!
И предо мной
Их слезы, их улыбки, их дыханья
В словах привычно-дорогих встают.
Неизгладимо книг очарованье, –
Но жить они мне больше не дают…
Да будет так. Пусть я не тот, избранный,
Кто близ себя их отыскать умел,
Но и не тот я, кто любви не видел,
Хотя бы и за книгой полуночной…

15.III.1922

* * *

Там, над синей волной Мичигана,
Золотые собрались квириты.
Воздвигается вновь Капитолий,
Созидается наново Рим.
Из огромных индейских раздолий,
Обратившись на два океана,
Подымается меч непокрытый,
Звонким заревом домен багрим.

Всё увидим, что было когда-то.
Промелькнут и цари, и трибуны.
С Кордильер Аннибал круторогий
Прогремит на железном слоне.
Дряхлый Цезарь в пурпуровой тоге
Брызнет кровью на плиты Сената.
Старой власти и роскоши юной
Тот же отблеск сверкнет в вышине.

Но грядущий, гудящий Виргилий –
У кого он преемствует лиру?
У слепых европейских Гомеров,
У альпийских и ладожских саг.

Тонким ладом восточных размеров
Он оденет кровавые были,
Что взнесут покоренному миру
Звездяной атлантический стяг.

О, Европа! Вторая Эллада!
Тишина. Философия. Песни.
Годы движутся стройно и строго
Облаками вечерней зари, –
И алтарь «неизвестного бога»
Тихо теплится в сумраке сада...
О, воскресни, былое, воскресни!
Повторись, проблистай и умри!

21.III.1922

* * *

На реке ледоход; пробегает хрустальный сквозняк;
Отдаленных крестов золотые слезятся снежинки…
О, сиянье и лед, торопливое зарево влаг, –
Ты со мною опять в светоносном сошлось поединке.

Знаю силу твоей переменной летучей красы,
Знаю тонкую боль от бесчисленных дротиков блеска, –
О, схватить бы их, свить в огоньки самоцветной росы,
Нанизать их на нить ожерелья, мониста, подвеска!

Но проходят часы, в облака поникает закат;
Стало сине вокруг, и цукатные темные льдины
Исчезают во мгле, и последние блески дрожат
Где-то там, в высоте, в трепетаньи черты журавлиной.

Я стою, побежден… Рассмеялись, умчались огни.
Тонкой болью поет, зацветает и пенится рана…
Белой корпией слов прикрываю томленья мои,
Поникая меж книг в неизбывные волны тумана.

7.IV.1922

О БРИТВЕ

I

Бритвы нежная сталь
По ремню прозвенела тугому;
Мыла миндальный кусок;
Синяя –
В синем –
Вода;
Воздухом,
Пенным и жарким,
Облиты узкие скулы; –
Всё как всегда.
Но зачем
Медлит у горла клинок?

12.V.1922

II

Синим светом налилось окно.
Выцветает. Проступила комната.
Я недвижен; я один давно;
Все ушли, а вот и день надвинулся.

Отзвенело золото мое,
Укатилось юркими дукатами.
Точно шелковинка – лезвее
Бритвы, что распахнута на столике.

Но внимателен и жаден глаз:
Смотрит, ищет: зацепиться бы,
Переждать бы вывихнутый час,
Переждать – и всё пойдет по-старому.

Шарит, смотрит: пепел у мелка,
Цифры, цифры по сукну зеленому, –

А на блюдце ломтик балыка,
Точно сердоликовая бабочка.

16.V.1922

III

Навзничь лег. А там, в кастрюле неба,
Синий пунш дымится и мерцает.
В жизни надо лишь вина и хлеба,
И еще – чего никто не знает.

Может быть, оно во сне являлось, –
Только сна припомнить не умею;
Может быть, им бритва нагревалась,
Щекоча податливую шею.

Может быть, оно в Крыму случится...
Боже мой, зачем гадать напрасно?
Звездный пунш мерцает и клубится,
И оно так близко и так ясно.

12.V.1922

* * *

В голубой, как воздух, воде лимана
Ракушкой ребристой насыпан берег;
Вдалеке мерцает рыбачий парус, –
Тихое море.

Налегай на весла! Разгоним лодку!
За кормою пенно воронка вьется;
И с шуршаньем хрупким, качнувшись, лодка
Врезалась в берег.

И сидим недвижно. Недвижно солнце.
Золотою шерстью вспухает туча.

Слушай. Слышишь? – выстрел далекий лопнул.
Нет... Не Эллада!

17.V.1922

* * *

С головой под одеяло.
В простыне прохладной быстро
Накопляется тепло.
Достаю из-под подушки
Электрический фонарик, –
Засияла пыльным светом
Полотняная нора.

Здесь уютно, здесь не страшно:
Саван белый отделяет
Полый мрак от глаз моих…
Ах, как жаль, что не придется
Мне *тогда* подумать сладко,
Что земные привиденья
Все исчезли для меня.

28.V.1922

ДАЧА

О летняя тоска, – особый дачный холод
В дощатой комнате, где к потолку приколот

Пучок бессмертника, где узкая кровать
Окну подставила свой бок – отсыревать.

Вдали у станции помятой полусферой
Театра ветхого круглится купол серый;

Там музыка была, там малокровный газ
Из жестяной листвы выпячивал свой глаз,

Там смутно реяла, тревожась и взлетая,
Бумажных бабочек взволнованная стая,

И скрипок хриплый вой, и мотыльки, и свет
Сливались в тягостный, неодолимый бред.

Я всё же там бывал. Но лето отлетело.
Немоте и тоске покорным стало тело.

И у окна сижу. Темно. И в глуби рощ
Гнилушки светятся и редкий краплет дождь.

31.V.1922

* * *

Музы́ка – что? Кишка баранья
Вдоль деревянного жука, –
И где-то в горле содроганья,
Собачья старая тоска...
Кто ею душу нам измерил,
Кто нам сказал, что можем мы,
Когда и сам Орфей не верил
В преодоление тюрьмы?
Скалой дела и думы встали
Пред нами; звуки – не топор,
Не прорубить нам выход в дали,
В звездяный ветряной простор.
Так будь же проклята музыка!
Я – каторжник и не хочу,
Чтобы воскресла Эвридика
Опять стать жертвою мечу!

12.VI.1922

* * *

Я не сплю... Ведь было, было это!
Кремль, река, прозрачный храм,
Мох на грубых плитах парапета,
Летний зной и птичий гам...

Ласточка, ты взором замерцала,
На меня взглянула ты,
И душа к твоим ногам упала
С невесомой высоты.

Было сладко мне, и торопливо,
И взволнованно, едва
Подбирал я в кипени порыва
Неповторные слова...

Ты ушла, сказала мне – «спасибо!»,
Нина, ласточка, – зачем?
Это я был счастлив, счастлив, ибо –
Для тебя не стал ничем...

VI.1922

* * *

Надо мною свет и колыханья;
Чаша неба мыльной пеной пухнет;
И луна, расплюснутый обмылок,
Мне блестит: «пора, дружок, побриться».
Подбородок весь порос щетиной,
Жесткою барсучьей сединою.
Что же, срежу, – молодым не станешь,
Сердце же опасно гладить бритвой.

12.VII.1922

* * *

Сердца мне были точно ванна:
Прохлады взять и пыль омыть, –
И пролетала неустанно
Дней нескончаемая нить.
И к сердцу одному привычен,
В него я восемь лет входил
И, успокоен, безразличен,
Оставил в нем и пыль и пыл.
Теперь широким водоемом
Иное сердце предо мной,
Но горькой радости к истомам
Одной лишь мне идти тропой:
Войдя в него, я вскрою вену,
Ему отдам по капле кровь –
И первую мою измену,
Мою последнюю любовь.

13.VII.1922

* * *

Под китайской шляпой карусели
Ташками гусарскими стеклярус,
Рытый бархат, бисер, позументы;
Лопается ватный барабан.
Мы с женою на лошадок сели;
Нарбут – в лодку под мушиный парус;
И – дома и люди – ленты, ленты –
Закружили кумачовый стан.
Хорошо. Гораздо лучше жизни:
Гул и блеск, – но часто-часто; лица –
Те же, но мелькнули, пролетели;
Та ж колода, – но молчит, – меж ног…
Пылью, потом, кумачом обрызни,
Оглуши, взбарахтай, небылица…

Кто б на черепашьей карусели
Выдержать хотя полжизни смог?

15.VII.1922

ОСЕННИЙ ВЕНОК

*

Нет молодости. Лета нет и юга.
Смешно: я осмотреться не успел,
А три тепла уплыли за предел,
За дымную черту земного круга.

Проходит август в тишине полян,
И – знак того, что недалеко вьюга, –
Искрится в высоте Альдебаран.

*

Искрится в высоте Альдебаран,
Рубин, весь налитой багрянцем страстным.
Зовет взлететь к нему порывом властным.
Но где болид? Ядро? Аэроплан?

Но что болтать? И – вижу сквозь туман –
Ко мне склонилась ты лицом неясным.
Не знаю как, но я тобою пьян.

*

Не знаю как, но я тобою пьян.
Я не хотел такой внезапной чары.
Достаточно меня гнели удары;
Довольно вывихов, довольно ран.

На мне давно запаяна кольчуга.
Но ты... И вновь я болью обуян,
Еще чужая, поздняя подруга.

*

Еще чужая, поздняя подруга,
Осенняя последняя любовь...
О, пережить с тобою, вспомнить вновь
Норд-оста песнь, полынный запах луга.

Но я не тот. Теперь бы я не мог
Тебя позвать под парус, вздутый туго, –
Что дам тебе моей любви в залог?

*

Что дам тебе моей любви в залог?
Чем я означу бледное томленье?
В нем для тебя лишь боль, не упоенье:
Так начертал нам августовский Бог.

Что запаять в твоем кольце упруго?
В крутой металл какой бы камень влег?
Рубин? О нет. Не он символ недуга.

*

Рубин? О нет. Не он символ недуга.
Рубин ты знала в страсти молодой.
В нем дней весенних клокотал прибой,
Как Бахова властительная фуга.

Какой прибой? В порту мы. Жидкий грог
Нам руки жжет, и вот – сквозь дрожь испуга –
Жемчужина, пузырчатый ожог.

*

Жемчужина, пузырчатый ожог:
В нее бескровный дождь осенний пролит,
В ней влажный жар тревожит и неволит:
Боль тех, кто заблудился без дорог.

Ах, если бы: Крым, ураган, фелюга...
Но ты прости: я дал тебе, что мог:
Нет молодости, лета нет и юга.

*

Нет молодости. Лета нет и юга.
Искрится в высоте Альдебаран.
Не знаю как, но я тобою пьян,
Еще чужая, поздняя, подруга.

Что дам тебе моей любви в залог?
Рубин? О нет. Не он символ недуга; –
Жемчужина, пузырчатый ожог.

18.VIII.1922

* * *

В Пантикапее, в склепе Деметры,
Я видел фреску – твои глаза...
Тогда гудели полынные ветры
И канонадой глохла гроза.
И, опьяненный ветром и громом,
В жизнь уходил я, в гуды стихов,
Я захлебнулся льдом и ромом –
Градом восьми безумных годов.
Но где-то – знаю – в омуте мутном
Мерцал потаенно широкий взор –
О древнем, о смутном, о бесприютном,
Ушедшем в сумрак могильных нор.
И проявилась бледная фреска:
Передо мною глаза твои,
Гончарной лазури, карего блеска
В меня проливая струи.
Я снова, снова в склепе Деметры,
Гроза отгремела, ушли года,
Стихи умолкли, утихли ветры,
Простерт я навзничь, лег – навсегда.

Ты надо мною. Гляди, гляди же! –
Здесь так прохладно, здесь тишина. –
И наклоняйся всё ближе, ближе,
Возьми, Деметра, и пей до дна.

25.VIII.1922

* * *

Нет, не явиться тем стихам,
Где бы моя любовь запела:
Пока звенит струною тело –
Не зазвенеть тугим словам.

Нет холода. Но пусть не минет
Ни этот жар, ни этот бред;
Пусть навсегда меня покинет
Тот, кто во мне: другой, поэт.

Одно да будет: колыханье
И мысль, окутанная тьмой,
И – да поит меня чумой
Твое айвовое дыханье!

<25.VIII.1922>

* * *

Жара ли мучает, или тебя люблю, –
Но некий мглистый зной расплавил мысль мою,

И зреют образы, тугими облаками
Вздуваясь и всходя над мутными полями,

И только зарева и радуги вверху.
Как мне их покорить стеклянному стиху,

Такому хрупкому и колкому такому?
Как в нем запечатлеть бестелую истому?

И время тянется... О, если б ветерка!
О, если б тронула меня твоя рука,

Твоя прохладная, как будто неживая,
Нежаркой лаской случайно обвивая!

28.VIII.1922

* * *

Как странно всё… Должно быть, нервы
Ослабли, перенапряглись…
Вчера я был с тобою, с первой,
И мысли бурею неслись.
Я знаю этот лёт, вспененный
Туманом, зноем, синевой,
Мучительный, неутоленный,
Неразделенный… неживой!
Сегодня: всё омыто, сдуто,
И в жестяную тишину
Спадают крупные минуты
И гальками идут ко дну.
И в каждом торопливом круге
Я вижу – то былые сны,
То взмах смычка, то взгляд подруги,
То гробовые пелены.
В однообразной этой смене
«Чего-то нет, чего-то жаль» –
И музыки, и упоений,
Уплывших безвозвратно вдаль.

7.IX.1922

* * *

Солнце ночное, любовь, – твоя взбегает квадрига,
В мой позвоночник сыпнув огненной дробью подков,
Плотной слезою исторгнув отстой обесцененной жизни, –
Что же, как падаешь ты, я не исчезну с тобой?

7.IX.1922

* * *

И опять мы печку топим,
Тихо прячемся в тепло,
И лениво жизнь торопим,
Чтобы время протекло.

И оно проходит, время,
Выпадает мягкий снег,
И седеющее темя
Грустно клонит человек.

Но – в отмену мерных жалоб
В царстве доброго тепла, –
Может быть, нам лучше стало б,
Если б вьюга нас ожгла,

И годов непрочный слепок
На ветру б оледенел?..
Парус только в бурю крепок,
Только в битве пенье стрел!

18.X.1922

* * *

Декабрьский вечер. Золотистый пух
Во мглу углов слетает со свечи.
Безмолвие. И он глядит на мух,
Что век свой длят на зеркале печи.

Служанка поленилась истопить, –
И мухи неподвижны, как и он;
Доколе ждать?.. На тоненькую нить
Нанизывается полночный звон:

Двенадцать блях… Был мировым судьей,
Расчеркивался тонко, ездил в клуб, –
Но вот: шагреневых тяжелых губ
Края одеты синею плевой…

Где зеркало?.. – У зеркала печи
Он коротает ночь – один, один…
Пух золотистый реет у свечи
И золотится в пузырьке спермин.

3.XII.1922

* * *

Над моей кроватью сонной
После долгих-долгих лет
Снова сталью вороненой
Голубеет пистолет.

Помню, как снега белели,
И в морозной тишине
Ожидание дуэли
Обжигало сердце мне.

Помню сломанные ветки
На барьере снеговом
И пружинный зуб гашетки
Под уверенным перстом…

Хорошо на грань поставить
Тридцать лет и тридцать книг,
Хорошо всю жизнь заплавить,
Как в кристалл, в гремучий миг…

Может быть, и повторится
Сон давно ушедших лет:
Тонко метясь, разрядится
Бирюзовый пистолет.

Пуншевою пеной взмылит
Злоба радостная рот,
Если, раненный навылет,
Враг бескостно упадет.

Если даже сам я буду
Этот враг, – то и тогда
Всю мою тоску избуду,
Побеждая навсегда!

21.XII.1922

ПИСЬМО

Наварен тягучий сургуч
Запонкой золотою;
Скрипичного имени ключ
В нем легкою лег чертою.
По просветам ровных строк
Музыку чую в конверте.
Но – заревой ли рожок
Или валторны смерти?
Падает каждый напев,
Сердцу дает подножку…
Пальцы, захолодев,
Надламывают лепешку.

1922

* * *

Прозрачная резервуаров медь.
Хрустальных чечевиц водоворот.
И накаленный колпачок звенеть
Над синим языком не устает.

И клюквовой пластиною стекло
Переградило световой полет,
И красное сиянье потекло
Тугой струею в черный небосвод.

Планетой раскаленною маяк
В междупланетной пустоте повис, –
И рухнет, ринется сейчас во мрак,
С белокалильным звоном рухнет вниз!

<1922>

СТЕПНАЯ СТАНЦИЯ

Степная станция. За горизонт бегут
Две проволоки рельс. Из бледного простора
Свисает вишенкой фонарик семафора:
Забыли потушить, – да и напрасный труд.
Мосты сворочены. Составы не пройдут.
Промчалась во весь дух здесь гайдамаков свора,
И высвист шомпола и лязганье затвора
Сменили стук колес и паровозов гуд.
И – ни души кругом. Раздавленные стекла.
Рассыпан куль муки, мука в крови намокла;
А вон и труп, – гляди: расстрелянный матрос,
Стоит, на лбу звезда нарезана, и в ранку
Вбит поларшинный гвоздь. И одичалый пес
Пугливо теребит кровавую портянку.

<1923>

ОСЕННЯЯ МИНУТКА

Вон – девочка пучок пурпурных листьев
Приладила к виску и убегает
По ветряной, совсем пустой аллее
Туда, где синим глазом стынет пруд.
Вон – инвалид играет на кларнете
(От клапанов, должно быть, стынут пальцы),
И тонкий вопль в совсем пустой аллее
С ветвей сдувает алые листы.

И я кладу бедняге-музыканту
В его картуз хрустящую бумажку,
И девочке, склонившейся у пруда,
Коралловый протягиваю лист, –
Но, звонкая, она глядит сердито,
Надменную выпячивает губку
И говорит врастяжку, по-московски:
«Зачем? Их разве мало у меня?»

23.IX.1923

* * *

Над моим одиноким столом
Истлевают ночные часы...
Всё, что было, что грело в былом,
Я спокойно кладу на весы.

И дрожит роковая игла,
Напряглось, как струна, острие.
Неужели бы гиря смогла
Перевесить всё счастье мое?

Но бессмертен сияющий груз –
Ком из золота, меда и смол,
И под мерное пение муз
Чашка жизни ложится на стол...

Ну, так знай же, так знай же, так знай,
Что чем медленней тлеют часы,
Тем верней на мучительный рай
Указуют стрелою весы.

2.X.1923

* * *

Когда в светелке ледяной
Печь загудит и зарумянится,
Тогда увижусь я с тобой,
Моя испуганная странница.
И будет к нам весна лететь
В окно туманистою пряжею,
И часовая скажет медь,
Что время стало Третьей стражею.
Стоит на страже часовой,
Застыл, как часовым приказано…
И в льдяном миге мы с тобой,
И сердце с сердцем туго связаны…
И время станет навсегда,
В светелке будет печь румяниться…
Вот будет что тогда, когда
Придешь ко мне, девчонка-странница.

1923

* * *

Окно одно и смотрит в коридор;
Обои цвета кирпича и ржави,
И в комнате прохлада, темнота
И восковая тишина паркетов.
А за окном, за галереей ломкой, –
Сияющий в июльском полдне двор:
Мерцают стены, черепица рдеет,
А из-за крыши выдвинулся купол,
И на кресте, видавшем генуэзцев,

Уснули голуби, – их грудь слегка
Под смуглым блеском меди розовеет...
Окно одно;
К нему прильнул мой тростниковый столик,
Но беленькая Женя, в белой рамке,
Отворотилась от сияний полдня
И смотрит на меня... Мне двадцать лет.
Мне двадцать лет, и я люблю работать,
Я рад, когда могу сюда вернуться,
К моим листкам, исписанным стихами,
К моим тетрадям, где пытаюсь я
Слить воедино Штирнера и Канта,
К моим английским перьям и печаткам,
Карандашам, что иглы заостренным, –
Все в первоученическом порядке,
И я – поэт, и я – пишу, люблю...
Пойду гулять на мол иль на бульвар,
Иль в шахматы играть, иль на свиданье,
И, точно тайна сладкая, дрожит
Воспоминанье о тетрадях ждущих,
О Штирнере, о перьях и печатках...
(Так институтка помнит и хранит
Свой первый поцелуй гардемарину.)

Теперь мне тридцать. Всё ушло, ушло.
Нет Жени. Кант забыт. Мой стол завален
Газетами, засыпан пеплом. Я
К нему сажусь на полчаса в неделю.
Стихи – искусней, и статьи – умней,
И платят много, но сама работа
Столь постарела, опостыла так,
Что я готов читать Шерлока Холмса,
Чтобы о ней еще хоть час не думать...
Таков закон. И через десять лет
Я, где-нибудь в больнице дотлевая,
Припомню вдруг, с сегодняшней тоскою,
С сегодняшнею жалостью к себе,
Не тот июльский полдень, не окно,
Глядящее на генуэзский купол,

А нынешнюю комнату мою,
И пыльный стол, и желтые газеты
И прохриплю: Как было хорошо!

28.I.1924

* * *

В детстве у меня была картинка,
Точно пламя спирта голубая:
Синевой размытая каюта,
И раскрытый в синь иллюминатор,

И спокойный человек в коротком
Голубом камзоле, чуть откинув
Пудреную голову, подставил
Блеску утра вырезные губы...

Я его во сне видал нередко,
Я – и так бывало – ночью плакал,
Что не быть мне в голубом камзоле,
Что вот так не изогнутся губы.

А теперь, теперь я тихо знаю,
Что и он, плывя от бурь Конвента
К ясным берегам Луизианы,
С болью думал обо мне, грядущем.

28.VII.1924

* * *

Всё, что надо есть: и лампа,
И бумага, и тишина, –
Что же гипсовая немóта
Заливает мои слова?

Да ведь если они и мёртвы,
Если надобен слепок с них,

Неужели скульптор не понял,
Что заливает он пустоту?

Что когда он разымет глыбку,
То неровный крохкий провал
Зазияет, как могилка
В слишком встряхнутом кирпиче?

И тогда – пусть кличут звоны,
Пусть христосуются вокруг, –
Самый старый вздохнет и скажет:
А кому-то уже пора!

1.X.1924

* * *

Реки широкая дуга
Размыла травные луга;
Просеивает поздний луч
Пыль золотистую меж туч;
Сажени дров, прильнув к реке, –
Как пряник в сахарной муке,
И сами воды возле нас –
Как темный солодовый квас.

А там, где между сизых лоз
Лощеный разостлался плес,
Стеклянной церковью из вод
Встает, сверкая, пароход;
Сквозь травный дух в закатный час
Идет зеркальный храм на нас,
И Божьей славой золотой
Над ним клубится дым густой...

И мыслям медленным пора:
Уже не пряник – просфора,
Средь золотеющих полей
Уже не гладь воды – елей;

И каждый в этот миг поймет,
Как прав и праведен был тот,
Кто над рекою, под лучом,
Нам строил храмы кораблем!

22.X.1924

* * *

Зачем приносишь на твердых ботфортах
Песок голубой с далеких пляжей,
На пробковом шлеме зачем мерцает,
Как будто ветром полна, кисея?
В углу моем темном жучок стрекочет
В старинных книгах, в тугих переплетах,
Мне здесь уютно, здесь я пригрелся,
И ровною ниткой свивается жизнь.

Ты помнишь: смеющийся чревовещатель,
Откидывал крышку с пустой шкатулки,
И кто-то кричал, бормотал оттуда:
«Оставь, закрой же, я здесь привык».

1924

ОТРЫВОК

В окно сиял нам полдень. Сквозь решетки
Мы видели, как в полудневном сне
Покачивались поплавками лодки,
Отсвечивая в голубой волне,
Мы слышали, как ржавый хруст лебедки
В последний раз пролился в тишине, –
А на столе фигуры карт пестрели,
И мы на них рассеянно смотрели.

Нас было трое. Третий был моряк.
Носил он кортик, шрам на лбу и челку;

В его глазах темнел веселый мрак:
Он в баккара не игрывал без толку,
Он обыграл нас и тянул коньяк,
Как то и следует морскому волку; –
Но жуть брала: за мысом крепостным
Уже бледнел, бледнел и таял дым.

Да, корабли ушли невозвратимо
Вдаль от земли, в сияние, в простор,
И только лиловатый локон дыма
Указывал дорогу на Босфор,
А здесь, в солончаках степного Крыма,
Средь зимних роз на южных склонах гор
Считающая ненависть бродила
Под кожаною курткой Азраила…

Моряк зевнул лениво, из ножон
Не торопясь двуострый кортик вынул,
Подрезал вдруг один, другой погон
И с плеч сорвал, и резко в угол кинул,
И не прощаясь быстро вышел вон.
Я вымолвил: «был человек и сгинул», –
А друг в ответ: «такой не пропадет:
И деньгам он, и жизни знает счет»…
……

<1924>

ФАНАГОРИЙСКИЕ НОЧИ

I

Я ни углов, ни потолка не вижу:
Их смыла темнота; кто говорил,
Что свет... не знаю, может быть, растенья
Растут в свету; дома растут во тьме.
Как череп раздуваются дома
От темени и от полночной думы
И раскрываются: нет теменных,

Височных нету стен: размыты мраком.
Я ни углов, ни потолка не вижу.
Лишь зеркало. Железной черноты,
Такой железной черноты не видел
Я у зеркал... Постой: об этом после.
Здесь нет окон. Пропилены в стене
Шестиугольные прозоры. В них
Сырые шумы застревают вяло:
Вдали турецкий замок, точно ковш,
Прибоя зачерпнул и томным шумом
Нещедро оделяет. Я сижу
Посередине комнаты на стуле;
Спина и спинка не в ладу, и локти
Мне не́ обо что опереть. Постой:
Я говорил... да: шумы – застревают,
А в комнате набрякла тишина,
И от гербария отпавший лист,
Как лист капустный на исподе хлеба,
Оттиснул звук на слуховой плеве.
Все жилки шороха я помню. Лист...
Здесь хиромантия неприложима.
Хотя ведь кости черепные тоже
Покрыты густо жилками внутри, –
Но как ты ни закатывай глаза,
Увидишь не судьбу, а пятна света
И ситцевую бездну... Это что?
У стула алым зайчиком черкнуло...
А-а: на спасательном посту ракета;
Вот лопнула. Звук помню. Жилок нет,
И хиромантия неприложима...
Как я крещен? Как имя мне, когда
Я каждый день день дьявола справляю?
Не вижу ни углов, ни потолка.
Лишь зеркало... Но стой: об этом после.

II

«Гаснут дальней Альпухарры
Золотистые края.

На призывный звон гитары
Выйди, милая моя»...
Старый
Я!..

III
Баллада о стеклодуве

В чане взмылено стекло,
Голубое, точно Сириус;
Он нагнулся и стекло
Чуть пригубил камышинкою.
Легкоплавкое стекло
Извлеклось текучей пленочкой;
Стеклодув подул: стекло
Округлилось хрупкой бусынкой.
Леденцовое стекло
Стало целой стаей бусынок,
И нанижется стекло
Голубым монистом девушки...
Бедный-бедный стеклодув!
Сердце тоже ведь расплавлено;
Отчего бы, стеклодув,
Не раздуть и сердце в бусынку?
И вдвигает стеклодув
В сердце острую соломинку.
Осторожно, стеклодув!
Сердце шаром раздувается.
Шар всё тоньше, стеклодув,
Стенки стали пленкой радужной.
Чем ты дышишь, стеклодув?
Из груди он воздух вытеснил.
Бедный-бедный стеклодув:
Нет мониста этой бусынке!
И до гроба стеклодув
Шаром сердца задыхается!

IV

Каждый день я справляю день дьявола.
Увидала вчера попадья вола.
Почему бы мне рыжую рифму не бросить
В благородную платиновую проседь?

<1924>

ПЕЙЗАЖ

Какая скудная и косная земля!
Как он неповоротлив – камень!
А в море лунная толчется толчея –
Чешуйчатый и легкий пламень.

Он надвигается на черный Карадаг,
Играючи, стыдясь и тая.
О несказанная краса и нежность влаг,
Олеография святая!..

Луна ушла за мыс, и резкая гора
Вдруг стала выше, в звезды прянув, –
И разверзается уже за ней игра
Голубодышащих вулканов.

<1924>

БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
Из севастопольских стихотворений

Вхожу. Слетает чаек стая
С бортов и рей. Помет сухой,
Как бы известкой устилая,
Залег на палубе стальной…
Заброшенный и бесполезный,
Подъемля ржавой брони щит,
Корабль, как будто гроб железный,
На мертвом якоре стоит.

Но было: Красного Голландца
Видали в синеве морей;
Тогда Одесса и Констанца
Его дрожали батарей;
Тогда на нем под флагом алым
Мятеж военный прогремел
И седовласым адмиралам
Иной предвозвестил удел!
Теперь на нем не видно флага,
Дым не стремится в жерла труб,
В глуби стального саркофага
Лежит машин разъятый труп;
Изменническою рукою
Орудий вырваны замки,[1]
И обречен навек покою
Носитель гнева и тоски!
Но спи, корабль! Тройное имя[2]
Твое не сгинет без следа:
Гудят над мачтами твоими
Тобой начатые года;
И там, где строгий Севастополь
Над гладью голубой склонен,
Приосенен морской акрополь
Багрянцами твоих знамен.

<1924>

ДЕВУШКА ИЗ СОВПАРТШКОЛЫ

Предать любимого? Великую предать?..
Под светленькими волосами
Несет высокий лоб такой тоски печать,
Такая мука за глазами…

Он – белый офицер. Не примирился он:
Он заговоры затевает;

[1] Во время германской оккупации. *(Примеч. автора.)*
[2] «Потемкин», «Пантелеймон» и «Борец за свободу». *(Примеч. автора.)*

Он ловок, зорок, смел, он дьявольски умен,
И сыщиками он играет.

Послали девушку. Быть может, хоть она,
Его измаяв лаской пьяной,
Случайно выведать сумеет имена
Бойцов им созданного стана.

Послали девушку… Ей страшно, сладко ей
Себя блудницей мнить, Далилой,
Сплетая вкруг врага незримый строй сетей,
Овладевая злою силой.

Да, Революция… Но дальше дни – как сон.
О, сети боли нестерпимой!
Всё надломилося, всё рухнуло: ведь он
Остался враг, но стал – любимый!

Предать любимого? Великую предать?
Какими их весами взвесить?
А *там* ей говорят: что, долго ожидать? –
– Недолго, нет; еще… дней десять.

<1924>

ЦУСИМА

Под глазами – карие круги;
Почечные липкие шаги;
Два орла на золотых погонах.
Черными орлами заклеймен,
С влажными руками – это он,
Адмирал эскадры обреченных!

Бой морской – не сухопутный бой:
Вымпел адмирала – головной;
И огонь на нем сосредоточен;
А всего труднее умирать
Тем, кто по ночам привык стонать
От грызущих тело червоточин.

А эскадра, – знаете ли вы? –
От хвоста в ней и до головы
Восемь миль по счету лучших лагов.
Как держать железные мяса,
Если костяком в них – полоса
Пестрых трепыхающихся флагов.

6.II.1925

* * *

Вся тонкая и заостренная,
Мерцая персиковым телом,
Волной и солнцем озаренная,
Ты станешь там, на камне белом.

Тебя, воздушную и узкую,
Увижу я – весь мир мне застишь,
Когда плеснут тоской нерусскою
Глаза, распахнутые настежь,

Когда подкатят волны жадные,
Сперва одна, потом другая,
И брызнут, – радугой прохладною
На золотой лобок сбегая.

1925
Коктебель

* * *

Опять, как в давние года,
Висит в моей лачуге холод,
Но не случится никогда,
Чтоб я почувствовал: я молод.
Но не случится никогда
Такая ночь, какие были,
Когда лирические были
Меня пьянили навсегда!

Не повториться этим дымным
И лихорадочным словам,
Что закипали медным гимном,
Что заслоняли свет глазам,
Что позволяли утром резким
Сонетной связью ощутить
По зыблющимся занавескам
Продернутую солнцем нить!..
Себя не жаль. Но как обидно,
Что той, которую люблю,
Не будет сладостно и стыдно
Почуять молодость мою!

17.X.1925

* * *

Мой дом! Он двенадцатигранный,
Он легким пасхальным яйцом
Стоит на легком треножнике.
Внутри две граненых кабинки:
Нижняя – коробкой для торта,
Верхняя – смыкается в купол,
Чтобы точка была, откуда –
Висеть граненому фонарю.
Фонарь – глазастая проступь
Ультрамариновых овалов
Сквозь молочную муть.
Дом – весь из звонкой фанеры,
Отполированной как внутренность раковины;
Столы и сиденья – откидные;
Узкие лежачие окна
Прорезаны в каждой грани;
Дверь опускная, и сквозь нее
Сама опрокидывается лесенка.
Всюду, в каждой панели
Врезаны ящички и шкафчики.
Три десятка любимых книг

Расставлены на двух полочках,
И, чтобы не было скучно,
В письменный стол вделано зеркало…
Летние ливни будут сеять
Крупный жемчуг сквозь решето грома;
Раннее солнце будет раскидывать
Сквозь окна по граням стрекозьи крылья;
А ночью и в полную тишину
Я буду думать о ядре Жюль-Верна,
В котором так легко было двигаться…
……
А где же уборная? – спросишь ты.
Черт побери! Я и забыл про уборную.

1925

* * *

Теплая плоть расцветает
Темною влажною розой;
Прячется нежная роза
Под магнетический мех;
Если коснешься рукою
Этого лисьего шелка, –
Кажется, будто меж пальцев
Колкая искра сверкнет.

И нагибаешься к меху,
И в лепестках увлажненных
Судорожными губами
Ищешь таинственный мед.
Вздрогнет раскрытая роза,
И – ненасытное жало –
В пахнущую сердцевину
Вдруг проникает язык.

<1925>

* * *

Я потерял и позабыл канон
Сонетного и щегольского лада:
Теперь милей широкая баллада –
Романтика и полурифмы звон.

Но протекла звездами в небосклон
Из горних сфер нездешняя прохлада –
И юных лет сонетная услада
Спешит замкнуть страдальческий мой стон!

Чтобы камзол был на́ диво разглажен,
Крахмальный бант – неукротимо важен,
Как у того, кто едет на дуэль.

Чтобы во всем отобразилась мера:
Да не смутит последний, смертный хмель
Надменную готовность кавалера!

22.I.1926

* * *

В прокуренной комнате лампа свисает медузой,
И шелковый колокол краем тугим шевелит...
Не правда ли, странное дело затеяно музой:
Воздушный утопленник новую песню творит.
В прокуренной комнате лампа свисает медузой
И вдруг надвигается… иль помутилось в глазах?
Вне призрачной комнаты миру ты будешь обузой!
Беседуй же с музою – в горьких табачных слезах.

22.I.1926

ОДА К ПЕРСИИ

Страна – в преданьях наших дедов
Глухая, страшная страна:
Не раз оттуда шла война,
Там был заколот Грибоедов,
Туда Печорин уезжал,
Влача, как плащ гарольдов, скуку,
Кладя рассеянную руку
На хорасанский свой кинжал!

Но год за годом из тумана,
Как белый призрак Демавенд,
Всходили марева легенд,
Взлетали песни Персистана.
Их голос влился в русский стих,
Виясь как письмена араба,
И звук «Рустема и Зораба»
Родным стал меж стихов родных!

Следя осенних листьев опаль,
Вдыхая свежесть снежных риз, –
Мечтая о тебе, Гафиз,
Персеполю стал брат Петрополь!
В просторах северных равнин,
Под неумолчный вой метели,
Слагал весенние газели,
Ширазом захмелев, Кузмин.

И правнукам былого скифа,
В бою с которым Дарий пал,
Валерий Брюсов поверял
Закон изысканный редифа!..
И что б ни разделяло нас, –
Язык ли, вера, дали, зимы, –
Союзы лир нерасторжимы,
Как стих Гафиза и Шираз!

<2–6.III.1926>

* * *

Казарскому – потомству в пример.

На пыльной и пустой аллее
Среди давно сухих маслин
Стоит, под зноем цепенея,
Спокойный памятник один.

Какая скудная суровость
В его обветренных камнях,
Какая всё живая новость
В скупых, всего лишь в трех словах!

Да, только век, знакомый с бурей,
И с Пушкиным знакомый век
Мог так тебе воздать, «Меркурий»,
За твой разительный набег.

Да, жизнь тех лет была богата
Боями, звоном лир и чаш,
Коль смог турецких два фрегата
Взять твой безумный абордаж.

И вот – чугунная галера
И ликторские топоры
Стоят на камне – для примера
Потомству славной той поры…

Сей памятник я вновь увидел,
Всё тем же трепетом томим, –
Но кто, завистливый, обидел,
Кто надругался так над ним?

Кто, к славе прадедов ревнуя
И ставя стены меж веков,
Посмел поднять ладонь слепую
И стер художество трех слов?!

Но – что ж! Пускай безмолвна слава,
Пусть подвиг сказочный забыт, –
Шумит лазурная оправа
Вокруг величественных плит,

И тот, кто эти шумы слышит,
Кто этим камнем опьянен, –
Их славу в стих суровый впишет
И передаст потомству он.

Художество не умирает, –
И гордость оскорбленных лет
И создает, и воскрешает
Благоговеющий поэт!

4.VII.1926
Севастополь

* * *

Когда приезжаю в седой Севастополь,
Седой от маслин, от ветров и камней,
Я плачу, завидя чугунный акрополь
На ветреном рейде среди батарей.

Я знаю, что здесь по стопам Гумилева
Морскою походкой пойдет мой катрен, –
Но что же мне делать, коль снова и снова
Я слышу серебряный голос сирен?

Но что же мне делать, коль снова прожектор
Взлетает к созвездьям и падает вмиг, –
И золотом ляжет на траурный нектар
Лучом из полуночи вырванный бриг?

Но что же мне делать, о милая муза,
Коль ночи над морем проходят без сна
И свежий, как молодость, запах арбуза
Мне снова бросает ночная волна?

Ты пела Бодлеру и Тютчеву тоже
О запахах, звуках и красках, – они
Всего нам приветней, всего нам дороже,
Когда мы лирически празднуем дни.

Позволь же у моря, где плавали деды,
Мне, бедному внуку, ощупать рукой
Морские тревоги, морские победы,
Морские глубины и ветер морской!

Я знаю прекрасно, что тесны каюты,
Что кубрики душны, что пища плоха, –
Но здесь, в этой жизни бывали минуты,
Достойные статуи или стиха.

Я бедный профессор, но, честное слово,
Я сам переплыл Гибралтар и Ламанш:
Мне книги дала госпожа Исакова,
Прекраснейшая изо всех капитанш.

<VII.1926>

* * *

Я распилил янтарную сосну,
Я сколотил чудеснейшие полки,
По ним расставил маленькие книги,
Которые когда-то написал!
Теперь пора им отдохнуть немного,
Теперь пора вдохнуть им запах смольный:
Когда, быть может, вновь достану их, –
По-новому мне их слова повеют...
В смолистую пила впивалась плоть,
Входили гвозди мягко и упруго,
Ладонь горела, распахнулся ворот,
И седина в сосновой теплоте
Незримо таяла и исчезала...
Теперь я знаю, для чего господь
Сосновые сколачивает ложа

Своим любимым: чтобы, отдохнув,
Они могли с помолодевшим с ним
По-новому беседовать и новым
Сосновым духом обласкать его!

12.X.1926

* * *

Бредя с тобой по кручам
Под вихрем жизни жгучим,
Мечтой живем одной:
«Там» поднялся привольно
Прозрачный град Стекольно…
Пусть мучат жажда, зной
И смерть подстерегает, –
Всё ж сердце твердо знает:
Когда мираж истает
Развалинами пагод
Средь легкого песка,
Навеки рядом лягут
Два белых костяка.

1926

ИЗГНАНИЕ

Здесь медлит осень. Здесь еще тепло.
И странно видеть зимние созвездья
Сквозь музыку с далекого бульвара,
Сквозь теплый вкус и нежность изабеллы...
К полуночи в ореховом саду
Прощаюсь я с моей дневной работой,
Бумажную я забываю книгу
И, сев на камень старого фонтана,
Вникаю в перепутанные знаки
Папирусов и папирос мечты...
И добрая татарская овчарка

Ко мне подходит и сует мне лапу,
И мы, обнявшись, вспоминаем горы,
Обоим нам запретные навек.

X.1927
Симферополь

* * *

Сегодня дождь бормочет и лукавит,
Отсчитывает что-то на листве,
Постукивает ноготком в окошко, –
И мысли черные стекают в душу
Из черного и влажного окна...
И, повинуясь доброму совету,
Свечу зажег я, в зубы вставил трубку
И перечел «Женитьбу Фигаро».
Отменная комедия, – нет слов!..

X.1927
Симферополь

* * *

Доверчив я. Обманут десять раз, –
В одиннадцатый каждому поверю:
Мне светел блеск любых свинцовых глаз,
И будущего – прошлым я не мерю.

Меня берет лукавящий рассказ
Про нищету, и подвиг, и потерю.
Я пьянице, насильнику и зверю
Мысль и обед готов отдать подчас.

Но трое клеймено неизгладимо,
Но трем – преображающего грима
Еще изобрести не удалось.

Сквозь гордый жест, сквозь благородство взора
Я узнаю их наповал, насквозь:
Шпиона, проститутку и актера!

12.XII.1927
Симферополь

ЛЕНА

Холодные реки рогами оленя
Ветвятся на карте берложьей страны…
О быстрой Олёкме, о бешеной Лене
Я вдруг вспоминаю средь крымской весны.

Я помню тайгу и таежные пади.
Двенадцатый год. Заснежённый апрель.
Я жил у Байкала, клонился в тетради
И слушал последнюю злую метель.

И в бормоты вьюги, – как бубен шамана,
Что морок и бред проливает в тайгу, –
Негромкий раскат долетел от Алдана,
Где золото кровью легло на снегу.

Шаманьими слухами полнились дали,
И слово тропою медвежьей брело:
– Стреляли! Стреляли! Стреляли! Стреляли! –
И павших – росло как сугробы число!..

Шестнадцать апрелей с тех пор пролетело,
Но, что б я ни делал, – в назначенный срок
Таежною злобой пружинится тело,
И пальцы как будто ласкают курок.

Мы видели много: кровавые реки.
Но Лена – сквозь гром революций – звенит:
Мы первой любовью пьянеем навеки,
Но первая ненависть больше пьянит!

Я знаю тайгу и таежные пади:
Сохатую глушь оледелой земли,
Пушные снега, и туманные пряди,
И рысье мяуканье ночью вдали,

Стволов искривленность, кустарников хилость,
И ветер, срезающий птиц налету, –
Всю эту оторванность, всю эту стылость,
Безвыходность далей и рек пустоту.

Но в падях промерзлых, в их вечной дремоте
Осколками солнца спустились на дно
Комки драгоценной мерцающей плоти:
То золото темное погребено!

Оно превосходно на дамах раздетых,
Оно ослепительно на орденах,
Оно несравненно в орлёных монетах
С их властью и музыкою в кошельках!

И в лаковом вылощенном Петербурге,
Прикинув на счетах, решают дельцы
Добыть его сквозь леденящие пурги,
Разрыв мерзлоту и растрескав гольцы.

Сгоняются толпами зычные люди
Из вольных, бездольных и беглых людей:
Их паспорт – здоровые спины и груди,
Присяга – погибнуть за стопку рублей.

Работа трудна: неохотно откосы
Добро отдают, неприветна тайга,
Ползут по гадючьим тропам спиртоносы,
Вспухает зловонной десною цинга,

Острогами мерзлыми преют бараки,
Без ног оставляет болотный паек,
И скрашивают озверелые драки
Шестнадцать часов – ежедневный «урок».

Так издавна было: «Их мало ль, злодеев?
Подохнет – другого нетрудно сыскать.
На Каре щедрей погулял Разгильдеев;
Чего же иного на Чаре желать?»

Но в этом году небывалое стало:
На прииске черная встала толпа:
«Вам больше не взять ни крупицы металла,
Пока нам не выдана будет крупа,

Пока нам не будет построена баня,
Устроена школа для наших ребят…» –
Неслыханным словом хозяина раня,
Рабы беспросветные – говорят!

«Не взять ли крупицы?! Да что это с ними?
Пойти на уступки – не будет конца!» –
Жандармский алхимик (будь проклято имя!)
Решил сделать золото – из свинца.

И в море бород, – будто бубен шамана,
Что морок и бред простирает в тайгу, –
Свинцово дохнули винтовки Бердана,
И золото кровью легло на снегу.

Но дали таежные звук передали,
Тревожно повсюду отдался разряд;
С ознобом в спине в Петербурге считали
Кровавые флаги в гряде баррикад.

И поняли все, что охватом мятежным
Не меньше, чем денежным, смята страна,
Что воля рабочих на севере снежном,
На юге каленом и всюду – одна!

Кровавая спайка твердела с годами.
Пять лет – и насмарку! На солнце из тьмы!
«Так было, так будет», – рычало над нами.
«Не будет вовеки!» – ответили мы…

О молодость бури! Склоняем колени
Пред памятью павших, зажегших пожар:
Мы помним, что грянул на бешеной Лене
Второй революции первый удар!

9–10.IV.1928

* * *

Над круглыми очками
Проборожденный лоб.
Булавными зрачками
В пространстве создан гроб.

Он точно призма точен,
Он волею точен;
В нем будет заколочен,
Кто мною обречен.

Кинжал, раствор циана,
Толченое стекло, –
Но поздно или рано
Смерть охладит чело.

Ни лаской, ни доносом
Умилостивить смерть:
Худым и ломким носом
Он выставится в твердь.

И потом разложенья
Он сменит липкий пот,
Что в спазме наслажденья
Всегда по нем течет.

Но прежде чем удавит
Последний стон его, –
Проклятьем он оправит
Былое торжество,

И, пеною белея
У смрадных синих губ,
Поймет он, что моею
Рукою стал он – труп.

И, смертному бессилью
Сдаваясь, точно блядь,
Уйдет навеки – с гнилью
Отчаянье жевать.

А я – к могиле стану
И плюну в клейкий рот.
За то, что… Ах! циану
Достать бы в этот год!

2.VI.1928

* * *

Как я ни предан злому дню,
Как ни зарыт в дела, в бумаги, –
Я никогда не изменю
Моей лирической присяге!

Пусть проступает седина
И горкнет кровь немолодая,
Пусть натруженная спина
Звенит, ознобом холодая;

Пусть тяжелей идет сонет
И стекленеет станс склерозом, –
Я предан бредам прежних лет:
Всё тем же звездам, тем же розам!

Пусть сиротливей мысль снует,
Ища не знанья, а ночлега, –
По-старому глядит с высот
Моя возлюбленная Вега.

Хотя везде и смерть, и стыд,
И кровь доныне не иссякла,
К созвездью Лиры мир летит,
А не к созвездию Геракла.

Так пусть гремят в меня года, –
Она горит за будним дымом,
Моя любимая звезда
В моем созвездии любимом!

6.VII.1928

ПОЭТУ

Не верь – и не люби стихов:
Они как манифест обманут;
Они до черных потрохов
Наскучат, сморщатся и свянут.

Возможно пережить всегда
Любой лирический отрывок
В кафе – над сельтерской со льда,
Над сладкой пеной сбитых сливок.

А строить строфы – нет нужды:
Всего милее в жизни отдых,
Зачем же плугом борозды
Вести в элегиях и одах?

Язык придуман мужиком,
Тысячелетним полит потом, –
На самолете на таком
Мечте ли буйствовать полетом?

Положим, – разозлить врага,
Сманить бабенку в пух постели,
Тогда – пожалуй: цель блага,
Я уступаю этой цели.

Но если очень уж свербит,
Зудит, гудит, поет и ноет, –
Прими еще пяток обид
И сядь к столу: стих успокоит.

Но после – встань, и прочь швырни,
И плюнь в концовку и в запевку, –
Как ты плюешь на простыни,
Прикрывшие тверскую девку!

13.VIII.1928

СЕРАФИМ

Смерчами звездными кропим,
С клеймом небесного пожара,
Грозою смятый серафим, –
Он пал на грудь земного шара;
Шесть крыл его за парой пара
Смыкали рифмой боль обид,
И зноем песенного дара
Не остывал аэролит.

И, звездной памятью храним,
Сквозь сумрак плоти, муть кошмара,
Небесный Иерусалим
Ему светился как тиара.
Взлететь! Но давит Божья кара,
И песня мучит – не крылит,
И страх томит, чтоб ржой нагара
Не остывал аэролит.

И он срывался в гам и дым
Филадельфийского бульвара,
И Страшного Суда над ним
Звучала медная фанфара,
И ночью, в звездных сферах бара,
Лазурным спиртом весь облит,

Гудя и разгораясь яро,
Не остывал аэролит.

Всё минуло... Но слиток жара,
Что встал среди могильных плит,
Клянется нам: в душе Эдгара
Не остывал аэролит.

1.IX.1928

* * *

Я нарежу бумаги пятьсот лоскутков
И на каждом куске я тебя нарисую –
Вот такую, у моря, средь синих песков,
Загорелую, худенькую, босую.

Ах, какая ты глупая! Ты посмотри:
Карандаш не скользнул (так не может случиться),
Эти линии беглые – контур зари,
Это в тень голубую укрылась ключица.

Да, конечно! Еще бы! Вам нужен Бердслей,
Чтоб амуры вам пудрили нежность пуховкой,
Чтоб, из кружев себя обнаружив полней,
Вы по сердцу печатали счастье подковкой…

1928
Коктебель

* * *

Червонная искра по серому пеплу строчит:
Прости и пойми, что люблю я как прежде. Георгий.

<1928>

* * *

Под самой крышей в седьмом этаже
Широким квадратом окно,
Пластинкой синей в слепой стене
На север обращено, –

Свежим негативом глядит,
Виражем густым синевы,
В миражи, в мыльное небо, в даль,
В гарь золотую Москвы.

Об окнах надо поговорить:
Никто не знает окон.
В разных окнах по-разному мир
Схвачен и отражен.

Есть окна, задернутые извнутри
Как бы рыбьим пузырем,
И мир бесплоден в таком окне
И безопасен в нем.

Есть окна, шлифованные как монокль,
И для этих окóн мир –
В платье потертом, без воротничка,
И всегда сер и сир.

Есть окна, брезгливые как микроскоп,
Вытаращенный на клопа,
И для них в мире есть лишь клоп, –
Не любовь, не боль, не толпа.

Есть и такие, где никогда
Не стояла пленка стекла, –
И миром вламывается сквозь них
Цыганская вьюга и мгла,

Бросается плесенью за комод,
Набивает снегу под стол,

Надувает на сердце фунтовый флюс,
В позвоночник втирает ментол.

Но прекрасные есть и широкие есть,
Неподкупные как знамена,
Как заявка на счастье, что на году
На семнадцатом подана.

Их узнаёшь, спеша в трамвай,
Слушая калош скрип,
От гроссбухов разбухших подняв глаза
На солнечный воск лип.

Их узнаёшь, может быть, потому,
Что на гравюре той
У широкого и голубого окна
Гёте сидел молодой,

И качало окно над листами книг
Маргариты девичий газ, –
Крутой рот целовал даль,
И золотел глаз.

<1928>

* * *

Ну что же! Напрягись! Ведь ты умел когда-то
И зубы стискивать, и напрягать перо!
Ужель твоя душа как клок бумаги смята,
И скотское на грудь поставлено тавро?

Пора, пора понять, что ты один как пенис
И должен твердым быть, иначе – для чего
Болтаться по миру, седою прядью пенясь
И всякой сволочи встречая торжество?

Встань! Выше голову! Побольше красной краски, –
И остропахнущий тебе готов приют.

А жизнь? А творчество? Брось: бабушкины сказки.
Живут лишь те, дружок, кто всех кругом <….>.

6.II.1929

* * *

Оцепененье веронала
Дробь телефонная прорвала…
Подошвы стынут на полу…
И телефонных глубей мглу,
Что днем полна дрожаньем дальным,
Органной рябью голосов,
Что отстоялась льдом хрустальным
В тиши полуночных часов, –
Прорезал в первый раз похожий,
Мне ясно памятный по дрожи,
Звучавшей в нем семь лет назад,
Свободный голос, полный силы,
Воскресший голос, милый, милый,
Где весом каждый звук в карат…
Как лезвие взвилась тревога:
Всего два слога, два лишь слога
Метнула и́з ночи праща:
– «Прощай».

12.VI.1929

MON RÊVE FAMILIER[1]

Mon rêve familier... Плеск мандолин Верлена,
Чуть влажный тротуар и синее окно,
И декадентский рай батистового плена...
Всё это было так давно!..

Mon rêve familier... Прохладный жемчуг смеха,
Стыдок порочности и поцелуй, как стон,

[1] Мой знакомый сон (*фр.*).

И сумасшествия в последней дрожи эхо, –
Мальчишки несвершенный сон.

Mon rêve familier... И я ведь был меж зрячих.
Кто ж подменил тебе зазыв актерских глаз?
Не струйки ль слез, таких прозрачных и горячих,
Что в них растаял бы алмаз?

Mon rêve familier... Кабина слиппинг-кара,
Уют и полутьма, – и в снежном полотне
Ритм страсти и пружин. Рассчитанная кара
За то, что было лишь во сне.

Mon rêve familier!.. Злорадной тайной вашей
Мне смерть несете вы. Я цепенею весь.
Но, если нож вонзен с ухваткою апашей, –
Самоубийство тоже здесь.

Бригада розыска, гляди, замок ломает:
Да! В окровавленном закоченев белье,
Гортанью вспоротой зеленых мух скликает
Mon rêve familier!

29.VI.1929

ШУРКЕ

Если бы – вот этот самый вечер,
Полный ветра, свежести и звезд,
Если бы не сгорбленные плечи,
Если бы не 8000 верст…

Помнишь, милый, Федькину каморку
В старой даче?.. Лампа зажжена,
Хрущ хрустит, забравшийся под шторку,
Всхлипывает ртутная волна.

Дверь открыта. Облаком цветочным
К нам несет с увитых каннелюр.

И под свежим сквозняком полночным
Падает, как дева, реомюр…

Мы с тобою развернули книги б,
Мы с тобою в шахматы б сошлись,
Мы курили б в ониксовый выгиб,
Из-за звезд носящий имя: высь.

Мы с тобой поврали б о корсарах
И, атласным атласом шурша,
Побывали бы в просторах старых,
За билет не заплатив гроша…

И ничто сейчас мне не дороже,
Чем былое, сгинувшее в «нет»…
Ты в тюрьме, и я – не лучше… Боже!
И обоим 75 лет.

19.VIII.1930

ОДА К РАБИНДРАНАТУ ТАГОРУ
(прочитанная на встрече с Тагором)

У нас в Крыму долина есть: Индол,
Что значит: «В Индию дорога».
Века по ней купец и воин шел.
Веков с тех пор поникло много.

Но память о таинственной стране
В глубинах языка осталась:
Индийский «агни» в русском есть «огне»,
И «Веды» в «ведать» отозвалось.

Да в сказках, да в напевах кое-где
Порою странный образ глянет,
Рожденный там, где лотос льнет к звезде,
Где полумрак Эллоры манит.

А в остальном – совсем особый мир:
Через немереные шири
С тоской глядит наш ледяной Памир
На снежную Девалагири.

Но не всегда нам разделенным быть,
В тайник упрятывать богатства:
Дух времени велит соединить
Два наши мира узой братства.

Нам – ваша мудрость, вам – наш юный пыл.
Нам – глубина, вам – гнев и пламя,
Чтобы в сплетеньи двух великих сил
Планета обновилась нами.

Россия – ключ, а Индия – замок.
Их слить – и распадутся цепи.
И новый мир, свободен и широк,
Сверкнет игрой великолепий.

И Вы, Тагор, – Вы вестник новых дней.
Вы – тот, кто рифму с рифмой вяжет,
Кто нам, пропев об Индии своей,
Там, в Индии, о нас расскажет!

<IX.1930>

* * *

Солнце низко, стены влажны. Утро.
Открываются двери домов.
Выходят люди, идут на службу.
Я тоже на службу иду.

Гляжу на понурые спины и плечи,
На головы, где гудит еще сон,
На сжатые губы, на сведенные брови,
На затравленные глаза.

Эскадрой Синбада, на магнитную гору
Взявшей курс, чтоб разбиться о риф, –
Толпа устремляется по улицам к центру,
К центру тяжести и тоски…

Дав отсосать из себя полжизни,
Ползаряда прекрасных ночных часов,
О риф разбившись, плывет эскадра
Назад через семь часов.

Серы лица, щеки запали, –
Но как сияют глаза!
Каким прозрачным кажется небо,
Когда начинается жизнь.

Стоит глянуть на лица и взгляды
Ежедневно в половине пятого, – и
Травмой, Рабством, Удавкой Дьявольской
Расшифровывается ТРУД.

<V.1931>

* * *

Я не знаю – почему,
Только жить в квартале этом
Не желаю никому,
Кто хотел бы стать поэтом.

Здесь любой живой росток
Отвратительно расслабит
Нескончаемый поток
Тайных ссор и явных ябед.

Здесь растлит безмолвный мозг
Вечный шип змеиных кляуз,
Вечный смрад загнивших Москв,
Разлагающихся Яуз.

Здесь альпийского орла
Завлекут в гнилые гирла
Краснопресные мурла,
Москворецкие чупырла...

Потеряв способность спать,
Пропуская в сердце щелочь,
Будешь сумрак колупать
Слабым стоном: «сволочь, сволочь!»

13.VII.1931

* * *

Эрбий, Иттербий, Туллий, Стронций, Иридий, Ванадий,
Галлий, Германий, Лантан, Цезий, Ниобий, Теллур, –
Что за династия цезарей, вечных реакций основа!
Варвары смоют ее: Резерфорд, хаос, Эйнштейн!

17.VII.1931

ДОН-ХУАН

Смертный миг наш будет светел,
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.

Пушкин

Так гори, и яр, и светел,
Я же легкою рукой
Размету твой легкий пепел
По равнине снеговой.

Блок

На серебряных цезурах,
На цезурах золотых
Я вам пел о нежных дурах,
О любовницах моих...

Ну, – не все, конечно, дуры;
Были умные, – ого! –
Прихватившие культуры,
Прочитавшие Гюго.

Впрочем, ведь не в этом дело:
Что «Вольтер и Дидерот»,
Если тмином пахнет тело,
Если вишней пахнет рот;

Если вся она – такая,
Что ее глотками пью,
Как янтарного токая
Драгоценную струю...

Да, – бывало! Гордым Герам
Оставляя «высоты»,
Я веселым браконьером
Продирался сквозь кусты.

Пусть рычала стража злая, –
Не жалел я дней моих,
По фазаночкам стреляя
В заповедниках чужих.

Пронзены блаженной пулей,
Отдавали легкий стан
Пять Иньес и восемь Юлий,
Шесть Марий и тридцать Анн.

А теперь – пора итогов,
Пред судьбой – держу ответ:
Сотни стройных перетрогав,
Знаю я, что – счастья нет.

«Смертный миг» мой – будет темен:
Командоры что есть сил
Бросят прах мой в жерла домен,
Чтоб геенны я вкусил.

За пригоршнею – пригоршня:
Месть – хоть поздняя – сладка...
И в машине, в виде поршня,
Буду маяться века!

18.II.1932

* * *

Знаешь тайну баккара?
Знать ее необходимо:
Эта звонкая игра
Как хрусталь – подруга дыма.

Тот же сдержанный угар,
Тот же бред полураздетых
И раздавленных сигар
Нежный пепел на манжетах.

Рассказал давно уж нам
Честный кодекс Дон-Хуана,
Что в делах с участьем дам
Утонченность нежеланна.

Что тогда лишь выйдет прок,
Если разом Донна-Анна
Навзничь грянет поперек
Непорочного дивана.

Чем глупее, тем умней,
Чем прямее, тем успешней
С удивленной, «с пленной, с ней»
Скоротаешь вечер вешний.

И азартная игра
Те же вкусы разделяет:
Эта стерва, баккара,
Лишь нахрапу уступает.

Тем, кто робок, вдумчив, строг, –
Вечно каверзы подводит,
И гребет бумажек стог
Кто попроще к ней подходит.

16.IV.1932

ПАМЯТИ А. С. ГРИНА

Но туда выносят волны
Только сильного душой...

Языков

Спишь, капитан? Блистающего мира
Вокруг тебя поникла тишина,
И в синеве зенита и надира
Тебя колышет звездная волна.

Из края, где в болотах гибнут бури,
Где в слякоть вырождается туман,
Ты, наконец, отплыл в твой Зурбаган
Взглянуть на голубой каскад Теллури.

Над шлюпкою, бегущей по волнам,
Задумавшись на старом волнорезе,
Ты вымечтал несбывшуюся Фрези,
Как вечную надежду морякам.

Но все мечтанья подлинного мужа
Сбываются. Они сбылись – твои:
И стала солнцем мировая стужа,
Тебя качая в вечном бытии.

О, доброй ночи, доброй ночи, старый!
Я верю: там, где золотой прибой
На скалы Лисса мчит свои удары,
Когда-нибудь мы встретимся с тобой.

12.XI.1932

* * *

Окажу ль судьбе призренье,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Пушкин

Так нет же! нет же! нет же! нет!
Не уступлю дневному блуду!
Я был поэт! Я есмь поэт!
И я всегда поэтом буду!

Мой тесен мир: он в мутном сне,
Он огражден вседневной ширмой,
Но звезды падают ко мне
И говорят... – Огромен мир мой!

Всё говорит! И женский стан,
И след ноги, что странно-узок,
И Аттика, и Туркестан,
И лед скульптур, и смерчи музык!

Любовь, пассаты, мифы, зной,
Клоаки, шахматы и казни, –
Всё-всё проходит предо мной
В своем лирическом соблазне.

Поройся у меня, – найдешь
В глуби потрепанных тетрадей
И эротический чертеж,
И формулу, где бредит радий.

Всё сохраню, всё пронесу –
И вечность, что открыл мне Пушкин,
И краткий миг, когда в лесу
Отмерил жизнь мне плач кукушкин.

И никого не надо мне!
Один пройду, один промучусь, –
Пока в трущобе, в тишине,
Последней судорогой скрючусь!..

И долго буду мертв, – пока,
Устав от дел, в ночи бессонной
Меня грядущие века
Не вскинут трубкой телефонной, –

И зазвучит им, как прибой,
Мембранный гул былого мира...
«О, нет, недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой»!

8.VII.1933

* * *

Миндального пирожного кусок,
И ледяной стакан, и звон нарзана…
О, вечера в пустом кафе «Лозанна»,
О, с голубыми жилками висок!

Последний год был страшен и высок:
Мир очумел и смерти пел «осанна!»
И маленькая глупая Сюзанна
Пошла смывать горячий алый сок.

И я жалел, что нет меня меж ними,
Кого коснулась пальцами своими
Сначала смерть и девочка потом.

Но множители от перестановки
Итога не меняют: черный том
Давно дьячок зажал наизготовке.

26.VII.1933

В ДУХЕ ОМАР-ХАЙАМА

Любимая – и у меня была,
Поэзия – и у меня была,
И вот стою, гляжу вперед, как нищий,
А молодость – и у меня была.

*

Мой друг попал в тюрьму на много лет,
Я жизнь отдал ему на много лет,
Как быть мне одному? Я встану твердо
И – в путь, надев суму, на много лет.

1.VIII.1933

* * *

Как модель китайского зонтика,
Опрокинутого парусом вниз,
Деревянный кубарик вертится,
Мутно-розовый на желтом столе.

Он сначала стоит навытяжку,
Быстротою забархатев,
И легкое наматывает жужжание
На подрагивающую камертоном ось.

Потом – неспокойная переступь,
Равновесие ускользает, как вальс,
Бархатистость рвут зазубрины,
И кубарик валится вбок.

Дернется – и попятным движением
(Так, утопая, вспоминают жизнь)
Обернется на 180°
И деревяшкой грошовой замрет…

Боже мой, – до чего докатились мы,
Если в одинокие вечера,

Часами, этим вздором, как символом,
Отрезвляем надежды свои.

5.VIII.1933

* * *

Я долго шел у погребальных дрог:
На кладбище везли футляр скрипичный;
В тоске взывал тромбон косноязычный,
И плакался, давясь дыханьем, рог.

Я – человек, всем климатам привычный,
Но в музыке такой и я продрог.
Ах, хорошо спросить в трактире грог
И посидеть под музыкой обычной.

И, в сторону шмыгнув, как дезертир,
Я захожу в грохочущий трактир,
Сажусь к столу и спрашиваю грогу,

Но гробовым рыданьем надо мной
Взревел оркестр военную тревогу,
И вспомнил я: мне завтра надо в бой!

8.VIII.1933

* * *

Слишком красное дерево,
Слишком медные гвозди,
Слишком розовым бархатом
Услаждают диваны.

Декорация! На́долго
В жизни так не бывает.
Это – просто лишь в поезде
Первоклассном кабина.

Да и то – закрывается
Дверь тугою щеколдой,
Загорается лампочка
Фиолетовым шаром.

Руки лезут под простыню,
Мнут небрежные груди:
До рассвета – порядочно,
Позабавиться можно.

И сквозь сладкое хрюканье –
«Ах, как это шикарно!» –
Можно думать, что едем мы
Из Ментоны в Биарриц…

9.VIII.1933

ВРЕМЯ

Старичок в чесучовой крылатке
Или в драпе, мохнатом и вытертом,
Двух шпицов, на Вольтера похожих,
Трижды в день выводил гулять.
Утром – дети ленились в школу
И старухи спешили к булочной;
Днем – усталые шли со службы;
И девчонки жеманились ввечеру.

Золотело небо весною,
По дворам ходили стекольщики,
Навстречу ветру и солнцу
Голубые крылья задрав;
Липы таяли медом в июле,
Освежаемы легкими ливнями;
И рабочие, в позе маркиза Позы,
Асфальтовую накатывали икру.

Кисла осень, выцветала и мокла,
Хмурилась, хлюпала, кашляла;

Чаще показывались катафалки,
Раньше загорались огни;
Потом – гироскопическим снегом
Зима иллюстрировала Диккенса, –
И трижды в день со шпицами
Старичок выходил гулять.

И шпицы кувыркались на сворках,
Деловито и саркастически
Нюхали тротуары и тумбы
И облаивали весь мир…
Проходили за годами годы
В том же цикле, вышеописанном,
И однажды старичок вышел
Ведя лишь одно шпица.

Еще проходили годы,
Жизнь реализовалась книгами,
И пришлось мне как-то увидеть,
Что старичок гуляет один.
В чесуче или драпе – всё в тех же,
Лишь походка стала уклончивей…
А в эту осень и вовсе
Не вижу я моего старичка.

20–22.IX.1933

СЕРАФИМЕ НАРБУТ

Не с альфы, а с омеги я начну:
О! Ты, всегда рисуема, графима,
Зачем тебя мы знаем как жену,
О, Серафима?

Клянемся мы (и в том порукой – честь)
И выиграем тысячу пари мы,
Что средь небесных пери место есть
Для Серафимы!

Но буревидный твой тугой супруг –
Он различил ли духа в женском гриме?
Владимир, прояснись и лютни звук
Мчи к Серафиме!

О, сих очей небесная лазурь!
О, блеск власов, златому сродный дыму!
У сотен мудрых бродит в сердце дурь
Про Серафиму!

С ней говорить – и то пресветлый рай,
Но умасти браду и руки вымой,
И лишь тогда, герой, предстать дерзай
Пред Серафимой!

Быть может, возымеешь преферанс
Над дураками, пляшущими шимми,
И будешь сесть допущен в преферанс
При Серафиме.

Чем заключу? Чем я закончу? Ах!
Нехорошо быть зорким и ученым:
Во всех российских вижу падежах
Один падёж – к ее ногам точеным.

<1933>

* * *

Разлад с собою, с окруженьем – ложь,
В душе – лохмотья, но всегда найдешь
Средь барахла, среди клоков рогожи

Былой завет: терпи, терпи, казак!
Ты говоришь: «кругом тоска». – Ну что же:
Венчался же в Бердичеве Бальзак!

1934

* * *

Валяло круто. Темно-ржавый борт
Плечом ложился и вставал из хлябей.
Но отлегло; без всяких астролябий
Могли прикинуть: за две мили – порт.

Вдруг на волнах, как мяч, как панцирь крабий,
Встал полушар, огромен, черен, тверд,
И заплясал, идя на нас, как черт,
В мужских гортанях крик рождая бабий.

«Под ветром мина!» – Резкий поворот,
Но цепок шторм. Нет хода. Смерть идет.
Застыли. Вдруг рука сама схватила

Винтовку. Треск, – и бьет вулкан средь вод.
Казалось, их до дна разворотила
Душа освобожденная тротила.

14.XII.1936

СТРАХ

Куб комнаты и воздух ледяной.
Как жук в янтарь, во тьму и холод впаян,
Спать не могу, тревогою измаян:
Что происходит за моей стеной?

Там белый дьявол стал всему хозяин,
Он кровью упивается парной;
Он, может быть, шлет палачей за мной,
И мне – валяться трупом у окраин.

Всё умерло. Безмолвие как пресс.
Вдруг дробный звук – далёко, там – воскрес,
Вот – ближе – топотом копыт сыпнуло.

Впускаю глаз под штору; там летят
Сорвавшихся четыре белых мула.
И – всадников прозрачных ищет взгляд.

23.XII.1936

* * *

Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска;
Смесь говоров; визг, хохот, плач и брань;
Мундир, голландка, френч, юбчонка, рвань,
Фуражка, шляпа, кепи, каска, феска.

А там – дворец вознес над морем резко
Своих колонн дорическую грань.
Что там сейчас? Военный суд? Железка?
Иль спекулянт жмет генералу длань?

Уставя желчных глаз камер-обскуры,
Толпу пронзает академик хмурый
И, в дрожки сев, чеканит: «Во дворец!»

И липнет некий чин к нему, как сводня, –
Бочком... О чем поговорят сегодня
Ландскнехт продажный и поэт-мертвец?

29.I.1937

ИНТЕРВЕНТЫ
(диптих)

I

Из попугайной вырвавшись вольеры,
С картавой речью, с жадным блеском глаз,
С носами клювом, перьями на нас
Со шляп разлатых машут берсальеры.

Вдоль хлестких бедер – стеки, револьверы;
В руках – решимость выполнить приказ
И придушить. И девок через час
Уже с бульваров тащат, – кавалеры!

Ну что ж! Мы постоим и поглядим:
Сабинянками начинался Рим,
А кончился... Друзья! Без недоверья!..

И к январю, средь визга и ругни,
Всем легионом драпали они, –
И думалось: гораздо ниже перья!

II

И эти здесь! Потомки Мильтиада!
Метр с небольшим, сюда включая штык!
Недаром им большущий большевик
Мерещится где надо и не надо.

И торговать же Мильтиад привык!
В любом подсумке два аптечных склада, –
Сплошь кокаин. Таких и бить – досада.
Ну и пришли «дванадесять язык»!

Но быстро гаснет выгодное лето;
Исчерпаны запасы «марафета»,
И близится январский Марафон.

Но бегать с ношей умным нет охоты,
Да и к чему? И каждый батальон
Успел свои продать нам пулеметы.

29.I.1937

ДОМ
(Диптих)

1

Столетний дом. Его фанариот
В античном стиле выстроил когда-то.
Мавромихалис иль Маврокордато
Оттуда воскрешали свой народ.

Туда входил корсар эгейских вод
Попробовать на зубе вкус дуката, –
Чтоб через месяц Пера и Галата
Пашам пронзенным подводили счет.

Порою для него везли фелюги
Те зелья, что придуманы на юге,
Чтоб женщину пьянить избытком сил.

Порой там бал плыл на паркете скользком
И Воронцов, идя с хозяйкой в «польском»,
Взор уксусный на Пушкина цедил.

2

Теперь там агитпроп. Трещат машинки
Среди фанерных, сплошь в плакатах, стен;
В чаду махры – мохрами гобелен;
И заву – борщ приносят в грубой крынке.

Сошлись два мира в смертном поединке,
И слово правды, гаубицам взамен,
Слетает с легких радиоантенн,
Как радия бессмертные крупинки.

Носящий баки (Пушкину вослед)
Здесь, к символу камина, стал поэт
И думает, жуя ломоть ячменный,

Что стих его – планету оплеснул
И, подавляя голос папских булл,
Как брат грозы стремится по вселенной!

1937

ФИЛОСОФИЯ КЛАССИЦИЗМА

Все любят (много раз я проверял)
Заглядывать в чужие окна, если
Там свет зажжен. Воспитанные люди
Довольствуются, правда, быстрым взглядом,
Чуть замедляя шаг. А я люблю,
Особенно в хороший летний вечер,
Греметь в трамвае по кольцу бульваров,
Когда как золотые соты окна
Мелькают по стенам.
Глядишь сквозь них –
Таким спокойствием, таким уютом
Полны там комнаты! Всегда удачно
Поставлены буфет, кровать, кушетка;
Всегда сверкает чайный стол; всегда
Нарядны занавески и картины,
И кажется, что дружная семья –
Прозрачные и радостные люди –
Там обитает, что веселый смех
Лишь за трамвайным грохотом не слышен...
На самом деле – далеко не так:
Буфет облуплен и кровать промята;
Несвежи занавески; на картине –
Какой-нибудь затрушенный пейзаж
Иль гурия грудастая, а люди
Подсчитывают с радостною злобой,
Кто и в каком объеме жизнь заел
Другому... Чаще – так.
И всё же, всё же
Иллюзия непобедима.
Я
Видал модели под стеклом – фрегат

Или собор; в хрустальных пресс-папье –
Париж или Неаполь; панорамы
В брелоках или ручках – Ниагара,
Везувий, Эйфелева башня. Помню,
На святках «со звездой ходили»; в звездах
Посередине грот бывал – «вертепик»,
Со всем, что надо: ясли, и ребенок,
И прочее, – приятно освещенный
Огарочком...
Всё это я любил
За блеск, за четкость, за уют, за воздух.
Не правда ли? Здесь ключ.
Подумать только:
Стена. Стена! Тупая плоскость, камень,
Дурная непрерывность. И ее –
Вдруг проницает, в третье измеренье
Прорвавшись, блеск и воздух! Есть – пространство,
Есть – ритм!..
А дом? Подумать только: дом!
Огромная и гулкая коробка,
Где страшно отдается голос; где –
Мрак, нежить, мусор, паутина, крысы.
Громадный череп с выветренным мозгом!
И вдруг – в нем соты, светлые ячейки,
Некрупные, где внятен каждый голос,
Где форточка уже дает прохладу,
Где кафель печки дышит теплотой,
Где самовар шумит, поет пьянино,
Смеются дети...
Вдумайтесь: буфет!
Его чертил безлобый неудачник,
Понасадив каких-то глупых шишек,
Карнизиков ненужных, заострив
Углы, чтобы коленкой натыкаться;
В нем сохла колбаса и прел пирог,
И тараканы подъедали крошки,
В нем плесень пробиралась в закутки,
В нем волгла соль. А тут, мелькнув на миг,
Являет он лишь суть свою: прекрасный

Разлив доски дубовой, ясный лак
И – вещность. Колбасой и пирогом
Не пахнет он, и – неприметны шишки...
Картина! Ну, глядеть – иди в музей:
Лишь Эрмитаж достоин Клод Лоррена
Или Брюллова. В быт идут оглодки –
Мазня, где нет рисунка, цвета, формы,
Где вместо содержанья – сентимент,
Сей маргарин души. А пролетая,
Ты видишь золотой клинок багета,
Лазури клок, иль крон зеленых сгусток,
Иль плавный выгиб женского бедра.
Опять – лишь суть: обрывок спектров жгучих –
Плоть радуги!..
А люди! Незаметны
Ни скулы грубые, ни узкий лоб,
Ни плоские – облатками – глаза;
Не слышно глупых шуток, злобных вскриков;
Видны тела лишь в их прекрасной сути:
Лицо, чело, движенья умных рук.
Мне не узнать, что этот – регистратор,
Та – машинистка, тот – пьянчуга, тот –
Не по летам ретивый старикашка.
Я вижу – вот отец, придя с работы,
Рад отдохнуть; вот мать дает ребенку
Грудь, налитую нежным молоком;
Вот школьник сел за книжку; вот поэт
Глядит в простор, уже перо макая.
Всё – только суть; всё – так, как нужно.
Миг
Достаточен, чтобы схватить всё это –
В единстве, в установке, в существе,
В идее, воплощенной зримо.
Правда, –
Всё это есть у классиков: трехмерность,
Объемность, расчлененность, свет и воздух,
И краска, и – та *доминанта жизни*,
Что в основном стремится вверх и вверх?

25.IX.1937

* * *

Спишь, милая… Мерцают мерно веки.
Грудь мерно дышит… Я гляжу…
Не знаешь ты, что в этот миг навеки,
Быть может, от тебя я ухожу…

Нет, не будить! Пускай еще немного
Тебе спокойно будет и тепло…
Спи, Ниночка! Тяжка моя дорога,
Уходит жизнь, – но чувство не ушло.

15.III.1938

* * *

Средь странных снов моих один упорный сон
Всё повторяется: лазуревая пропасть,
Свист воздуха в ушах, крутящаяся лопасть
Пропеллера, и я – в пространство унесен.

С какой надеждою я телом льну к мотору,
Как я стараюсь вниз случайно не взглянуть,
А бешеный полет опустошает грудь,
И жизнь – игрушкою подарена простору.

Но алые шелка, но золотой виссон,
Развернутые там, на дугах небосклона,
Принять готовятся меня в тугое лоно
И сладким отдыхом мой завершают сон...

Когда же я проснусь, весь полон нежной ложью,
И серый трезвый день вползает в мой приют, –
Я знаю: жизнь моя вниз мчится с тяжкой дрожью,
Как не умеющий раскрыться парашют.

1940

ЭПИТАФИЯ

На этой могильной стеле,
Прохожий добрый, прочти:
Тут лег на покой Шенгели,
Исходивший свои пути.

Исчез в благодатной Лете
Тревожный маленький смерч.
А что он любил на свете?
Нинку, стихи и Керчь.

25.III.1941

* * *

Узнаю тебя, молодость: голод;
В темной комнате холод и мрак;
Ум тревогой тяжелой надколот, –
И вплотную под городом враг.

Было только не так одиноко,
Было только тоскливо не так:
Ветер с юга и солнце с востока
Залетали ко мне на чердак.

Да и было терпенье «во имя» –
Хоть не помню, во имя чего,
Что делил я с друзьями моими,
И любил я друзей оттого...

Нет, не молодость. Только похоже, –
Но похуже: темней, холодней;
И стихи – отражение дрожи,
Черной ряби на заводях дней.

28.I.1942

* * *

Необжитая пустая квартира;
В комнатах только столы да кровати;
До штукатурки дотронешься – сыро;
Зябнешь и под одеялом на вате.

Свечка в подсвечнике вяло слезится,
Ставни закрыты, и дождь под окошком;
Веки зажмурены: страшное мнится,
Переступь чья-то слышна по дорожкам.

Но почему-то собака не воет,
И по стеклу не царапает ноготь;
Полночь застыла в прозрачный коллоид, –
Лучше не видеть и лучше не трогать.

1.XI.1942
Фрунзе

* * *

Я вообще люблю порядок,
Размеренность и чистоту,
Я не терплю неверных складок
В стихах, на брюках и в быту;

Дай строгий контур, четкий очерк,
Чекан и грань – и силуэт,
И мой не только внешний почерк
Гравюрной логикой прогрет.

Клинок, брильянт, снежинка, Heine,
Святой крахмал воротничка –
Всю жизнь я в них влюблен, но крайне
Боюсь Эйнштейна и смычка,

Передрассветной поволоки,
Когда туман висит, знобя,

Таких стихов, как эти строки,
И глаз таких, как у тебя.

2.I.1943

СЕРДЦЕ

В гипнозе боев и пожарищ
Весь мир замирает вокруг, –
И ты замираешь, товарищ,
Мой верный работник и друг.

С тобою мы жили полвека,
Ты билось в груди у меня;
Но, видно, нельзя человека
Всё время держать у огня.

Замучен сплошным перегревом –
Стихами, любовью, войной,
Презреньем, обидами, гневом, –
Чужеет он яви земной.

И пусть в одичалых народах
Безумствуют правда и ложь, –
На отдых, на отдых, на отдых
Ты, старое сердце, идешь!..

Полвека с тобою мы жили,
Отраду и муку деля,
Ты кровь продвигало по жиле,
Как воду проводят в поля.

Ты вместе со мной бунтовало,
Все боли ты знало мои,
Со мною жену обнимало,
Лежало со мной в забытьи.

Делило порывное пламя
И скуку вседневных забот,

И не было тайн между нами:
Был ясен условный наш код.

Но – хватит! В признаньях и кодах
Что было – поведано сплошь.
На отдых, на отдых, на отдых
Ты, старое сердце, идешь!

Слабеет бессонный твой молот,
Неверен твой мерный размах, –
И в жилы вгоняешь ты холод,
И он называется – страх.

Но, право, бояться не надо,
Отрадно заканчивать путь,
Отрадно средь грома и ада
Спокойно-спокойно уснуть.

Оставить любимых?.. Но что же!
Они ведь простят и поймут,
Что не было в жизни дороже
Растраченных с ними минут.

Стихи?.. Но в балладах и одах
Не вся ли расплескана дрожь?
На отдых, на отдых, на отдых
Ты, старое сердце, идешь!

4.IV.1943

* * *

Здравствуй, Виселица! Снова
Голый твой торчит глаголь,
Снова комом в горле боль
Останавливает слово!

Снова вытоптанный плац
И брезгливой злобы месса, –

И от собственного веса
В петле пляшущий паяц.

Может быть, и надо было
Сердце черное убить,
Но вот эта… с хрящик… нить,
Пот холодный, склизкость мыла!..

За обугленных детей,
За искромсанные груди
Этим ли отплатят люди
Истребителям людей?

В Бетлееме правил Ирод;
Стал бедламом Бетлеем;
Все виновны, если всем
В глине крипт могильный вырыт.

Но помостов смертных гладь,
Длинных трупов колебанья –
Это с ними калибанья
В нашу душу входит стать!..

Я способен Калибану
Грудь пронзить, за всё платя,
Но ему я, даже мстя,
Верным зеркалом не стану!

20.VII.1943

* * *

В шаге легком и упругом
По сухому камню плит
К жизни вызванная югом
Снова молодость звенит.

Мне опять остро и быстро,
Метко, пристально, светло;

Мне опять бряцанье систра
Бронзы в голос налило.

Синевой изюмной сизо
По ущельям осиян,
Древний кряж Паропамиза
Стонет арфами парфян.

Впрочем, нет; парфян не надо:
Хорошо мне и без них
Здесь, на стогнах Ашхабада,
Разгрызать веселый стих.

Жаркий полдень дунул мелом
В каждый китель, в каждый дом:
Люди в белом, город в белом,
Только небо в голубом.

27.IX.1943
Ашхабад

РОК

Был нужен псевдоним. Фамилия была
Довольно грубая: Шикльгрубер; пахла гробом
Иль ямой выгребной. Вакансия орла
Не очень по плечу столь грунтовым особам.
И стал он – Гитлером. Не значит ничего;
Ни с чем не срифмовать: не вздернут эпиграммой!
И он любуется размахом своего
Крыла орлиного над родовою ямой.

Но в букву всмотримся, в его инициал,
В строй «Н» немецкого и русского «Глаголя»:
В них – *перекладины*!..
Он всё же угадал,
Что виселица ждет его на неком поле!

2.I.1944

ОТВЕТ НА СТИХИ

...пусть не были мы счастливы с тобой...

Ну да; я виноват: я в жизнь твою принес
Немного радости, но очень много боли.
Но верь, что у меня в глазах довольно слез,
Чтоб ты, сквозь пленку их, казалась – в ореоле.

26.I.1944

* * *

За слоистыми горами
В десяти верстах – Иран.
Из Ирана к нам утрами
Пробирается туман.

А от нас в Иран уходит
Ночью синяя звезда
И минувший день уводит
За собою навсегда…

Трудно мне. И жизнь – короче.
От тебя я так далек.
С кем вдыхаешь – белой ночи
Перламутровый дымок?

23.VI.1944
Фирюза

* * *

Я засыпаю, – перед взором – Нинка.
Проснулся я – в окне узором – Нинка.
Но если я ушел, брожу один,
То и тогда со мной дозором – Нинка!

Что ж, 20 лет мы вместе были, Нинка;
Мы воз везли, в пыли и в мыле, Нинка.
Ну, так и дальше вместе побредем,
Чтобы лежать в одной могиле, Нинка.

IX.1944

* * *

Как прорезающийся зуб,
Как расправляющийся вывих
Встают стихи. Привычно-груб
И всё ж мучителен прорыв их...

Коню стоялому под стать,
Гремя, мундштук янтарный гложешь,
Когда не знаешь, что писать,
А не писать никак не можешь.

Я не терплю таких минут,
Таких бесцельных вожделений,
Когда лемурами встают
Туманы, сумраки и тени.

О, если б взвиться на дыбы
Под этим небом, вечно-хмурым,
И ускакать, – с копыт лемурам
Кидая черные бобы!

7.IX.1945

* * *

Все крепости разрушая,
Фаланга прошла до Ганга...
Так жизнь протекла большая
От «Гонга» до «Гамеланга».

Хотелось поэм огромных,
Стройнее дворцов Кваренги, –
Не этих набросков томных
И хрупких, точно меренги.

Хотелось мечты крылатой
И розовой, как фламинго,
Но робкой, мечта, была ты
На роликах скетинг-ринга.

Хотелось золото Рейна
Отнять у вас, Нибелунги, –
Но даже глотка рейнвейна
Мои не выпили юнги.

Хотелось львиною шкурой
Одеться в истоках Конго, –
Но вымараны цензурой
Две львиных строки из «Гонга».

Итог безнадежно-краткий:
Какая уж там фаланга!
И правлю стихи в тетрадке
Домашнего Гамеланга!

7.X.1945

ГОЛУБОЙ БЮВАР

I

Лежал в комиссионном магазине
Меж разным дрязгом голубой бювар.
Сафьяновый. Разутые разини,
Ища сапог, презрели сей товар.
Сафьян был мягче тенора Мазини
И синь, как бы сапфировый отвар,
И от него, хочу ли, не хочу ли,
Задумчивыми веяло пачули.

II

При чем «хочу ли, не хочу ли» тут?
Для рифмы, что ли? Нет: для реализма.
Ведь образ из подробностей плетут,
И музыка не дышит без мелизма;
Голодной средь широких амплитуд
Душе нужна питательная клизма,
И вот – деталей золотой бульон
Мы цедим сквозь измаранный брульон.

III

Скажи я просто: «аромат пачули»,
Деталь мелькнет случайной и пустой,
А хитрое «хочу ли, не хочу ли»
Ее как гренадера на постой
Вам в душу вводит. Лампу ли, свечу ли
Деталь засветит, спичкой ли простой
Сверкнет на миг – лежать ей в недрах сердца
Перчинкою закуски иль десертца.

IV

Читатель здесь, я вижу, оглушен
Метафорами без взаимной связи.
Но почему? Не вкусно ль пить крюшон,
Настоянный к тому ж в китайской вазе?
Стилистикой фольклорной сокрушен,
Всю жизнь мечтал я о червленом вязе,
Которым витязь, логике назло,
Всех убеждал, когда ему везло...

V

Пачули! Запах томный и порочный.
Душились им Нана и Ригольбош
В те дни, когда Наполеон Непрочный
Над Францией свой утверждал дебош.

Он дразнит ноздри телеграммой срочной
О том, что плоть согласна на грабеж,
Он обещает сладкое томленье,
Но в нем самом – лишь с ложечки кормленье.

VI

Бювар дышал пачули. Почему?
Должно быть, в нем хранили сувениры:
Платок, перчатку, ленту иль тесьму
Какой-нибудь Прелесты иль Плениры.
Быть может, место он давал письму
(Для душных чувств – душистые гарниры),
А может, без мечтаний и химер,
Вблизи флакон раскокал парфюмер.

VII

Я много раз видал его в витрине,
Я много раз купить его хотел,
Но грубый бас: «отыди и отрини!»
По мне из ярлыка с ценой летел.
Но как-никак, пожалуй, раза три не
Хотел уйти я, мямлил и потел,
В кулак зажав покорную зарплату,
И всё ж на кратер страсти клал заплату.

VIII

Как в женщину в него я был влюблен,
Но, черт возьми, цена! На деньги эти
Мой полушубок быть бы мог дублен
Святейшим миром! Я бы на диэте
Миндальной год сидеть бы мог! Дублон
Купить дантисту – зуб залить!.. В поэте
Рифм и сравнений много завелось,
И всё ж бювар бодался, точно лось.

IX

Я иногда о нем мечтал ночами:
Как он лежит, «осеребрен луной»,
Как статуэтки с сэврскими плечами
И натюрморт с багряной ветчиной
Над ним молчат, и синими очами
Он смотрит... Я проснулся весь больной:
Я шел к нему; торговец (был урод он
Презренный!) мне сказал лениво: «продан!»

7.X.1945

* * *

Нет больше дела, нет затей;
И в черных мыслях, в мерной смене,
Проходят предо мной безропотные тени.
Моих зарезанных детей.

Им так хотелось жить! Так повторить хотелось
Меня и женщину мою,
Чтоб в них, как в зеркало, душа отцов гляделась,
Вновь призванная к бытию.

Они доверчиво, зародышем горячим,
Вбирали жизнь, растили плоть, –
И я – их убивал, отец! Холодным, зрячим,
Слепых, беспомощных я их велел – колоть.

И раз *мои* глаза, как известь, были сухи, –
Вам было не к кому о помощи взывать,
И под ланцет проворной повитухи
Покорная ложилась мать...

И всё ж прощенья не прошу я!
Вы жизни ждали, – ждал вас ад,
Где, беспощадной злобою бушуя,
Грохочет ложь людей и правда канонад.

Я вас убил, – но я! Вас по кровавым гумнам
Не истолок железный цеп войны,
И в жертву упырям безумным,
Что правят жизнью, вы не отданы.

26.XI.1945

* * *

Семь струн у лиры. Семь цветов
У радуги. И семь грехов
У дьявола. И семь небес
Объемлют мир. И семь чудес
У мира. Я же – всех бедней:
Обойма в браунинге; в ней
Семь чудных пуль, – но мне одна,
Ах, лишь одна из них нужна!

26.XI.1945

* * *

Мне других наркотиков не надо:
Для меня достаточны вполне
Бешеное солнце Ашхабада,
Демонские ветры при луне, –
Сине-золотой предбанник ада,
Видимо, обещанного мне.

И брожу по уличным теснинам;
Всё теперь неважно и не в счет;
Я за зовом следую змеиным,
Мне сулящим некий тайный плод,
А покуда – сладким безмеином
Воспаленный заливаю рот.

Время – только знаки циферблата;
Миг висит, как белый шар луны,

Сам собой. И нет уже возврата:
Все пути кругом отсечены, –
И легко мне, смело и крылато
Под веселым свистом сатаны!

30.XII.1945

«АФГАНЕЦ»

Дышит пустыня, и сходят с ума
Звезды, собаки, деревья и люди:
Всех распластала на огненном блюде
Зноем барханов рожденная тьма;
С визгом сует Саломея сама
В рот Иоанну колючие груди.

Душно покойнику; жгучий сосок
В губы вдвигается кляпом каленым.
Похоть и смерть. И бесплодно влюбленным
Слушать стрекочущий в уши песок:
Поздно! Всё поздно!.. И ломит висок,
И содрогается полночь со стоном.

30.XII.1945

ПУСТЫНЯ

Час ходьбы, – и за барханом
Всё – иное, мир – иной,
И полуднем бездыханным
Древний-древний льется зной.

Вихрь движением пружинным
Завивает пыль в спираль;
Видно, любо здешним джиннам
Поманить скитальца в даль

И просыпаться мгновенно
Мертвым просом в решето...

Всё тут вечно, всё тут бренно,
То же всё, и всё не то...

Нет, назад! Чертовски жарко,
Губы сохнут, боль в виске,
И рычит моя овчарка
На змеиный след в песке.

31.XII.1945

* * *

Ай, хорошо! Я на три километра
Заплыл. Лежу, качаясь, на спине.
По животу скользит прохлада ветра,
Плечам тепло в полуденной волне.

Двумерен мир. Обрыв Камыш-Буруна
Сам по себе синеет вдалеке,
И у ресниц вплотную тает шхуна,
Как леденец в алмазном кипятке.

8.I.1946

* * *

Вы приснились мне, Игорь, – и каким-то печальным,
Пожилым и печальным, в пене редких кудрей;
Четверть века умчалось; было юности жаль нам, –
И стихов попросил я поновей, поострей.

Но бестембровый голос, как холодная пена,
Из которой Киприда отлетела в мираж,
Мне сказал: «...королева... и совсем не Шопена...»
И скучливо добавил: «...не любил ее паж...»

Всё зачеркнуто сразу! Кислородный мой Игорь,
Чьим стихом перед смертью надышаться б я мог!

Значит, в вас тот же пепел, та же выцветь и выгарь,
Те же гири на лире и на сердце замок!

8.I.1946

* * *

Как много должен делать
Того, что не хочу, –
И даже рифмы к «делать»
Никак не залучу.

Сгодился бы рифмоид, –
Кому проверить лад? –
Брезгливо руки моет
В своем дворце Пилат.

И, время обгоняя,
Скользит, шепча: «Держись!»
Моя – всегда двойная,
Всегда косая жизнь.

16.I.1946

* * *

Тут можно бы наворотить метафор:
Я выдумкою всё еще богат
(Хотя уже приятен ватный шлафор,
И действовать страшнее наугад).

Но хочется без всяких выкрутасов,
Чеканить – как для бронзовых таблиц, –
Веревкой власяницу опоясав,
Сказать свое сквозь щебет мелких птиц.

Я ведь к моим привык робинзонадам,
Привык брести, обрызганный росой...

Но обмер Робинзон, увидев рядом
С собой на пляже – след ноги босой!..

17.I.1946

* * *

Дождь провел крылом прохладным
По горбатым переулкам,
В белых кадках олеандры
Освежая на лету,
И уже за Южной бухтой,
Над слободкой Корабельной,
Точно орденская лента,
В небе радуга легла.
И уже бегут к бульварам
Мичмана и лейтенанты
В белоснежных недотрогах –
В непорочных кителях;
Мы же, люди пожилые, –
Я и адмирал Унковский, –
Мудро курим на балконе,
Подливая в кофе ром.

20.I.1946

АТОМНАЯ БОМБА

В великолепном темно-синем небе
Вдруг появилась огненная точка
И вдруг невыносимо засияла,
Как тысяча, как десять тысяч солнц,
Она лавиной бешеного блеска
Пронизывала веки и ладони,
Она сожгла во всех глазах сетчатку,
И через миг по улицам, где взвыла
Внезапно разразившаяся буря,
Стотысячной толпою заметались
Забывшие себя самих слепцы,

И через миг – зной, топка, домна, лава
Дохнули на людей, и соки тел,
В газ превращаясь, разрывали ткани,
А дальше – ни вообразить нельзя,
Ни рассказать: тут солнце показаться
Могло бы шаром изо льда. Всё стало
Распадом, адом, бредом Сатаны.

Так люди в первый раз свели на землю
То, что таится в древнем сердце звезд!

20.II.1946

* * *

Окна распахнуты, спущены шторы;
Мрак, прорезаемый вдруг сквозняком;
Полдень влетает, и вносит просторы,
И обдает голубым кипятком.

Шахматный столик стоит в кабинете,
В партию Стейница впился отец;
Пахнет сигарой, и – резвые дети –
Мы не дождемся: когда же конец?

Туго набиты бельем чемоданы,
Гладок и свеж чесучовый пиджак;
Лошади поданы. В дальние страны
(То есть в Одессу) поедет чудак.

Едет без дела он – так, прокатиться,
Ветра, и моря, и дали глотнуть
В чудном бездельи; он – вольная птица,
Всюду ему – незаказанный путь.

Мягкий и толстый, из бархата свернут,
В гавани встал пароходный гудок.
Время!.. Садимся, – и кони как дернут;
И борода отвевается вбок...

Боже мой, боже мой!.. Всё это было,
Всё это было – и хинью пошло:
Где-то в Сибири отцова могила;
Да и меня уж к моей подвело!..

19.VI.1946

ГОРОД

Он лежит в кукурузных долах
У тревожных синих зыбей –
Город мужественных, веселых
И доверчивых людей.

Он гордится бронзовым Дюком,
Что на римлянина похож,
И песком по морским излукам,
И атласной обивкой лож.

Он гордится Морской Палатой
И Турецким Карантином,
И что Пушкин в нем жил когда-то,
И что Ризнич любила в нем;

Что в порту стоят броненосцы;
Что в тавернах до утра
Сицилийцы или родосцы
С громом резались в баккара;

Что в слободках звуки рояля
Можно слышать со всех сторон;
Что лавчонкам Пале-Рояля
Откликается Ланжерон.

Он воскресшей дышал Элладой,
С Гарибальди мечтать умел,
Он потемкинской канонадой
Точно Вагнером опьянел.

Он в неведении блаженном
Чудно портит любой язык:
Керосин зовет «фотоженом»
И «шаландой» шхуну и бриг...

И теперь, из бани кровавой
Выйдя вновь на ветер и свет,
Изъязвленный черной протравой,
Осиянный славой побед,

Пусть он будет как прежде свежим
Краснобаем и удальцом,
Чтобы шла по всем побережьям,
Как улыбка, молва о нем.

21.VI.1946

* * *

А в мире так скучно, и в небе так серо,
И слезы на окнах ничем не отру,
И каменный Демон над гробом Бодлера
Безропотно зябнет на мокром ветру.

10.VII.1946

* * *

Цветет акация. Безмолвие созвездий,
Безмолвие луны над миром голубым.
И мальчик с девочкой целуются в подъезде, –
И так им хорошо, так сумасшедше им.

17.IV.1947

СЕРГЕЮ ВЕКШИНСКОМУ

Два старых мальчика, два седых гимназиста,
Как бывало, вдвоем сидели и курили,
И облачный дымок скользил и плыл слоисто
В комнате, полной книг и нежной книжной пыли.

Плыл голубой дымок и клубился неверно,
В чашках чай остывал, но теплела беседа;
Два мальчика седых, два питомца Жюль-Верна,
Отыскивали путь средь мирового бреда.

Бремя тайны принес академик поэту:
В ладони он держал смерть и жизнь миллионов, –
И Верховным Судом, оправдавшим планету,
Два стали мальчика, душу друг другу тронув.

Огни за окнами горели, гул трамвая
Врывался в комнату, заглушая слово;
Был мир за окнами, и жил тот мир, не зная,
Что судьба его здесь – средь дымка голубого.

25.IX.1947

* * *

Глубокоуважаемый Василий
Михайлович
(тотчас прошу простить
Анжамбеман: я не жалел усилий,
Чтоб Ваше имя с отчеством вместить
В одну строку; увы! невыполнимо!).
Благодарю за лестный Ваш привет
И ценный дар, где каллиграф-поэт
Кружит стихи причудливее дыма.
Я сам (открою тайну) каллиграф:
Студентом я, весьма оголодав,
В гимназии, взыскуя пропитанья,
Преподавать рискнул… чистописанье.

Что вышло – *этой* тайны на духу
Я не открою. Но с тех пор, ей-богу,
Храню любовь к изящному штриху,
К свободному и плавному излогу.
И многое в хрустальных стансах тех,
Чей перевод Вы мне прислали щедро,
Созвучно мне, – хотя проникнуть в недра
Их тайных дум, им разрубить доспех
Едва ль я смог… Но в них – душа артиста,
В них бархат слив и яшмы холодок
И, в коготках короткосложных строк,
Трель соловья – из серебра и свиста!
Люблю стихи, где нужно *угадать*,
Где смысл идет струеньем соков тайных,
Самою вязью слов необычайных
Кладя неизгладимую печать…
Неделю я, в глуби ночных затиший,
Вникал в изгибы Ваших шестистиший,
Но все догадки были каждый раз
Бедней, чем Ваш гравюрный парафраз.
Так шла дуэль: секунда, прима, терца, –
И Вы иглою мне касались сердца,
Как шпагою; но в нем не боль; оно
Почтительною завистью полно!..
Но, без метафор и на самом деле:
Прекрасный, веский, четкий перевод,
И дактиля спокойные качели
Свершают свой уверенный полет.
Вы спросите: «Ни одного изъяна?»
Ни одного, пожалуй. Но притом
Мне бы хотелось пыль с меча Гань Цзяна
Смахнуть и свеять шелковым платком.
Быть может, я не прав, но я – невольник
Цезур и окончаний, и т. п.,
И «в круг попасть, проникнуть в наугольник»
На каждой бы хотелось мне стопе.
Со слухом в дружбе ль, с ритмами в контакте ль,
Но дактилем не любим сечь мы дактиль,
«Вопросником» не кончим полустих,

И если и «выстаивает» цапля,
То не в конце: нужна здесь хоть бы капля
Ударности, чтоб мерный стих не стих.
В другом ключе: мне с «Шерсткиным Иглою»
Встречаться не хотелось бы, не скрою;
Конечно, – русский я и патриот,
Но русский – в Китай-городе; в Китае ж
Охотнее китайца повидаешь:
Прекрасный и рачительный народ!
Еще пустяк: «мне прямо в нос» (хоть запах
Божественный), но нечто в этом есть,
Что вызывает мысль об эскулапах,
О пластырях, – а можно перевесть
Иначе: «в нос» заменим «в ноздри», дальше
«Мне бьет» – и всё. И ни малейшей фальши…
Всё это, несомненно, пустяки:
Во мне сидит редактор, слишком хмурый,
Давно привыкший скакуна строки
Подбадривать слегка акупунктурой.
Я говорю недаром «скакуна»:
Баранниковский «іанг» – одной оглобли
Заслуживает, по боку ли, в лоб ли;
Лишь скакуну – стрекала сталь нужна.

Вот всё.
Прошу – не на словах, на деле,
Хоть и в словах, – принять мою приязнь.
Жду отклика.
Скрывающий боязнь,
Но подлинно Вам преданный
Шенгели.

25.XI.1947

ВСЕВОЛОДУ РОЖДЕСТВЕНСКОМУ

Мне хорошо с тобою, друг,
Скитаться по *родным дорогам*
И различать в пейзаже строгом
Воронки дум и пепел мук.

Мир полон счастья был, как чаша,
И было что любить и петь, –
Но гром глотала юность наша,
И в горле оседала медь.

О, этот медный привкус крови
В любом дыханьи и глотке,
И холод в каждом позвонке,
И горько сдвинутые брови!

И всё же, всё же, всё же, всё ж, –
Пускай вокруг ревут стихии, –
Коль есть еще стихи такие,
Твои! – мир светел и хорош!

Уходит жизнь; родится книга.
Что ж – пусть! Молюсь я об одном:
Чтоб *золотым веретеном*
Последних дней кружилась дзыга.

31.XI.1947

ВСТРЕЧА

Vous revenez, seigneur, en votre capitale.
Hugo

В гробе сосновом останки блудницы.
Анухтин

Кони гремят за Тверскою заставой,
Давит булыгу дубовый полок:

Ящик, наполненный бронзовой славой,
Сотней пудов на ободья налег.

Пушкин вернулся в свой город престольный –
Вечным кумиром взойти на гранит,
Где безъязычный металл колокольный
Недозвучавшую песнь охранит.

Через неделю вскипят орифламмы,
Звезды и фраки склонятся к венцам,
Будут блистать адъютанты и дамы,
И Достоевский рванет по сердцам...

Кони гремят по бугристой дороге;
Вдруг остановка: подайся назад;
Наперерез – погребальные дроги,
Факельщик рваный, – «четвертый разряд».

Две-три старушки, и гробик – старушкин,
Ломкий приют от несчастий и скверн,
С тою, которой безумствовал Пушкин,
С бедной блудницею – Анною Керн.

Две-три старушки и попик убогий;
Восемьдесят измочаленных лет;
Нищая старость, и черные дроги;
Так повстречались Мечта и Поэт.

Но – повстречались!.. Безмолвье забвенья –
Как на измученный прах ни дави, –
Вспомнят мильоны о Чудном Мгновенье,
О Божестве, о Слезах, о Любви!

10.II.1948

СЕРГЕЮ МАЛАШКИНУ
Сонет-акростих с кодой

Седьмой десяток подступил к тебе,
Еще русоволосому и злому;
Рубцы годов – орнамент лишь к излому
Густых бровей, прихмуренных в борьбе.

Еще, внимая грому голубому,
Юнея словом, что «в начале бе»,
Мятежник мускулистый, – в лоб судьбе
Автограф свой ты мечешь, рифмой грому.

Люблю тебя как раз таким, как ты –
Анчаром добрым русской маяты,
Шумящим над простором несогретым.

Как ни реви железных лет прибой
И сколько б ты ни мучился при этом,
Но оставайся, друг, самим собой –

Упрямцем, любомудром и поэтом!

11.VII.1948

ОТВЕТ МАНДЕЛЬШТАМУ

Я пью за военные астры…
Осип Мандельштам

Мой Осип, мой старший товарищ! Немало мы пили с тобой –
И если не «асти спуманте», так пушкинский пунш голубой!

Зачем же ты пьешь в одиночку, зачем ты меня не позвал?
Мы б ночку с тобой скоротали, бокалом звеня о бокал.

И мы б сочетали той ночью, оставшись один на один,
Поэтов извечную распрю с высокою дружбой мужчин.

Ты знаешь: я очень податлив; ты знаешь терпимость мою:
Я каждую песню приемлю, за каждую музыку пью.

Созвездьям любым благодарен и чужд иерархии звезд,
Поднять за любое сиянье готов я восторженный тост.

За сливки, за астры, за шубу, за женщин, за грог, за хинин,
«За розу в кабине ролльс-ройса» я выпью с тобой – и один.

Но если над этою розой холодная курва сидит, –
То к черту «кабину ролльс-ройса»: да здравствует бог Динамит!

Но если в «колониях дальних» ребенка кладут наповал, –
То к дьяволу «спесь англичанок»: я пью за малайский кинжал!

Но если «военные астры» атомною бомбой цветут… –
Довольно об этом, Осип, не то мы поссоримся тут.

Ты прав, что кутил в одиночку: ведь «папского замка вино» –
С противнейшим привкусом крови. И ты это знаешь давно!

25.IX.1948

* * *

Невесомый балкон как мембрана над морем повис;
За спиною маяк распрямился как будто с разбегу;
Черный бархат прибоя уводит внимание вниз,
Черный веер норд-веста уносит его же на Вегу.

В парусиновой блузе свежо на полночном ветру;
Губы солоны; патлы стрекочут и плещутся в уши;
Мы с подружкой моей продолжаем немую игру, –
В черных безднах пространства навеки заблудшие души.

Хорошо и тревожно. А тут, за спиною, маяк,
И в огромной пластине хрустального ультрамарина
Сгустком пламени синего ровно пылает очаг:
Мирный свет морякам посылает огня сердцевина.

Мы же в безднах затеряны, поглощены темнотой;
Этой черной вселенной ни якоря нет, ни границы;
Только зону луча прорезают бакланы порой –
Буревестники счастья, громадные Синие Птицы.

26.IX.1948

* * *

Дождь прошел. Тугие тучи
Твердый ветер свеял вбок,
И разверзся в небе жгучий
Синевы блаженной клок.

В сад бежит девчонка. Где ж ей –
Дома киснуть? Как не так!
И в траве, как небо свежей,
Скользко чвакает башмак.

А уже воздушным змеем
Мы, большие, занялись
И гордимся, что умеем
Запустить китайца в высь.

И звенит льняная нитка,
Натянулась, как струна,
И по ней бумажка прытко
Ветром вверх унесена.

Вновь и вновь к тростинкам рамы
За листом взлетает лист:
Это – «богу телеграммы»
Шлет веселый гимназист.

Нить звенит легко и тонко;
Бог вверху, внизу трава;
Палец в рот, стоит девчонка, –
И в глазищах – синева!

26.IX.1948

* * *

Дом на Верхне-Митридатской;
В черной арке черный вход,
Точно «дверь пещеры адской»;
Кто там жил и кто живет?

Неуклонно окна слепы,
Тусклым глянцем залиты,
И огромных комнат склепы
Полны гулкой пустоты.

Рядом – кроткие домишки,
С солнцем дружные дворы,
Где священствуют мальчишки
В строгих таинствах игры.

Жизнь кругом. Соленый ветер;
Даль, лазурней женских слез;
Джефф – известный кошкам сеттер –
В тумбу тычет сочный нос.

Но иду проулком длинным,
А за мною, не дыша,
Веет холодом заспинным
Дома страшного душа.

27.IX.1948

МАРТИН ИДЕН

Спасибо, книга, и – прощай!
Ты в годы юности немало,
Когда кончался хлеб и чай,
Мне быть упорным помогала.

Когда плевался мокрый снег
В окно моей мансарды нищей,

Ты отгоняла сон от век,
Была мне топливом и пищей.

И радостно я спину гнул
Над схемами и словарями,
И в голове голодный гул
Напоминал мне: «будь упрямей!»

И – сделал я. Себя, строфу
И мир, где иволги и громы, –
И, взводом гвардии, в шкафу
Стоят мной созданные томы.

Я – сделал. Мой закончен путь.
Я стар. И вновь трещат морозы.
И ты – советуешь скользнуть
В иллюминатор «Марипозы»?

14.XI.1948

* * *

Я горестно люблю Сороковые годы.
Спокойно. Пушкин мертв. Жизнь как шоссе пряма.
Торчат шлагбаумы. И, камер-юнкер моды,
Брамбеус тратит блеск таланта и ума.

Одоевский дурит и варит эликсиры.
Чай пьют чиновники с ванильным сухарем.
И доживают век Прелесты и Плениры,
Чьи моськи жирные хрипят вдесятером.

Что делать, боже мой! Лампады богаделен –
И те едва чадят у замкнутых ворот.
Теснят Нахимова, и Лермонтов пристрелен,
И Достоевского взвели на эшафот.

Как поздним октябрем в душе буреет опаль
Листвы безжизненной, и моросит тоска...

Но будет, черт возьми, но грянет Севастополь
И подведет итог щепоткой мышьяка!

4.I.1949

ВОЗРАСТ

Две аккуратных круглых цифры 5,
Два ковшика, две раковинных створки,
Но уж не те, – что я привык хватать
За физику и за латынь, – пятерки.

В их ковшиках – столь горестный отстой,
В их раковинах – гул столь черной бездны,
В их сочетаньи – ужас столь простой,
Что все слова и слезы бесполезны.

Но, в каждой, в них – и острое ушко
Моей подруги, безысходно-милой,
Которую позвал я жить легко
И скоро должен обмануть могилой.

Что ей шепнуть? Что хоть и мой гранит
От жизни выветрился постепенно,
Но верю я: она меня простит –
Моя Тростинка, Нинка, Айсигена...

12.V.1949

СЕРГЕЮ ВЕКШИНСКОМУ
В ДЕНЬ 35-ЛЕТИЯ ОКОНЧАНИЯ НАМИ ГИМНАЗИИ

Quousque tandem… Uns… Zusammen…[1]
Бойль-Мариот… Июнь, жара…
Но вот последний сдан экзамен, –
И на свободе мы! Ура!

[1] До каких же пор… Мы… Вместе… (*лат.*, *нем.*).

Как вдохновенно и крылато
Слетела явью к нам мечта:
Пред гордым флагом аттестата
Жизнь распахнула ворота.

Всё можно: трубку вдвинуть в зубы,
Сбить на затылок синий блин
И обходить ночные клубы
С повадкой опытных мужчин,

Пустить в печать забавы Музы,
Смеясь критической грозе,
И сокрушать невинность лузы
Великолепным круазе!

Или немедленно в тетради
Начать по химии трактат
И с тихой гордостью во взгляде
Встречать курсисток робкий взгляд.

Или в собранье гарнизонном,
Под локоть комендантшу взяв,
Ей овевать лицо озоном
Ревнивых чувств и дерзких прав…

Мы были смелы, были глупы
Той чудной глупостью щенят,
Которым не встречались трупы
И неизвестны хлыст и яд.

Мы мнили теннисной ракеткой
Отбить удары всех мячей,
И отчий скепсис влагой едкой
Нам не мешал горланить «play!».

Насмешливые и простые,
Во влаге утренней росы,
Мы стали первыми в России
По-европейски брить усы.

Мы всё любили, знали много,
И жажда *делать* в нас жила,
И в гору трудная дорога
Такой желанною была.

Мы были смелы, были глупы
Священной глупостью солдат,
Что прут вслепую на уступы,
Когда кругом грохочет ад.

Ад – грохотал. Да! Мертвой хваткой
Бульдог эпохи впился в нас!
Тридцать пять лет минутой краткой
Прошли, – и скоро смертный час.

Где все, с которыми когда-то
Мы пили водку в этот день,
Под гордым флагом аттестата
Вкусив дозволенную лень?

В любых степях, в любых подвалах
Друзья до срока полегли,
И только двое нас, усталых,
Бредут в пожарищах земли.

Всех остальных загрызло Время,
Кровавый празднуя успех;
А неплохое было племя,
Пожалуй, лучшее из всех!..

Лишь мы с тобой вдвоем, дружище,
Сумели выстоять в аду;
И пусть за нами пепелище, –
Но ты пойдешь, и я пойду.

Не нам стоять! Нам делать надо
За всех, кто изнемог в пути,
И если нет на свете клада,
Должны мы клад изобрести.

Припомни, друг, былые дали!
И пусть нам плечи гнут года, –
Мы Молодости присягали
И не изменим никогда!

27–28.VI.1949

ОТВЕТ

АКРОСТИХ

«Еж! Ежка!» – переливный смех плескал,
Рука, дразня, мне волосы трепала,
А взгляд, лукавей дымного опала,
Ждал ускользнуть – как ящерка меж скал.

Еще щенок, я понимал так мало,
Не знал, куда стремит обоих шквал,
Еще робел, не смел, томился, ждал…
Меж тем эпоха гнула и ломала.

А там, глядишь, другая жизнь пошла,
Сломилось что-то. Годы и дела
Сместили мир. Я наглотался яда.

И всё – в былом. В неповторимом сне.
«Не надо встреч»? – быть может, и не надо.
Одно лишь надо: помнить о Весне.

20.VIII.194
Одесса

* * *

Это всё еще – «только так»,
Это всё еще – бивуак...
Не налажен письменный стол,
Не такую ручку добыл,
И не все трактаты прочел,
И не все словари купил.

А потом – на дворе зима
Или дьявольская жара;
И – от женщины без ума –
Не дотянешься до пера.
Вот закончится ледоход,
Вот поэма в печать пойдет,
Вот разок покажусь врачу,
Вот бессонницу полечу,
Вот в Туркмению полечу –
Улыбнуться опять лучу,
Вот пальто сошью по плечу,
Вот редактора проучу,
Вот директор авось помрет
Или так его черт возьмет...
Разве можно тут жить, в Москве,
С вечным дребезгом в голове?
Тут портянкой закрыт зенит,
Тут, как зуд, телефон звонит,
Тут, в чертогах библиотек,
Нужных книг не найдешь вовек,
А работать надо как вол,
А читатель прет на футбол.
Но не хнычь, не ной, подожди:
Вот промоют окно дожди,
Вот объявят войне войну,
Вот откроют стране страну,
И куплю я голландский шкап,
И достану шотландский драп,
И добуду пищу уму,
И весну проведу в Крыму.
Только это бы – а потом
Настоящую жизнь начнем!
Всё, что нынче, всё – «только так»,
Мимолетное, бивуак!
И не будем считать обид:
Это «так», на ходу, транзит.
Настоящая жизнь – потом:
Вольный труд и свободный дом;

Послезавтра – жизнь!..
А пока
Дайте адрес гробовщика.

30.XII.1949

* * *

Крепкий чай, холодная котлета,
Лампа золотая в 200 ватт,
Музыка с бульвара... Это – лето,
Тихий дом, уют, и мир, и лад.
Мягкий гром поваркивает где-то,
Точно травят якорный канат...

Никогда, – о! никогда вовеки
Вечеру такому не бывать!
Брось тереть натруженные веки,
Отложи «заветную тетрадь».
Все вольются – все вольются реки
В океан, в его слепую гладь!

9.I.1950

* * *

Это, видимо, смерть приходила –
Мутной кошкой на песьих ногах:
За порог осторожно ступила,
Точно делая выбор впотьмах.

Были тут и жена, и приятель;
Будний вечер, простой разговор;
Кошки не было: то на кровати
Легкой складкой замялся ковер,

И кроватная тонкая ножка
Напряженно продвинулась вкось;

В полутьме же – бесспорная кошка,
И сознанье испугом зажглось.

Дело в том, что в «семейных преданьях»,
В сердце детское вдунувших мглу,
Тот же морок при всех умираньях
Возникал под столом иль в углу.

Может быть, это древний наш тотем,
Благодатный спаситель от крыс.
Если так – поскорее воротим
Ускользнувшего друга! Кис-кис!

15.II.1950

* * *

Укрыться от лондонской дымки,
Повисшей в московском окне,
Забыть обезьяньи ужимки
Эпохи, смеющейся мне,
И с пыльных страниц «детектива»,
Вникая в нелепую суть
И бровь изгибая брезгливо,
Полпорции жизни глотнуть.

22.III.1950

* * *

Вечер душен, номер скучен;
Трудно в городе чужом;
Жаль, – не пью, к тоске приучен,
Жаль, – хмелею лишь с трудом.
А сейчас – «часы досуга»:
Оттабачил сотню строк,
И еще бежит упруго
В жилах ритменный поток.

Но чужому слову отдан
Стих, гранимый с юных лет,
И за горстку денег продан
В переводчики поэт.
За окном же кремль нерусский,
Башни мертвые над ним,
Черствой кирхи очерк узкий
Вколот в небо, в бледный дым.
А с эстрады над площадкой
Сквозь холодный фильтр ветвей
В слух мне льются мукой сладкой
Песни юности моей.
Мир иной напоминая,
Воскрешая мир иной,
Бьют мне в грудь волной Дуная,
Невозвратною волной.

15.VIII.1950

* * *

Вот взяли, Пушкин, вас и переставили...
В ночном дожде звенел металл, – не ямб ли
Скорбел, грозя? Нет! попросту поправили
Одну деталь в строительном ансамбле.

Я встретил эти похороны времени:
Я мимо пролетел в автомобиле;
Я грустных видел в озаренной темени,
Где молотами по бетону били...

На прежнем месте в сторону Урала вы
Глядели – в те безвыходные дали,
Где пасынки одной зари коралловой
«Во глубине сибирских руд» молчали.

Вам не пришлось поехать к ним: подалее
Отправил вас блистательный убийца.

Теперь – глядеть вам в сторону Италии,
Где бог-насмешник не дал вам родиться.

16.VIII.1950

* * *

Где-нибудь – белый на белой скале –
Крохотный домик в Еникале!..
Город в две улицы узким балконом
Выпятился над проливом зеленым;
Степь с трех сторон, а с четвертой – простор:
Ветер и зыбь, Киммерийский Босфор.
Здесь доживают в безмолвьи суровом
Площадь в булыжнике средневековом,
Замок турецкий и греческий храм,
И – старики... Хорошо бы и нам
Выискать белый, в проулке дремливом,
Крохотный домик над рыжим обрывом,
Стол под широким поставить окном,
Лампу зеленым покрыть колпаком,
Наглухо на ночь закладывать ставни,
Слушать норд-оста мотив стародавний,
Старые книги неспешно листать
И о Несбывшемся вновь поминать:
Очень подходит к томительной теме
Медленное – по-еникальски – время...

5.IX.1950

* * *

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг, но иной.

В. Ходасевич

Такой хороший, такой укатанный,
Такой лощеный внизу асфальт!
Гляжу с балкона, Москвой захватанный:
Что, если шмякнет о камень скальд?

(Для рифмы? Правда! Но что тут скверного?
Ведь мы и в жизни рифмуем так:
Натужным словом – для лада мерного,
Натужным делом – добыть пятак.)

Такой хороший, такой укатанный...
Мгновенье свиста, и мягко – шлеп!
И станет вольно душе, упрятанной
В пятипудовый телесный гроб.

Из всех падений одно – последнее –
Полетом будет, полетом ввысь!..
Но прочь с балкона: с подобной бреднею
Шалить опасно. Побережись.

19.IX.1950

* * *

Ужасный год!.. Хотя б одна строка
Прореяла по темно-бурым будням, –
Как молния, сгущенная полуднем,
Внезапно прорезает облака!

Весь год внимать нашептам, дрязгам, блудням,
На мир глядеть с ночного чердака,
Дать, чтоб в сиделки нанялась Тоска,
Забыть, что ртуть в родстве с гремучим студнем!

Нет, черт возьми! Ты призван жить еще!
Тебе ль клонить покорное плечо,
Когда морской дышать ты можешь далью.

Ты целый год эпохе задолжал,
Ну и плати – не золотом, так сталью;
Но помни: золот пушкинский «Кинжал»!

1.IX.1951

* * *

Свистит неделя за неделей,
И вновь уходит к черту год,
И сохлый шелест асфоделей
От книг листаемых плывет.

Готов к последнему ночлегу,
У ямы черной на краю,
Уже я не гляжу на Вегу,
На синеглазую мою.

Пускай она в созвездьи Лиры
К весне готовит хор Лирид
И, плавя бледные сапфиры,
С другим ребенком говорит.

Ей *он*, быть может, не изменит –
И недопетое мое
Для Афродиты песней вспенит,
Мне искупив небытие!

4.IX.1951

АННЕ АХМАТОВОЙ

Вам снился Блок, и молодость, и море,
И яхты легкой легкие крыла,
И Вы толчок ей дали – и в просторе
Она бесповоротно поплыла...
И грусть я видел в сером Вашем взоре,
Внимая Вам у чайного стола.

Я знаю сам двумерный, силуэтный
Мир сновидений, где неведом путь,
Где даже мертвых голоса приветны,
А чудеса нас не дивят ничуть...

И вправду, жаль в угрюмый час рассветный
С плеч этот плен, как пену, отряхнуть.

9.XI.1951

* * *

И снова – видение улиц горбатых
И раннего вечера с быстрым дождем...
Лиловый булыжник мерцает на скатах,
И в старой кофейне сидим мы и ждем.

Чего – неизвестно, кого – непонятно;
Быть может, – откинутой шторы в окне
В том доме напротив; быть может, – невнятно
Лепечущей песни о нежной волне;

Девчонки, быть может, с глазами как вишни,
На дальнем бульваре мелькнувшей вчера;
Иль попросту – радости, легкой и лишней,
Как эти, под летним дождем, вечера...

Никто нас не ждет, никуда нам не надо;
Мы тихо сидим, говоря ни о чем;
Но странной тревогой ночная прохлада
Встает и сгущается там, за плечом.

5.V.1952

* * *

Баркаса качается кузов
На колкой гребенке волны;
Горой бритолобых арбузов
Крутые обводы полны.
Мешок арнаутского хлеба
Под баком заботливо скрыт...

О, это внезапное небо
И в небо вонзенный бушприт.

5.V.1952

ГОДОВЩИНА

На одиннадцать лет хватило
Грома рыжего той зари,
Где лохматая вонь тротила
Прорычала душе: «замри!»

Да; сегодня, зарю встречая
Тем же холодом вдоль хребта,
Я дрожащую чашку чая
Еле-еле донес до рта.

Не от нервности иль озноба:
Просто *дела* рука ждала,
Просто выдержанная злоба
Снова голову подняла!

Да; сегодня, встав на рассвете,
Ожидая взрыва луча,
Вновь мечтал я о пистолете
И о должности палача!

22.VI.1952

СЕРГЕЮ МУЗАЛЕВСКОМУ
20 авг. 1952 г.

Точно вырублен в лабрадоре
Пустотелый и черный мир:
Отверделое – в блестках – море,
Отверделый – в звездах – эфир.

И в мерцающем этом гроте,
Предвещаньем вечного сна,

Замерла в беззвучной дремоте
Бездыханная тишина…

И в созвездьях, средь рун и литер,
Семицветной Капеллы гость,
Просверкал зубчатый Юпитер,
В море вбив серебряный гвоздь…

Мы с тобою, старик, немало
Повстречали морских ночей,
Но такая не обнимала
Вот такою игрой лучей,

И таким обаяньем дали,
И таким всепрощеньем тьмы…
Не на кладбищах ли видали
Лабрадор столь чудесный мы?

1.IX.1952

* * *

Я начинаю забывать стихи;
Так улетают из вольера птицы.
Видать, в душе не стало ни крохи
Для иволги, малиновки, синицы.

Да и зачем бы стали петь они?
Над стариком ли позабытым сжалясь?..
А всё ж я им не ставил западни;
Они в былом ко мне и так слетались.

6.IV.1953

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Здравствуй, год шестидесятый!
Здравствуй! Ты ль – убийца мой?
Чем удавишь? Гнойной ватой?
Тромбом? сепсисом? чумой?

Разом свалишь? Или болью
Изгрызешь хребет и грудь,
Не дозволив своевольно
Шнур на шее затянуть?

Но ведь я – из тех, кто вышел
В жизнь в 12-м году,
Кто в 14-м слышал
Мессу демонов в аду;

Кто в 17-м, в 30-м
Пел громам наперебой,
Не сдаваясь их раскатам,
Оставаясь сам собой;

Кто на крыше в 41-м
Строчкам вел – не бомбам – счет...
Так моим ли старым нервам
С дрожью твой встречать приход?

Подползай с удавкой, с ядом,
Дай работу лезвею, –
Не боюсь! Со смертью рядом
Я шагал всю жизнь мою!

2.V.1953

* * *

Когда-нибудь здесь чудный будет город, –
Такой, какой порою снится мне,
Где стрелками в лазурь воткнутся молы,
И улицы каскадами падут,

И на хребты взбегут фуникулеры,
И синий лес дубов и кипарисов
Сойдет с хребтов до сердца площадей,
И фонарей фарфоровые яйца
Разбрызнутся на разных расстояньях –
Так, чтоб и ночь могла меж них бродить,
И было бы куда на свет слетаться
Всем бражникам – крылатым и двуногим.
Огромные витрины засияют
Алмазами из бархатных футляров,
Револьверов голубоватой сталью,
И спектрами густых шелков и сукон,
И золотом коричневым сигар.

2.VI.1953

* * *

Ю.И.С.

Как владимирская вишня,
Сладким соком брызнут губы,
Если их моим тогдашним
Поцелуем раздавить;

И в ресницах мокко черным
Разольется взор бессонный,
Если их мои ресницы
Прежней дрожью опахнут...

Уберите этот снимок!
Без него тревог немало!..
Нам ведь вовсе не Былого,
Нам Несбывшегося жаль.

8.VII.1953

* * *

«С Дону выдачи нет!»
Хорошо в старину порешили!
Клином сходится свет, –
Но укрытье находится силе;
Есть надежде приют;
Есть исход и забвенье ошибке;
И отверженный люд
Может крылья расправить улыбке...
Но – минули века;
Нет нигде безвозвратного Дона;
И бродяга-тоска
Бесприютна, бездомна, – бездонна!

29.VIII.1953

* * *

Ах, вот как? Снова Deutschland über alles?
Ну, ладно! Значит, решено судьбой,
Чтоб немцы к черту, навсегда, убрались
И землю не поганили б собой.

Коль «über alles» – значит, снова в драку
Полезете, и вновь растопчут вас,
Но бешеную наконец собаку
Прикончить будет нужно в этот раз.

Всех истребить? Все 60 мильонов?
О, нет! зачем? Гуманней есть пути:
Лишь отделить тевтонок от тевтонов
И в разные районы развезти.

Брунгильды – те поедут к юкагирам,
К айносам, к алеутам и к хантам
И пусть родят, кормясь тюленьим жиром,
Приумножают населенье там.

Для Зигфридов найдутся патагонки,
Бушменки, готтентотки, папуа,
И пегие мальчонки и девчонки
Обогатят палитру естества.

Затем – приплод и тех, и тех отправить
Куда-нибудь подальше, вперекрёст,
К зулусам, к батокудам, и заставить
Плодиться вновь при свете южных звезд.

И то же сделать с третьим поколеньем,
С четвертым, с пятым… Через сотню лет
Мир, наконец, увидит с облегченьем,
Что дикарей – и тех, и этих – нет!

10.IX.1953

* * *

Черт его знает, как он это делал,
И что тут было: чудо, или фокус,
Или гипноз?.. Он заходил в харчевни,
В кофейни, в школы, в частные дома;
Войдет, промнется, поглядит налево,
Направо, тронет вещь какую-либо
И вдруг метнет, ладонь расправя, руку,
А на ладони – синий мотылек.

Громадный, синий, бархатный, бразильский!
Сидит и мерно сдваивает крылья;
Глаза мерцают; и спирально вьется
Пружинкой часовою хоботок;
Потом вспорхнет он и бесшумно реет
Сквозь дым табачный, сквозь надрывы джаза,
Сквозь мглу диктовки, сквозь шипенье ссоры, –
Как весть о небе, вечно голубом!

И у людей – косматых, толстых, рыжих,
Больных, упрямых, скучных и голодных, –

У всяких, кто ни есть, – в душе светлело,
Как в комнате, где вымыли окно,
И думалось, что наступает пасха,
Что ветер пахнет молодой травою,
Что можно тут же прыгнуть в легкий поезд
И загреметь куда-нибудь на юг!

А он, а этот фокусник бродячий,
С лукавою и доброю улыбкой,
Уже забыв о мотыльке, топтался
Меж столиков, диванов или парт;
Ему порой давали рюмку водки
Или сосиску на отломке хлеба,
Или просили не мешать урокам,
Или сажали чай с вареньем пить.

Он исчезал на долгие недели,
Потом опять куда-нибудь вторгался,
Опять ладонь вытягивал большую,
И возникали снова чудеса.
То на клеенке, вытертой и сальной,
Он быстрым жестом ставил дивный город
Величиною в торт, – и в колоннадах
Лежала тень и проходил Перикл;

То стряхивал он в миску суповую
Горсть лепестков невиданного цвета, –
И ромовая жженка полыхала,
И сам Языков песню заводил;
То бусынку меж пальцами катал он,
Подбрасывал, – и к потолочной лампе,
Как бы к Сатурну, золотые луны
Слетались: любоваться и кружить;

То он хватал из воздуха Киприду,
Не больше куклы, на газету ставил –
И пеною морской клубились буквы,
И вместо мути повседневных дел,
Убийств, процессов, сплетен, котировок,

Парламентских скандалов и рекламы
На мраморную красоту богини
Прохладою дышал ультрамарин.

А иногда, пошевелив рукою,
Приманивал к себе он ниоткуда
Голодную нагую обезьянку,
Дрожащую от стужи, – и она
Так мудро и беспомощно глядела
И так благодарила за бисквитик,
Что люди вновь стыдиться начинали
И вновь умели пожалеть людей.

А иногда невесть какой пилою
Он скрежетал по жести и смеялся,
И объяснял, что цель такой забавы
В том, чтоб заставить музыки искать.
Так он скитался. Жил он без прописки.
Он не платил ни податей, ни пошлин.
Был некрасив, бедно одет. – И звали
Его слегка насмешливо: «поэт».

30.IX.1953; 10.V.1955

* * *

Я не был там... Швейцария, Люцерн;
И крупный дождь по улицам горбатым,
И в снятой мной полупустой квартире
Прохлада, полутьма и тишина.
И я один. И я довольно молод.
И я еще не думаю о смерти,
И здесь я на коротком перепутье:
Потом поеду в Рим или в Париж,
Или еще куда-нибудь – неважно.
Мне хорошо, что будущего нет
И прошлое забыто на вокзале...

Себе гербом избрал бы якорь я
С обломанными навсегда клыками!..

30.IV.1955

СОН

Я в лодчонке плыву по холодной хрустальной реке;
Это, верно, Иртыш. А направо ступенчатый город
Низбегает к воде. И баркасы лежат на песке,
И на барке подплывшей скрипуче работает ворот.

А поодаль шумит аккуратно подстриженный сад,
И воздушное здание – замок Английского клуба –
Раздвигает листву; на веранде бильярды стоят
И зеленым сукном отражаются в зеркале дуба.

Там бывал я и знаю: там ряд ослепительных зал;
В синем бархате штор голубеют просторные окна;
Там звенит серебро; там пластронов сверкает крахмал
И сигарного дыма клубятся и тают волокна...

Там, наверно, отец... Бородой вороною струясь,
К «золотому столу» он садится, громадный и властный,
И мелок по сукну заплетает небрежную вязь,
И большая рука управляет колодой атласной...

Ах, туда бы, к отцу! Он придвинет мне теплый лафит;
Он расспросит меня; он мне денег без счета отвалит;
Все расписки мои он движеньем бровей устранит;
Мне он жизни вдохнет, – неисчерпною силою налит.

Всё он может!.. Одно лишь, одно недоступно ему:
Он не видит меня, уносимого светлой стремниной,
Равнодушной рекою, – куда-то, – в полярную тьму,
Из которой назад не вернулся еще ни единый.

26.VII. – 31.X.1955

КОРРОЗИЯ

Время цедя сквозь тысячи книг,
Что прочитал ты и вновь читаешь,
Так странно думать, что ты – старик
И ничего уже не ожидаешь.

И не всё ли равно, что сказал Платон
И какие глубины в интегралах Эйнштейна?
Вот на креслах – видишь? – протерся кретон,
И к обеду тебе не достали портвейна!

Да! большим негодяем был этот король!..
Да! в прелестной каретке ездила фея!..
Как хорошо, что зубную боль
Можно лечить отваром шалфея.

Нет, не волнуйся, никуда не спеши;
За окнами – дождик; тучи нависли...
О, это выветривание души,
О, эти промоины воли и мысли!

28.IX.1955

ПЕДАГОГИКА

Раз – топором! И стала рдяной плаха.
В опилки тупо ткнулась голова.
Казненный встал, дыша едва-едва,
И мяла спину судорога страха.

Лепечущую липкие слова
Ему швырнули голову с размаха,
И, вяло шевелясь, как черепаха,
Вновь на плечах она торчит, жива.

И с той поры, взбодрен таким уроком,
Он ходит и косит пугливым оком,
И шепчет всем: «теперь-то я – поэт!

Не ошибусь!» – И педагогов стая
Следит за ним. И ей он шлет привет,
С плеч голову рукой приподымая.

28.X.1955

* * *

Он знал их всех и видел всех почти:
Валерия, Андрея, Константина,
Максимильяна, Осипа, Бориса,
Ивана, Игоря, Сергея, Анну,
Владимира, Марину, Вячеслава
И Александра – небывалый хор,
Четырнадцатизвездное созвездье!..

Что за чудесный фейерверк имен!
Какую им победу отмечала
История? Не торжество ль Петра?
Не Третьего ли Рима становленье?
Не пир ли брачный Запада и русской
Огромной, всеобъемлющей души?

Он знал их всех. Он говорил о них
Своим ученикам неблагодарным,
А те, ему почтительно внимая,
Прикидывали: есть ли нынче спрос
На звездный блеск? и не вернее ль тусклость
Акафистов и гимнов заказных?

И он умолк. Оставил для себя
Воспоминанье о созвездье чудном,
Вовек неповторимом...
Был он стар
И грустен, как последний залп салюта.

8.XI.1955

* * *

Четыре года мне. Я наряжен в черкеску
И в шелковый бешмет. А ну-ка, посмотри,
Какие на груди сверкают газыри,
Как на кинжале чернь рисует арабеску!

Пусть братья дразнятся! Я мигом, им в отместку,
Кинжал вонзаю в стул – и раз, и два, и три, –
И – пополам клинок!.. И как тут ни ори,
А тащит бабушка меня за занавеску.

Не драть – переодеть: «Ну что за маскарад?..»
Но я реву. И тут ко мне подходит брат
И, сжалившись, меня на подоконник ставит:

«Гляди!» – И вижу там, где солнце дали плавит, –
Каких-то взгорий зыбь. И слышу в первый раз
Названье, ковкое и звонкое: «Кавказ».

12.XII.1955

* * *

«Это имя так знакомо»,
Им полна еще Москва:
Имя Брюсовского дома
На Мещанской, 32.

В годы чеховских безверий,
Рима строгий старожил,
Здесь великий наш Валерий
С пиеридами дружил.

В годы затхлого застоя,
Чуя в далях грозный шквал,
Мыслью мир грядущий строя,
Он в простор межзвездный звал.

Из глубин алмазы вырыв
Для тернового венца,
Правдой вечною кумиров
Обжигал он нам сердца.

Созидатель и учитель,
Кифаред и дровосек,
Точно храм свою обитель
Завещал он нам навек.

И когда туда приходим,
Грустной нежностью дыша,
Там не тлен, не прах находим, –
Там встречает нас душа.

Та душа, что неустанно
Дом живила, с ним жива,
Наша Жанна, «тетя Жанна»,
И-о-ан-на Брю-со-ва.

Та десятая камена,
Что с творцом, в руке рука,
Безоглядно, неотменно
Шла, безропотно-легка!

Секретарь, подруга, няня,
Исповедница, жена,
Шла по скалам, ноги раня,
Отреченно шла она.

И в кристаллах самоцветных,
Что Валерий огранил,
Сколько ею незаметных
И великих влито сил!

Нет такого междометья,
Что венцом бы стать могло, –
В день 80-летья
Увенчав ее чело!..

Имя Жанны, будь знакомо!
Слава Жанны, будь жива:
«Муза Брюсовского дома»
На Мещанской, 32.

15.II.1956

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРОЖЕКТ

Друзья, Леконт де Лиль и Мандельштам!
Всего лишь трое нас, «непогрешимых», –
Но почему бы нам не основать
Клуб Трех? Леконт, ты будешь председатель,
Ты, Осип, – казначей… нет, лучше я,
Я буду казначеем, ты же… Впрочем,
Зачем нам клуб? Давайте станем богом,
«Непогрешимостью» в трех лицах. Право!
Леконт де Лиль – отец, и от него
Рождается предвечно Мандельштам,
А я, Шенгели, исхожу предвечно
(Лишь Filioque – не по нраву мне!).
И будем мы втроем парить на небе,
Леконт де Лиль – ругая иудеев,
А Осип – искупая перед ним
Грех первородный Пастернака, – я же,
Я буду огненными языками
На Брюсовских студентов нисходить!
И никому до нас не будет дела:
От журналистики отделена
Поэзия, а «Леф» – он слишком тонок,
Чтоб до небес надменно вознести
Асеева интимное сиденье;
И только раз в году иль два, не больше,
Нам комсомольцы будут пасху править…
Ах, славно отдохнем тогда, друзья,
В бесславии божественном!.. Давайте?

23.IV.1924

* * *

Эван эвоэ! Кончился полет,
И вот, среди сконфуженных поэтов,
Крылами плещется Абрам Эрот,
Создатель эфротических сонетов.

<1924>

* * *

Пред заседанием Правленья
Я сочиняю триолет.
Но – ах! Какие впечатленья
Пред заседанием Правленья:
Здесь девы, полные томленья,
Пронзили взором мой колет.
Пред заседанием Правленья
Я сочиняю триолет.

15.II.1925

<POETAE – POETAE>[1]

Гомер

(Вновь открытый отрывок «Одиссеи», пер. Буланича-Сосновицкого, примечания академика Ломоярхоносова)

Грозно вкруг киля его зашумели пурпурные волны,
И мой корабль, обогнувши мыс Фернампикс, на котором
Бог Посейдон изваял согнувшейся женщины[1] чресла
Вида такого, как будто она собирает меж камней
Блох пышноногих, какие кусают под левое ухо
Псов благолепных и быстрых царя Сарыгольского Псина,
Псин же сей был меж царей наиболе железнодорожным[2],
Всякий же ведает, что на билет Синоплиха взымает
Десять процентов[1], корабль, огибая сей мыс лепокруглый,

[1] Поэты – поэту (*лат.*).

В гавань вошел, над которою яствотворитель Нарпитес
Пышнобранную скатерть постлал для лихих мореходов[4].
Тут, с корабля низойдя и тотчас онемевшие ноги
Ласково приголубив среди звездоострых колючек,
К терему ветховершинному, где свинопас богоравный
Макс свое стадо пасет возле гроба[5], легко подошли мы.
Старые сказки, что мамка седая Адалис когда-то[6]
Нам в колыбель наливала, действительной явью свершились.
Мы увидели сад, возлелеянный, зорко хранимый,
Уксусниц полный, и дерезы, и чертополоха,
И редчайшего дерева, что «не пущай» называют,
Или же просто «тащи» иль «держи»[7] краткословные мужи
Этой страны. Мы увидели место, в какое Гераклом
Сплавлены были конюшни царя, нареченного Авгий.
Счастливо мы помавали главами, что Зевс нас сподобил
Древлее чудо познать воочью, а также воноздрью.
Тут же случилось нежданное: перед нам свой показала
Дщерь Александра Галина. Закрыться мы поспешили
Кто щитом, кто забралом, а кто – просто кастрюлькой,
В кою хотелось в кухне набрать вожделенного супу[8];
Но в тот же миг антиперед она нам свой показала
И сказала: «Хи-хи, я всегда комильфо», и гипсом покрылась.
В этот же миг низвергся откуда-то сам богоравный[9].
Выя и плечи его громоздились, как те же Атланта
Или как мощного грузоподъятеля, юного Спиро,
Что в Русском обществе по три копейки за пуд получал бы,
Ноги ж его, как колонны стиль рюс у боярского дома,
Были одеты они в штанишки с удобным разрезом,
И бежала за ним, как за Гектором отпрыск Пелеев,
Нежнолюбимая сердцем Супруга и звонко кричала:
«Масинька, что же, куда же? ведь оспочку мы не привили,
И потом ты хотел тпруа[10]». Но вещал богоравный:
«Комнаты нет, мореходы, комнаты нет: всё набито,
Сядьте лучше вот здесь, – Тату, уступи – я прочту вам…[11]»

Комментарий:

1) Риторическая фигура: огнепоклонник за всё (парс про тото), так как по отчетам полиции нравов на мысу Фернампикс всегда торчит не менее тридцати женщин и ста дев. А впрочем, кто их разберет?

2) Это место должно внести колебание в место умов историков культуры.

3) Наглядное опровержение теории Ротшильдовича о зарождении банков в Лейдене. См. его труд «Лейденские банки».

4) Поэтическая гипербола. Нарпитес, как известно из Страбона и Геркуланума, отрицал само бытие скатертей.

5) Гроб – обычное убежище отшельников.

6) Преподаватель средней школы, дабы не смущать юношество, может это имя выпустить.

7) По терминологии Линнея: Хворостус Собачеус.

8) Опять гипербола. Нешто Олимпиада Никитишна даст пришельцу супу, когда оного и для нахлебников мало?

9) Совершенно непонятное место. Быть может, «гипс» метафорически (по принципу ретроспективной хромодифференциации) означает румянец стыда? Да-да, это наверное так. Эврика, банзай.

10) Тпруа – древний кровавый обычай. Смотри статью Курмамет-Отузы, Ихтиозавр де дэ монд, стр. 4711, строка 2 снизу, немного отступя вправо.

11) Тату – несомненно, имя жреца. См. орфографический словарь на букву Ж.

Языков

Разгулен, забыт и не прошен,
Стихом я влечу в торжество:
Да здравствует Макс Волошин
И ножка, и ручка его.

Михаил Кузмин

Как хорошо
На мальпосте старинном
Поехать в город
И выпить у Юры
Бузы густейшей,
А потом у фонтана
Поесть чебуреков,
Монумент созерцая,
Который вот-вот уронит
Бетонную глыбу
На пальцы ног.

Как хорошо
Получить по почте
Гонорар заслуженный
Из Мосполиграфа,
Уплатить портомое
И выкупить наконец
Парадную тогу,
Сиречь штаны.

Но еще лучше,
Поужинав в Нарпите
Вчерашней кефалью
В машинном масле,
Возвратиться домой,
В комнату, на которую
Есть уже 37 претендентов,
И, прочитав в сто первый раз
«Протопопа Аввакума»,
Сесть во гробе
И вскрыть вены,
И чтобы в щель
Светила заря,
Виднелась очередь,
И слышался голос Наташи
И поступь Макса,
Сторожащего посев у веранды.

Осип Мандельштам

Се киммерийская утаена тоска,
И кипарисная на небо пала клякса:
Я так боюсь холерного песка,
Синбада, Синопли и Макса.

Воркует ласточка. Овечий Авентин.
Куриный паланкин мне предлагает стужа.
В Пальмире северной желтуха сонатин
Бахромкой бархатной подвязывает мужа.

Вот горло сдавлено. Полночных мельниц ложь.
Торжественно руками воздух шаришь.
Аптека далеко. Прокашляйся, товарищ,
И рыбью косточку найдешь.

Ужель я оплачу, поддавшися злословью,
Всё то, что из ларька я в этот дом принес?
Я мармелад люблю, приникший к изголовью,
И Макса, крупного до слез.

Иван Рукавишников

В Коктебель черный
Пришел монах черный,
Глядит: Макс черный
Держит в руке свечу
И, походкою белой
Взойдя по лестнице белой,
Зажигает за дверью белой
Ярого воска свечу.

А внизу Тату рыжий
Мордой своей бесстыжей
Склонился над конской грыжей,
Похожей на свечу.
Ушел монах черный,
Зажав в руке черной
Взятую в дыре черной
Срамного вида свечу.

Владимир Маяковский

Что?
Тридцать лет справляете?
Именины – винцом? А?
А тридцать лет назад
Я
– Знаете? –
Кричал: уа.

Что?
Говорите:
Горилла измордилась?
Наплевать:
Маяковский я!
Что мне, что ваших стихов
Как норд лилась
Бронзовая струя?

Мой не-дядя
(Черт разберет их),
Мой – не-дядя
Не-честных
Не-правил
Ходил всю жизнь
В чужих ботах
И олово
Для двугривенных плавил.

Так неужели
Я
Тупым быдлом
Не рискну
Подражать ему,
Когда могу
Покрыть
Любой Бэдлам
Баритональным
– Му-у!

Мария Шкапская

Я понимаю. Мы все понимаем. Женщина женщину поймет без труда. Адам, как трудно. Зачем уступаем ночному мужу тогда и всегда?

Глядим в потолок, как в ночное небо, вкушая оплату освященных ласк. Я понимаю. Трудно мне бы было родить такого, как Макс.

Я бы лучше у петербургского порта отдала паровым лебедкам сгусток стихий, чтобы червонная кровь аборта запеклась в мучительные стихи.

~~Макс~~имилиан Кириенко

Шестикрылатая, четвероногая,
С вышкою ветхой, роскошно-убогая
Дача твоя, недостаточно строгая,
Карцером будет навеки твоим.
Тридцать лет мучусь тобой, нераскаянным.
Что потянуло назваться хозяином?
Шляться не стыдно ль беспаспортным Каином
По плоскогорьям с карманом пустым?
Я ли тебя не любил и не жаловал?
Я ли стопою твоей не раскалывал
Камни и овние черепа?
Я ль тебе не дал браду рыжекосмую,
Я ль не пожертвовал гриву волос мою,
Чтобы, дивясь, устрашалась толпа?
Я ль не снабдил тебя голосом велиим?
Складки на шее не я ли ущелием
Вывел, чтоб было чему багроветь?
Думал, что будешь ты в мире заплаканном
Честным, достойным скуфьи протодьяконом
И многолетие будешь греметь…
Нет, ты якшаться пошел с рифмоплетами,
С ними ты смел ночевать под воротами
В гнусном Паризии, в смрадной Москве.
Ты тридцать лет блудодеял сонетами,
Милями мерил терцеты, терцетами
Уши ты вымеряй на голове!
А на кормеж срамодейственных париев
Сколько извел ты прекрасных динариев?
Я не помилую, не отступлюсь,
Буду пиявить тебя формалистами,
Буду Главлитом щемить, коммунистами
Дом твой напхаю, как вещую Русь,

Буду держать тебя в страхе и трепете,
Рук вы моих ни за что не расцепите:
Буду горчишники класть на живот,
Лучших друзей напинаю коленкою,
Чтобы ты чувствовал, что с Кириенкою
В тридесять первый вступаешь ты год!

<VIII.1925>

* * *

Все экспортированы овцы,
В тревоге красные купцы, –
Но выдвигают напостовцы
Читателя на пост овцы.

<1927–1928>

* * *

Чтоб пушкинский пригладить бакен
И замолить мои грехи,
На смену мне придет Ревякин
Реветь и вякать про стихи.

<1929>

* * *

Вы говорите: Wiwimacher?
А нам такое слово – на хер?
У русских более ума:
Обходимся без wiwima.

<1931>

* * *

Блестит Academia! Там парад!
Там торжество перевода
Стихов, бумаги и денег притом
(План 34-го года).

Там переводчики собрались,
Румеровы гейноеды,
«Танцуя вперед и взад», твердят
Про творческие победы.

Здесь Лежнев, «пламёна очей воздев»,
С перепугу иль с перевала,
В уборную «ходит» (или – идет?
В том разницы видя мало).

Здесь и Тарловский (лицом – румян,
Инфантилен, точно инфанта)
«Живчиков юрких» пустил в тетрадь,
В этот кондом таланта.

Здесь Руставели – и дышит в ней
Ахматова и Столица,
И глухая провинция дышит притом,
Стараясь в Гейне пролиться.

И вот на эстраду выходит, как тигр,
Пеньковский Лев Минаич;
Талантом он «липов», умом «дубов»,
А трепетным сердцем – заяч.

«С присестом» он Румеру подает
Старого Гейне томы,
А Гейне, глянув в окно, подмигнул:
«Как странно: мы мало знакомы?»

Как будто «ветчинным омлетом» давясь,
Он воет трагическим ладом

Стихи, – а выслушав критику,
Обороняется задом.

«Присест» – залп! «Присест» – залп!
Без передышки! Разом!
И бедный критик посрамлен,
Став жертвой горчичным газам!

Вот что дала, поэзия,
Твоя роковая доктрина:
Каким бойцом мужчина стал
«Без рода и без чина».

А всё ж в кристаллы не превратить
Старую протоплазму!
(Так некогда Ульрих фон Гутенберг
Сказал Меланхтону Эразму.)

А Каменев, старый «седач», сидит,
Кожуристый как картофель,
И сладко слушает дряблый ритм,
Похожий на плеск пантофель.

И Гейне, опять в окно заглянув,
Поняв, что редактор – Румер,
Отпрянул, несчастный, и на десять лет
Для читателя нашего умер.

<1933>

ЗАМОК АЛЬМАНАХ

На рассвете поднявшись, пиджак натянул
Переводчик Бродский Давид
И уныло зевнул и уселся на стул,
Хоть исподний убор позабыт.

Позабыт сей убор: за спиной договор, –
Перевод в двести тысяч строк;

Но лежит в стороне переводный топор,
Хоть давно уж просрочен срок.

И могучий Давид перманентно сидит,
До полудня сидит он с утра,
Но лишь полдень пробьет – в руки брюки берет,
Надевает и прочь со двора.

Он не с Маркишем грозным бороться спешит,
Не Гофштейна повергнуть во прах, –
Пред могучим, в мечте, возникает, царит,
Новый замок манит – Альманах.

В этом замке жила, в этом замке была
Молодая его госпожа,
Точно строчка стройна, точно ставка скромна,
Как Парнах (извините!) рыжа.

Там в ущельях скалистых король Накоряк
Тайных кладов зарыл без числа,
И туда собираются тучи бродяг
Безо всякого рукомесла.

В этих мирных ущельях не нужно в борьбе
Мозговой напрягать полушар:
Только жилу нащупать, и сразу тебе
Точно ключ забурлит гонорар.

Но с тех пор, как в скалах поднялся Альманах
С молодой госпожою внутри,
Этот мирный народ только в замок и прет,
В два часа заходя раза три.

Ведь и там гонорар, но с прибавкою чар,
С премиальными смеха и глаз.
(Я и сам там бывал, трех редакций вассал,
Но об этом – молчи, мой рассказ.)

Да, сходилась туда трубадуров орда, –
Бугаевский был, костная боль,
Сема Липкин, упырь, Талов Марк, нетопырь,
Марк Тарловский, ушная мозоль.

И порой госпожа, мелодично взвизжа,
Выставляла героев за дверь
И садилась, без слов, за семь смертных стихов,
Где царапалась рифма, как зверь.

Имя Дина ей феи снесли в колыбель
(В паспорт нечего лезть, грубиян!),
Эта Дина, как льдина, хладела досель,
Хоть пожаром был всяк обуян.

Всё ж за дверью, у моста немало толклось
Трубадуров и прочей шпаны,
Тут Давид проницал их скопленья насквозь,
Как игла проницает штаны.

Тут могучий Давид, родовит, плодовит, –
Хоть и мало стихов наплодил, –
В грубошерстых штанах, как монах, в Альманах
Стопудовой стопой проходил.

Вдохновенно-сутул, он садился на стул,
Говорил он, что ямб – это вещь,
И при этом краснел, и пыхтел, и потел,
Точно отрок, заброшенный в пещь.

Говорил: я силен, говорил: я умен,
Говорил: я умею спрягать;
Говорил: я один на земле семьянин,
Ой, какая ж вы будете мать!

Но положено людям в их скорбной судьбе,
Их обвившей как мощный боа, –
Что проблеять любому приходится «бе»,
Кто осмелился вымолвить «а».

Да, положено людям в их скорбной судьбе,
Окружающей их как боа, –
Что уж если кто вынужден молвить «бебе»,
Тот обязан прибавить «а-а».

Перспективой такой усладив свой кумир,
Проспрягав, просклоняв, приманув,
Уходил он сияя, а вслед, как зефир,
Раздавалось хрустальное «уф».

Трубадуры бряцали на грозном мосту,
Трубадуры гремели во мгле, –
А уж в замок стучал на маху, на лету
Граф Пирал, проскользнув по скале.

Он не очень Поддубный, чтоб Лурих – так нет,
Перед ним и Давид – Голиаф,
Но он взял в лотерею счастливый билет,
Ни единожды не проспрягав.

Этот хитрый Пирал не зевал – напирал,
Переводы слагая на стол,
И сокровище замка спокойно забрал
И на имя свое перевел.

Вот вбегает Давид – мелинит, динамит! –
И за шиворот Липкина – цоп!
«Слушай, Сема, мой паж, брось излишний трепаж
И скажи – неужели мне гроб?» –

«Уй, пусть будет для нас беспросветный Манас,
Если вам я, Давидчик, совру.
Граф Пирал не зевал, он-таки напирал.
Не давите, а то я умру.

Эта Дина – не льдина: не так холодна.
Я прошу: не давите, Давид,
Что вам нужно? Идите: там есть Колчина,
Что на вас как на пряник глядит.

Ах, пусть будет для вас утешеньем “Манас”,
Заключайте скорей договор.
Граф Пирал – он под носом у вас напирал
И конечно – дурак он? – упер!»

И поплелся Давид, не спрягая, без слов,
И висел за могучей спиной,
Не готов, не готов, не готов, не готов, не готов,
Перевод двадцатипудовой.

Опустел старый замок, заглох Альманах
(Ну и черт с ним, – я в скобках скажу),
Но зато мы встречаем в приличных домах
Молодую его госпожу.

<1939>

НА МАЯКОВСКОГО

«Изучение мозга М<аяковско>го»
статья в «Извест<иях>»

И лоб велик, и мозгу много,
А творчество? Ну сплошь «эклога».

И мозгу много,
И лоб велик,
А всё ж убого
Писал старик.

И лоб велик, и много мозгу,
Но жаль, что мать презрела розгу.

<I.1941>

* * *

Не смейтесь, милочка, прикройте лучше лик, –
Немедля будет истина открыта!
Лишь дважды Дон-Жуан успеха не достиг:
У бляди в отпуску и у гермафродита.

12.I.1941

ВАЛЕНТИНУ КАТАЕВУ

который 20 лет назад, как я узнал только сейчас, написал на моей книжке «Изразец»: «Я глупостей не чтец, а пуще изразцовых»

Твоя уклончивость меня не удивила:
Ты чтец инвентарей в кладовках Радзивилла.

или:

Твоя цитата здесь меня не удивила:
Ты ведь цитируешь и в замках Радзивилла.

12.I.1942

* * *

Всех москвичей томит вопрос чертовский:
Ужель за качеством меняют надпись вдруг?
Талантливо – «Корней Чуковский»,
Бездарновато – «Корнейчук»!

23.II.1945

* * *

«Много на свете есть, мой друг, горячее!» – как сказал
Грустный еврей, прочтя меню у входа в трактирный зал…
Много на свете вкусного есть, дразнящего аппетит,
Что хорошо бы запечь в стихи, в четкий облечь петит.
Но очень острые блюда есть, от которых во рту печет,
И очень большой подают потом, порой неоплатный счет.

У Чехова где-то повар есть, какой не ел никогда
Того, что готовил сам: считал, что гадость – его еда;
А был такой стиховой гурман, какой стихи писал,
Сам набирал их, печатал сам, больной мечты вассал,
Ну и, конечно, сам их читал (должно быть, он был басист
От уважения к себе, – практический солипсист!).
Но мне не нужно ни то, ни то: я сам отведаю блюд,
Состряпанных мною, и накормлю охочий до пищи люд.
Пускай потом во рту печет, пускай неоплатен счет, –
Я повинюсь, а голову меч повинную не сечет.
А если и сечет иногда, так черт его побери:
Лучше погибнуть от меча, чем от «бери-бери».
А верно: не худо вволю поесть; подтянуло у всех живот;
На пище святого Кирсания мир долго не проживет.
И тюрею тоже не будешь сыт, какою прельщает глаз
Еев-поэт, тридцать пять лет срамящий титул «асс».
Сельвинский крупчатки лучшей взял, не пожалел желтков,
Влил рому и сахару навалил – мраморных сто кусков,
Но село тесто его в печи, с «закалом» его куличи:
На них навалишься, а потом неделю брюхо лечи.
Еще зазывали в свой трактир, внушительны и грозны,
Штук пять поэтических мортир, заряжающихся с казны,
Но когда заревела и впрямь война, их в Чистополь всех свезли:
Ведь сказано: «бога не искушай и бомбу лучше не зли».
Отныне вовек лаврового им не получить венка:
Прямая кишка чересчур пряма, а толстая – страх тонка.
Ах, правда! Еще Ахматова есть – «Анна всея Руси»;
Склонись перед нею, шляпу долой, но ни о чем не проси:
«У разлюбленных просьб не бывает» ведь, а нас давно она
Всех разлюбила, своей тоской безысходно окружена.
«Над веком серебряным месяц встал серебряный» у нее,
«Мертвая хвоя от похорон» украшает ее жилье;
А я еще намерен жить, намерен любить стремглав,
И некогда мне листать листы давно прочитанных глав.
Еще Антокольский; прозрачный звук, но голову не кружит,
И верен компас в его груди, но стрелка его – дрожит.
«А этот, – скажешь ты, – а он…» – Я понял тебя, молчи!
Ужасная штука – сахарин, введенный в кислые щи!

Нет! Именем я таким стихи мои не оскверню,
Хоть мог бы строкой подарить ему бессмертие на корню!..
Ну и трактиры! Тускло, темно; пустые стойки у стен;
Зовешь «человека» – нет его, а я же – не Диоген!
Глаза привыкнут ко тьме, глядишь: глазеют из уголков
Ущипкин, Пимперле, Паршак, Навойнякина, Нахалков.
Ну вот и всё; о ком говорить? нет ни души кругом,
И нечего есть (от кашля он – пастернаковский бульдегом).
А надо бы бифштекс подать с драгунское седло, –
Чтоб жаром дышало, соком чтоб брызгало и текло,
Картошки гору нажарить к нему, хрустящей и золотой,
И рядом чтобы бочонок стоял, портером налитой.
Теперь не сочельник: нам ли ждать запаздывающей звезды?
Грубая, может быть, еда, – но дайте такой еды!
И будем блаженствовать!.. Впрочем, вам блаженство и так дано:
Как нищие духом – блаженны вы, и довольно уже давно;
А я ведь тоже блажен… как муж, милующий скоты,
И потому пощадит мой хлыст гибкие ваши хребты…
Ну вот, Александра Петровна! Вы – хмуритесь на меня,
Голубиной кротости Вашей вдруг решительно изменя!
За что же? Я ли в том виноват, что вижу вместо коллег
Набившуюся в инвалидный дом коллекцию калек?
Игорь, Валерий, Андрей, Вячеслав, Осип, Максимильян, –
С ними я пил токай и фалерн, с ними курил кальян,
И далей средиземных явь и Атлантиды сон
Мне сыпали свои жемчуга, развертывали виссон…
«И только?» – спросите Вы. – О, нет! Но нужны тысячи строк
Для всех симпозионов моих за долгий жизненный срок!
А теперь я стою как некий Вий, железным застыв лицом,
«Поднимите мне веки!» – хочу кричать, но залито горло свинцом;
И мертвая панночка спит в гробу… Но, впрочем, что же я
Метафорами пугаю Вас, чужую сказку жуя?..
Я ведь поэму хотел писать, веселую, черт возьми,
А развел нытье – на скольких строках! На семидесяти восьми!

27.III.1945

* * *

После Кумача
Напишу сплеча:
С песней хорошо шагать по миру,
Но неплохо также спрятать лиру
В дружественный тепленький архив;
Начал… и не кончу… Еле жив…

22.IX.1946

О ЧУКОВСКОМ

Едва взойдет звезда, тотчас на горизонт
Он вылупит критические бельма;
Бальмонта он назвал «Шельмонт»;
Простим ему: ведь сам он только шельма.

28.II.1949

СТИХИ ЩИПАЧЕВА

Откупорил я черное чернило,
Но почему-то – бурое оно;
Не у людей лишь убывает сила,
Не только людям выцветать дано!

*

Доверчиво склонить прошу ко мне плечо,
Я истину шепну вам, не взыщите:
Не только родина (иль что-нибудь еще) –
И диссертация нуждается в защите!

*

Как трудно поэту! Он в бурях живет:
Так много трамваев мятется в просторе.

Лишь истина – сердцу надежный оплот.
Да! Рона впадает в Балтийское море!

*

Вон дуб; на нем могла б сидеть ворона,
Приподымая черный лоб;
Но не сидит. В чем суть закона?
Не всё бывает, что могло б!

*

Повсюду я сбираю знанья крохи
И равновесье вижу на земле:
Порой бывает журавель в горохе,
Порой горох бывает в журавле!

*

На девушке женился я, но странно:
Чрез миг она не девушка уже.
Увы, как в мире всё непостоянно:
За буквой Д немедля буква Ж!

*

Я должен вам, друзья, сказать с печалью:
Мир полон тайны и греха. Как жаль!
Порой бывает дама под вуалью,
Порой лежит под дамою вуаль!

<III–VI.1949>

НЕОКОНЧЕННОЕ

* * *

Шумный истаял день. Но и ночь не дает мне покоя:
Глыбою синего льда тяжко прильнула к окну
И миллиардом пудов нависает в пустое пространство, –
Вот накренился Пегас, и запрокинут Орел.

<25.VIII.1920>

* * *

Ветр медленный качнул на крыльях полотно,
Крестообразная на травах тень играет,
Скрипит упорный вал и мягко растирает
Под серым жерновом янтарное зерно.

<I.1921>

* * *

И древним буйством сладострастья
Он полн, кипя и трепеща, –
И, точно Пушкин, слово «счастье»
Он начинает с буквы Щ.

20.I.1921

* * *

В ковровой комнате, клонясь над блюдом впалым
С халвою пенковой, с рахатлокумом алым,
Мы провожали день и слушали Рион –
Его рассыпчатый, его зернистый звон.

И как всегда-всегда желанья нас томили
Найти сравнение для этой сладкой были.
Стеклянных голубей мы называли вдруг,
Звоночков елочных припоминали звук…
И глядя за окно на дальний пик трегранный,
Еще играющий в < > зари багряной,
Мы называли все гранитный Матергорн –
Ветров прибежище и горних молний горн

20.I.1921

* * *

Пора, пора! Сквозняк времен гудит,
И синие, как ворон, тучи
Смыкаются в необоримый щит
И сыпят молнией колючей…

Уже не раз сгущалась над землей
Гроза, – но проносилась мимо,
Плеснув в глаза холонущей золой
Разбитых жертвенников Рима;

Проливши вопль Мурадовой трубы
На тихих клиросах Софии

15.IV.1921

* * *

Окно пришлось закрыть. Там голубой мукою
Даль осыпается над черною водою;
Не прекращается крутой зернистый гром;
Дождь свищет по саду и бьется в гулкий дом.
Я в нем один. Не сплю. Былая жуть проснулась:
Ночь воробьиная так страстно развернулась,
Стихийным ужасом и светами полна.

<1921>

* * *

Вдалеке прозвенел и пропал тарантас голубой,
Поднялись над горой ветряков голубые снежинки;
Кто поверит, что здесь развернулся решительный бой,
Что две армии здесь поднялись на дыбы в поединке?

Старый Фридрих, затянутый грубым зеленым сукном,
Подвигался вперед, громыхая ботфортом железным,
Налетал на него Пугачев, и веселым огнем
Жадно льнула земля к беспредельным лазоревым безднам.

Победил старый Фриц. Пугачев отошел и пропал,

<1921>

* * *

О поиски алмазных слов,
Необходимых, непреложных!..
Какая мука: в снах тревожных
Бродить у топких берегов!
Звенит весенняя река,
Цукатные ломая льдины,
И низвергается с плотины
Невыразимая тоска.
Густые мутные струи,
Неявственны, неотличимы,
Сбегают, мчатся, – мимо, мимо! –
Как мысли мутные мои.
Не прояснить, не закрепить
Певучей силы ледохода, –
Безудержная рвет свобода
Струны < > нить.
Нет музыки. Нет ясных слов

<III.1922>

* * *

Тончайшею нитью, воздушным шарлаховым шелком
Я желтую замшу, бесшумную замшу сшиваю.
О нет, – не перчаточник я: неумелым иголкам
Я эту пластинку, ненужный квадрат, подставляю.

То ладанка? – Нет: кошелек. Я продерну бечевки
Вощеный обрезок, как проволока непокорный,
Сомкну кошелек, и червонец в нем, звонкий и ковкий,

<VI.1922>

* * *

Оловянный жемчуг на руке –
Водяной пузырь, ожог;
Наливаться б жемчугом в тоске,
Если б знал как, если б мог.
Вплоть приткнулась к плоти головня,
Конский волос в позвоночник – боль,

<VII.1922>

* * *

Столовая. Висит гробок
Дубовый, медный и стеклянный:
Там древоточец неустанный,
Спеша, отмеривает срок.
И света вялого картонка
Над серединою стола,
И плащаницею клеенка
< > легла

<VII.1922>

* * *

Ты сравниваешь? – Сравнивай! Быть может,
Я хуже их. Но, значит, ты лгала,
Когда шептала, что тебя тревожит
Апрельская моих порывов мгла,
Что лишь моя любовь тебя стреножит,
Что лишь она тебе стальные вложит
И повелительные удила.

Лгала? – Пусть так. Но, значит, не посмела

<X.1922>

ВЕРФЬ

Широким пролетом проломанный дом,
Соленый сквозняк пролетает в пролом,
И, остов китовый, ребристое судно
Под куполом выгнулось грузно и трудно,
И купол прохладой налит смоляной,
Морскою отрадой в сияющий зной.

<1923>

* * *

Был ледоход, и у моста затор
С великолепным хряском кувыркался,
Пласт ледяной на сваи лез в упор,
Вставал и навзничь падал, и ломался.

Издалека, оттуда, где закат
Пороховые дымы окровавил,
Гул взрывов, мерный, непрерывный лад,
Разгул весны и буйство влаги славил.

Я на мосту. Лишь полчаса тому
Я был прощен прощальным поцелуем,

Освобожден совсем, – но почему
Теперь стою, такой тоской волнуем?

А, знаю:

<1924>

* * *

Никогда я не умел, –
А мечтал всю жизнь об этом, –
Ровным быть, как лунный мел
Строгих улиц белым летом.

По дворцам твоим пустым
Я тоскую издалека,
Облаченный в медный дым
Город Пушкина и Блока!..

В наших малых городках,
Не по-русски накаленных,
Слишком милый древний прах
На разбитых лег колоннах.

<1924>

* * *

Голубым башлыком он закутал лицо,
Он верблюжью черкеску надел,
Обратил он к ладони гранатом кольцо
И на острый кинжал поглядел.

Дверь он запер на ключ, на двойной поворот:
Он один, – до утра он один,
И мечта расправляет широкий полет
Над равниною скучных годин.

И русалка плывет по реке голубой,
Озаряема полной луной,
И гранат

<1924>

ORIENTALIA

Прохладно спадает вдоль низкого ложа
Скрипучая и золотая рогожа,
И душно дымит наргиле.
Скрипичным кораном расписаны стены,
Черкесская стража не знает измены,
И сабли блистают во мгле.

И он, восемнадцатый сын падишаха,
Пчелиной кольчугой укрытый от страха,
Рожденьем от трона укрыт,
Спокойно качаясь на легкой постели,
Персидские шепчет и точит газели

<1925>

* * *

Ломкой ты стала, как лист иссушенный, душа,
Праздно по темным и пыльным дорогам шурша.
Сколько уже угловатых продавлин в тебе,
Смятой в ненужной, заране ненужной борьбе.

<1926>

* * *

Семь дней недели. За звеном звено.
Рука покорна тяжкому запястью.
Наручники – чужою чьей-то властью
Мне волочить до гроба суждено.

<IX–X. 1926>

* * *

Я отыскал обрывки старых фильм, –
Черт знает, кто, когда и где их ставил, –
В них разбираться – лучше я повешусь,
Да и не стоит публика того.
Взял их, слепил, насвистывая песню,
Похлопывая, между делом, пса
(Он очень славный черный пес, мой Ворон,
Два фунта мяса каждый день съедает,
Зато и гладок, точно Маяковский,
На той неделе я его женю,
Щенята будут, тявкать будут, – славно)…
Да, значит, фильмы я слепил в одну,
Шесть тысяч метров, – ну точь-в-точь керенки,
Кой-что и вверх ногами припаялось, –
Свернул катушкой, запихал в жестянку, –
И вот уже толпой гудит кино,
Летит в экран пульверизатор света, –
Жужжит дуга, трещит зубцом катушка,
Пошло! – Не понимай, таращь глаза,
Не всё ль равно? За свой за четвертак
Получишь ты…

Рип Ван Уинкль проснулся,
Продрал глаза, сел и заскреб в затылке,
Пред ним (должно быть, «Аэлиты» клок)
Не та деревня, где когда-то он
Заснул, не городок, куда, бывало,
Возил он молоко, – а что-то вроде
(Ей-богу) электрического кресла:
Тут изолятор, там стеклянный столбик,
Тут никелевая перевертушка,
Там провод, там и провода не видно,
А радио летит, а там турбина,
Вагранка, бессемер, опять турбина,
Мажето, фрезер-метчик, примус, плуй,
И вообще технический прогресс,
Как из журнала: «Я хочу всё знать».

Весь воздух полон. А кругом дворцы,
Колонны, башни, кооперативы,

<1926–1927>

* * *

Всё что угодно! Яду в вино,
Толченого стекла в бисквит,
Донос Трибуналу, выстрел в окно,
Всё что угодно, – но буду квит.

<1927–1928>

* * *

О, придворная кисть богомазов!
Погляди, старина, погляди,
Как размазано масло алмазов
На крупитчатых булках груди.

Погляди в это мудрое свинство,
В благосклонное олово глаз

<1927–1928>

* * *

Который лимб я прохожу теперь?
Куда исчез внимательный Виргилий?
Айдесская давно закрыта дверь.

Мне внятен плеск нетопыриных крылий,
И я хочу взнуздать нетопыря,
Чтобы взлететь над ужасами былей,

Чтобы всю ночь, пока блеснет заря,
Грузить крылом предателю и вору,
Над головой < > паря

<1927–1928>

* * *

Звук имени, и пальцы рук, и брови
До спазмы сердца ненавистны мне…
Я ненависть уже гашу в вине,
Но и вино бывает цвета крови.

<1927–1928>

* * *

Они давно уже скучают –
Тетради белые листы,
Уже давно не отвечают
Мне по-приятельски на «ты».
Их забываю на недели
И скучным холодом стеснен

<1927–1928>

* * *

Мне каждой ночью внятен зов,
Слова, как скрип весла простые, –
И вспоминаю голубой Азов
И лукоморья золотые.
На камне радужном, тринадцать лет назад,
Я мерил зной арбузом сочным,
И ничего не ждавший взгляд
Склонялся к берегу, к его часам песочным.
Да, эти солнечно-песочные часы,
Где золотой песок тень мерит голубая

<1927–1928>

* * *

Когда с товарищем ленивый разговор
Вдруг превращается в неукротимый спор,

Когда сквозь быстрый дым бессменной папиросы
Ведут на штурм тебя проклятые вопросы,
Когда во фланг и в лоб готов тебе удар, –
Тогда ты чувствуешь совсем особый жар,
Тогда ты чувствуешь, как воскресают годы
Не литераторской – студенческой свободы,
И смело можешь ты, порезавшись сейчас,
Прийти к профессору второй и третий раз.

<1927–1928>

* * *

Бодлер и нищета – вот всё, что нужно мне,
Чтобы печальную себе вернуть свободу,
Чтоб хриплым циником валандаться на дне
И синим воздухом гнилую видеть воду.

Прочь библио́теки, – коллекторы вранья,
Цистерны глупости

———

С торговым домом Жизнь покончены дела,
Коль скоро фирма Смерть текущий счет откроет.
Нет у меня двора, нет у меня кола:
Хозяином не быть, а упырем не стоит.

<1930>

* * *

И на закате с разбега
Канут дневные труды
В блюдечко черного снега
С ложечкой сладкой воды.

<1931>

* * *

Вдоль рощи дорога, вдоль рощи ограда,
Коттеджи, сверканье вечерних террас…
Кто знает, как мало порою мне надо:
Вот здесь посидеть бы единственный раз.

О нет – не заброшенность, даже не старость

16.VI.1936

* * *

Собака обняла меня,
Обнюхала и улыбнулась,
И небо золотого дня
В глазах коричневых качнулось.
А ведь слывет свирепым пес,
Цепным буяном, недотрогой

16.VI.1936

* * *

Из утлых дранок и холста,
С колючим запахом олифы,
Как математика проста
И обаятельна как мифы,
Четыре сажени длиной
И высотою два аршина, –
Стояла на траве машина,
Звеня о ветерок степной.
В нее уверенно и плотно,
Как в ванну, человек шагнул,
Сигару кислую швырнул,
Рычаг зажал, качнул полотна,
Кивнул – и завертелся вдруг,
С каким-то позвоночным треском,

Весь трепеща столярным блеском,
Как марево прозрачный круг.
Летун кивнул опять; солдаты
Враз отпустили хвост прижатый;
Рванулась легкая, бежит
И отделяется, и, тая,
Взмывает в небо, и кружит
Так невесомо-золотая.
Но гул всё гуще в синеве
(Прошло едва ли две минуты), –
Всё ближе крыльев розмах гнутый,
И, вся еще дрожа от смуты,
Скользит машина по траве.
Стоп!.. Загремели тушем трубы
Аплодисменты заглуша…
Мы шли. Мы стискивали зубы.
Надсадой сладкою душа
Сочилась, – будто бы впервые
Отведать женщину пришлось:
Мы шли, мы знали

18.IV.1937

* * *

Я вошел в застекленную рубку
Легкой яхты из звонкой ольхи,
Я припал к опененному кубку,
Опьяненно глотая стихи.
Вдалеке канонада гремела
Или шла, оступаясь, гроза, –
А с лица из янтарного мела
Мне в глаза проникали глаза.
В глубине их, топазово-карей,
Небывалые звезды вились, –
Будто южных небес планетарий
Развернул златотканую высь.
Небывалое теплое диво,
Нескончаемо-звездные сны

Мчали сердце на зыби прилива
Сквозь дыханье ольхи и сосны.
И когда подымал я ресницы,
Грубо рубленный синий ледок
Не с Медведицыной колесницы –
С Ориона студил мне зрачок.
Но опять – прирученная пума –
Шерстью бархатной льнула ко мне

1937

МАТЕРИК ЭФЕМЕРА

Огромная сфера хрустального глобуса,
Мыльным блеском надутая, переливалась;
Кобальтом плыли океанские вздутости,
Умброй и зеленью дымились материки, –
И, набирая на пульте слоновые клавиши,
Оператор гнал по океанам гольфштромы,
Наращивал цукатные льды у полюсов
И аметистовые циклоны рушил на города.

Вся из блеска и дрожи, искусственная вселенная,
В художественном ракурсе времени и пространства,
Дымясь и мерцая, дыша и пульсируя,
Как чудесная молодая медуза жила,
И как школьники, опьяневшие от географии,
Смяв батистовый хруст безупречных пластронов,
Отирая фулярами банановые лысины,
Как симфонию слушали миллиардеры бред.

<1930-е>

* * *

Ну что же!.. Я не оказался первым.
Но, может быть, им окажусь еще.
Хотя согражданам, как видно, не по нервам

В броню одетое плечо.
Им ватною подбивкою пиджачной

<1940>

* * *

Ночь. Выхожу на шпору волнореза.
До берега – верста. Ревет норд-ост
И в гулком небе, черном, как железо,
Ресницы рвет у близоруких звезд.

<1941>

* * *

К беглым грезам гимназиста
Подобрался ураган;
Пистолетик монтекристо
Превращается в наган.

<1941>

* * *

Ателье неудачника. Нынче он просто фотограф,
Итальянское имя на русское кинув плащом.

Чрезвычайно высокая комната, узкие окна,
Полутьма, драпировки, трельяжи, диваны, тахты,
Шкуры тигров облезлые, пальмовых стержней волокна,
Бусы, вышивки, бисер, керамика, рамы, холсты.

Всё, что создано кем-то – талантливым, легким, умелым, –
От камей и до пепельниц собрано здесь кое-как
В антикварной сумятице, собрано так, между делом,
Чтоб слегка расцветить убивающий комнату мрак.

Убивающий комнату и удушающий душу,
Где когда-то наметилась, но не зардела заря,

<1942>

* * *

Когда все люди изомрут
От пушек, бомб, штыков, отравы,
Какой свободный изумруд
По всей земле раскинут травы.

<1942>

* * *

К чему? Я никуда не еду;
Я вижу каждый день зарю;
Я перечитываю «Эдду»
И с Баратынским говорю.

<1942>

* * *

Старый доктор в обветшалой тоге:
Ничего уже ему не надо,
Но и он порой волочит ноги
По веселым стогнам Ашхабада.

<11.VIII.1943>

РАЗГОВОР С ГЕЙНЕ

Харон швырнул обол и сплюнул в Ахерон:
«Я не видал еще такого пассажира!
Полуфунтовый мозг и триста фунтов жира,
И говорит, что академик он!

Должно быть, на земле все дураки взбесились…»
А тень громадная, в болотной топи силясь
Найти опору для ноги,
В туманные края Аида зашагала,
Взывая хрипло: «Зигфрид, помоги!
Wo ist hier[1] настоящая Валгалла?»
Навстречу ей другая встала тень:
Высокий лоб в венце лавровом,
Улыбка тонких губ, сожженных горьким словом,
И в грустном взоре – мысли синий день.
К ней первая пошла, маршрут меняя круто:
«Рекомендуюсь: я – профессор Дурхгефикт».
«Я – Генрих Гейне». – «Да? Я не слыхал, как будто.
Но всё же очень рад. Тут у меня конфликт
С Хароном вышел: он – взять не хотел рейхсмарку,
Обола требуя. Не правда ли, – нахал?

<3.I.1944>

* * *

В графике рваных линий
Замкнув дыханье влаг,
Бухта звездою синей
Врезалась в известняк,
И, как халва сухая
Над синью нависая,
Берег стоял, вдыхая
Чешуйчатый сквозняк.

И вечный трепет бриза
Средь ноздреватых скал
Стебли полыни сизой
Со струнным звоном рвал,
И ящерка порою
С лазуревой спиною
Юркала под скалою,
Как голубой кинжал.

[1] Где здесь (*нем.*)

И мыса гранный выступ
Пропарывался в гладь,
Но и супрематисту б
Его не написать:
Все эти грани, срывы,
Надломы и наплывы
Цвета увядшей сливы
Глади морской под стать.

Но нежные пейзажи
Как гладко ни пиши,
Но все-таки нельзя же
Томить карандаши

<1945>

* * *

Порою бывала прекрасной земля
Под ливнями музыки, в ветреной дрожи:
Кокарды, цветы, веера, кителя
Из ангельски белой чертовой кожи.
Сиял перламутр дуговых фонарей,
Левкои на клумбах равнялись по мерке,
Дышали загадками дальних морей
На рейде качавшиеся канонерки.
В аптеках цвели огневые шары,
Бананы лежали горой в балаганах

<1945>

* * *

Я помню: поезд выбегал
К бисквитной глыбе Инкермана, –
И море возникало рвано
Звездою синей между скал,
И домики белели в крейде,
И крейсер крашеный на рейде

Тугими флагами плескал…
Туннель. Еще. И вот вокзал.
Корзинки легких фаэтонов
Под плоскими зонтами, – и,
Среди приветствий и поклонов,
В блаженно-добром забытьи,
Отлогим склоном едешь «в город»

<1946>

* * *

Бухта была точно рубль голубой:
Круглая, точная, с блеском холодным;
В горле извилистом внешний прибой
Гас на гранитах напором бесплодным.

<1947>

* * *

Это мое поколение в воздух полезло,
Это мое поколение сбрило усы,
Это мое поколение то, что «полезно»,
Сдвинуло в сторону, радость кладя на весы.

<1950>

* * *

Тиберий стар. Он, «медленно жующий»,
Все зубы стер, прожевывая Рим,
И сладостно смыкаются над ним
В полдневный зной каприйских лавров кущи.

1954

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Богадельни прекрасного

ЛиП

I *отсутствует*
II *3–4* На эстраде худые актеры ломаются непрерывно,
Извергая стихи поэтов, которых не помнит никто.
III Жонглер с каскадом бутылок – воплощенье Вечного Ритма;
В обносках Рабле и Вольтера – рыжепаричный враль;
Чародей с поющей монетой, жующий как пряник бритву –
Некромант фарфоровых пагод, глядевший в звездную даль…

«О диссонансы вечеров…»

ЛиП

I *отсутствует*
II *2* В траве резвятся тихо дети,
III *1* А выше, на краю холма,
4 Встает кирпичная тюрьма.
IV *1* Что здесь «теперь»? что здесь «потом»?
V *2* Закат слился одним объятьем,

Паноптикум

ИС

Паноптикум: статуи из желтого воска,
Уродцы в спирту, орудия пыток,
Искажающие зеркала, в витрине плоской
Полуистлевший пергаментный свиток.

За кассою – девушка! В этом царстве смерти и пыли!
Что за люди связали себя незримою связью
С бледными лицами тех, кто только *были*…
Что за странные люди, больные светобоязнью!

Когда опускается ночь и густеет мрак в балагане,
Между витринами ходит хозяин и молит о чуде,
Целует маски «великих», играет им на органе
И плачет в тоске безысходной… Странные люди!

А девушка из кассы, закрыв занавеской двери,
Смотрит наверх, на треугольник синего неба
С искрой звезды, и плачет о какой-то потере,
Что-то шепчет о камне, данном ей вместо хлеба.

И ночью мне кажется, что паноптикум становится миром:
Люди, смотря в зеркала, плача, целуют мертвых;
Над миром светят звезды, одетые синим эфиром,
Но никогда и никто их не видит в зеркалах, тусклых и стертых.

И только девушки плачут… Ну, тоскуйте, люди, над воском!
Девушки, милые, плачьте, на звезды глядя,
Скоро уж время приехать за вами погребальным повозкам,
Скоро должны заскрипеть ворота́ в кладбищенской ограде.

Иегова

ЕП1

I	*2*	Мне ведомо времен предназначенье.
	9	пребудешь ты вплоть до скончанья века, –
II	*4*	над каждым дном, где прячется трава,
V	*1*	Быка, что забодает человека,
	3–6	Тому, кто вырвет у другого веко, закроют раскаленным шилом взгляд. Неверный меч истлеет в вихре горнов, падет на дно зерна не взявший жернов.

Моисей

ЕП1

1	Родился при раскатах грома
13	восстал проклятием огромным.
14–17, 30–35	*отсутствуют*
38	и плен двухвековой расторг
48	Ты медного воздвинул змия, [опечатка?]
51	ты замешал и до конца

Ависага

ЕП1

III	*1*	И в жаркий полумрак опочивальни,
	4	полынный, знойный дух долины дальней:
IV	*2–3*	вошла суннамитянка Ависага.
		Горит очей сапфировая влага,
V	*3*	переплетением горячих рук
VI	*2*	над пеплом царских глаз склоня ресницы,
IX	*1*	И Ависага простирает взоры,
	4	и знойные, родимые ей горы…

Грядущий

Творчество. 1919. № 1

23	влекли на смерть и поруганье,
25	Младенческие взявши трупы,
74–75	звук молнийных твоих речей.
	И Он грядет Тивериадой,
91	клубясь белоодеждым стадом,
93	глядит и слушает, и ждет.
120	век испытанья не минул.

ЕП1

23, 25, 74, 75, 93, 120	*как в «Творчестве»*
61	и обагренные твердыни –
83	и царский потрясает дом
87	и, в воду погруживши стан,

Пророк

ЕП1

3	и, точно горн, рубец кровавый пышет,
10	сердца других скользят над звонким словом,
21	и горькою я обтирал полынью
между 28 и 29	Железо тупо разрывало ткани, как орлий клюв на печень Прометея, кидалось яро, проникало в недра, кромсало всё, дробило позвонки.
31	а новые безмерные проклятья
между 40 и 41	Но в первом плеске, в первом камне мира уже лежал весь распыленный я, тобой нежданный я, я – беспощадный, я – гневный, я – сожженный, дико-жадный, я – обвинитель твой и судия.
64	неся в себе, ее приемлю я.
68–69	Моею волей я наполню храмы, я сотворю коленопреклоненья,
между 76 и 77	Я обману людей. Я их уверю, что в злобе низкой я и стая предков ковали козни тяжкие и чашу горящих углей сыпали на мир.

Поэтам

Пути творчества. 1919. № 4

6	в осеннем воздухе плотнеет долгий мрак, –
8	телеги тяжкие ползут под вой собак.

12 в дыханьях осени и тусклостях ночных.
14–20 навстречу брошены разъявшейся земле, –
мы трубадурами по грубым феодалам
пойдем, Орфеев знак нажегши на челе.

Пред силой музыки дыханье бури – немо.
Победа первая нас мощно озарит,
когда разбойник-граф от боевого шлема
отъятое перо в чернило погрузит.

Освобождение

P1

I	*1*	Копьями солнца пронзенное,
II	*2*	Жалко свернулось вдоль борта.
	5	Солью овеянных струй.
	8–10	Как тайным бродилом
		Нежная кожа сия
		Тлением напоена.
III	*9*	Навстречу солнцу,

«Да, грозный сон приснился мне. Стою я…»

Автограф

…И грозный сон тогда тебе приснился:
Закат невыносимый хлещет в небо,
И Богоматерь в аспидном плаще
Над пламенем кипящим возлетает.
Обожжено янтарное лицо,
Бездонны водоемы глаз, и кроет
Она плащом недвижного Младенца.
Багряный ветер раздувает плащ,
Соскальзывает он, Младенец виден, –
И не ее Христос, а твой Исидор,
И сердце обрывается, и руки

К похитившей с мольбой неизъяснимой
Стремятся. А Она, а Богоматерь
Запахивает с сердцем плащ и, круто
Вдруг обратясь, уносится в закат…
Ты ринулась, проснувшись, к колыбели.
Спокойно всё, ребенок ровно дышит, –
И все-таки ты всей душою знаешь:
Недолго жить ему.

«Лес темной дремой лег в отеках гор…»

Из

после 27

И странный гул клубится в тишине:
Не шум лесной, не мерный посвист ветра, –
Как бы земля в пространстве громыхает,
Гигантским в небе проносясь ядром,
Иль это бог в престольной мастерской
Небесных сфер маховики вращает.
И руки простираются крестом,
И на руках стигматы пламенеют,
И как орган плывет медовым гудом
Всколебленная вера и любовь...
И я повелеваю Карадагу
Подвигнуться и ввергнуться в волну.

«Закаты в августе! Плывут издалека…»

Автограф 3

после 4

Единственные дни, когда спокойно мне,
Единственные дни, когда мне жить не надо;
Ни счастья, ни тревог, и в предосеннем сне
Уединение, безмолвье и прохлада.

С дождями зыблется и моросит печаль;
Томят февральских вьюг рассыпчатые змеи;

Весною светятся, маня бесплодно вдаль,
Акаций < > тугие пропилеи

«Сижу, окутан влажной простынею…»

Автограф 3

Сижу, окутан полотном,
С лицом, в снеговой пене скрытым, –
И тоненьким стальным сверчком
Стрекочет бритва по ланитам.

А за дверьми шумит базар;
Старинный, тихо ветер веет;
Турецких фесок алый жар
В текучих блесках пламенеет;

И ослик серенький поник
Под коробами спелой сливы, –
И тут же торговец-старик
Веретено вертит лениво.

Какая старь! Который век
Теперь колышется над нами?
Ужель времен повторный бег
Кружит всё теми же путями?

И вдруг цырульник подает
Мне тазик с выемчатым краем,
Точь-в-точь такой, как Дон-Кихот

Желтые бреды

Р1

V	*3*	Я – мимо… И – царские бармы –
	5	мне очи придавят всегда.

VI	*5*	иссохшие груди зари.
IX	*2*	обломки летели на дно,
	4	направили, рыкая глухо,
X	*2–3*	лучи голубые взнесли.
		Как туча отточенной пыли

Домик

Четверо

I	*6*	смоловый мат по светлым доскам,
	10–12	в углу – прекрасная модель
		фрегата, скромная постель
		за ширмой, на столе – бумаги, –
II	*2*	но свежий, молодо-живой,
	11–12	с печалью сладкой цепкий плен
		я чувствовал, и сумрак дальний,
III	*2*	над морем плыли облака,
	4–5	в манящий домик старика.
		Он мне обрадовался очень
	7	чаек соорудил «с ромком»,
IV	*2*	провел я с милым стариком.
V	*4–5*	былой мечты остался лик.
		И домик я купил знакомый,
	7	неясной грезою. Светло
	12	воображаю верхней рубкой
VI	*11*	мечты о прошлом, что игра –
	14	и корчам сказочных химер.

P1

I	*6*	как в *Четверо*
	11	за ширмой – скромная постель,
II	*2, 11–12*	как в *Четверо*
III	*2, 4, 7*	как в *Четверо*
IV	*2*	как в *Четверо*
V	*4–5, 7, 12*	как в *Четверо*
VI	*11*	как в *Четверо*

Цепь

Осв

I	*2*	над серыми айсбергами домов.
	3	Опять нижу вам ожерелье слов,
II	*2*	нагая дула девушка, и меж грудей
III	*4*	вычурно выгнутый, белел в струистой мгле.
V	*3*	и в дымно-синих мертвенных зрачках
после X		Кем связаны в тяжелое одно различные разрозненные звенья? Кто запаял на мне свинцовые томленья, в звено вдевая новое звено?
		Кто легкооблачные взвеял пламенна в холодной умирающей лазори? Кем боль моя в оранжевые зори извивною струною вплетена?
		Готовятся на дальнем небосклоне, над серыми громадами домов, кого-то взволновать раскатами валов, громоздкой музыкой торжественных симфоний.

Айсигена

Автограф 2

Кто выточил из пальмы каблучок
И дал уклон стопе воздушной,
Чтобы паркет плитой орхестры лег,
И бег звенел, струнам послушный?

Кем дан тебе прохладный этот смех,
Срывающийся легкой пеной;
Кем ринута в смятенье, боль и грех
Ты – крылоногой Айсигеной?

О, милая! О, легкая моя!
Как сладко видеть мне, как больно,
Что ты летишь, улыбки не тая,
Едва касаясь жизни дольной.

[Тебе меня не обмануть, о нет!
Ваятель погрешил немного:
И есть в глазах тот сумеречный свет]

«Никогда не забуду я этот сухой известняк…»

Н

между III и IV Надо мною лазурь, небывалая в мире лазурь,
И турецких эскадр отлетевшие в небо фантомы,
И за это виденье отдам я и музыку бурь,
И удары труда, и сражений чугунные громы.

«В комнате этой всё живо и радостно мне…»

Н

5 А за высоким, пасхально промытым окном
после 16 Ныне, усталый, замученный до седины,
Тихо бреду я под быстрой капелью весны,
Видеть завидно мне синее чье-то окно,
Небо в котором прозрачное отражено.
Думаю: там, за высоким, за синим окном
Мальчик мечтает горячий о том же, о том,
Дерзкие губы целуют блистание дня…
Будь же, неведомый, ты хоть счастливей меня!

Пять лет

Известия ВЦИК и Моссовета; Коммунист

между VII и VIII О, да, – мы помним «мир похабный»,
Позорный и великий Брест,
Когда рукою неослабной
Страну мы подняли на крест,
Когда мы верили сквозь муку,
Что у рабочих – дух один,
Что нам свою протянет руку
Вскипевший мятежом Берлин.

IX *5* Как, сея смерть зерном свинцовым,

7–8 Метался черным Пугачевым
Меж Доном и Днепром Махно.

Врубелевский зал

Автограф

после IV И мы – такие последние – знаем,
Что такое бунт, растоптанный дико;
Мы также безропотно выцветаем
Сиренью, радугой, жемчугом блика.

Двадцать восемь

Ватан

I *2–3* Новою школой отвергнутый «грек»,
Колкий ворчун, ревматизмом хрустящий,

II *4* Пулей приветливой кинули в лоб.

III *3– 4* Стали как сталь, как литая преграда, –
И перед нею полег батальон…

IV *4* С пульсом разрывы сплетя и огни.

V *2* Падки до юбок, от рюмки не прочь, –

VII *2* Ненависть слали врагу изо рва

VIII *1* Пали, все пали… Но этою ночью

Лермонтов (1)

Автограф 2

после 32

Созвездием неповторимых песен
Он просиял над родиной унылой,
Резцом алмазным несравненной прозы
Эпохе начертал он приговор
И в страшный день, когда глупец надутый
Ему пробил пылающее сердце, –
Когда рыдала над далеким телом
Опять осиротевшая страна, –
Другой глупец потер палачьи лапы
И со злорадством пробурчал: «собаке
Собачья смерть».
Почти сто лет прошло;
Палач лежит в распахнутом сарае
Собора – экскурсантам на погляд
Презренную гробницу подставляя;
Убийца стерт из памяти людской,
Оставя имя кличкой непотребной,
А он, певец, – мильонам друг и брат, –
Живет в нетленных песнях, и поныне,
С томленьем и любовью мы глядим,
Как – там – по синим волнам океана –
Его, навек загадочной, ладьи
Белеет парус одинокий.

Отрывок

Автограф 2

после IV

Закаты померкли и книжки поблёкли,
На месте читальни построен вокзал,
Те годы – как сцена в обратном бинокле,
[И руки мне труд постепенно связал.]

Но дружен я с Музой: прекрасного дара
И мне уделила… Сыграть бы назад!

Не знаю, что делать: начать ли с пожара?
Пожалуй – с пожара: ведь жизнь – на закат!

«К утру простынь полотно остыло и, сладко озябнув…»

Автограф

Простынь остыло полотно;
Легко озябнув, я проснулся,
И взор, и слух мой окунулся
В незастекленное окно…

Вчера, проплыв ночные воды,
Я вышел на чужой песок,
И первый час моей свободы
Меня тоскою обволок.

Неоглядевшиеся взоры
В себе топил < > мрак;
Вином и просом пахли горы,
Шакалий вой дразнил собак.

«Под китайской шляпой карусели…»

Автограф

Ватный барабан; стеклярус,
Позументы, канитель,
Хлопает кумачный парус,
Заскользила карусель.
Нарбут вдвинулся в коляску,
Я – верхом, жена со мной,
И – дома и люди в пляску,
В пляс пустились вихревой
Всё быстрее. Обнял шею
Деревянного конька

«Зачем приносишь на твердых ботфортах…»

Автограф 2

Зачем ты приносишь на твердых ботфортах
Песок золотистый с неведомых пляжей,
На пробковом шлеме зачем так мерцает,
Сиянья и ветра полна, кисея?
Тончайшею цепью, как бисер, бряцает
Жучок-древоточец в шкатулках истертых;
Как лоб отходящего пыльною пряжей, –
Тоской излинована воля моя.

Ты помнишь: торжественный чревовещатель
Откидывал крышку ларца, и оттуда
Коснеющим голосом, в ужасе, кто-то
Кричал: «отпусти, я привык в тишине!»
И этот никто, дух шкатулки, дремота, –
Не в сердце ль моем он завелся, не в вате ль?
Печальное дело, унылое чудо
С таким разговаривать наедине!

Но вышепчет мне он сонливые тайны,
Он выбормочет сладострастие страха;
Мне будет с ним скучно, но будет нестыдно
Того, что на *женское* жизнь променял…

«Когда приезжаю в седой Севастополь…»

Автограф

между VIII и IV

Сей отзыв, по-русски немного тяжелый, –
Он всё же спокойно уляжется в стих:
«Они мои дети, они моей школы,
И я превосходно прославился в них».

Техника стиха. М., 1960

Я счастлив, бывая в седом Севастополе,
Седом от маслин, от ветров и камней,
Где плещется флаг на чугунном акрополе
На ветреном рейде среди батарей.

«Под самой крышей в седьмом этаже…»

РГАЛИ. 5.35

Седьмой этаж. Широкое обращено
Окно на север. И о нем поговорить
Необходимо поподробнее. Есть окна
Как бы задернутые рыбьим пузырем,
И мир сквозь них весь безопасен и бесплоден;
Есть окна, замусоленные извнутри
Экстазом щей и пафосом севрюжки, – мир
Глядит сквозь них как беженец, раз-навсегда
Оголодавший, но боящийся собаки;
Есть окна как сверкающий монокль, – пред ними
Мир ходит без воротничка, в потертом платье;
Есть окна, вытаращенные микроскопом, –
Рассматривают с отвращением бациллу,
Бацилла же не более как голенище
Остановившегося закурить мильтона;
Есть окна, где как будто не бывало стекол, –
Сквозь них мир вламывается цыганским ветром,
На сердце надувает флюс и позвоночник
Ментолом натирает. Но прекрасны окна
Широкие и неподкупные, как знамя,
Как требовательная ведомость на счастье,
Составленная на семнадцатом году!
Их узнаешь сквозь глупое стекло трамвая,
Сквозь скрип калоши, удовлетворенной снегом, –
Их узнаешь, быть может, потому, что Гете
На той гравюре, в гимназической библиотеке,

Над яблочным Брокгаузом, глядел в окошко
Такое же огромное и голубое,
И улыбался золотистыми губами…
И вот – окно широкое глядит на север,

Голубой бювар

Автограф

IV
(ранняя редакция)

Я грубых здесь метафор накрутил,
Не думая об их взаимной связи. –
Но кем хранить повелено тротил
В аптечной банке, не в китайской вазе?
К чему бояться разных воротил?
Фольклорный бард нам о червленом вязе
Оставил песню; в ней – такой крюшон,
Что будет всяк и пьян, и сокрушен.

* * *

В теплой ванне ароматной вскрыл ланцетом вены,
в сладкой неге тихо замер – необыкновенный…
Струйно вился пряный запах – моря ль, зноя ль, трав ли –
ярко в воздухе блестели голубые кафли,
смутно грезился свободный радостный Уитман,
в ослабевший пульс вливались сказочные ритмы.
Как венком одели ванну гроздья красной пены,
и звенели где-то цитры радугой мгновенной.
Тело ласково слабело – опускаясь в воду,
точно солнце в час закатный – вниз по небосводу…
Увенчали гроздья пены лоб – венцом покоя,
и в одно смешался запах крови и левкоя…
В теплой ванне ароматной вскрыл ланцетом вены,
в сладкой неге тихо умер – необыкновенный.

<1918–1919>

ОБОСНОВАНИЕ ТЕКСТА

Характеристика прижизненных поэтических книг Георгия Шенгели дана в библиографической справке, помещенной в последнем из этих изданий за подписью «Н.М.» (Нина Манухина):

> Оригинальные стихи Георгия Шенгели в отдельных изданиях появляются с 1914 г. Выпуск их довольно хаотичен: иногда выходит солидный том, иногда миниатюрная брошюрка в 16 страниц; порою несколько брошюрок покрываются полностью или частично «книгой», или две книги сливаются потом в одну (так «Раковина», изд. 1918 г., плюс «Изразец», изд. 1921 г., образовали «Раковину», изданную Госиздатом в 1922 г.). В нижеследующем перечне основные книги выделены разрядкой. Список переводческих и научных работ Георгия Шенгели здесь не приводится.
>
> 1. Розы с кладбища. Керчь, 1914. (*Уничтожена автором.*)
> 2. Зеркала потускневшие. Петроград, 1915.
> 3. Лебеди закатные. Петроград, 1915.
>
> *№№ 2 и 3 почти полностью включены в*
>
> 4. Гонг. Петроград, 1916. (Второе издание, Феодосия, 1917.)
> 5. Апрель над обсерваторией. Харьков, 1917.
> 6. Раковина. Керчь, 1918.
> 7. Еврейские поэмы. Харьков, 1919. (Второе издание, Одесса, 1920.)
> 8. Нечаев, драматическая поэма. Одесса, 1919.
> 9. 1871 год, драматическая поэма. Одесса, 1921.
> 10. Изразец. Одесса, 1921.
>
> *№№ 6 и 10 почти полностью включены в*
>
> 11. Раковина. Москва, 1922.
> 12. Броненосец «Потемкин», драматическая поэма. Москва, 1923.
> 13. Норд. Москва, 1927.
> 14. Планер. Москва, 1935.

(*ИС*. С. 235–236). Вопреки указанию в преамбуле, «основные книги» в печатном тексте разрядкой не выделены, однако нетрудно установить, что к этой группе относятся (не считая драматические поэмы) №№ 1, 4, 5, 7, 11, 13 и 14. Продолжающая этот ряд книга «Панцирь» (1946, в авторской орфографии – «Панцырь») уже не дошла до читателя: после *ИС* ст-ния Шенгели не только не выходили отдельными изданиями, но и почти не печатались.

После неудачи с изданием «Панциря» собственно поэтическим творчеством Шенгели занимался всё реже. Лишь в начале 1950-х гг. он решил напомнить читателю о себе как о поэте, запланировав к 40-летию творческой

деятельности книгу «Лирика и поэмы» (*ЛиП*). От первоначального замысла (РГАЛИ. 2.1–13) сохранилось лишь несколько страниц перепечатанных ст-ний и предисловие, датированное 30 января 1952 г., в котором композиция собрания охарактеризована следующим образом: «сначала лирика, потом поэмы. В каждой из этих двух частей сначала неизданные вещи, потом изданные – по отдельным сборникам. Кое-что циклируется. В конце книги – фрагменты, которые представляют известный самостоятельный интерес».

Над ококнчательным вариантом *ЛиП* Шенгели работал в августе 1954 г., 31-го числа подвел итог: «всего 743 стр<аницы>, 293 вещи (считая “Эпич<еский> цикл” за 15), свыше 16.000 строк» (РГАЛИ. 106.4). Приводим полностью текст предисловия «От автора» (РГАЛИ. 2.15–15об.):

> В этой книге собраны мои стихи более чем за 40 лет – с 1914 г., когда был издан мой первый сборник, и по 1955 г. включительно.
>
> Здесь, конечно, далеко не всё, что мною написано, и не всё, что напечатано, но также немало вещей, печатающихся впервые: с 1939 г., когда были изданы Гослитиздатом мои «Избранные стихи», не вышло ни одной моей книги, а в альманахах, журналах и газетах я появлялся мало и редко.
>
> Принцип отбора и отсева стихов для данного сборника трудно охватить единой формулой.
>
> Одни вещи включены, потому что являются характерными для поэтической биографии; другие – потому что стали, или были, популярными; иные – потому что автор считает их (правильно или ошибочно – другой вопрос) «нужными» для данного времени; иные просто потому, что дороги автору. То же – только со знаком минус – лежит в основе отсева.
>
> В построении книги я избрал хронологический принцип. Любая циклизация стихотворений, любая группировка их по темам неизбежно приводит к появлению обширной группы «разных стихотворений», не поддающейся дальнейшему членению. Опыт иных поэтов, делящих свои сборники на отделы, подотделы и циклы и мнящих, что перестановка не только двух циклов, но и двух смежных стихотворений уже искажает «лицо книги», опровергается практикой: читатель, даже очень внимательный, воспринимает и оценивает каждое стихотворение «отдельно», и сложная композиция книги работает вхолостую. Построение же по жанрам создает не меньшие трудности: если еще можно выделить «поэмы», то как размежевать по жанрам лирику? Нельзя без сильнейших натяжек подводить под архаические категории идиллий, од, элегий, эпиникиев и пр. большинство современных стихотворений. А затем – что это дает читателю? Всё равно внутри каждого раздела будут «разные стихотворения» – и очень разные.

Итак – хронологический порядок. Обилие или скудость продукции того или иного года не всегда соответствует его подлинной «урожайности». Иногда, действительно, работалось меньше или больше, менее или более удачно. Иногда другая работа – над моими стиховедческими книгами или над переводами – оставляла мало времени и сил для стихов. Но иногда *тип* главенствующей продукции данного года вынуждал оставить ее за рамками этой книги. Например, в 20–21 гг. я в большом количестве писал «агитки», печатавшиеся то листовками, то в газетах; есть даже пятиактная драма в стихах «ВВС» («Вся власть советам»), изданная в 22 г. на ротаторе и не сохранившаяся у меня ни в рукописи, ни в печатном виде; в 25–27 гг. я в изобилии писал стихотворные фельетоны, шедшие во многих газетах за различными псевдонимами; то же – в 42 г. в Киргизии. Эти материалы, когда-то, быть может, звучавшие, сейчас неинтересны, но их наличие как-то отразилось на общем «рельефе» данного года, представленного в настоящем сборнике.

Из больших вещей я не включил в эту книгу драматическую поэму «Броненосец Потемкин», изданную в 23 г. Главлитпросветом, неплохо встреченную критикой и даже инсценированную в морских клубах: сейчас я написал бы ее «совсем не так» и, может быть, – напишу!

Вот всё, о чем я хотел предварить читателя.

6 апреля 1955 г. Шенгели записал в дневник: «Звонил в Гослит, в секто<р> поэзии; на мою книгу поступила “резко отрицательная рецензия” (сообщение Трегубова); книгу возвращают. Мурыжили с 23 сент<ября>, свыше полугода» (РГАЛИ. 106.10). Рецензентами выступили П.А. Кузько и старый знакомый Шенгели по Харькову А.М. Лейтес, безапелляционно резюмировавший в своем отзыве (РГАЛИ. 274.102–114): «Общественная ценность большинства стихов и поэм, включенных в сборник, крайне невелика. Ничего значительного не прибавляют они к тому сборнику “Избранных стихов” Георгия Шенгели, который в свое время, в 1939 году, был выпущен Гослитиздатом. Невольно вспоминаешь, что и тогда небольшой – размером в восемь печатных листов – сборник Георгия Шенгели вызывал у ряда читателей недоумение. Тем более никакого смысла нет переиздавать тот же сборник, расширяя его за счет явно устаревших и идейно-неполноценных стихов Георгия Шенгели».

Рукопись *ЛиП* фиксирует последнее по времени обращение автора к своим поэтическим текстам и, следовательно, отражает последнюю авторскую волю. Однако ряд особенностей этой рукописи в нынешнем ее виде едва ли позволяет положить ее в основу критического издания.

Прежде всего, заявленный и обоснованный автором хронологический принцип построения *ЛиП* выдержан лишь формально, что следует из дневниковой записи от 20 августа 1954 г.: «Компоновал сборник стихов. Всё, вклю-

чая поэмы, расположил хронологически; многие стих<отворен>ия датировал наудачу: забыл, когда написано, а рыться в черновиках неохота» (РГАЛИ. 106.4). Проверка по беловым и правленым датированным автографам показывает, что промежуток расхождения многих датировок *ЛиП* с реальными колеблется в ту или иную сторону от года до 14 лет; также нарушен хронологический порядок ст-ний, написанных в пределах отдельно взятого года (число и месяц в датировках *ЛиП* указываются лишь для нескольких поздних ст-ний).

Далее, рукопись *ЛиП* в целостном виде не сохранилась: с одной стороны, отсутствуют тексты многих произведений, указанных в содержании (из-за чего 2 ст-ния не поддаются идентификации), с другой, в корпус вложены тексты ст-ний, включенных и не включенных автором в *ЛиП*, в копиях Н. Манухиной. При всей тщательности, с которой Манухина перепечатывала произведения покойного мужа, ее копии не свободны от опечаток, неверных прочтений и датировок. К тому же зачастую невозможно установить, соответствует ли перепечатанный Манухиной текст ст-ний, указанных в содержании, последней авторской редакции, утвержденной в *ЛиП*. Наконец, при перепечатке ст-ний, так или иначе относящихся к ней, Манухина проставляла над текстом помету «Н.М.», отсутствующую в сохранившихся автографах.

Именно на рукописи *ЛиП* основывается поэтический раздел посмертного издания избранных произведений Шенгели, подготовленного В. Перельмутером (*Ин*); как следствие, в нем в полной мере отразились все перечисленные особенности рукописи, дополненные многочисленными неточностями в текстах и примечаниях (возникшими, как позднее утверждал составитель, по вине издательства). Поскольку в более позднем издании, подготовленном тем же составителем,[1] подавляющее большинство неточностей осталось, а к ним прибавились новые, можно утверждать, что в обоих изданиях заявленная в обосновании текста сверка по автографам не проводилась. Несмотря на все погрешности *Ин*, это издание сыграло свою роль в деле возвращения читателю творческого наследия Шенгели, в т.ч. его неопубликованной части.

Настоящее издание представляет поэтическое творчество Шенгели с максимально возможной на данный момент полнотой: первый том объединяет стихотворения, второй – поэмы и драматические произведения в стихах.

Первые семь разделов первого тома по содержанию соответствуют (с оговорками) семи «основным» книгам стихов и по ним же озаглавлены; в дополнениях к ним приводятся ст-ния из других прижизненных сборников, не вошедшие в «основные» книги. Поэтические переводы, включенные в авторские сборники, сохраняются в составе соответствующих разделов или дополнений

[1] Шенгели Г. Избранное / Сост., вступ. очерк, коммент. В. Перельмутера. М.: Sam & Sam, 2013. («Б-ка для избранных»). Большинство текстов этого издания восходит к библиотеке сайта «Век перевода» (URL: http://www.vekperevoda.com/books/shengeli/), где размещен текст, набранный составителем наст. изд. по *Ин* без сверки по автографам; за малым исключением, неточности этого набора (заимствованные из *Ин* и новые) в «Избранном» не исправлены.

к ним. Восьмой раздел представляет неизданный сборник «Панцирь. Стихи 1935–1945». Стихотворения, напечатанные в периодике, альманахах и коллективных сборниках и неопубликованные при жизни автора, в т. ч. из неизданных книг *Иней* и *ЛиП*, собраны в разделе «Стихотворения, не вошедшие в сборники»; здесь же, без выделения в особый раздел, представлены посвящения разным лицам, подобно тому, как сам Шенгели в *ЛиП* размещал их в общем хронологическом ряду, независимо от степени их «серьезности». Пародии, эпиграммы, альбомные записи, сатирические стихотворения выделены в раздел «Шуточные стихотворения». Наконец, в разделе «Неоконченное» выборочно представлены наброски и отрывки незавершенных стихотворений.

За пределами тома остаются стихотворения «на актуальные темы», написанные специально для периодических изданий, в т.ч. стихотворные фельетоны, публиковавшиеся под псевдонимами «Платон Ковров» и «Сержант Снайперенко».

Произведения, опубликованные при жизни Шенгели в авторских книгах, периодических изданиях, альманахах и коллективных сборниках, печатаются по текстам публикаций. В комментариях к ст-ниям из первых семи разделов при перечислении прижизненных публикаций дополнительно не указывается, что они включены в одноименный с соответствующим разделом сборник. Если произведение печаталось несколько раз, в качестве основного принимается текст позднейшей публикации (перепечатки в периодике для ст-ний, вошедших в авторские книги, не учитываются). Исключение – несколько ст-ний из «Гонга», вошедших позднее в *ИС* и *ЛиП*: исправленные (пусть незначительно) в 1930–1950-е гг. автором, находившимся в то время на совершенно иных творческих позициях, они выглядели бы заметным анахронизмом рядом с другими ст-ниями 1915–1916 гг., поэтому в основном корпусе они приводятся по тексту «Гонга».

Издание учитывает все лексические варианты прижизненных публикаций (за исключением антологий, чтецов-декламаторов и т. п. изданий, готовившихся без участия автора). Варианты объемом более 5 ст. вынесены в раздел «Другие редакции и варианты»; произведения, варианты которых присутствуют в этом разделе, отмечены в комментарии звездочкой. Публикации, с которыми составителю не удалось ознакомиться de visu, отмечены знаком #.

Неопубликованные произведения печатаются по автографам (архивным источникам, имеющим признаки авторского обращения к ним) – машинописным авторским книгам, авторизованным машинописям, беловым, правленым и черновым рукописям; если автограф не обнаружен – по копиям и посмертным публикациям. Если архивных источников несколько, первым при их перечислении в комментарии указывается автограф, послуживший в наст. изд. источником основного текста. Варианты автографов представлены выборочно в разделе «Другие редакции и варианты».

Учитывая отмеченные выше особенности *ЛиП*, в качестве основного источника для неопубликованных произведений используются только сохранившиеся фрагменты этой рукописи. Если произведение включено в *ЛиП*, но в корпусе текста нет либо он заменен более ранней авторизованной машинописью или позднейшей неавторской копией, в комментарии после перечисления всех архивных источников следует указание: «Включено в *ЛиП*». Полный авторский состав *ЛиП* см. в приложении.

Основным источником датировок служили черновые и правленые автографы, непосредственно отражающие процесс работы над произведением. При отсутствии автографов принимались даты из опубликованных и неопубликованных авторских сборников, в большинстве случаев ограниченные только годом (ст-ния датированы в *Р2*, *Пл*, *ИС*, *ЛиП*, частично в *Панцирь*), авторизованных машинописях, копиях. Датировки, установленные по косвенным данным (датам первых публикаций, упоминаниям в письмах, расположению текстов в блокнотах и записных книжках), заключены в угловые скобки. Датировать большинство ст-ний, написанных до 1920 г., не представляется возможным: личный архив Шенгели, относящийся к этому периоду, был оставлен им в Харькове и, судя по всему, погиб.

Особую проблему представляет датировка сонетов на темы гражданской войны. В правленых автографах они датированы 1933–1937 гг., но при включении некоторых из них в *ЛиП* датировка сдвинута на 1918–1920 гг. При всей небрежности в обращении с датами в *ЛиП*, в пользу ранних датировок свидетельствует, например, то, что автограф сонета «Нищий» представляет собою машинопись по старой орфографии (с приписанной карандашом датой «1919?»), сонет «Комендантский час» включен в *Иней*, а в блокноте с записями второй половины 1920-х гг. есть список ст-ний, в котором указаны некоторые из сонетов о войне. В *Ин* эти сонеты прямо названы «циклом», работа над которым продлилась 18 лет, и расположены по ранним датам «в последовательности, определенной автором»; сдвиг датировок в *ЛиП* составитель объясняет причинами «тактическими» и композиционными. При этом, с одной стороны, сонеты 1936–1937 гг. («Валяло круто…», диптих «Дом») искусственно локализованы в конце «цикла» путем прибавления «ранней» даты (1920), отсутствующей во всех автографах; с другой – написанные на ту же тему сонеты «Я долго шел у погребальных дрог…», «Страх» не включены в «цикл» и оставлены в общем хронологическом ряду. Подобные вольности заставляют склониться к тому, что замысел цикла сонетов на темы гражданской войны, вопреки указанию в *Ин*, не был оформлен автором надлежащим образом. Исходя из этого в наст. изд. сонеты размещены в общем хронологическом ряду раздела «Стихотворения, не вошедшие в сборники» (кроме двух, включенных в *Пл*); сонеты, имеющие две даты, располагаются по первой из них, при этом обе даты указываются через точку с запятой.

При ссылках на документы, хранящиеся в личных фондах Шенгели в Российском государственном архиве литературы и искусства (Ф. 2861. Оп. 1), От-

деле рукописей Интистута мировой литературы им. Горького (Ф. 190. Оп. 1) и Отделе рукописных фондов Государственного литературного музея (Ф. 504. Оп. 1, 2), указываются: в первых двух случаях сокращенное название архивохранилища (РГАЛИ, ИМЛИ), затем через точку номера единицы хранения и листов (напр., РГАЛИ. 1.1–2), в третьем случае – сокращенное название архивохранилища (ГЛМ), затем через точку номера описи, единицы хранения и листов (напр., ГЛМ. 2.2.1–2).

В комментарии приводятся известные сведения по истории создания произведений, выявленные отзывы на них современников. В части реального комментария составитель в известной степени ориентировался на собственную потребность в разъяснении тех или иных реалий, стремясь избавить читателя от слишком частого обращения к другим источникам информации, в т. ч. к такому глобальному, как интернет.

Составитель приносит глубокую благодарность тем, кто на разных этапах оказывал помощь в работе над изданием: Евгению Витковскому, Валентине и Евгению Голубовским, Владимиру Дроздкову, Ольге Кольцовой, Ирине Лукьяновой, Антону Маринину, Василию Молодякову, Юлиане Поляковой, Александру Соболеву, Александру Степанову, Льву Турчинскому, Андрею Устинову, Константину Ходаковскому, Татьяне Щуровой, Алене Яворской.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРАН – Архив Российской академии наук (М.).

Ашхабад – Ашхабад (ж., Ашхабад). 1989. № 4. Публ. М. Шаповалова.

Биография – Молодяков В.Э. Георгий Шенгели: биография: 1894–1956 / Науч. ред. В.А. Резвый. М.: Водолей, 2016. – 616 с.: ил.

Ватан – Ватан: Туркменский лит. альм. Ашхабад: Тогиз, 1944.

Верлен – Верлен П. Избранное из его восьми книг, а также юношеских и посмертно изданных стихов, в переводе, с предисловием и примечаниями Георгия Шенгели / Сост. и послесл. В. Перельмутера. М.: Моск. рабочий, 1996. – 237 с.

ВЖ – Шенгели Г. Вихрь железный: Поэмы / Сост. и подгот. текста М. Шаповалова. М.: Современник, 1988. – 125 с.

Гамеланг – Георгий Шенгели. Гамеланг. Стихи. 1945. [Авторская книга. Машинопись. Ст-ния не датированы.] // ГЛМ. 2.29; Собр. Л.М. Турчинского.

ДП – Георгий Шенгели. Драматические поэмы: Нечаев; Доктор Гильотен; Сальери. [Макет книги. Машинопись с правкой. На титуле штамп: «Государственное издательство. Редакционный сектор. 14/IV 1923».] // ИМЛИ. 2.1–49.

ДР – альм. «Дерибасовская – Ришельевская» (Одесса)

ЕП1 – Шенгели Г. Еврейские поэмы. Харьков: Гофнунг, 1919. – 28 с.

ЕП2 – Шенгели Г. Еврейские поэмы. Изд. 2-е. Одесса: Аониды, 1920. – 30 с.

ЗП – Шенгели Г. Зеркала потускневшие: Поэзы. Кн. II. Пг. [Харьков]: L'oiseau bleu, 1915. – 8 с.

Из – Шенгели Г. Изразец: 4-я кн. стихов. Одесса: Всеукр. Гиз, 1921. – 32 с.

Ин – Шенгели Г.А. Иноходец: Собр. стихов; Повар базилевса: Византийская повесть; Лит. статьи; Воспоминания / Текстология, сост., вступ. очерк, коммент., подбор илл. В. Перельмутера. М.: Совпадение, 1997. – 542 с.

Иней – Георгий Шенгели. Иней. Стихи. 1924. [Авторская книга. Машинопись. Ст-ния не датированы.] // ГЛМ. 1.3.

Ип – ж. «Ипокрена» (Харьков)

ИС – Шенгели Г. Избранные стихи: 1914–1939 / Предисл. А.И. Белецкого; Худ. Б. Шварц. М.: Гослитиздат, 1939. – 240 с.

КИ – Комсомольская искра (газ., Одесса). 1969. № 151 (4237), 21 дек.; публ. Е. Голубовского.

Кл – ж. «Колосья» (Харьков)

КН – ж. «Красная новь» (М.)

Ковчег – Ковчег: Альм. поэтов. Феодосия: Изд. группы поэтов, 1920.

КР – Керченский рабочий (газ., Керчь). 1990. № 123 (18066), 26 июня. Публ. М. Шаповалова.

ЛГ – Лит. Грузия (ж., Тбилиси). 1983. № 12. Публ. М. Шаповалова.

Лепта – Лепта (ж., М.). 1994. № 19. Публ. М. Шаповалова.

ЛЗ – Шенгели Г. Лебеди закатные: Поэзы. Кн. III. Пг. [Харьков]: L'oiseau bleu, 1915. – [15] с.

ЛиП – Георгий Шенгели. Лирика и поэмы. Машинопись // РГАЛИ. Ф. 2861 [Шенгели Г. А.]. Оп. 1. Ед. хр. 1.

Лица – Георгий Шенгели. Автобиографическая проза. Предисл., публ. и примеч. К. Постоутенко // Лица: Биогр. альм. Кн. 5. М., 1994.

ЛР – Лит. Россия (газ., М.). 1988. № 38 (1338), 23 сент. Публ. М. Шаповалова.

МА – Московский автотранспортник (газ., М.). 1989. № 2 (4954), 12–18 янв. Публ. В. Перельмутера.

Минувшее – Рудин из Брюсовского института (Письма Г.А. Шенгели М.М. Шкапской. 1923–1932). Публ. С. Шумихина // Минувшее: Ист. альм. Вып. 15. СПб.: Atheneum-Феникс, 1994.

Н – Шенгели Г. Норд. М.: Всерос. союз поэтов, 1927. – 86 с.

НБ – Ново-Басманная, 19. М.: Худ. лит, 1990. Публ. В. Перельмутера.

НМ – Новый мир (ж., М.). 1989. № 5. Публ. М. Шаповалова.

НС – Новые стихи. М.: Всерос. союз поэтов.

Ог-94 – Огонек (ж., М.). 1994. № 44/45. Публ. В. Перельмутера.

Ок-88 – Октябрь (ж., М.). 1988. № 1. Публ. В. Перельмутера.

Ок-94 – Октябрь (ж., М.). 1994. № 8. Публ. В. Перельмутера.

Осв – Освобожденным: Стихи. Харьков: Сад поэтов, 1917.

Панцирь – Георгий Шенгели. Панцирь: Стихи 1935–1945. [Авторская книга. Машинопись.] // ГЛМ. 1.13; Одесский лит. музей.

Пл – Шенгели Г. Планер: Стихи / Худ. Н. Ушакова. М.: ГИХЛ, 1935. – 207 с.

Пл-набор – Шенгели Г. Планер. Наборный экземпляр. 8.II.1935 // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 8257.

Подъем – Подъем (ж., Воронеж). 1990. № 2. Публ. М. Шаповалова.

Посев – Посев: Лит.-крит. и науч.-худ. альм. Одесса: Всеукр. Гос. изд-во, 1921.

Постоутенко – Постоутенко К.Ю. Анна Ахматова и Георгий Шенгели (к истории взаимоотношений) // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева. М., 2000. С. 727–735.

Пр – Простор (ж., Алма-Ата). 1990. № 3. Публ. М. Шаповалова.

Р1 – Шенгели Г. Раковина: Стихи. Б.м.: Камена (тип. Натковича в Керчи), 1918. – 72 с.

Р2 – Шенгели Г. Раковина / Худ. Е. Белуха. М.; Пг.: Гиз, 1922. – 120 с.

РО ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом; Санкт-Петербург).

Рождественский – О Всеволоде Рождественском: воспоминания, документы, письма / [Сост. В.Б. Азаров, Н.В. Рождественская]. Л.: Лениздат, 1986.

РС – Русский сонет: сонеты рус. поэтов нач. 20 в. и сов. поэтов / [Сост., авт. вступ. ст., авт. примеч. Б. Романов]. М.: Сов. Россия, 1987.

Стык – Стык: Первый сб. стихов Моск. цеха поэтов / С предисл. А.В. Луначарского и С.М. Городецкого. М.: Моск. цех поэтов, 1925.

Таллин – Таллин (ж., Таллин). 1984. № 4. Публ. М. Шаповалова.

Четверо – 4 [Четверо]. Пг. [Харьков]: L'oiseau bleu, 1917.

КОММЕНТАРИИ

РОЗЫ С КЛАДБИЩА

О своем дебютном сборнике Шенгели рассказал в автобиографии, написанной для собрания Е.Ф. Никитиной: «Окончив в 14 г. гимназию, я немедленно выпустил сборник стихов “Розы с кладбища” и выступил в Керчи с первой публичной лекцией “Символизм и футуризм” <28 июня – *В.Р.*>. За лекцию меня жестоко изругали в газетах. Книжку же я очень скоро квалифицировал как дрянную, изъял из магазинов и уничтожил. Сотня экземпляров, однако, разошлась, и до сих пор кое-кто ее помнит и даже хвалит» (*Лица*. С. 376). Подробности уничтожения тиража сообщил В.Л. Рыжков: «Казнь над книгой была оригинальной. Шенгели курил самодельные скрученные папироски с самодельными маленькими мундштучками. Страницы “Роз с кладбища” аккуратно нарезывались для этих мундштучков и шли в дело» (*Биография*. С. 85).

Посвящение – Евгения Георгиевна Доброва (в замуж. Хабарова, 1897–1982), дочь учителя народной Булганакской школы Георгия Ивановича Доброва (1860–1945), сестра Александра Доброва (1893–1920), гимназического товарища Шенгели, впоследствии профессионального военного (Быковская Н.В., Небожаева Н.В. И все учились… // Керченская старина: Научно-популярные статьи по истории города и его окрестностей. Вып. I. Симферополь, 2015. С. 208–226). Отмечена Шенгели в погодной росписи «существенных» фактов биографии: «1913 <…> Осенью поселяюсь у Векшинских. – Ванда Маньковская, Женя Доброва» (*Биография*. С. 60).

С. 7. **Лилии сквозь хрусталь**. *Овьельорить* – неологизм от vieilor (*фр*. тускло-золотой цвет).

С. 13. **Кошмар**. *Эпиграф* – перефразированные строки из ст-ния «Les Sages d’autrefois…», вступления к сборнику «Сатурнические стихотворения» (Poèmes saturniens, 1866); в поэтическом переводе: «И те, кто под лучом САТУРНА был рожден, / Светила рыжего, что любо некромантам» (*Верлен*. С. 27).

С. 16. **Кровь (сонет)**. *Посвящение* – гимназический друг Шенгели с 1908 г. (Хронологическая канва // РГАЛИ. 220.12). Ср. в главе из неоконченных мемуаров С.А. Векшинского:

> В этот период <1910 г. – *В.Р.*> среди новых моих товарищей я познакомился и быстро сдружился с Николаем Петровым, сыном портового инженера-механика Александра Рафаиловича Петрова. Осенью, уже в V классе, мы встретились, так как Коля оставался на

второй год. Это был умный, развитый, содержательный юноша, но страшно вспыльчивый и несколько ленивый в ученье. Наша дружба очень скоро превратилась в тесное сотрудничество

(Первое знакомство с электроникой // Светлана. 1967. № 40 (2682), 29 мая. С. 3. Машинопись: АРАН. Ф. 2022. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 1–2). См. также примеч. к ст-нию «На смерть Игоря Северянина» (с. 676).

С. 20. **Поэма вечера**. *Эпиграф* – из ст-ния «La lune blanche…» из сб. «Добрая песня» (La bonne chanson, 1870); см. поэтический перевод: *Верлен*. С. 58.

С. 22. **Под звуки Чайковского**. *Посвящение* – Роза Унанова, сверстница и знакомая Шенгели. Ср.:

Я как сейчас вижу Ваши «Розы с кладбища». Всю жизнь цитировала я строчки из Ваших юношеских стихотворений, посвященных ну хотя бы Розе Унановой или Ванде М… <…> Поняли ли они Вас в свое время? Или единственным оправданием в жизни у Розы были ее чудесные бархатные армянские глаза? А впрочем, что нам, женщинам, больше нужно?

(письмо К. Кошке от 23 мая 1948 г. // РГАЛИ. 158.1об.).

С. 23. **Ноктюрн**. *Посвящение* – Ванда Маньковская, сверстница и знакомая Шенгели. Ср.:

Помню ли я Ванду М.? Одну из сестер Маньковских, Броньку, кудлатую, горластую и редкозубую я потеряла где-то в средних классах. Она «села». Другую, Ванду, я догнала в 7ом. Она тоже «села». Я ничего не могу сказать о ней, кроме того, что она сидела где-то с Женей Добровой, у окна. В гимназии она была невероятно бесцветной и скучной. Какова она была в жизни, в самом деле? Такой, что достойна была занять почетное место в Вашем дон-жуанском списке или такой, какой как нельзя больше подходило служить на почте – мне не известно

(письмо К. Кошке от 25 ноября 1948 г. // РГАЛИ. 158.42об.). См. также в преамбуле к разделу и в предыдущем примеч.

С. 34. **Город сверху**. *Посвящение* – керченский обозреватель (псевдоним «Вс. Азаров»), автор сочувственного отзыва «Символизм и футуризм: лекция Г. Шенгели» (Керченский курьер. 1914. № 147, 2 июля). В мае 1948 г. у Шенгели завязалась (и продолжалась до конца его жизни) переписка с Клавдией Васильевной Кошке́ (урожд. Аргиропуло), фабричной работницей из Одессы, чьим первым мужем был Чижов. Незадолго до этого, 29 января 1948 г. Кошке написала письмо в Ленинград советскому поэту Всеволоду Азарову, которое тот вскоре переслал Шенгели:

Почти 30 лет назад я потеряла своего первого мужа. Он был… «Вс. Азаров»… Оба мы керчане, воспитанники керченских гимназий, сверстники… Всеволод с отроческих лет увлекался театром и журналистикой. Его литературные опыты не пошли дальше маленьких фельетонов в «Керченском Курьере» и уж совсем малюсеньких рецензий в театральных журналах, вроде «Рампа и жизнь». А влюбленность в какую-то актрисочку, исполнявшую роль «цыганки Азы», подсказала ему псевдоним. Вот и был на свете «Вс. Азаров», а по-настоящему «Сева Чижов», гимназист, потом студент Института восточных языков во Владивостоке. А потом войны, империалистическая, гражданская, армии – царская, красная. И где-то на Кубани в 20м году затерялся для меня навсегда его след.

(*Биография*. С. 79). Ср. в ее первом письме к Шенгели от 23 мая того же года (анонимном):

Моим первым мужем был Сева Чижов. Мое недолгое, яркое, своеобразное счастье… Моему сыну от Севы сейчас 29 лет, а мне всё странно, что его уже давно почтительно называют Николаем Всеволодовичем <…> Часто Всеволод читал мне Ваши стихи

(РГАЛИ. 158.1об.).

С. 38. **Сантиментальный разговор (из. П. Верлена)**. Перевод ст-ния «Colloque sentimental» из сб. «Галантные празднества» (Fêtes galantes, 1869). В примечаниях к своему «авторскому» Верлену Шенгели указал: «Перевод этого стихотворения был моей первой переводной работой, выполненной (и очень слабо) еще в 1912 г.; я напечатал этот перевод в моем первом сборничке “Розы с кладбища”, вышедшем и уничтоженном мною в 1914 г.; здесь, конечно, помещен новый перевод» (*Верлен*. С. 129). Сходная по содержанию помета – под автографом нового перевода (под загл. «Чувствительное объяснение», 6.VI.1941), однако в ней старый перевод датируется 1913 г. (РГАЛИ. 45.59).

С. 39. **Опьяняйтесь (из Ш. Бодлера)**. Поэтическое переложение одноименного ст-ния в прозе («Enivrez-vous») из посмертного сб. «Маленькие стихотворения в прозе (Парижский сплин)».

ГОНГ

О «Гонге» Шенгели оставил довольно подробные воспоминания:

Весною 16-го года вышел мой «Гонг» – довольно слабая, хотя и звонкая книга, имевшая неожиданно значительный успех. Под-

вал Айхенвальда в «Речи» сразу сделал меня «знаменитым». <Анахронизм: упомянутый отзыв (см. далее) появился почти год спустя. – *В.Р.*> Выступая со стихами из «Гонга» в Петербурге на одном из вечеров Северянина <23 апреля 1916 г. – *В.Р.*> в громадном, до отказу набитом зале Городской Думы, я вызвал овацию, бисировал 14 раз; в антракте несколько сот экземпляров «Гонга» были раскуплены (в фойе стоял столик с книгами Северянина и моими), и в «артистическую» ломились юноши и девушки с белыми томиками в руках, прося автографов. Мне было только 22 года... Я послал один экземпляр «Гонга» Брюсову с почтительной, но сдержанной надписью

(Валерий Брюсов // *Ин*. С. 448). В январе 1917 г., в ходе последнего турне с Северянином, Шенгели впервые встретился с В. Брюсовым у него дома:

Разговор коснулся моего «Гонга».

– Вы талантливы, – сказал Брюсов. Я окунулся в розовое масло.

– Но ваш «Гонг» еще не книга. Там слишком много чужих голосов. Стихи – интересные, звучные, но всё это – бенгальский огонь, пиротехника.

Я окунулся в оцет.

– Вы спешите. Переживание вы заменяете воображением.

И он поразил меня, безошибочно продекламировав несколько строк из разных стихотворений, показывая, как я «спешу». Ведь книжку я ему послал полгода назад, и он не мог знать, что я к нему приду. Что за божественная память!

<…>

Провожая меня в прихожую и помогая, как я ни увертывался, надеть мою студенческую шинель, Брюсов нанес мне еще удар:

– А почему, – спросил он, – на вашем «Гонге» значится «Петроград», тогда как печаталась книга в Харькове?

Брюсов был совершенно прав, обличая мое маленькое и невинное, но все-таки жульничество. Дело в том, что книги, изданные в провинции, встречались публикою и критикою недоверчиво и раскупались плохо, – и меценат, снабдивший меня деньгами на издание «Гонга», присоветовал напечатать обязательное указание адреса типографии мельчайшим шрифтом в конце книги, а на титуле и обложке тиснуть «Петроград» и название несуществующего издательства L'oiseau bleu («Синяя птица»). Так делали многие, и так, конечно, делать не следовало. Но Брюсов все-таки был жесток.

(Там же. С. 449–451). Под той же маркой Шенгели выпустил брошюры «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные» (1915), почти полностью влившиеся в «Гонг», и сборник «Апрель над обсерваторией» (1917). По свидетель-

ству В.Л. Рыжкова, деньги на издание «Гонга» дал некий Иваненко, любитель поэзии, сам писавший стихи (*Биография*. С. 84).

В рецензии на две брошюры 1915 года журналист Александр Станкевич, «доброжелательный и объективный советчик Шенгели на протяжении всей его жизни» (Постоутенко К. 75 лет книге. Георгий Шенгели. «Гонг» // Памятные книжные даты. М., 1991. С. 176), признав, что молодой поэт «ясен, кладет мысль в основу каждого стихотворения, дает много красивых образов, безусловно талантлив», и отметив в качестве недостатков «налет подражательности» («будуарные утонченности Игоря Северянина») и «чрезмерное изобилие красок, "ювелирн<ую>" любовь к металлам и драгоценностям, которые иногда перегружают стихотворения», резюмировал: «Есть свое лицо, – его необходимо проявлять чаще, творить свое, гореть своим, – это мое искреннейшее пожелание поэтому <так!>, и главное, – как можно меньше увлекаться футуристическими побрякушками» (Южный край. 1915. № 13106, 19 дек. С. 7; подпись: А. С-ъ).

Печатные отклики на «Гонг» появились достаточно поздно. Редактор харьковской газеты «Южный край» Н.В. Дриженко в коротком отзыве для раздела «Новые книги» отметил:

> Харьковским друзьям г. Шенгели станет после «Гонга» ясно, что автор сильно подвинулся в росте. У него замечается уже умелая техника, свободная рифмовка, разнообразный выбор слов. Г. Шенгели стал уже достоин печататься, положим, в «Очарованном страннике». Тем более, что и вся идеология его вмещается в узкую схему северянино-ховинской школы <…> Всё это еще, однако, не означает, что г. Шенгели вырос в поэта. <…> Эстетизм г. Шенгели слишком близко граничит с выдумкой, всё поэтическое воображение его напряжено в изобретении таких образов, как «вальсирующие голубые фонарики», изящество г. Шенгели кажется заимствованным и предвзятым. И потому вся книжка, пронизанная насквозь лунным звоном бледной книжной фантастики, становится, чем дальше ее читаешь, однообразной и утомительной. Есть даже опасение, что ее не дочитают до конца с одинаковым вниманием те харьковские друзья г. Шенгели, которые поощряли его первые опыты

(Южный край. 1916. № 13708, 17 (30) нояб. С. 7; подпись: И. Т<урск>ий). Уже в следующем году «Гонг» в числе других новинок представил Юлий Айхенвальд в очередном выпуске «Литературных набросков»; именно об этом отзыве Шенгели упоминал при каждом подходящем случае:

> Экзотически, нередко вычурными звуками звучащий «Гонг» Георгия Шенгели недаром рифмует *душе* и *саше*, *стихи* и *духи*: он в самом деле предлагает нам *стихи-духи*. <…> сам автор облада-

ет чувством драгоценности и роскоши; он ощущает всё дорогое, он любит природу как обстановку, он принимает мир в его пышности. <…> Как и для Оскара Уайльда, искусство здесь первее природы, и только тем она хороша, что напоминает какую-нибудь картину, иллюстрирует какого-нибудь живописца: природа – иллюстрация к искусству, а не наоборот. Естество ценится как произведение Бога-искусника, мирового ювелира, космического Бенвенуто Челлини. Художественной и хрупкой подделкой высится перед нами дорого стоящий мир. <…> Вселенная, рассматриваемая как драгоценность, может вызывать восхищение, но не религию; витрина не алтарь, и перед нею нельзя молиться. <…> Лазоревые бархаты и шелка, драгоценные камни, редкие цветы, всяческая изысканность и иностранность несомненно владеют Георгием Шенгели; он не притворяется их пленником: он всем этим действительно пленен, хотя и безрадостно для себя, хотя уже и с оттенками пресыщения, – «бедный, больной и земной». Ослепительное и громкое на его страницах уже сделалось его привычкой, второй природой, так что больше не кажется щегольством его искусственность – ни в сюжетах, ни в таких особенностях его формы, как ассонансы вроде *Рембрандт* и *тембра*, как рифмы вроде *приветствовать* и *детства ведь*…

(Речь. 1917. № 35 (3777), 6 (19) февр. С. 2). На этот отзыв, процитировав фразу о «вселенной как драгоценности», опирался П.Б. Краснов в рецензии на второе издание «Гонга», вышедшее в Феодосии (Южный край. 1917, 23 окт.; подпись: Петроний. Повторно: Ипокрена. 1918. № 2/3. С. 32); в настоящее время ни один экземпляр этой книги неизвестен, как неизвестна судьба четвертого сборника поэз «Лунные камни», о котором объявлено на предпоследней странице «Гонга».

В конце 1918 г. вспомнил о «Гонге» в связи с недавно вышедшей «Раковиной» филолог Михаил Самарин (1888–1948), дав, возможно, наиболее обстоятельный и глубокий на тот момент отзыв о творчестве Шенгели в целом:

> Два издания выдержал «Гонг» – сборник стихов того же поэта, вышедший в 1916 г., но он был обилен заимствованными мотивами, порой слишком пестрыми, порой обработанными с досадной поверхностностью, и этим сильно ослаблялось впечатление от разнообразных опытов в области ритма, которыми «Гонг» так по-молодому звучен.
>
> В самом деле – без труда в нем угадывались беспокойные искания, ими сборник был интересен как обещание, данное поэтом читателю, и вот через два года обещанное выращено и названо «Раковиной»!

(Новая жизнь. 1918. № 3, 12 дек. С. 3).

Эпиграф – вероятно, слова, произнесенные Бальмонтом в личной беседе с Шенгели; их знакомство состоялось в первой половине 1915 г. во время поездки Шенгели в Петербург. А.В. Кривцова и Е.Л. Ланн вспоминали «очень узкую, необычного формата книгу, ибо, утверждал поэт, она должна легко улечься в раскрытой ладони читателя… Обдумана была каждая деталь книги, не только формат ее и шрифты, но и композиция полосы и качество бумаги» (О Шенгели. Харьков. 1914 / Публ., вступ. заметка и примеч. П. Нерлера // Вопросы литературы. 1987. № 6. С. 280).

Золотофлисы бледно-синие

Эпиграф – из ст-ния «Измучен жизнью, коварством надежды…» (1864).

С. 41. **Орифламмы**. *ИС*, под загл. «Над Овидием»; дата: 1914. Варианты – строфа I, ст. 6: «благостные» вм. «гаснущие»; строфа II, ст. 3: «вьются» вм. «льются»; строфа IV, ст. 5: «обещанье» вм. «обещанья».

Автограф: *ЛиП*. Л. 19–20, под загл. «Над Овидием»; дата: 1914. Текст *ИС*.

Эридан – здесь: одно из созвездий Южного полушария.

Из цикла «Творимые раи»

С. 43. **I. «Читать испанские imbrôglio в скульптурной зале библиотеки…»**. Сириус. 1916. № 1, 1 марта. – *ИС*, под загл. «В библиотеке»; дата: 1914. Слово «imbrôglio» дано в русской транскрипции («имбролио»). Варианты – строфа I, ст. 3: «вкрадчивой» вм «пламенной»; строфа I, ст. 4: «властительно» вм. «in-folio»; строфа III, ст. 2: «радужные краски» вм. «краски радужные»; строфа IV, ст. 1: «Где вместо бога в мироздании / Капризно властвуют наркотики».

Автограф: *ЛиП*. Л. 17–18, под загл. «В библиотеке»; дата: 1914.Текст *ИС*.

В связи с этим ст-нием А.В. Кривцова и Е.Л. Ланн вспоминали:

> <…> закрыв глаза, мы видим сегодня на эстраде читального зала Харьковской общественной библиотеки (зал по вечерам превращался из читального в концертный) поэта с только что изданным «Гонгом», легко и удобно лежащим в раскрытой его ладони.
>
> Поэт облечен в узкий застегнутый черный сюртук – он куплен по случаю и, конечно, по дешевке <…>. Мы слышим его грудной, баритональный, глубокий голос. Поэт обладает абсолютным ритмическим стихотворным слухом – это врожденное его свойство, и мы слышим, как Георгий читает с эстрады стихи из «Гонга» <следуют первые 2 строки – *В.Р.*>.
>
> Это стихи о читальном зале той библиотеки, где мы впервые увидели нашего друга, большого русского поэта Георгия Шенгели.

(О Шенгели. Харьков. 1914 / Публ., вступ. заметка и примеч. П. Нерлера // Вопросы литературы. 1987. № 6. С. 280; исправлено по авториз. машинописи: РГАЛИ. 285.91–93).

С. 44. **Переливы весенние**. Автограф: *ЛиП*. Л. 16, под загл. «Весна»; дата: 1914. Варианты – строфа I, ст. 3–4: «Я, пьянея от радости, чувствую, что надснежные марева умерли, / Что разрушен кристально-сверкающий в страны Света Полярного мост»; строфа II, ст. 3: «Завещает свои чарования тем, что после распустятся, ирисам».

С. 45. **Музыка**. *ЛЗ*.

С. 45. **Искры в воде**. *ЛЗ*. Вариант – строфа VI, ст. 4: «под звук его» вм. «прозрачные».

С. 46. **Аккорды III**. *ЛЗ*.

С. 47. **Закатные лебеди**. *ЛЗ*. Варианты – строфа I, ст. 3: «предчувствиями» вм. «в предчувствии»; строфа II, ст. 6: «умирающему дивно в небе дню,»; строфа III, ст. 5: «дрожа» вм. «томясь».

С. 49. **Сонное кружево.** *Coeur de Jeannette* – женский парфюм, продукция дома Убиган (Houbigant); составлен одним из лучших парфюмеров своего времени Полем Парке специально для парижской Всемирной выставки 1900 г., где имел огромный успех.

С. 50. **«Из мрамора – под солнцем всё белей…»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 13; дата: 1914. Варианты – ст. 4: «тисовых» вм. «пекинских»; ст. 7: «мерцанье» вм. «мерцанья»; ст. 12: «Лишь воспаленный дар корней жень-шеня…».

С. 50. **Серебряный ритм**. *ЛЗ*. Варианты – ст. 8: «водами» вм. «волнами»; ст. 11: «прочитанным» вм. «прочтенным».

Арум – средиземноморская лилия, способная с помощью растительных компонентов имитировать запах гниющей плоти.

С. 52. **Литургия смерти**. *Посвящение* – Виталий Леонидович Рыжков (1896–1977), биолог, ботаник, вирусолог, член-корреспондент АН СССР. В Харькове в 1916–1919 гг. проводил ботанические и гистологические практикумы, печатался в литературных журналах («Сириус», «Пути творчества»). О знакомстве с Шенгели рассказал в своих воспоминаниях о нем:

> Старо-Московская улица в Харькове одним концом переходила в пустыри, а другим упиралась в мост, который вел на Московскую улицу с ее многочисленными магазинами. Перед мостом был маленький скверик. Вот здесь и состоялось наше знакомство с Георгием Шенгели в 1916 г. Шенгели шел мне навстречу, остановил меня, и мы познакомились. В то время в Харькове я приобрел некоторую известность своими выступлениями в Литературно-Художественном

Кружке, и Шенгели заинтересовался мной. Шенгели вообще любил заводить знакомства по собственному желанию, не дожидаясь случая, обычно он заходил запросто к каждому, кто интересовал его, в том числе и ко всем «знаменитостям» – поэтам, заезжавшим в Харьков

(Воспоминания о Г.А. Шенгели // РГАЛИ. 285.72–77).

С. 53. **Свет холодный**. *ЛЗ*.

С. 54. **Плен**. *ЗП*. Варианты – строфа II, ст. 5: «бледной» вм. «зыбкой»; строфа IV, ст. 3: «красивыми» вм. «звенящими».

Камни мостовых

Эпиграф – из ст-ния «Ночной Париж» («Paris nocturne»).

С. 57. **«Улицы лязгно бряцали…»**. Сириус. 1916. № 1, 1 марта.

С. 58. **Девушка в трамвае**. *ЛЗ*. – *ИС*; дата: 1914. Вариант – строфа V, ст. 3: «глядел» вм. «смотрел».
Автограф: *ЛиП*. Л. 15; дата: 1914.Текст *ИС*.

С. 59. **Зеленый стол**. *ЗП*, под загл. «Сонет зеленого стола».
Chemin-de-fer (*фр.* железная дорога) – шмендефер, карточная игра, разновидность баккара или девятки, цель которой – набрать комбинацию карт количеством очков 9 или как можно ближе к 9-ти.

С. 59. * **Богадельни прекрасного**. Автограф: *ЛиП*. Л. 22; дата: 1915.

С. 62. * **«О диссонансы вечеров…»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 14; дата: 1914.

С. 63. **Стрелы звезд**. *ЗП*. Варианты – ст. 5: «тяжелый жуткий» вм. «тяжелый и жуткий» (возможно, опечатка); ст. 16: «сознал» вм. «осознал» (возможно, опечатка); ст. 17–18: «Так зачем говоришь так серьезно, отбросивши всякую шутку, / что тебе не хочется лета, что тебе не хочется к солнцу, на юг,».

В тексте «Гонга» две последние строки замазаны по требованию цензуры (см. об этом в ст-нии «Все крепости разрушая…», с. 496).

С. 65. **Зеркала потускневшие**. *ЗП*. Вариант – ст. 15: «я ваших» вм. «ваших я».

С. 67. * **Паноптикум**. *ЗП*. – *ИС*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 24; дата: 1914. Текст *ИС*.

С. 68. **Икары потухшего солнца**. *Эпиграф* – из ст-ния «Жалобы Икара» («Les Plaintes d’un Icare») из сборника «Цветы зла».

Лунные палитры

Эпиграф – из ст-ния «Червь-победитель» («The Conqueror Worm»).

С. 70. **Звенья отсветов бледных**. *ЛЗ*.

С. 74. **Белые бабочки**. *ЗП*. Варианты – ст. 18: «красивые» вм. «прозрачные»; ст. 21: «К утру весь мир тает в блеске серебряном,».

С. 77. **«Ночью в степи у одинокого дерева…»**. *Нагель и Дагни* – персонажи романа К. Гамсуна «Мистерии» («Mysterier», 1892).

С. 78. «Читаю ночью Жюль-Верна…». *Астарет*, Иштар – в аккадской мифологии богиня войны, плодородия и плотской любви.

С. 80. «Мои товарищи умчались…». *Ведь я венчан, о Южный Полюс, / твоим навеки королем* – ср. в ст-нии В. Брюсова «Карл XII» (1906): «Игрок безумный в кости Рока, / Венчанный Полюсом король» (указано В. Молодяковым).

Крематорий мысли

Раздел озаглавлен по аналогии с альманахом «Крематорий здравомыслия» (1913), выпущенным футуристическим объединением «Мезонин поэзии». *Эпиграф* – из ст-ния «Вечерние стекла» (№ 3 в цикле «Руанский собор», 1906) из сборника «Стихотворения. 1900–1910».

С. 86. **«О мои голубые, мои нежные дни…»**. *Посвящение* – Александр Петрович Прокопенко (1886–1954), врач-окулист, поэт, масон; участник Первой мировой и Гражданской войн. Под маркой изд-ва «L'oiseau bleu» готовилось собрание его ст-ний. С 1920 г. в эмиграции во Франции. Ср. в воспоминаниях В.Л. Рыжкова:

> По средам бывали мы у Прокопенко – поэта и окулиста, сына известного в Харькове глазного врача. Отец и сын целую неделю вели приемы больных до 11-ти – 12-ти вечера, но по средам вечерний прием отменялся. Вечер проходил в выступлениях гостей и хозяина со своими произведениями, велись оживленные разговоры, но мы не оставались равнодушными также и к бутербродам с черной икрой и холодными котлетами, к чаю и конфетам, которые нам предлагали

(*Биография*. С. 84). Приводим его ст-ние, посвящ. Шенгели (*Четверо*):

> Стою скорбя, как дух могильный,
> На перепутьи всех дорог.

В душе, виденьями обильной,
Сегодня где ты, добрый Бог.

Пустыне мук не вижу края,
И сердце молит – повернуть
К желанью, к ласке, счастью, раю:
На легкий путь, на левый путь.

С. 87. **«Есть волнения во мне, я не знаю их…»**. *Посвящение* – см. примеч. к сонету «Кровь» (с. 610).

С. 87. **Запыленное**. *ЗП*. Вариант – строфа II, ст. 2: «изящно-голубом» вм. «отливно-голубом».

Ср. запись в «Хронологической канве» за 1901 г. (Омск): «Моя первая влюбленность (в актрису Крамскую, игравшую Леля в “Снегурочке”); отец ведет меня к ней в уборную; она меня целует; от нее прекрасно пахнет» (*Биография*. С. 31).

С. 89. **«В кафе безмолвие. Сигарный дым…»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 23; дата: 1915.

С. 94. **Стихи Фалька**. *Фальк* – главный герой романной трилогии С. Пшибышевского «Homo sapiens» (1895–1896).

С. 103. **Сквозь грани**. *ИС*; дата: 1915. Варианты – ст. 5–10: отсутствуют; ст. 11: «И закрыв, зажав глаза, говорю себе:»; ст. 15–16: «Жадно к трещинам прильнул: вот он – мир и свет! / Не один я: люди есть, ибо я – поэт!».

Автограф: *ЛиП*. Л. 21; дата: 1915. Текст *ИС*.

<Дополнение>

С. 104. **Похороны**. *ЗП*.

Сведений об авторе и источнике эпиграфа разыскать не удалось.

С. 105. **Гримасы вечера**. *ЛЗ.*

С. 105. Грезовый вальс. *ЛЗ.*

АПРЕЛЬ НАД ОБСЕРВАТОРИЕЙ

Сборник отпечатан в 1917 г. в Феодосии под маркой «петроградского» издательства «L’oiseau bleu» (см. в преамбуле к разделу «Гонг», с. 613) и прошел незамеченным. С одной стороны, в нем налицо последний всплеск эгофутуризма в творчестве Шенгели, с другой, его можно рассматривать как

своеобразный подступ, «мостик» к будущему «неопушкинству» – недаром заключительное ст-ние сборника поэт спустя год поместил в *Р1*.

С. 110. **«Американские орехи…»**. Ср. позднее ст-ние «Четыре года мне. Я наряжен в черкеску…» (с. 542).

С. 111. **«Золотом горящие фосфористой бронзы…»**. *Райтер*, рейтер – передвижная гиря на коромысле весов. *Далматик*, далматика – длинная туника с широкими рукавами, литургическое облачение католических диаконов.

С. 112. **«Винно-желтый янтарь и лазорево-белый яспис…»**. *Апрель над обсерваторией*, без посвящ. Вариант – ст. 1, 7: «оникс» вм. «яспис». – *Р1*.

Посвящение – Дмитрий Дмитриевич Благой (1893–1984), литературовед-пушкинист, выпускник историко-филологического факультета Харьковского университета (1919).

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЭМЫ

Все ст-ния, составившие сборник, написаны в 1918 г. (Хронологическая канва // РГАЛИ. 220.43). О происхождении заглавия Шенгели упомянул в автобиографии 1927 г.: «назвал, подражая Байроновым “Еврейским мелодиям”» (*Биография*. С. 140). Первое издание вышло в 1919 г. в Харькове в издательстве «Гофнунг», второе – в 1920 г. в одесском издательстве «Аониды».

В отзыве на 2-е издание Владимир Нарбут, подметив, что сборник «дает полное представление о том неоклассицизме, который вылупился из скорлупы акмеизма», и найдя в нем «излишние» подражания Мандельштаму и Бунину, особенно подчеркнул тщательную работу автора со словом и образом:

> Поэт продуманно скупо роняет слова, ревниво оберегая целомудрие речи. И в этом, может быть, главное значение книги.
>
> «Пятикнижие» слов достигается еще тем языком, который принято называть архаическим, но который таит в себе не только благоухание, но и душу веков

(Лава. 1920. № 2. С. 32. Подпись: -Ъ; атрибуцию см.: Тименчик Р. К вопросу о библиографии В.И. Нарбута // De Visu. 1993. № 11 (12). С. 56–57).

Раздел следует композиции 2-го издания; в Дополнении приводятся переводы и переложения псалмов, исключенные при переиздании.

С. 113. **Семиты**. *ЕП1*, без деления на строфы. Вариант – ст. 9: «внутрь» вм. «глубь».

С. 113. **Пустынник**. *ЕП1*. Опечатка – ст. 5: «густой» вм. «пустой». Варианты – ст. 5: «иссушенных» вм. «иссохнувших»; ст. 8: «яблоки» вм. «лепестки»; ст. 10: «идет» вм. «бредет»; ст. 13: «Плывет верблюжья шерсть на сгорбленных плечах,». – *ЕП2*. Варианты – ст. 5, 8, 10: как в *ЕП1*; ст. 13: «Плывет» вм. «Блестит». – *ИС*; дата: 1918.

Автограф: *ЛиП*. Л. 60; дата: 1918. Текст *ИС*.

С. 114. * **Иегова**. *ЕП1*.

С. 115. * **Моисей**. *ЕП1*.

В. Нарбут в отзыве на 2-е издание, процитировав ст. 40–43, заметил: «Это ли не наш вчерашний день? А если так, то, значит, поэт проник не только в “каменную судьбу” слов, но и в их извечное начало» (Лава. 1920. № 2. С. 32. Подпись: -Ъ).

С. 117. * **Ависага**. *ЕП1*, без деления на строфы.

С. 119. **Экклезиаст**. *ЕП1*.

С. 119. **Разрушение**. *ЕП1*.

С. 120. **Кровь Захарии**. *ЕП1*. Варианты – ст. 9: «Откуда эта кровь? – спросил царь иереев,»; ст. 10: «засеяв» вм. «усеяв».

С. 120. * **Грядущий**. Творчество. 1919. № 1.Опечатка – ст. 20: «обожги» вм. «обожгли». – *ЕП1*. Опечатки – ст. 53: «Обожженный» вм. «Обожженной»; ст. 68: «Гори» вм. «Гряди». – *ЕП2*. Варианты: ст. 75, 93, 120: как в «Творчестве»; ст. 61, 83: как в *ЕП1*. – *Р2*; дата: 1918.

С. 123. * **Пророк**. *ЕП1*.

С. 126. **Спиноза**. *ЕП1*. Вариант – ст. 4: «собой» вм. «В себе».
Автограф: *ЛиП*. Л. 57; дата: 1918.

С. 126. **Храм**. *ЕП1*. Вариант – ст. 12: «подземные огни жгли идолов багряно».

С. 127. **Иудеи**. *ЕП1*. Вариант – ст. 13–14: «иди! Иди козлищем отпущенья / и о своих страданиях – молчи…».

<Дополнение>

С. 128. **Песнь песней**. Конъектуры: строфа II, ст. 2 (в сб. «скипетре» вм. «скиптре»), ст. 13–14 (в сб. «Золотом грудь твою / подвески покрыли»); строфа IV, ст. 6 (в сб. «главе» вм. «влаге»); строфа VII, ст. 6 (в сб. «объятья» вм. «объятия»), ст. 23 (в сб. «люблю» вм. «любы»).

С. 132. **Ахер**. *Элиша Родин* (1888–1946) – поэт, публицист; начинал писать на идиш, во второй половине 1920-х гг. полностью перешел на иврит. Пере-

веденные ст-ния взяты из его первого сборника «Стихи и поэмы» («Лидер ун поэмен». Харьков: Гофнунг, 1918). *Ахер* (*ивр*. другой, чужой) – под таким прозвищем упоминается в источниках отвергший иудаизм Элиша бен Абуя (Авуя), в свое время считавшийся одним из величайших законоучителей.

РАКОВИНА

Вероятно, именно о первоначальном варианте «Раковины» идет речь в письме Шенгели к М. Волошину от 5 (18) марта 1918 г.: «Получил предложение издать небольшую книгу сонетов, но не могу отважиться. Хотел обратиться к Вам с просьбой просмотреть ее манускрипт – всего 28 сонетов и “дать заключение”, да боюсь, что я слишком надоедаю Вам» (РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1290).

Первая «Раковина» (*P1*) – по авторскому определению, «малая» (Хронологическая канва // РГАЛИ. 220.17) – вышла в 1918 г. под маркой «Камена»; местом печатания обозначена «Тип. Натковича в Керчи». Сборник собрал обстоятельные отзывы. От внимания П.Б. Краснова не ускользнуло влияние Мандельштама и Волошина, с которыми Шенгели познакомился летом 1917 г. в Феодосии:

> Имя «Раковина» принадлежало и книге Осипа Мандельштама, впоследствии, насколько помнится, переименованной в «Камень». Совпадение этих двух книг по имени – не случайно: и Мандельштам и Шенгели являются отраженным светом Эредиа, от которого «Раковина» и берет свое начало. Но оба эти поэта идут дорогами разными; Шенгели остался ближе к своему учителю.
>
> Если поставить пред русской поэзией такие вехи: «Научное ее содержание; познавательные идеи, облеченные в чувственные и эмоциональные образы; реализм – в смысле самоограничения в пределах эмпирического мира», – то надо сказать: Шенгели этими вехами идет твердо, не уклоняясь.
>
> <…> Шенгели не совсем прав, определяя себя «суровым математиком поэзии», размечающим слова «треугольником скульптурного отвеса по уравнениям». Мы видим, что по страницам «Раковины», в отличие от легкозвонного «Гонга», кое-где перебегала подлинная слеза. Уютный теплый дым «задумчивого табака» реет над этими страницами, дым мечтательности, когда земля становится библией и «небо – храмом». Шенгели одержим глубокой влюбленностью в слово, и потому только, что оно отсвечивает для него радугой. Он любит в слове его живой и сочный плод, мякоть его, при неумелом и грубом обращении теряющую «молоко струей». <…>

Сейчас для Шенгели Северянин уже изжитое влияние. Эта ошибка теперь ему прощена. Тем более что фактически в нем Северянина вытеснил поэт подлинный, славный потомок Эредиа, певец «темной страны Киммерии» – Максимилиан Волошин…

(Южный край. 1918, номер не установлен; вырезка: РГАЛИ. 270.203–205). Александр Станкевич, приветствуя книгу, указывал и предпочтительное направление для дальнейшего развития:

<…> закрывая серую обложку, находишь искрящиеся краски, много солнца и тонко граненых образов. От вкрадчивого бронзового «Гонга» до «Раковины» «твердой и простой», конечно, пройден путь, но еще значительней он от тех первых сборников стихов поэта, где приходилось отмечать дешевую дерзость и претенциозную напыщенность. И вот, совсем иное. <…> Слово становится священным. Уже немыслима забава с цветными камешками, и эта строгость облекает и мечтательный образ поэта <…>

Земля милая и близкая вместо далекой звезды. Живое слово, вместо бирюлек, вместо «чопорного разгула» скуки и претенциозности. <…>

Ярко, красочно, почти чеканно многое. И все-таки минутами охватывает смущение: какое пиршество глаз! Поэт видит. Может быть, пока только видит, и второй этап, который нужно пройти, это – почувствовать, внести больше души, лиричности, томящегося и томящего чувства. Нужно увлечься. Нужно найти и такие образы и такие темы, о которых можно петь с горячей, покоряющей взволнованностью

(Южный край. 1918, номер не установлен; вырезка: РГАЛИ. 270.206–208). Михаил Самарин, начав свой отзыв характеристикой предыдущего сборника Шенгели (см. в преамбуле к разделу «Гонг»), продолжал:

Первое впечатление, остающееся от этого сборника, говорит за то, что его автором сделан большой путь. От проверки впечатление только крепнет, когда выясняется, например, что из пятидесяти стихотворений сборника половина облечена в форму сонета – факт, разумеется, не случайный и особенно интересный, принимая во внимание расплывчатость формальных задач «Гонга».

Если мудрое самоограничение всегда указывает на ценную зрелость мужающего таланта, то «Раковину» по справедливости надо считать книгой, много говорящей об этой стороне в творчестве г. Шенгели, так как самоограничение, заметное в настойчивой работе его над сонетом, не менее заметно и в выборе мотивов, и в

неуклонной воле придавать образам четкую по-старинному скульптурность, иногда благородно соединяющуюся с энергичным лаконизмом в «замка́х» некоторых сонетов.

Юношеские тяготения к банальному экзотизму, доверчивость к непрочной новизне – всё это «вчера» нашей поэзии, характерное для «Гонга», видимо, раз навсегда поэтом преодолено, не однажды взвешенное, а в большинстве безвозвратно изжито.

Незыблемыми в этом отливе влияний остались только монументальные имена Пушкина, Леконт де Лиля и Эредиа. Только с ними не захотел расстаться поэт и тем самым дает особенное право думать, что если «Гонг» – ценное обещание, то «Раковина» – верный залог его будущего.

(Новая жизнь. 1918. № 3, 12 дек. С. 3). Апрелем следующего года датируется уничижительный отзыв С. Разина в харьковском «журнале свободного творчества и независимой мысли»:

<…> не «вино ипокрены», а капельки мутной высыхающей влаги достались Шенгели в бедной раковине творчества, выброшенной на берег скудного его воображения. <…>

После «Гонга», имевшего некоторый успех и, казалось, давшего право говорить о талантливости начинающего автора, «Раковина» – это разочарование, это недвусмысленные точки над i, утверждающие новую (о, которую!) поэтическую посредственность. <…>

Старательный выученик великих мастеров, Шенгели не сумел до сих пор обрести своего поэтического лица, и в стихотворениях его отразился плоский (двух измерений) отпечаток чужих достижений и собственного бессилия.

Живою водою вдохновения не освятил Шенгели грузный и мертвый ворох слов, насильственно втиснутый в строгие рамки сонетов и стансов. Манерные и бездушные, так и не претворились в лирику его стихотворные строки.

Строго вычислены точки горизонта, самых дальних касаний, за которые не смеет переступить тепличное дарование поэта. Но и в сфере доступного, не выходя «за пределы предельного», связанным, несвободным творцом выпиливает Шенгели, как по дереву, скупо и нудно, свои однообразные строки. И неприятна излишняя нарочитость его в выборе изысканных экзотических тем. <…>

«Поэзии суровый математик» просчитал что-то в сокровенном последнем итоге. Его математика не спасла поэзии…

(«Раковина» стихи Георгия Шенгели // Прометей. 1919. № 1. С. 118–120).

Через два года в том же духе, хотя и не столь категорично, выступил укрывшийся за криптонимом харьковский рецензент следующего сборника Шенгели «Изразец» (Одесса, 1921), полностью влившегося в «большую Раковину»:

> В то время как вся, правда, довольно скудная, литература нашей эпохи проникнута стремлением всеми силами освободиться от связывающих ее пут вчерашнего дня, некоторые поэты находят особое удовольствие в том, чтобы, сделав гигантский скачок назад, уткнуться носом в истлевший архив поэзии и в облаках многолетней пыли черпать свое вдохновение. Книга «Изразец» и является именно плодом такого вдохновения, если это последнее определение может быть вообще применимо к поэзии Шенгели. Читая его холодные, вылощенные строки, безукоризненные, как по форме, так и по содержанию, невольно поддаешься уверенности, что всё это не «сотворено», а «сделано». Правда, трудолюбиво, искусно, гладко, но всё же – сделано. И оттого, что это ненастоящее, что это лишь прекрасная подделка под настоящее, никак не избавиться от беспокойного чувства – вот-вот лопнет тончайшая «умственная» пленка, облекающая в плоть художественный суррогат, и из зияющей прорехи выпрется скрученный, чучельный жгут соломы.
>
> Как старая кокетка, выставляющая напоказ свои искусственные локоны, манерничает Шенгели славянизмами или просто грамматическими искажениями (противу, чернилы, сей, хладный и т.д.), т.е. всей той рухлядью, которой некогда щеголяли, но скоро сдали в архив и Брюсов, и Вячеслав Иванов, и Сологуб и многие другие. Также ветхо и также не оправдывается стремительной действительностью важное или неважное подражание поэта застывшим формам Бунинского стиха («Ты помнишь день»… «Политый <так!> двор пылает»… «Вон парус виден»… «Встало утро» и др.), тем более что там, где у Бунина за холодностью и скупостью слова скрывается высокохудожественная прозрачность, у Шенгели всё та же искусная, но и искусственная подделка.
>
> Шенгели – прилежный поэт. Он, как выразился в свое время Айхенвальд о В. Брюсове, не получил поэзии в дар, но заработал ее тяжелым трудом. Но он в то же время – поэт, о котором говорить стоит. И поэтому, тем более, ему необходимо как можно скорее выбиться на вольный воздух из затхлых углов и изжить всё то, что коверкает его безусловно литературный, а подчас и незаурядный стих

(Коммунист. 1921. № 250 (545), 6 нояб. С. 4; подпись: В.).

Вышедшая в 1922 г. в Москве «Большая Раковина» (*P2*) хотя и повторяла 30 из 50 ст-ний «малой», но по сути была совершенно новой книгой стихов.

Критики встретили ее без энтузиазма. Н. Лернер, отдавая должное Шенгели-переводчику, почти дословно повторил некоторые положения С. Разина:

> <…> Довольно культурный, чуткий, отзывчивый, он не выработал своего оригинального лица с «необщим выражением». Таких как он, светящих заемным светом, воспламеняющихся только от чужого огня, от прочитанной книги, у нас теперь много. Между всеми ими в отдельности есть, конечно, неизбежные различия, но все они вместе не составляют никакой новой ступени. Это явление небезразличное и подлежащее учету в истории нашей культуры, в истории разлития поэтических форм, но не в истории развития их, и поэзия в этих своих служителях не обретает ничего нового. Каждый из них – своего рода хрестоматия образцов, сборник мотивов, лишенных взаимной внутренней связи. Как любой из них, Шенгели холоден и немузыкален; стих его искусственен и напряжен; образы натянуты и вымучены

(Книга и революция. 1923. № 1 (25). С. 58).

Следующим откликнулся находившийся в то время в Ташкенте Борис Лавренев в своем отзыве о новинках Госиздата – сборнике М. Цветаевой «Версты» и *Р2*. Прежде чем перейти непосредственно к книгам, Лавренев предуведомляет:

> Начну с оговорки.
>
> Меньше всего хочу хулить авторов этих книжек. Несомненно, что Марина Цветаева <–> талант большого диапазона. Несомненно, чт<о> кованные стихи Георгия Шенгели могут стать учебником стиля для начинающего поэта, также как и исключительно прихотливая и чудесная метрика и ритмика Цветаевой.
>
> И да простят мне оба поэта резкость и односторонность последующего использования их материала, ибо моей целью становится доказать, что если лошади едят овес, то госиздат, может быть, тоже ест оный, но социалистическим просвещением масс не занимается.

Определив основной «уклон» цветаевских «Верст» как «богопочитание», Лавренев переходит к *Р2*:

> Книга Георгия Шенгели имеет другой уклон.
>
> Он человек положительный, позитивист, даже материалист, если хотите.
>
> О боге от него не услышишь. Зато ученый он – страсть.
>
> Массы нужно просвещать. Что они знают из иностранных слов. «Маркс и коммунизм».

Этого мало. Георгий Шенгели должен пополнить этот пробел.

Вот слова, которые он преподносит читателю:

«Орфеев знак», «дравиды», «радиолярии», «Офир», «стигмат», «микрокосм», «Кармил», «талатта», «Эльсинор», «Эспидрон» <так!>, «Босфор Каммерийский» <так!>, «мусикпийский <так!> звон», «Див», «Пирацельс» <так!>, «Тринидад», «Вера-Круц», «Пондишери, Макао», «Сальт-лайк-сити» <так!>, «мормоны», «Хирам», «Экс ориэнте умбра», «урби эт орби», «Маор», «геральдика», «Альфиери», «Кухенрейтер», и наконец два таинственных слова «Опук» и «Палингенезия».

Не стыжусь сознаться, что несмотря на порядочные знания в области филологии, я не знаю, что такое «Опук» и «Палингенезия», и не нашел этих слов в энциклопедиях.

Книга Георгия Шенгели в высшей степени ценна для приват-доцентов филологов, археологов и философов, которые с удовольствием просмакуют звуки заученных к зачетам слов.

Георгий Шенгели ученый человек.

Госиздат тоже ученое учреждение.

Следовательно, госиздат должен издать книгу Шенгели.

Просвещение должно быть доступно массам.

Результат – освещение темных голов, столетиями державшейся во мраке массы, «мистическим светом Опука на территории Палингенезии»

(Литературные заметки. «Христолюбивая Палингенезия» // Туркестанская правда. 1923. № 54, 14 марта. С. 8).

Сергей Бобров откликнулся на новинку в своем «фирменном» стиле:

Нельзя сказать, чтобы Шенгели не умел обращаться со стихом, – нет. Но приходится добраться до гораздо более печального вывода: автору совершенно незачем уметь рифмовать. Сказать ему нечего, поэтического темперамента <…> у него нет и в помине. Самым ремесленным образом кропает автор стишок за стишком, то ямбик, то сонетик, всё прилично, безлично и – скучно, так скучно, что сил нет. О чем бы автор ни говорил, он говорит теми же словами, которыми давно уже было сказано – и сказано именно то, что он вот сейчас собирается сказать; он пишет тем стихом, каким писали слабые символисты, вроде Чулкова, подбавляя туда чуточку акмеистического стоицизма <…>

(Печать и революция. 1923. Кн. 7, дек. С. 272–273; подпись: А. Юрлов. См. также примеч. к ст-нию «Плитный двор сияет в летнем полдне…»).

Через 14 лет в рецензии на *Пл* А. Лейтес, знавший Шенгели еще по Харькову, ретроспективно дал сборнику уничтожающую оценку, подкрепив ее ссылкой на авторитет:

> В первые годы нэпа немало выходило книжек, подобных этому сборнику. Формально грамотные стихи пропитаны холодным, сугубо эстетическим, а временами и враждебным отношением к революции… Александр Блок нашел для авторов подобных стихов презрительную, но правильную кличку – литературные дэнди. Такой дэндизм – реакционный и по форме и по содержанию – чрезвычайно характерен и для стихов Георгия Шенгели

(Литературное обозрение. 1936. № 11. С. 20–21. См. также примеч. к ст-нию «Поэтам», с. 630).

Как сообщал Шенгели М. Шкапской, в декабре 1923 г. «праздновали десятилетие, протекшее с того дня, как я напечатал первое (и плохое!) стихотворение. <…> три хорошеньких девушки, из моих студенток, <…> поднесли адрес, яшмовый мундштук и настоящую раковину. Последнее меня вдохновило: следующую книгу назову “75 червонцев”» (письмо от 15 декабря 1923 г. // *Минувшее*. С. 251).

Раздел «Раковина» следует композиции *Р2* со следующими изменениями: 1. Ст-ние «Грядущий» (располагалось после сонета «Сенат»), ранее включенное в *ЕП1* и *ЕП2*, воспроизводится в разделе «Еврейские поэмы»; 2. Гл. 1 неоконченной поэмы «Шумы раковин» и поэма «Поручик Мертвецов» (два заключительных произведения *Р2*) перенесены в т. 2. В дополнении представлены 19 ст-ний из *Р1*, не включенные в *Р2*.

Юлия Владимировна Шенгели (урожд. Дыбская, во 2-м браке Барсукова, в 3-м – Карасева; 1896–1972) – двоюродная сестра Шенгели, была его женой в 1916–1924 гг. См. также примеч. к ст-ниям «Ну что же: кончено! Ушла теперь и ты…» и «Борисоглебский, 15» (с. 644, 684).

С. 138. **«Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце…»**. Пьяные вишни. [Харьков–Одесса–Феодосия:] Таран, [1920]. Варианты – ст. 2: «морозном» вм. «карминном»; ст. 4: «глубоко» вм. «звездами»; ст. 5: «И коршун, упредивши нашу пулю,»; ст. 9: «охваченная ледяным пожаром». – *Из*. Вариант – ст. 5: как в первой публикации. – *Р2*. Вариант – ст. 5: как в первой публикации. – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 71.

С. 138. **Музе**. См. примеч. к одноименному ст-нию (с. 643).

С. 139. **«В граненной проруби, в крутых отрезах льда…»**. *ИС*.

Автографы:1) *ЛиП*. Л. 52; 2) РГАЛИ. 3.65об., б.д., в тетради ст-ний 1921 г.

С. 139. **Надпись на статуе**. *Из*.
Автограф: РГАЛИ. 3.58; дата – только число и месяц.

С. 140. **Поэту**. *Из*. – *КН*. 1922. № 3 (7), май–июнь.
Автограф: РГАЛИ. 3.59; дата – только число и месяц.

С. 141. * **Поэтам**. Пути творчества. 1919. № 4, без загл. – *Из*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 56, с подзагол. «(В дни германской оккупации)» (вписано от руки).

В рецензии на *Пл* А. Лейтес привел ст. 11–12 как пример того, что «в “Раковине” Шенгели не стеснялся открыто декларировать свои реакционные установки и мечты», и, процитировав последнюю строфу, заключил: «“Пророчество”, как известно, потерпело полный крах. Да и Ронсара из Шенгели не получилось» (Литературное обозрение. 1936. № 11. С. 21).

С. 142. **Огонь и глина**. *Р1*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 28.

С. 142. **Санскрит**. *Р1*, с делением на двустишия. – *ИС*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 49.

С. 142. **Словарь**. *Р1*.
Радиолярии – одноклеточные планктонные организмы. *Офир* – упоминаемая в Библии страна, славившаяся золотом и драгоценностями.

С. 143. **Микрокосм**. *Ип*. 1917. № 1, окт., без загл. Вариант – ст. 2: «жучка» вм. «Жука». – *Р1*. Вариант –как в *Ип*. – *ИС*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 37.

С. 144. **Сенат**. *Р1*, с посвящ. Петру Краснову. Вариант – ст. 6: «бронзой бронь» вм. «бронями». Краснов Петр Борисович (псевд. Петроний; 1895–1962) – поэт, критик, журналист; редактировал журнал «Ипокрена», рецензировал сборники Шенгели «Гонг» и «Раковина» (см. в преамбулах к одноименным разделам).

Автограф: *ЛиП*. Л. 41.

С. 144. **Поединок роковой**. *Из*. Вариант – ст. 18: «спазме» вм. «корче».

С. 145. * **Освобождение**. *Р1*; ст. оформлены как элегические дистихи.
Та́латта, Таласса, Фаласса (др.-греч. Θάλασσα) – море.

С. 146. **«Окном охвачены лиловые хребты…»**. Театр [газ., Одесса]. 1919. № 17. Варианты – ст. 13: «Они видали смерть на Сане и Двине,»; ст. 18: «мужеством» вм. «доблестью». – *Ковчег*; дата: <1>919. Варианты – ст. 2: «цепь сизых облаков и пламя Антареса,»; ст. 5: «белый» вм. «ясный»; ст. 13: как в «Театре»; ст. 17: «И им покорствую и уступаю я –». – *Из*. Опечатка – ст. 1: «холмы» вм. «хребты». – *Р2*. В ст. 10 очевидная опечатка, да-

ющая тавтологическое чтение: «Томленья» вм. «Влеченья»; исправлено по всем предыдущим публикациям.

Включено в *ЛиП*.

Антарес – звезда в созвездии Скорпиона, одна из ярчайших на ночном небе, красный сверхгигант.

С. 147. **«Трагические эхо Эльсинора!..»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 61.
Юрий Олеша восторженно отозвался об этом ст-нии в послании, написанном к вечеру памяти Шенгели 21 февраля 1958 г., на котором он не смог присутствовать по болезни: «Он написал чудные вещи. Сонет о Гамлете, где говорит, что до него доходит раскат трагического эхо Эльсинора, где говорит о железных ботфортах Фортинбраса. У него ни одной ошибки в применении эпитета. Он точный мастер» (*Ин*. С. 14; исправлено по авториз. машинописи: РГАЛИ. 286.55; ГЛМ. Ф. 139. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 1).

С. 148. * **«Да, грозный сон приснился мне. Стою я…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.41об. – ранняя редакция; дата – только число и месяц (опубл.: *Ин*).
Ст-ние является перифразом реплики Луизы из драматических сцен в стихах «1871» (см. т. 2 наст. изд, с. 342).

С. 148. **«Встало утро сухо-золотое…»**. *Из*.

С. 149. * **«Лес темной дремой лег в отеках гор…»**. *Из*. – *Р2*. После ст. 27 – как в *Из* (вариант – ст. 8: «И на руках как бы стигматы зреют,»). – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 55.

В ст-нии описан подъем на гору Святую, самую высокую вершину массива Кара-Даг невдалеке от Коктебеля.

С. 150. **«Закрыв глаза, пересекаю брег…»**. *Из*. Вариант – ст. 12: «холодел» вм. «отливал». – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 58.

С. 151. **«Пологий берег мягко сошел к волне…»**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 88; 2) РГАЛИ. 3.60об., в тетради ст-ний 1921 г.; 3) РГАЛИ.3.65об., там же.

С. 151. **«Всю ночь в окно плескал тревожный ветер…»**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 89; 2) РГАЛИ. 3.65, в тетради ст-ний 1921 г.

С. 152. * **«Закаты в августе! Плывут издалека…»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 90; 2) РГАЛИ. 3.36, на листе с планом и ранним вариантом драм. поэмы «Доктор Гильотен»; 3) РГАЛИ. 3.68, б.д.

С. 152. **Босфор Киммерийский**. *Р1*. Варианты – ст. 3: «а» вм. «И»; ст. 6: «вдавил свой» вм. «означил». – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 38.

Заглавие – название Керченского пролива у древних греков. *Опук* – мыс и одноименная гора на южной оконечности Керченского полуострова.

С. 152. **Порт Св. Иоанна**. *Р1*. Варианты – ст. 2: «темного» вм. «черного»; ст. 3: «Сожженного» вм. «Сгоревшего»; ст. 7: «ползучей молниею злого смеха»; ст. 11: «Фесея» вм. «Тезея»; ст. 13: «скаловом» вм. «каменном»; ст. 14: «Мифридата» вм. «Митридата».

Автограф: *ЛиП*. Л. 36.

Заглавие – неофициальное название Керчи в бытность ее генуэзской колонией (XIII–XV вв.; официальное – Воспоро или Черкио). *В долине – церковь…* – византийский храм Святого Иоанна Предтечи (ок. VIII–IX в.) в центре Керчи, от которого и пошло неофициальное название города. *Храм Тезея* – здание на горе Митридат, возведенное для музея древностей в 1835 г. по образцу афинского храма Гефеста, который, по некоторым предположениям, был посвящен Тезею; снесено в 1959 г. *Гранитный трон – могила Митридата* – скала из нескольких больших камней на вершине горы Митридат, напоминающая формой трон, чаще именуется «креслом Митридата». «Могилой» она может именоваться лишь в том смысле, что Митридат VI погиб (см. примеч. к ст-нию «Клик», с. 682) в Пантикапейском акрополе, находившемся, по преданию, на вершине горы; тело Митридата было погребено в Синопе, столице Понтийского царства.

С. 153. **Скифия**. *Кл*. 1918. № 13. Варианты – ст. 3: «дальняя» вм. «тонкая»; ст. 5: «Часовенки глухой» вм. «А там – часовенки»; ст. 7: «распаханной» вм. «невспаханной»; ст. 13: «грезится» вм. «мыслится». – *Р1*. Варианты – как в *Кл*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 39.

Раскольничья икона – старообрядцы активно выступали против нововведений в иконописи, начавшихся еще до церковного раскола под влиянием западноевропейской живописи, и отстаивали традицию русской и византийской иконы, в т.ч. меднолитой. См. также в ст-нии «Портрет маслом» (с. 347).

С. 154. **Палингенезия**. *Р1*, с посвящ. Александру Гатову (см. ст-ние «Акростих с кодой» и примеч. к нему, с. 394, 688). Вариант – ст. 3: «Полынный аромат» вм. «Густой полынный дух».

Автограф: *ЛиП*. Л. 30.

Заглавие – концепция возрождения и воссоздания. *...вещий выклик Дива* – ср. ст-ние «Клик» (с. 354).

С. 154. **«Я знаю тихий дол. Отлогие холмы…»**. *Р1*. Варианты – ст. 10: «плывут» вм. «Скользят»; ст. 11: «размеренной» вм. «задумчивой»; ст. 16: «и капать в склянку сок побегов молочая».

С. 155. **«Икона вделана в старинный пегий сруб…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.67, в тетради ст-ний 1921 г.

С. 155. **«Давно в колчане крупный жемчуг…»**. *Р1*. Варианты – ст. 12: «напоен» вм. «Наполнен»; ст. 23–24: «и погребальный блеск светилен / багровая струит луна».

Автограф: *ЛиП*. Л. 27.

С. 156. **Самарканд**. *Р1*. Вариант – ст. 5: «блещущий» вм. «громовой».
Автограф: *ЛиП*. Л. 31.

С. 157. **Барханы**. *Р1*. – *ИС*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 25.

С. 157. **Корабль**. *Кл*. 1918. № 15. Варианты – ст. 31: «это не старое ль золото дальних гор Эльдорадо,»; ст. 36: «Сладостны будут тебе недра бродячих могил». – *Р1*, с посвящ. Евгению Ланну. Вариант – ст. 36: как в *Кл*. – *Р2*. Вариант – ст. 36: как в *Кл*. – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 45–46.

С. 158. **Могила**. *Р1*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 29.

С. 159. **Робинзонов склеп**. *Кл*. 1918. № 9. Вариант – ст. 5: «Бюро тяжелое с топорною резьбой,». – *Р1*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 26.

С. 160. **Salt-Lake-City**. *Ип*. 1918. № 2/3, с посвящ. Петру Краснову (см. примеч к ст-нию «Сенат», с. 630). Опечатки– загл.:«Salt-Lake-Cjty»; ст. 3: «брошенном» вм. «брошенным»; ст. 7: «порваны» вм. «сорваны». Вариант – ст. 14: «монахи страстные – угрюмые Мормоны». Ср.: «II–III № “Иппокрены” уже вышел – в ужасном виде: уйма опечаток» (письмо М. Волошину от 5/18 марта 1918 г. // РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1290). – *Р1*, с посвящ. А.А. Станкевичу. Станкевич Александр Александрович (188?–1959) – прозаик, критик, журналист; рецензировал сборник Шенгели «Раковина» (см. в преамбуле к одноименному разделу).

Заглавие – Солт-Лейк-Сити, столица и самый населенный город штата Юта (США); основан в 1847 г. последователями мормонизма, крупнейшей ветви движения святых последних дней. *Над белым городом, обрезанным квадратно…* – Солт-Лейк-Сити спроектирован по принципу прямоугольной планировки. *Подложной библии тяжелая рука…* – речь о Книге Мормона (1830), священном тексте движения святых последних дней.*…в храме мраморном* – Солт-Лейк-Темпл, главный храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, расположен на Темпл-сквер (Храмовой площади), с которой начался Солт-Лейк-Сити; мрамор при его строительстве не использовался.

С. 160. **«В последний раз могиле поклонились…»**. *Из*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 75.

С. 161. **«В звездный вечер помчались, в литые чернильные глыбы…»**. *Р2*; дата: 1920. – *ИС*; дата: 1920. Опечатка – ст. 2: «серебром» вм. «сребром». Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 80; дата: 1920; 2) РГАЛИ. 3.37; 3) РГАЛИ. 3.64об., в тетради ст-ний 1921 г.

Хирама ли мирный корабль… – тирский царь Хирам, заключивший союз с Соломоном, доставлял ему по морю золото, дерево и работников для строительства храмов и дворцов в обмен на пшеницу и оливковое масло (см. 3Цар. 5, 9, 10).

С. 161. **Carmen aeternum**. *Р1*, с посвящ. Осипу Мандельштаму. Автограф: *ЛиП*. Л. 35.

С. 162. * **«Сижу, окутан влажной простынею…»**. *Из*. *–ИС*. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 74; 2) РГАЛИ. 3.62об., под загл. «В цырульне»; ранняя редакция; 3) РГАЛИ. 3.63об., под загл. «В цырульне»; ранняя редакция; 4) РГАЛИ. 3.64.

С. 162. **Ex oriente umbra**. *Кл*. 1918. № 8. – *Р1*, с посвящ. Александру Гатову (см. ст-ние «Акростих с кодой» и примеч. к нему, с. 394, 688).

Круазада (*фр*. croisade) – крестовый поход.

С. 163. **Ватикан**. *Четверо*, без загл., с посвящ. А.П. Прокопенко (см. примеч. к ст-нию «О мои голубые, мои нежные дни…», с. 619). – *Р1*.

С. 164. **«Вон парус виден. Ветер дует с юга…»**. # Одесские новости. 1919. № 11084, 9 (22) дек. С. 2. – *Из*. Вариант – ст. 17: «овеян» вм. «одеян». – Кольцо: Альм. М.: Кольцо, 1922. Помета: «1919 г. Севастополь».

Автограф: *ЛиП*. Л. 70.

С. 164. **«Не выходи: над серым городом простерто…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.61; дата – только число и месяц.

С. 165. **Смертоносцы**. *Кл*. 1918. № 5. Варианты – ст. 3: «Расплывчатой майоликой вспоен»; ст. 13–14: «и в сдавленных глазах – тоска лавин, / но вспыхивает радость, как зарница». – *Р1*. Варианты – как в *Кл*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 48.

С. 166. * **Желтые бреды**. *Р1*, с посвящ. Дионису Помренингу. Помренинг Дионис (наст. имя Михаил Викторович; 1897–1961) – поэт, журналист.

Возможно, связано с поездкой к брату Владимиру в Иркутск весной-летом 1912 г. *«Ослябя», «Бородино»* – броненосцы российской 2-й Тихоокеанской эскадры, потопленные в ходе Цусимского сражения.

С. 168. **«Полночь. Ветер. Лодка покачнулась…»**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 69; 2) РГАЛИ. 3.60, среди ст-ний 1921 г.; дата: 23/IV.

С. 169. **22 января 1793 г**. Новый мир. 1922. № 1. – *Р2*, под загл. «22 янв. 1793 г.». – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 73.

Заглавие – следующий день после казни Луи Капета – низложенного короля Франции Людовика XVI; в этот день его вдова, Мария-Антуанетта, узнав о казни мужа, присягнула как королю своему восьмилетнему сыну Луи-Шарлю Капету.

С. 170. **27 июля 1830 г**. *Кл*. 1918. № 6/7. Опечатка – ст. 12: «и перед Распятьем клал свои поклоны». Вариант – ст. 8: «из» вм. «от». – *Р1*. Вариант – как в *Кл*. – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 43.

Заглавие – первый день Июльской (Второй французской) революции, в который на улицах Парижа вспыхнули баррикадные бои.

С. 170. **«Как тускло он сияет – летний рынок…»**. Новый мир. 1922. № 1, под загл. «Рынок».

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 87; 2) РГАЛИ. 3.66об.–67, в тетради ст-ний 1921 г.

«В полдневный жар, в долине Дагестана» – первая строка ст-ния М. Лермонтова «Сон» (1841).

С. 171. **«Замок упал. Тяжелый створ широко…»**. *ИС*.
Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 86; 2) РГАЛИ. 3.68об., в тетради ст-ний 1921 г.

С. 171. **«Квадратный стол прикрыт бумагой…»**. *Р1*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 44.

С. 172. **«Поужинав холодной кашей…»**. *Р1*.
Триродов – персонаж романа Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1907–1914).
Маир – вымышленная звезда в ст-ниях Ф. Сологуба (цикл «Звезда Маир», 1904).

С. 173. **«Январским вечером, раскрывши том тяжелый…»**. КН. 1922. № 2 (6), март–апр. – *ИС*.

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 68; 2) РГАЛИ. 3.66, в тетради ст-ний 1921 г.

С. 173. **«Прибой на гравии прибрежном…»**. *Р1*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 47.

С. 174. **«Худенькие пальцы нижут бисер…»**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 72; 2) РГАЛИ. 3.65, в тетради ст-ний 1921 г.

С. 175. **«Плитный двор пылает в летнем полдне…»**. *Из*, без деления на строфы. Вариант – ст. 13: «мантилье» вм. «наколке». – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 53.

С. Бобров в рецензии на *Р2* на примере этого ст-ния противопоставляет Шенгели Мандельштаму, подчеркивая при этом общность их творческих установок:

<…> то, во что, с большой тонкостью, теперь выписывается Мандельштам, – разве это акмеизм? Вот сравните два хорея; один – <следует строфа I ст-ния Шенгели – *В.Р.*> и другой:

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма, –
Ничего, голубка Эвредика <так!>,
Что у нас студеная зима…

Примите при этом во вниманье, что в подходах к творчеству оба автора, может быть, и сговорились бы… понятно ли, что второй катрэн – это вот то, что мы называем поэзией, а первый – бездарным виршеплетством! Стоит ли после этого договаривать, что первый взят из книжки Шенгели, а второй написан Мандельштамом?

(Печать и революция. 1923. Кн. 7, дек. С. 272–273; подпись: А. Юрлов. Строки Мандельштама – из ст-ния «Чуть мерцает призрачная сцена…», 1920. См. также в преамбуле к разделу). *Альфиери* Витторио (1749–1803) – итальянский поэт и драматург.

С. 176. **«Так хорошо уйти от голосов людей…»**. *Р1*.
Свой портик мраморный вознес к луне музей – возможно, Керченский музей древностей (см. примеч. к ст-нию «Порт Св. Иоанна», с. 632). *Где Веги пламена и нежный огнь Денеба…* – звезды Вега и Денеб вместе с Альтаиром образуют т.н. «летне-осенний треугольник», видный в Северном полушарии летом и осенью.

С. 176. **Державин**. *Посев*. Вариант – строфа VII, ст. 1: «вернувшися» вм. «вернувшийся». – *Из*. Опечатка – строфа II, ст. 3: «огонь» вм. «огнь». Вариант – как в *Посев*. – *ИС*.

Включено в *ЛиП*.

Ср. в послании Ю. Олеши, написанном к вечеру памяти Шенгели 21 февраля 1958 г.: «Лучшее стихотворение о Пушкине в русской литературе после Лермонтова написано им. Он говорит, что Пушкин на экзамене перед Державиным выбежал “лицом сверкая обезьяньим”! Гениально!» (*Ин*. С. 14). 8 января 1815 г. на переводном экзамене по российскому языку в Царскосельском лицее А.С. Пушкин прочел свои «Воспоминания в Царском Селе», чем привел в восхищение присутствовавшего на экзамене Г.Р. Державина.

С. 177. **Рукописи Пушкина**. *Р1*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 40.

Речь идет о факсимильном изд.: Рукописи Пушкина. Вып. I: Автографы Пушкинского Музея Императорского Александровского Лицея. СПб.:

Изд. Великого князя Олега Константиновича, 1911; подготовлено при участии Н.К. Кульмана, В.И. Саитова, П.Е. Щеголева.

С. 178. **Надпись на томике Пушкина**. Южное слово [газ., Одесса]. 1919. № 63, 17 нояб., под загл. «Пушкину». Варианты – ст. 5: «Вот первые листы: блистает лоб высокий,»; ст. 7: «тонким» вм. «слабым». – *Из*.

С. 178. **«...Никитские ворота…»**. *Из*. Вариант – ст. 11: «Здесь разгадаю я то, что томило,».

С. 179. **Натали**. *Посев*, под загл. «Nathalie». – *Из*. – *ИС*.
Автограф: РГАЛИ: 3.64об. Черновой автограф, в тетради ст-ний 1921 г. Включено в *ЛиП*.

Кухенрейтер – регенсбургская оружейная фирма. Самым популярным дуэльным оружием в пушкинские времена были пистолеты фирм Кухенрейтера и Лепажа, однако на каких пистолетах проходила дуэль Пушкина с Дантесом, доподлинно неизвестно; встречающиеся в новейшей литературе указания на Лепажа безосновательны (см.: Файбисович В. Этикетка нуждается в обновлении // Наше наследие. 2014. № 109. URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10909.php). *Морошки блюдечко – прощение твое!* – менее чем за час до смерти Пушкин попросил моченой морошки; «когда ее принесли, то он сказал внятно: “Позовите жену, пусть она меня покормит”. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья умирающего, поднесла ему ложечку, другую – и приникла лицом к челу мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: “Ну, ничего, слава Богу, всё хорошо”» (Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: В 4 т. Т. IV: 1833–1837. М., 1999. С. 601–602).

С. 180. **Могила Баратынского**. # Южное слово [газ., Одесса]. 1919. № 98, 26 дек. С. 2. – *Из*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 42.

Я посетил величественный город… – Александро-Невская лавра; Е.А. Баратынский похоронен на входящем в ее архитектурный комплекс Тихвинском кладбище. *В Финляндии зачатых Пропилей* – в Финляндии Баратынский оказался в 1820 г. с переводом в Нейшлотский пехотный полк; здесь началось становление его поэтического мастерства, которое Шенгели сравнивает с Пропилеями – парадным входом в афинский Акрополь. ... *отягченный якорь, / Что подняли марсельские матросы* – аллюзия на одно из последних ст-ний Баратынского «Пироскаф» (1844): «Много мятежных решил я вопросов, / Прежде, чем руки марсельских матросов / Подняли якорь, надежды символ!»

С. 181. **Крепость-Фанагория**. Творчество. 1919. № 3, апр. Варианты – строфа IV, ст. 4: «валяются в соседнем городке…»; строфа V, ст. 1–2: «И толь-

ко я в сей миг припоминаю / давно перегоревшие стремленья,». – # Южное слово [газ., Одесса]. 1919. № 77, 1 дек. С. 2. – *ИС*.

Автограф: *ЛиП*. Л. 59.

Крепость Фанагория (Фанагорийская крепость) была построена по приказу А.В. Суворова в 1794 г. на западной окраине станицы Тамань. Название получила ошибочно: в те времена полагали, что Тамань находится на месте древнегреческой колонии Фанагория, второй после Пантикапея столицы Боспорского царства. В Крымскую войну крепость сильно пострадала; до настоящего времени сохранились лишь упоминаемые в ст-нии земляные бастионы. *...у церкви в городке* – храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани; основан в 1793 г. *Певец заброшенной Тамани* – М.Ю. Лермонтов.

С. 182. **Ермолов**. *Посев*. Вариант – ст. 7: «Чечня и Дагестан» вм. «Поля Бородина». – *Из*. Вариант – как в *Посеве*. – *Р2*. Вариант – как в *Посев*. – *ИС*. Автограф: ГЛМ. 1.2.1. Помета: «15 авг. 1920 г. Одесса». Включено в *ЛиП*. *А ночью три строки легло в его дневник*... – в основу «дневниковой записи» положен отклик Ермолова на смерть Лермонтова, сообщенный П. Бартеневым: «Уж я бы не спустил этому NN <Мартынову – *В.Р.*>. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его; там есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, чрез сколько времени посланного не будет в живых. И было бы законным порядком. Уж у меня бы он не отделался» (<Бартенев П.И.> Разговор с Ермоловым (Из недавних записок) // Русский архив. 1863. № 5. Стб. 440).

С. 183. * **Домик**. *Четверо*, без загл., с посвящ. Ник. Ал. Петрову и Ал. Вл. Станиславскому (см. примеч. к ст-ниям «Кровь» и «Шурке», с. 610, 698). – *Р1*. Автограф: *ЛиП*. Л. 32–34.

<Дополнение>

С. 186. **Поэт**. Над этим ст-нием в экземпляре *Р1*, принадлежавшем ученице Шенгели по харьковской студии стиха Анастасии Александровой (Собрание В. Молодякова), рукой владелицы вписано посвящ. О. Мандельштаму (возможно, со слова автора).

С. 187. **Марон**. *Марон* – здесь: отшельник, по имени святого Марона, монаха-отшельника, почитающегося основателем Маронитской католической церкви.

С. 187. **Лагуны**. *Ип*. 1917. № 1, окт., без загл.
«и будете как боги» – слова змея, соблазняющего Еву вкусить плод от запретного древа (Быт. 3:5).

С. 188. **«Снаружи мерцает на меди…»**. *Четверо*. *Посвящение* – см. примеч. к ст-нию «О мои голубые, мои нежные дни…» (с. 619).

С. 189. **Слоны (Леконт де Лиль)**. *Ин*. 1918. № 2/3. Варианты – строфа II, ст. 3: «и там, под пальмами, привычными пантерам,»; строфа III, ст. 3: «Порою лишь боа в тепле своих дремот»; строфа IV, ст. 1: «в огне» вм. «огнем»; строфа VIII, ст. 2: «бредут» вм. «Идут»; строфа X, ст. 2: «плеск» вм. «вой». Перевод ст-ния «Les éléphants» из сб. «Варварские стихотворения» (Poèmes barbares, 1862) Шарля Леконта де Лиля (1818–1894). Публикация в *Ин* (вместе с переводом ст-ния «Сердце Гиальмара») также посвящена Волошину. «Избранные поэмы» Леконта де Лиля в переводе Шенгели анонсировались в *Р1*, *ЕП2* и «Избранных сонетах» Ж.М. де Эредиа, однако этот проект так и не осуществился – в последующие годы в печати появилось лишь 4 новых перевода (2 из них в *Пл*, см. в соответствующем разделе).

С. 190. **Отмели**. *Ин*. 1917. № 1, окт., без загл. Варианты – ст. 8: «округло развеять созвением»; ст. 20: «последними» вм. «прощальными».

С. 191. **Основателю города (Эредиа)**. Перевод ст-ния «À un fondateur de ville» из сб. «Трофеи» (Les trophées, 1893) Жозе Мария де Эредиа (1842–1905). Летом 1917 г., после первого визита в Коктебель, Шенгели перевел около двадцати сонетов Эредиа по экземпляру «Трофеев», одолженному у Волошина; «Избранные сонеты» в его переводе (40 ст-ний) вышли в конце 1919 – начале 1920 гг. в одесском изд-ве «Омфалос», еще 3 перевода включены в *Пл* (см. в соответствующем разделе).

С. 192. * **Цепь**. *Осв*, без загл., без посвящ.
Посвящение – Константин Соломонович Цагарели (?–1938), участник литературной жизни Харькова, автор «философско-психологических разборов» произведений Л. Андреева и М. Арцыбашева. В. Рыжков в продолжение рассказа о литературном салоне Прокопенко (см. примеч. к ст-нию «О мои голубые, мои нежные дни…», с. 619) пишет:

> Другой литературный салон имел более богатый вид. Он был организован Цагарелли <так!>, автором книги «Так говорил Заратустрасын». К книге мы относились иронически, но у Цагарелли бывали. Он жил в квартире своей тещи при женской гимназии, принадлежавшей этой теще. В дни приемов для нас были открыты не только комнаты квартиры, но и залы гимназии. Приемы были многолюдные, иногда на этих приемах были и иногородние поэты. Помню, как однажды привезли в подвыпившем виде Игоря Северянина.

(*Биография*. С. 84, с исправлением неверного написания фамилии).

С. 194. **«О, Всадник Бронзовый! Твой лавроносный лоб…»**. *Кл*. 1918. № 4. Автограф: РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1290 – машинопись, в письме М. Волошину от 12 февраля 1918 г. Шенгели предваряет ст-ние описанием окружающей его обстановки: «В Х<арько>ве свирепствуют анархисты, и богатейшие книгохранилища и коллекции картин, оружия, древностей в

захваченных этими людьми домах безжалостно расхищаются. Газеты удушены, и остались листки, печатаемые по “новейшей орфографии” и, значит, неудобочитаемые, не говоря о площадности содержания. Позвольте привести мой сонет на “темы дня”».

С. 195. **Захолустье**. *Посвящение* – см. примеч. к ст-нию «Литургия смерти» (с. 617). *здесь Федор Сологуб писал о Мелком Бесе* – ошибка: в годы службы в провинции (1882–1892) Сологуб работал над романом «Тяжелые сны», стилистически во многом предопределившим «Мелкого беса», который писался уже в Петербурге.

С. 197. **e2 – e4**. *Посвящение* – см. примеч. к ст-нию «Кровь» (с. 610).

С. 198. **«Вдали расплавленно-топазовая…»**. *Четверо*. Между строф VI и VII: «И, о своей не зная молодости, / как воздух, молодо дышал, / не видя в будущем расколотости / несокрушимых этих скал…»

НОРД

Тетрадь, озаглавленную «Георгий Шенгели. Стихотворения. Октябрь 1921 г.» (дата относится к началу записей), автор завершил следующим уведомлением:

> Стихи, находящиеся на предыдущих страницах (не все, а получше), и некоторые, набросанные на листках и сюда не вписанные, входят дополнением во второе издание второго тома моих стихов «Раковина», выходящего из печати к осени 23 г. Со следующей страницы начинаются стихи «третьего периода», мои «Virilia». «Гонг» был исканием, «Раковина» обретением; «Virilia» – должны быть созиданием. Пусть последождная свежесть ночи, и звезды в светлом небе, и огоньки в уютных ячейках огромного дома вдали, и сломанные ивы у дома, где умер Писемский, будут свидетелями твердой воли моей вписать мое имя в Готский альманах поэзии. Благослови, Аполлон и тень Александра!
>
> Москва, Борисоглебский пер., 6. 23/10 мая 23 г. 11 ч. 55 мин.

(*Биография*. С. 264; о Писемском см. в ст-нии «Борисоглебский, 15», с. 685). Второе издание «Раковины», как и собрание стихов под заглавием «Virilia» (*лат*. зрелые <сочинения>), не состоялось. Весной 1924 г. Шенгели составил из новых ст-ний небольшой сборник «Иней» (состав см. в приложении), который собирался предложить одному из ленинградских издательств (см. письмо к М. Шкапской от 10 апреля 1924 г.: *Минувшее*. С. 255), – этот проект так-

же остался неосуществленным. Лишь по анонсу в сборнике Г. Ширмана «Череп» (М.: Всеросс. союз поэтов, 1926) известно о неизданной книге Шенгели «Каюта: Стихи» (Тименчик Р., Гельперин Ю. Теневой портрет русской поэзии начала XX века // Тименчик Р. Ангелы – люди – вещи: В ореоле стихов и друзей. М., 2016. С. 181). Наконец, в 1927 г. под маркой Всероссийского союза поэтов (возможно, на средства автора) вышел *Н*, оставшийся незамеченным официальной критикой:

> Последняя книга стихов, выпущенная год назад, абсолютно нигде не была отмечена. Не стоила того? Быть может, – но ведь и нестоящие книжки отмечаются, – хотя бы бранью! Идеологически далека? Да, *эта* книга – далека: уныла. Но четкость письма, но мастерство осталось же. Это ведь также не частая и не бесполезная вещь

(письмо В.П. Полонскому, черновик, <1928> // *Биография*. С. 309–310). Тем не менее, ближайшие друзья встретили книгу тепло, ср.:

> Часто я перечитываю «Норд» вслух (с А.В. <Кривцовой – *В.Р.*>). Сейчас снова читали, и я как-то особенно остро почувствовал твою необычайную зоркость к «милым малостям былого», особенно ясно почувствовал великолепную стихию твоего творческого дара: любить, как может любить только врожденный поэт, память о невозвратных вещах. Меня взволновало <так!>, как волнует часто, твоя – прогретая подлинным лирическим волнением – привязанность к тем знакам, которые отмечают нашу необозримую принадлежность милой и горькой жизни, наше подданство человеческим радостям и печалям.
>
> Быть может, ты знаешь – я лишен этого таланта – ни в том, что я пишу, ни в том, как я живу – я не умею видеть и не умею помнить о жизни. Я – какой-то сквозь жизнь сквозняк, и потому так сладко мне подчас и так волнующе читать твои стихи о вещах в их неповторимом очаровании – о вещах, а не об идеях и не о страстях. У тебя эти вещи, я бы сказал, индевеют ласковой о них памятью, и эта «ласковость» усталого человека и эта память о милых радостях и болях, которые даны были тебе вещами – меня хорошо и глубоко умиляет в тебе. Я не назову ни одного поэта, который вызывал бы во мне эмоции данного ряда – ты, единственный умеешь заставить меня задержаться в своем сквозняке. И за это я благодарю тебя

(письмо Е. Ланна от 18 ноября 1928 г. // *Биография*. С. 267–268).

В предисловии к вышедшему 8 лет спустя *Пл*, написанному в соответствии с требованиями времени, Шенгели предпочел отказаться от *Н*:

> Двенадцать лет отделяют эту книгу от предшествовавшей ей «Раковины». Правда, в 1927 году вышла маленькая книжка «Норд».

> Но она не в счет. Она в значительной степени была коллектором преходящих и болезненных настроений; выпуск ее был нужен *мне* как форма изживания этих настроений, и в продажу я книгу не пустил

(От автора. С. 3). Тот факт, что *Н* не попал в продажу, находит подтверждение в воспоминаниях И.И. Пузанова:

> После того, как тон этого сборника, в который вошло несколько «упадочных», пессимистических стихотворений, при полной аполитичности, – был частным образом осужден некоторыми литераторами, которым Шенгели подарил сборник, он решил вообще не пускать его в продажу, а раздаривал друзьям. Конечно, он выбирал таковых среди людей одинаковых с ним вкусов, причем дарил по нескольку экземпляров, что и было в моем случае. А жаль! Большинство стихотворений «Норда» очень хороши

(Пузанов И.И. Воспоминания. Одесса, 2015. Т. 2. С. 96). Сборник, тем не менее, не канул в Лету и даже был запущен в «самиздат», ср.:

> Был у меня Беленков (мой студент) <А.В. Белинков, литературовед. – *В.Р.*>. Говорил, что я сейчас «так же популярен, как Пастернак у лучшей, культурнейшей части молодежи», что мой «Норд» ходит в списках за невозможностью достать книгу; что за «Избр<анные> стихи» платят по 100 р.!!! Ну-ну! Поистине не знаешь путей своих. Что-то вроде судьбы Верлена, вынырнувшего в конце 80-х гг. из полной неизвестности и внезапно ставшего кумиром!!

(письмо Н. Манухиной от 5 мая 1943 г. // РГАЛИ. 113.20об.–21; см. также: Белинков А.В. Россия и черт: Роман, рассказы, пьеса, допросы. СПб., 2000. С. 101–106);

> Я начинаю становиться популярен; я писал тебе, что молодежь переписывает мой «Норд» (за невозможностью достать книгу: она, изредка, попадается у букинистов и продается по 75–80 руб.)

(письмо Н. Манухиной от 16 мая 1943 г. // Там же. Л. 23об.).

Раздел следует композиции *Н*; завершающая *Н* поэма «Пушки в Кремле» перенесена в т. 2.

Посвящение – Нина Леонтьевна Шенгели (урожд. Лукина, в первом браке Манухина; 1893–1980), поэт, переводчик; вторая жена Шенгели (с 9 сентября 1924 г.). В литературе выступала под фамилией первого мужа. Шенгели познакомился с ней 21 июля 1921 г., во время поездки в Москву из Одес-

сы, на заседании общества «Литературный особняк» (Хронологическая канва // РГАЛИ. 220.43об.).

С. 200. **Музе**. Недра. 1925. Кн. 8.
Автографы: 1) *Иней*. Л. 3; 2) РГАЛИ. 3.81об. В корпусе *ЛиП* – копия Н. Манухиной; не исключено, что в содержании *ЛиП* этим загл. обозначено одноименное ст-ние из *Р2* («Я скрипку в прорубь окуну…», с. 138).

См. пародию И. Пузанова на это ст-ние: *Биография*. С. 300–301.

С. 201. **«От звезд тревожным ветром тянет…»**. Автографы:1) *Иней*. Л. 6; 2) РГАЛИ. 4.2.

С. 201. * **Айсигена**. *НС*. 1926. Сб. 1. – *Пл*, с эпиграфом: «Общая матерь, земля, будь легка над моей Айсигеной, / Ибо ступала она так же легко по тебе. *Мелеагр*» (эпиграмма из Палатинской антологии в переводе В. Брюсова в его кн.: Опыты. М., 1918. С. 63); дата: 1924. – *ИС*; дата: как в *Пл*.

Автографы: 1) РГАЛИ. 4.81об., 91об. (архивная раскладка спутана); 2) РГАЛИ. 4.16–16об., набросок ранней редакции. Включено в *ЛиП* в раздел «1924».

Ср. в ст-нии Н. Манухиной 1952 г., посвященном Шенгели: «С явью сны совсем, совсем не схожи, / Но остался сновидений след, – / Поступь легкая… Недаром всё же / Айсигеною меня назвал поэт!..» (Манухина Н. Смерти неподвластна лишь любовь. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 45). С легкой руки Шенгели так же называли Манухину друзья и знакомые. *Орхестра* – в античном театре круглая площадка для выступлений актеров, хора и отдельных музыкантов.

С. 202. **«Стаял точно льдинка час…»**. Красная новь: Альм. М.; Л.: ГИЗ, 1925. № 2. Вариант – строфа VI, ст. 1: «всё» вм. «жизнь».

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 125; 2) РГАЛИ. 3.86.

С. 203. **«Белый дом, большой и ровный…»**. *Стык*. – *ИС*.
Автографы: 1) *Иней*. Л. 13–14; 2) *ЛиП*. Л. 128–129; 3) РГАЛИ. 3.73, набросок, среди ст-ний 1922 г.

С. 204. **«Neue Zeiten, neue Voegel…»**. Россия. 1925. № 4 (15). Вариант – ст. 5: «тает» вм. «вянет».

Автограф: РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 38, в письме М. Шкапской от 4 августа 1924 г., без деления на строфы.

Ст. 1–2 – неточная цитата из гл. 27 поэмы Генриха Гейне «Атта Тролль» («Atta Troll», 1841); в оригинале «andre» (другие) вм.«neue» (новые).

С. 205. **«Семечки полускать у ворот…»**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 8; 2) *ЛиП*. Л. 175, под загл. «Где?», без строфы I; дата: 1926 (опубл.: *Ин*); 3) РГАЛИ. 3.78.

С. 205. **Льстец**. Россия. 1924. № 2 (13). Вариант – ст. 9: «сельская» вм. «псковская». – *Пл*. – *ИС*; дата: 1924.

Автографы: 1) *Иней*. Л. 28–29; 2) *ЛиП*. Л. 139; дата: 1924; 3) РГАЛИ. 4.15.

В основе сюжета – аудиенция в Чудовом дворце московского Кремля, данная Николаем I специально доставленному из михайловской ссылки А.С. Пушкину 8 сентября 1826 г. (Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: В 4 т. Т. II: 1825–1828. М., 1999. С. 169). *Пять черных виселиц…* – достоверно известно, что на вопрос Николая I: «Что сделал бы ты, если бы 14-го декабря был в Петербурге?» – Пушкин ответил: «Встал бы в ряды мятежников». *Сам буду цензором* – по итогам беседы император обещал облегчить прохождение произведений Пушкина через цензуру (цензурировать их лично). *А там – псковская глушь…* – имение Пушкиных Михайловское относилось к Опочецкому уезду Псковской губернии. *А? Право? Может быть* – неточная цитата из маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». *А после, в номере…* – неточность: первый вариант «Стансов» («В надежде славы и добра…») Пушкин набросал 22 декабря 1826 г., гостя в доме у В.П. Зубкова (Летопись… С. 218). Еще до публикации «Стансов» по Москве начали распространяться слухи об угодничестве Пушкина, возникли легенды, что ст-ние написано едва ли не по заказу, экспромтом в кабинете императора. С появлением послания «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю…») слухи усилились (Летопись… С. 465); отметим, что одно из заглавий, под которым это послание распространялось в списках, – «Льстец».

С. 206. **Бетховен**. Россия. 1924. № 3 (14). Вариант – ст. 24: «А всё же Бетховен Бетховена муку играет». – *Пл*; дата: 1922. – *ИС*.

Автографы: 1) *Иней*. Л. 32–33; 2) РГАЛИ. 3.86об. Включено в *ЛиП*.

См. пародию на это ст-ние: Тарловский М. Молчаливый полет. М.: Водолей Publishers, 2009. С. 465.

С. 207. **«Был весенний, был тревожный ветер…»**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 11; 2) РГАЛИ. 4.8об.

Возможно, подразумевается приезд Шенгели в Керчь в 1902 г.

С. 207. **«Этот корень виноградный…»**. *НС*. 1926. Сб. 1. Вариант – ст. 4: «прижму» вм. «нажму».

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 152, под загл. «Трубка»; 2) РГАЛИ. 4.84об.

С. 208. **«Ну что же: кончено! Ушла теперь и ты…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.9об., под загл. «Прощание»; помета под датой: «Пасха».

И тихо умерла второю ночью мая… – Шенгели пишет о грядущем через 5 дней 30-летии как о свершившемся факте. Игорь Северянин, которому Шенгели, возобновляя переписку, послал *Н*, истолковал слова об умершей молодости иначе:

Я испытал действительную радость, получив Ваш «Норд»: через 11 лет Вы вспомнили меня, – спасибо.

Из книжки Вашей узнал о смерти Юлии Владимировны, такой всегда хрупкой, так всегда мучившейся. Нежно жму руку Вашу. Но ведь Вы были давно подготовлены к этому, не правда ли? Я тогда же видел ее обреченность. Бедная маленькая женщина, девочка на вид

(письмо от 12 сентября 1927 г. // Игорь Северянин. Стихотворения и поэмы. 1918–1941. М., 1990. С. 401). Шенгели не замедлил с ответом:

Прежде всего, разъясняю недоразумение: Юля жива. Но мы развелись три года назад; она вышла замуж вторично, у нее сын: Игорь. Я также женат вторично: на Нине Манухиной, поэтессе, очень умной, высоко интеллигентной и блестяще остроумной. У нее есть все Ваши книги (до 17 г.), и мы нередко читаем вслух любимые вещи

(письмо от 19 сентября 1927 г. // *Ин*. С. 477; исправлено и дополнено по автографу: РГАЛИ. 119.1об.).

С. 209. **«Я постарел. О чем теперь мечтаю?..»**. Автограф: РГАЛИ. 3.80об.–81.

С. 210. **Денис Давыдов**. *Стык*. – *Пл*; дата: 1926. – *ИС*; дата: 1929.

Автографы: 1) *Иней*. Л. 30–31; 2) РГАЛИ. 4.2об. Включено в *ЛиП* в раздел «1929».

С. 211. **«Вторую неделю из тундровых недр…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.23. См. ст-ние «Акелдама» и примеч. к нему (с. 409, 690).

С. 211. **«В песчаных степях ледяных…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.21об.–22об.

С. 213. **«Вместо воздуха – мороз…»**. *Стык*. Вариант – ст. 2: «синеве» вм. «глубине». Параллельно: Ленинград. 1925. № 10, 28 марта, под загл. «Мороз». Вариант – как в *Стык*.

Автографы: 1) *Иней*. Л. 4; 2) РГАЛИ. 4.8об.; 3) РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 14об., в письме М. Шкапской от 17 марта 1924 г. Вариант – как в *Стык* (опубл.: *Минувшее*. С. 253). После текста следует: «И странно: стихи мне нравятся, а между тем они явная помесь Бальмонта и Ахматовой. Что скажете Вы?»

С. 214. **У гроба Брюсова**. Звезда. 1925. № 1; дата: 11.X.1924. – *Н*; дата: 10.X.1924.

Автографы: 1) РГАЛИ. 4.88об., без загл.; помета: «О Брюсове»; 2) в письме М. Шкапской от 22 октября 1924 г. (опубл.: *Минувшее*. С. 266).

Подробнее о взаимоотношениях с Брюсовым см. очерк Шенгели «Валерий Брюсов» (*Ин*. С. 447–460; фрагменты см. в преамбуле к разделу «Гонг», с. 612). Брюсов умер 9 октября 1924 г. Спустя два дня Шенгели писал:

> Умер Брюсов. Сегодня он еще лежит в зале Института, в сюртуке, узкоплечий, с запавшими глазами, сердитый и удивительно похожий на Плеханова. У тела почетный караул: писатели, профессора, госиздатовцы; я стоял два раза; во второй раз стало дурно: показалось (вероятно, тень от пролетевшей мухи черкнула), что он подмигнул мне; еле справился с собой

(письмо М. Шкапской от 11 октября 1924 г. // *Минувшее*. С. 263). Уже после похорон Шенгели подводил итог взаимоотношениям со старшим товарищем:

> Я в какой-то мере становлюсь наследником Брюсова: в энциклопедии, издаваемой Госиздатом, мне придется писать статьи по стиховедению; всё преподавание стиха в Институте переходит ко мне, и проч. В связи с этим меня не покидает странное чувство: мне давно говорили о каком-то сходстве, внутреннем, между мной и Бр<юсовым>; я перешиб у него Верхарна; я нес его гроб; – какая-то связанность жизней

(то же, приписка от 13 октября // Там же. С. 265). Характеристика, данная Шкапской ст-нию, отчасти угадывается по реакции Шенгели:

> Ваша характеристика моего стих<отворен>ия о Брюсове меня взбесила! Не оценка, а именно характеристика. Пастернак! У меня! Да пусть он умоется прежде! Умоется в слезах Адалис

(письмо от 4 ноября 1924 г. // Там же. С. 268).

С. 214. **«Поникаем в тугие диваны…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.86–86об.

С. 215. **«Засинели с неба снежного…»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 141.

С. 216. **«Умолк вечерний дождь. И горних облак вязь…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.155.

С. 217. * **«Никогда не забуду я этот сухой известняк…»**. *Н*, без деления на строфы. – *Пл*. – *ИС*.

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 153; карандашом рукою Н. Манухиной вписано посвящение «Н.М.» и исправлена дата: 1925 (было: 1926); 2) РГАЛИ. 4.153.

С. 217. **«Февраль. Морозный луч на крашеном полу…»**. *НС*. 1927. Сб. 2. Варианты – ст. 5: «дубовую» вм. «нехитрую»; ст. 10: «вдоль острия» вм. «у острия». – *ИС*.

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 157; карандашом рукою Н. Манухиной вписано посвящение «Н.М.»; 2) РГАЛИ. 4.154.

С. 218. **Старое кладбище**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 130–131; дата: 1924;2) ГЛМ. 1.5.1.

Описывается Старое христианское кладбище, располагавшееся на северном склоне горы Митридат. В 1928–1929 гг. разграблено (плиты разобраны на ремонт зданий и тротуаров), после Великой Отечественной войны срыто; в наст. время на его месте пустырь. *Здесь орден Георгия – образ креста…* – на одном из участков кладбища были сосредоточены безымянные надгробия в форме георгиевских крестов (или надгробные плиты с высеченными на них георгиевскими крестами); в статье «О моей работе» Шенгели отметил: «такие кресты – на всех старых кладбищах Крыма» (*Ин*. С. 366). По мнению современных историков (А.А. Васильев, А.В. Левченко), надгробия датируются концом XVIII века и оставлены казаками Черноморского казачьего войска, которое впоследствии было перемещено на Кубань. *Фанар* (от *греч*. Φανάρι – светильник) – исторический район в Константинополе; назван по располагавшемуся в нем в византийскую эпоху фонарю, который, вероятно, служил в качестве маяка. С начала XVII в. район заселялся греческой знатью, новыми аристократами, которых стали называть фанариотами. Представители некоторых знатных фанариотских семейств – Ипсиланти, Маврокордатос – принимали активное участие в войне за независимость Греции (1821–1832). *Карбонар*, карбонарий (*итал*. carbonaro – угольщик) – член тайного общества в Италии 1807–1832 гг., выступавшего за объединение страны. *Этерия*, Филики Этерия (*греч*. Φιλική Ἑταιρεία – общество друзей) – тайное общество греков, ставившее целью создание независимого греческого государства; весной 1821 г. под командованием Александра Ипсиланти развязало войну за независимость. *Вандея* – департамент на западе Франции, на территории которого в 1793–1796 гг. развернулась гражданская война в ходе Великой французской революции. *Я, поздний потомок нездешних кровей…* – резюмируя рассказ о предках в набросках автобиографии, Шенгели указывает: «во мне смесь следующих кровей: 1) русской (прапрадед), 2) турецкой (прапрабабка), 3) далматинской (прадед), 4) украинской (дед), 5) грузинской (дед), 6–7) “польско-еврейской” (бабка)» (РГАЛИ. 220.47).

С. 219. * **«В комнате этой всё живо и радостно мне…»**. *Н*. – *ИС*; дата: 1927. Автограф: РГАЛИ. 4.160. Включено в *ЛиП* в раздел «1927».

С. 220. **«На выезде был неотворчивый дом…»**. *НС*. 1927. Сб. 2.Варианты – ст. 1: «За городом» вм. «На выезде»; ст. 17: «черном» вм. «темном». – *ИС*; дата: 1916.

Автограф: РГАЛИ. 4.159. Включено в *ЛиП*.

К. Кошке, получив от Шенгели *Н*, писала по поводу этого ст-ния:

> Ах, мне не дает сна и покоя Ваш таинственный дом, который я так и не могу отыскать. Я перебрала в памяти все угловые дома во

всех улицах и переулках подле большой лестницы, но Вашего дома не отыщу.

Трехэтажный серый дом в конце Константиновской – дом Стивы. Сестра говорит, что он действительно производил впечатление необитаемого, а мне кажется, что из его ворот выходили пьяные греки с церковным крестом – в крещенский вечер. <…> В советские годы в этом доме была радиостанция.

Еще был один трехэтажный дом, но не угловой, действительно в Верхне-Митридатском переулке, с подвалами и мрачными арками. Но ведь это наша «Нагорная школа»!!! Когда же это Вы бродили там, молодой человек, по нашим переулкам, и никого не видели? <…>

Но откуда же жуть? В какие годы Вы хаживали по нашему переулку? (я называю его «нашим», потому что там жили все мои друзья) М.б. в последнее время он и был жутким? <…>

Интересно, о том ли доме думаете Вы? Но больше ничего подходящего я не отыщу.

(письмо от 24 августа 1948 г. // РГАЛИ. 158.23–24). Этими размышлениями навеяно ст-ние «Дом на Верхне-Митридатской» (см. с. 517).

С. 221. **Сон**. *Н*, без загл. Варианты – ст. 25: «взойти на крест» вм. «пойти на казнь»; ст. 33: «казни» вм. «кары»; ст. 65: «Гуингмы» вм. «Гуигнмы». – *Пл*, без загл. Варианты – как в *Н*. – *ИС*.
Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 161–163; 2) ГЛМ. 1.6.1–1об., без загл.

С. 223. **«Мокрая медная чашка…»**. *НС*. 1927. Сб. 2.
Автограф: РГАЛИ. 4.158.

И, вспомянув Македонца, / Перевернувшего шлем… – согласно легенде, когда во время изнурительного похода по пустыне Александру Македонскому поднесли драгоценной воды в шлеме, он, желая быть в равном положении со своими солдатами, вылил воду на землю, чем вызвал всеобщий восторг.

ПЛАНЕР

В фонде ГИХЛ сохранился наборный экземпляр сборника (*Пл-набор*). Резолюция редактора А. Тарасенкова датируется 13 февраля 1935 г. В резолюции Главлита за подписью «В. Богданов» перечисляются фрагменты из поэм «Пиротехник» и «Пятый год», после изъятия либо правки которых сборник разрешается к печати; в корпусе правка (авторская или редакторская) затрагивает и отдельные ст-ния.

В предисловии «От автора», датированном 16 января 1935 г., Шенгели, отрекшись от *Н* (см. в преамбуле к соответствующему разделу) и утверждая

преемственность нового сборника от *Р2*, для начала признается в недостаточной «перестройке» своего творческого метода, приведя в качестве примеров поэмы «Пушки в Кремле» и «Пиротехник» (см. в примеч. к ним в т. 2), а затем переходит к политической декларации, попутно раскрывая затрудняющие «перестройку» обстоятельства:

> Мое поколение *в моей социальной прослойке* впервые глянуло на мир под грохот орудий Порт-Артура, сбивших нас с толку; мальчишками мы выбирали по каким-то идиотским брошюркам – «какая партия лучше»; подростками мы глотали Арцыбашева и «Пинкертона», чтобы юношами прыгнуть в путаницу Ницше и Штирнера, в пучину кантианства (в интерпретациях российских профессоров), в туманы, льды и марева символизма, и всё это при полном отрыве от реальной исторической действительности.
>
> И теперь, вступив в третье десятилетие литературной работы, я еще чувствую, каким грузом лежит на плечах пятерня того мира, в котором мы росли. Из притона компрачикосов не выходят со стройной талией. Было бы пошлостью говорить, что «я признал», «я примкнул». Нельзя не «примкнуть» к планете, с которой несешься в звездном просторе. Но переход с *луны* на землю, где всё весит впятеро больше, не легок, прыжки невозможны. Надо работать.
>
> Что ж, будем работать. С радостью, с мужеством. Но нам надо помочь, если еще срывается привыкшая листать старые книги рука

(*Пл*. С. 4–5).

Отзыв Вл. Никонова (Формула перехода // Книга и пролетарская революция. 1936. № 4. С. 101–103), при всей его категоричности, скорее благожелателен. Напомнив, что «автор “Гонга”, “Раковины”, “Норда” принадлежал к холодным эстетам, к тем представителям послевоенной интеллигенции, кто вместо попытки осмыслить происходящее укрылся в лирический особняк с камином, старыми гравюрами и томиками забытых поэтов», что он «долго жил в вымышленном мире прошлого, словно всерьез веря, что история давно остановила бег», рецензент согласился, что Шенгели встал на «трудный путь» перестройки, однако затем остановился на образе планеты из авторского предисловия:

> Не потому ли так длителен и зигзагообразен переход Шенгели со старых позиций, что он неправильно оценивал свое место и роль? И ныне отношения между собой и эпохой поэт определяет неверно <…> Революция – не планета, уносящая пассивных насельников, хотят они того или нет. Но эта метафора вместе с тем отражает определенный момент в развитии сознания самих переходников. Судя по этому, Шенгели стоит еще на том раннем отрезке пути,

который давно прошли Пастернак, Сельвинский, Луговской (также формулировавшие некогда свои отношения к революции как уносящей их планете).

Не ускользнула от внимания рецензента и общая слабость раздела «Грозовой фронт», призванного продемонстрировать актуализацию творческих усилий Шенгели (при том что абсолютное большинство ст-ний раздела написано в 1920-е гг.):

> <…> в лирике своей Шенгели переход на новые позиции совершает путем переосознания своих прежних книжных тем. Для него слово было тем ценней, чем дальше стояло от практической жизни («Словарь», «Санскрит»), в сборнике «Раковина» он упивался экзотическим звучанием слов, оторванных от своего жизненного значения. И вот уже поэт с восторгом повторяет «слова, что трудом налились: шерстобит, стеклодув, краскотер, сукновал, рыболов» («Трудовые слова»). <…>
>
> Однако там, где Шенгели пытается взять большую революционную тему «в лоб», он еще не достигает успеха. Тут он срывается в одическую декламацию и в плоские общие фразы, словно из рукописей начинающих авторов <…>
>
> Поэт нелегко пробивается к новому ощущению мира, новым темам, новой аудитории. Ему еще предстоит завоевать простоту. В этом звучит обещанием «Планер». <…>
>
> Компромиссную формулу Шенгели нельзя признать вполне удовлетворяющей, но и ее можно приветствовать, если она станет чертой, отрезающей пройденное, за которой последует переход к очередным делам – к насущным задачам советской поэзии.

А. Лейтес в своей рецензии (Литературное обозрение. 1936. № 11. С. 20–23) уже не оставляет «литературному дэнди» Шенгели шанса на «перестройку». Ретроспективно разделавшись с «Раковиной» (см. в преамбуле к соответствующему разделу) и направив основной удар на «Пиротехника», критик отметил, что «Шенгели пользуется расслабленным, вычурным книжным языком, вне зависимости от того, о чем идет речь», поименно назвал тех, кому поэт подражает в разделе «Маленькие драмы», – «Тут и Пастернак, и, особенно, Антокольский (так же, как в поэме “Пиротехник” чувствовалось слабое подражание Сельвинскому)», – и наконец резюмировал:

> Справедливость требует отметить, что в сборнике есть стихи, обнаруживающие настоящие способности Шенгели (цикл «Люди и страны»). Положительно удаются ему переводы Леконта де Лиля и Эредиа, как удались ему недавно изданные переводы Гюго. Но уда-

чи Шенгели как культурного переводчика еще более подчеркивают полную беспомощность его как самостоятельного поэта. Нельзя быть поэтом, когда не имеешь живых, общественно-ценных мыслей и чувств. А мысли и чувства поэта Шенгели и мелки и бесцветны. Что же есть в его стихах, кроме них? Умение «слагать стихи». И совершенно непонятно, с какой целью издательство опубликовало плоды этого «умения».

Раздел «Планер» следует композиции *Пл* со следующими изменениями: 1. Ст-ния, ранее включенные в *Р2* и *Н*, воспроизводятся в разделах «Раковина» и «Норд»; 2. Поэмы «Поручик Мертвецов», «Пушки в Кремле», «Пятый год» и «Пиротехник» (последние две включены в *Пл* не полностью) перенесены в т. 2. Полный состав *Пл* см. в приложении.

С. 224. **Планер**. *ИС*.

Автографы: 1) РГАЛИ. 6.108; 2) ИМЛИ. 10.1 – машинопись, под загл. «Коктебельскому слету планеристов», б.д. Включено в *ЛиП*.

Написано к IX Всесоюзному планерному слету в Коктебеле (12 августа – 20 сентября 1933 г). Всего в 1923–1935 гг. состоялось 11 слетов (кроме 1926 и 1931 гг.). 3 января 1935 г. на вечере-встрече писателей с мастерами советского планеризма и парашютного спорта Шенгели рассказал о своем увлечении планеризмом:

> Я хотел приветствовать наших прекрасных героев воздуха не в качестве одного из советских писателей, но в качестве бесспорно старшего из присутствующих здесь планеристов. (Апл<одисменты>.) В 13-м году на планере собственной конструкции я совершил свой первый полет там, где вы совершили свою посадку. Я слетел с холмика вышиной в этот балкон и пролетел не менее 50 сант<иметров> – торжественно воскликнул «ура»! Вот уж в течение 20 лет этим меня дразнят мои товарищи. На втором полете планер сломался, и я построил биплан с стабилизатором сзади, с висеньем на локтях, сделал 7 взлетов длиной до 30 метров. Это даже было сфотографировано, причем снимок осторожно обрезан снизу, чтобы не было видно земли. И фотография была напечатана в «Вокруг света». Я сейчас вспоминаю это, чтобы оттенить колоссальный рост и прогресс, которого достигло искусство планеризма

(*Биография*. С. 50; дополнено по правленой стенограмме: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 16. Ед. хр. 18. Л. 31). Ср. воспоминания Ф. Аверкиева, друга Шенгели по гимназии (предшествующее этому фрагменту описание полета Уточкина см. в примеч. к ст-нию «Блерио», с. 667):

Оставив на время поэзию, Ера Шенгели решил строить планер и привлек к этому меня. У нас не было нужных знаний, но было много энтузиазма. Во дворе, где жил Ера, закипело строительство. И вот планер из деревянных планок и бамбуковых жердей, обтянутых коленкором, готов. Первый полет намечался в городском саду, где были, как нам казалось, подходящие для полетов холмы на открытой поляне. Нести в руках планер пришлось через весь город.

Как мы ни отбивались от мальчишек, заинтересованных нами и нашей ношей, за нами увязалась целая толпа. От них мы получили, можно сказать, авансом восторженную оценку нашего «полета».

Полет окончился, не начинаясь, безобидной аварией. Ера прыгнул с холма, вооруженный планером, но тут же упал на землю с обломками крыльев. Однако его эмоциональное возбуждение было так велико, что он, невзирая на печальную действительность, уже сидя на земле, лихо воскликнул: «Ура, лечу!» Дружный смех зрителей был ему ответом

(*Биография*. С. 49–50). *Моря висит марина / Там, где могила Волошина, / Там, где могила Грина* – Волошин похоронен на горе Кучук-Янышар близ Коктебеля, Грин – на городском кладбище Старого Крыма; в обоих случаях выбрано место с видом на море. Вл. Никонов отмечал, что «даже в этом, открывающем книгу и одноименном с ней стихотворении, наиболее свежем, возникает рецидив старого восприятия мира: поэт не может иначе сказать о Коктебеле, как “там, где могила Волошина, там, где могила Грина”, хотя это не имеет отношения к теме» (Книга и пролетарская революция. 1936. № 4. С. 103). *Богаевский* Константин Федорович (1872–1943) – художник, уроженец Феодосии, ближайший друг М. Волошина, иллюстрировавший его первую книгу стихов. Создал обширную серию крымских пейзажей.

Грозовой фронт

С. 225. **Трудовые слова**. Новый мир. 1928. № 8. – *ИС*.
Автограф: РГАЛИ. 5.37–38. Включено в *ЛиП*.

Ваграм – Ваграмская битва, генеральное сражение Австро-Французской войны (1809) возле села Ваграм. *Хищный профиль Кольбера* – Жан-Батист Кольбер (1619–1683), контролер финансов и фактический глава правительства при Людовике XIV(с 1665 г.), был известен жестокими расправами с виновными в финансовых злоупотреблениях. *Королевскую конницу бьют тиссераны* (*фр*. tisserand – ткач) – имеются в виду Лионские восстания ткачей (1831, 1834, 1848).

С. 228. **Переплетчик**. Красная нива. 1924. № 48, 30 нояб. Вариант – ст. 15: «Четвероугольные» вм. «Четырехугольные». – *Пл*; дата: 1926.
Включено в *ЛиП* в раздел «1926».

С. 229. **Тот год**. Включено в *ЛиП* в раздел «1930».

С. 232. **Канун**. Рассказы и стихотворения. Архангельск: Волна, 1923. Варианты – строфа I, ст. 6: «И косят со стен и лгут афиши:»; строфа III, ст. 4: «Умирай, затравленный, бессильный…». – Новый мир. 1928. № 6. – *Пл*; дата: 1927.

Автограф: *Иней*. Л. 20. Включено в *ЛиП* в раздел «1927».

С. 233. * **Пять лет**. Известия ВЦИК и Моссовета. 1922. № 252 (1691), 7 ноября. Параллельно: Коммунист [газ., Харьков]. 1922. № 256 (848), 7 нояб. – *ИС*.

Включено в *ЛиП*.

С. 236. **«Акации, голубизна и зной…»**. Автографы:1) *Иней*. Л. 23; 2) *ЛиП*. Л. 124.

С. 237. **1 мая при немцах**. Автограф: РГАЛИ. 6.117. Включено в *ЛиП* под загл. «1 мая 1918 г. при немцах».

1 мая 1918 г., в период германской оккупации, в Харькове прошла демонстрация под большевистскими лозунгами. Об участии в ней Феликса Яковлевича Кона (1864–1941) достоверных сведений нет.

С. 238. **Имя**. *Пл*; дата: 1933. – *ИС*; дата: 1920–1933.
Автограф: *Пл-набор*. Л. 105; число и месяц в дате вычеркнуты. Включено в *ЛиП* в раздел «1933».

Судя по дате, ст-ние написано специально для сборника и, вероятно, незадолго до сдачи рукописи в Главлит. Ст-ние сопровождало репортаж о встрече Шенгели с членами Керченского литературного объединения во время его первого послевоенного визита в Керчь (Керченский рабочий. 1952. № 150, 30 июля. С. 3), став, таким образом, последней прижизненной публикацией его оригинальных ст-ний.

С. 238. **В рабочем клубе**. Автограф: *ЛиП*. Л. 149.

С. 239. **Ода университету**. Красное студенчество. 1927. № 10, 23 мая, с эпиграфом: «Да здравствуют Музы, да здравствует разум. *Пушкин*». Вариант – ст. 39: «мирных» вм. «светлых». – *Пл*; эпиграф – как в первой публикации. – *ИС*.

Включено в *ЛиП*.

Ст-ние упоминается В. Маяковским в его язвительном отзыве о преподавательской деятельности Шенгели:

> А Шенгели в люди выходит.
> Называли-называли его в насмешку профессором, сам он от этого звания отворачивался с стыдливым смешком, да, очевидно, так

все к этой шутке привыкли, что и действительно выбрали и стали величать его профессором.

Сам Шенгели немедленно трубит об этом собственными стихами, по собственному учебнику сделанными, в собственном студенческом журнале напечатанными.

Я читал этот стих громко, упиваясь.

Случайно присутствовавший студент рассказал:

– Да, Шенгели профессор первый год. Лекции начал недавно... Вбежал по лестнице, спросив у швейцара, где здесь лекториум? (Отдыхать, что ли?) Лекториума не нашлось, и Шенгели прошел прямо на лекцию. Сидят пять человек.

– Вы будете заниматься?

– Нет.

– А вы?

– Я не здешний.

– А вы?

– Я к знакомым зашла.

– А вы?

– Я уже всё это знаю.

И только пятая, «толсторожая Маня», как охарактеризовал ее студент, решила заниматься и стала изображать аудиторию.

– А зачем стихи «толсторожей Маньке»? – меланхолически резюмировал студент.

В результате обучения литературе такими профессорами литературная квалификация нестерпимо понижается.

(Записная книжка Лефа // Новый Леф. 1927. № 6. С. 7–8); отметим, что отзыв появился в июне, когда Шенгели уже ушел из МГУ (см. ниже). *Туда студентом я вбегал* – Шенгели поступил в Московский университет в 1914 г., однако осенью того же года перевелся на юридический факультет Харьковского университета, который и окончил. *Туда… профессором вхожу я ныне* – Шенгели преподавал в 1-м МГУ с сентября 1926 по июнь 1927 гг. на творческом отделении, ушел в связи с его ликвидацией.

С. 242. **Октябрьские строки**. *ИС*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 173–174.

С. 243. **Синяя книга**. *ИС*.
Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 198; 2) РГАЛИ. 6.10; 3) РГАЛИ. 6.11.

Люди и страны

С. 244. **Гёте**. *Пл*; дата: 1925.
Автографы: 1) *Иней*. Л. 27; 2) *ЛиП*. Л. 151; 3) РГАЛИ. 3.73.

С. 245. **Карфаген**. *ИС*.
Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 171–172; 2) ГЛМ. 1.4.1, без загл.

С. 246. **Александрия**. *Пл*; дата: 1930. – *ИС*; дата – как в *Пл*.
Автографы: 1) РГАЛИ. 5.13, без загл.; 2) РГАЛИ. 6.1 – машинопись, под загл. «Интернационал»; дата: 1927. Включено в *ЛиП* в раздел «1930».

С. 247. «***В голубом эфира поле…***». Шенгели продолжает пушкинский набросок в том же виде, в каком ранее он был продолжен В. Ходасевичем в ст-нии «Романс» (Последние новости. 1924. № 1231, 27 апр. Параллельно: Россия. 1924. № 2 (13); в этом же номере – ст-ние «Льстец», см. с. 205). Ходасевич, в свою очередь, воспользовался текстом издания под ред. П.О. Морозова (Пушкин А.С. Сочинения и письма. СПб., 1909. Т. 1. С. 338), но с заменой ст. 2 по тексту первой публикации наброска, осуществленной М.П. Лонгиновым (Современник. 1856. Т. 58. № 7. Отд. 5. С. 11; у Морозова: «Блещет месяц золотой»), который указал: «Кажется, это начало стихотворения под заглавием: “Марино Фальери”». Подробнее см.: Сидяков Л.С. О тексте стихотворения Пушкина о доже и догарессе // Незавершенные произведения А.С. Пушкина: Материалы научной конференции. М., 1993. С. 32–40. Шенгели перевел трагедию Д.Г. Байрона «Марино Фальеро, дож венецианский», считающуюся одним из литературных источников пушкинского наброска; при этом указание на сюжетную общность ст-ния Шенгели с трагедией (*Ин.* С. 478) безосновательно: мотив неверности догарессы присутствует у Байрона лишь в качестве возведенной на нее клеветы, не внушающей дожу подозрений.

С. 248. **Лилиенталь**. *Пл*; дата: 1924.
Автограф: РГАЛИ. 4.91, без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1924».

Лилиенталь Отто (1848–1896) – немецкий инженер, один из пионеров авиации.

С. 248. **Туркмения**. *ИС*.
Включено в *ЛиП* в раздел «1934».

Шенгели посетил Туркмению в 1933 г. в составе «писательской бригады».

С. 248. **1. По «романам»**. Айдинг-гюнлер: Альм. к десятилетию Туркменистана. [М.]: изд. юбилейной комиссии ЦИК – ТССР, [1934].Дата в *ИС*: 1930.

Автограф: РГАЛИ. 6.114, без загл.

Машкарабазы – бродячие комедианты. *…капля крови золотой, / Прабабкою в меня влитой…* – согласно семейному преданию, прапрабабкой по материнской линии, см. в набросках автобиографии: «Бабушка упоминала о некоем екатерининских времен генерале Чернявском, привезшем с войны турчанку-пленницу и женившемся на ней. Это были мои “пра-пра”» (РГАЛИ. 220.46об.); см. также примеч. к ст-нию «Старое кладбище» (с. 647).

Карабаир – одна из древнейших в Средней Азии пород лошадей, используется в основном для верховой езды и работы в упряжи. *Клыч*, кылыч – один из видов турецкой сабли.

С. 249. **2. По «географиям»**. Дата в *Пл* и *ИС*: 1932. Вариант *Пл* – ст. 14: «подчеркивает» вм. «выгранивает».

Автограф: РГАЛИ. 6.121, без загл.

Бугристый бархатный уголь гор – речь идет о предгорьях Памира, где берет начало река *Пяндж*. *Фирн* – промежуточное состояние между снегом и глетчерным льдом. *Кашмир* – на тот момент княжество Джамму и Кашмир в составе Британской Индии; имеется в виду его северная часть (на территории современного Пакистана), граничащая с Афганистаном. *Фэн* (фён) – теплый и сухой местный ветер, возникающий при перетекании воздуха через гребень хребта и нисходящий с гор в долины; резким повышением температуры вызывает таяние снега, отчего увеличивается вероятность схода лавин (см. далее в ст-нии). *Аму* – река Амударья; образуется слиянием рек Пяндж и Вахш, частично проходит по территории Туркмении.

С. 250. **3. На самом деле**. Айдинг-гюнлер: Альм. к десятилетию Туркменистана. [М.]: изд. юбилейной комиссии ЦИК – ТССР, [1934]. Вариант – ст. 6: «изглоданные» вм. «разрушенные» (то же в *Пл*).

Здесь Македонец вел железные полки… – имеется в виду трехлетняя (329–327 гг. до н.э.) военная кампания Александра Македонского в Средней Азии.…*на путях своих роняли костяки / Когорты римские и орды Сассанидов* – речь об Ирано-византийской войне 602–628 гг., последней между Византийской империей и империей Сасанидов, образовавшейся на территории современных Ирана и Ирака и в период наибольшего расширения границ включавшей территории среднеазиатских государств. *Губкин* Иван Михайлович (1871–1939) – ученый-геолог, основатель советской нефтяной геологии. *Гаурдак* (*туркм*. серная гора; ныне Магданлы) – город в Туркмении, возникший как поселок при месторождении серы и серном комбинате; также производит калийные удобрения.

С. 252. **«Панамская соломка…»**. *Пл*. Опечатка – строфа VI, ст. 1: «И» вм. «А». – *ИС*.

Автограф: РГАЛИ. 6.98. Включено в *ЛиП*.

Возможно, источником ст-ния послужила американская мелодрама «Мата Хари» (1931) с Гретой Гарбо в главной роли (наблюдение Э.В. Молодяковой).

С. 253. **Конец индивидуалиста**. *Пл*; дата: 1934.
Автограф: РГАЛИ. 6.118, без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1934».

Plein air

С. 254. **Эстрада**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 205; 2) РГАЛИ. 5.31об., без загл., б.д., в блокноте среди ст-ний 1928 г.

С. 254. **Мощи**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 223; 2) РГАЛИ. 6.105.
Шенталá – сушеные на солнце крупные сладкие плоды персиков или абрикосов с косточками.

С. 255. **«Парусинная койка; под ней сапоги, чемодан…»**. *ИС*.
Автограф: РГАЛИ. 6.95. Включено в *ЛиП*.

С. 255. **«Через черную бухту, фосфор, смятенье и золото…»**. *ИС*.
Автограф: РГАЛИ. 6.103–103об., под загл. «Астроном». Включено в *ЛиП*.
Гренадин – густой сладкий сироп красного цвета, широко используется в приготовлении коктейлей.

С. 256. **«Сырая теплая полночь…»**. Автограф: *Пл-набор*. Л. 149; число и месяц в дате вычеркнуты. Включено в *ЛиП*.

С. 257. **Шелк**. *Пл*. Опечатка – с. 41: «Зовущие» вм. «Зловещие». – *ИС*.
Автограф: *ЛиП*. Л. 218–219.
В ст-нии отразились впечатления от поездки в Ташкент 19–26 марта 1933 г. *Катаракт* (*фр*. cataracte) – крупный водопад, низвергающийся широким фронтом с небольшой высоты.

С. 259. **«За окнами – многоэтажный дом…»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 126; дата: 1923.

С. 259. **«Дом стеклянный и крылатый…»**. *Пл*, под загл. «En plein air». – *ИС*.
Автограф: *Пл-набор.* Л. 154; число и месяц в дате вычеркнуты. Включено в *ЛиП*.
Оршад – сладкий сироп из миндального молока, сахара и померанцевой или розовой воды. *Оришалк*, орихалк (*др.-греч*. ὀρείχαλκος – горная медь) – упоминаемый в древнегреческих текстах таинственный металл или сплав на основе меди, по ценности уступающий лишь золоту; ассоциировался с Атлантидой.

Сны

С. 261. **«Вчера мне снилась мертвая вода…»**. *Стык*. Вариант – ст. 14: «Господь» вм. «Пойми».
Автографы: 1) *Иней*. Л. 16; 2) *ЛиП*. Л. 118, под загл. «Сон»; 3) РГАЛИ. 3.75об.

С. 262. **Лихорадка**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 187; 2) РГАЛИ. 5.32, без загл.

Маленькие драмы

С. 263. **Припадок**. Звезда. 1930. № 8. Варианты – ст. 4: «Между бурей и боем и мною и городом – связь»; ст. 9: «В бедной комнате голой, в плутонге, один я как сволочь»; ст. 11: «И сусальные нити, и звезды, и вся эта ёлочь». Ср.: «В “Звезде” уже напечатали мои стихи, с неприятной опечаткой: “стоны” вместо “стены”; портит весь образ» (открытка М. Шкапской от 28 августа 1930 г. // РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 61). – *Пл*. Вариант – ст. 9: «В бедной комнате голой, в плутонге, один я, как шпага». – *ИС*.

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 208; 2) РГАЛИ. 5.39.

С. 263. **«Глухая коробка со вставленным в бок…»**. *ИС*. Опечатка – ст. 9: «окном» вм. «стеклом».

Автограф: РГАЛИ. 6.94. Включено в *ЛиП*.

С. 264. **«Я опять во сне видал…»**. Автограф: *Пл-набор*. Л. 166; число и месяц в дате вычеркнуты. Включено в *ЛиП*.

С. 265. **«Она ушла, Омфала…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.123.

С. 266. **«Ну что же, – нарзаном, гимнастикой, душем…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.124.

С. 267. **На постановку «Гамлета» в театре Вахтангова**. Включено в *ЛиП*. Дата, судя по всему, ошибочна: речь идет о постановке «Гамлета», осуществленной Н.П. Акимовым (его первой режиссерской работе), премьера которой состоялась 19 мая 1932 г. Спектакль, решенный как сатирическая комедия, вызвал бурную реакцию с полярно противоположными оценками и через год был закрыт как образец формализма. *Эпиграф* – неточная цитата из «Гамлета» в переводе А. Кронеберга (в оригинале «несут» вм. «взнесут»); слова Фортинбраса, последняя реплика пьесы. *Так и автора зовут* – в семейном и дружеском кругу Шенгели с младенчества звали Ёра (Ёрка, Ёрик).

С. 268. * **Врубелевский зал**. *Пл*, без загл.; дата: 1935. – *ИС*; дата: как в *Пл*. Автограф: РГАЛИ. 6.99, без загл.; помета: «II редакция». Включено в *ЛиП* в раздел «1935».

Объярь – старинная шелковая ткань различной декоративной выработки.

Несколько переводов

С. 269. **Леконт де Лиль**. См. примеч. к ст-нию «Слоны» (с. 639). Оба перевода – из сб. «Варварские стихотворения» (Poèmes barbares, 1862).

С. 269. ***Джунгли***. Перевод ст-ния «Les jungles». В *Пл* дата ошибочно: 1932; исправлено по *Пл-набор*.

С. 270. ***Черная пантера***. Перевод ст-ния «La panthère noire».

С. 271. **Эредиа**. См. примеч. к ст-нию «Основателю города» (с. 639). Все переводы – из сб. «Трофеи» (Les trophées, 1893).

С. 271. ***Кентавры***. Перевод ст-ния «Centaures et lapithes».

С. 272. ***Пан***. Перевод ст-ния «Pan».

С. 272. ***Охота***. Перевод ст-ния «La chasse».

С. 273. **М. Роллина**. *Роллина* Морис (1846–1903) – французский поэт и шансонье. Все переводы – из сб. «Неврозы» (Les Névroses, 1883).

С. 273. ***Чудовище***. Перевод ст-ния «Le monstre».

С. 273. ***Лунатик***. Перевод ст-ния «Le somnambule».

С. 274. ***Маниак***. Перевод ст-ния «Le maniaque».

С. 275. **Энгельс**

С. 275. ***Барин Тидманн***. Борьба классов. 1932. № 4, апр. Перевод ст-ния «Herr Tidmann» (1864), являющегося, в свою очередь, переложением датской народной песни.

<Дополнение>

Представлены 2 ст-ния из *ИС*, не входившие в предыдущие книги стихов. В июле-августе 1938 г. Шенгели предложил издательству «Советский писатель» включить *ИС* в план на 1939 г. с расчетом приурочить выход сборника к 25-летию литературной деятельности; редакция направила просьбу предоставить для ознакомления рукопись (*Биография*. С. 377). К. Симонов, рецензировавший в октябре того же года поэму «Ушедшие в камень», счел, что «она может послужить основой книги, при том условии, если остальной материал будет тоже на ее уровне» (*Там же*). *ИС* были подписаны к печати 22 сентября 1939 г. и вышли в конце года. Открывающее книгу предисловие академика А.И. Белецкого, друга автора с харьковских времен, – последний обстоятельный очерк поэтического творчества Шенгели, опубликованный при его жизни. Критика не удостоила *ИС* вниманием; нам известна лишь небольшая информационная заметка, посвященная сборнику (Огонек. 1940. № 5. С. 22. Подпись: Б.Ч.), которая, тем не менее, отмечала, почти дословно повторяя последний абзац предисловия Белецкого: «Шенгели – поэт большой литературной культуры. Его значение в советской поэзии определяется не только его оригинальными произведениями, но и многочисленными переводами»; так-

же вслед за Белецким указывалось на особую значительность цикла литературных портретов: «Державин», «Ермолов», «Бетховен», «Пушкин», «Денис Давыдов». Восторженно отозвался о книге получивший ее 2 октября 1940 г. Игорь Северянин, с которым у Шенгели за месяц до этого возобновилась переписка:

> <…> книга на меня произвела большое и из ряда вон выходящее впечатление: я два часа просидел в туманный день у распахнутой форточки и… не заметил, пока не стал сильно кашлять! Книга глубокая, интересная и предельно легкая. Вы – чудесный мастер и проникновенный *большой* поэт. Поэт *вдохновенный*, умный, блистательный. Я горжусь Вами. Верочка <Вера Коренди, гражданская жена Северянина – *В.Р.*> очарована «Барханами»! В особенности меня пленили отрывки из «Пиротехника» (*все!*), а некоторые строфы гениальны: «…Это – Жизнь! Бы-ти-е!» «…А вечер весенний сиренев»… А какая лепка эпохи «Ушедшее <так!> в камень»! Непревзойденно. Еще мне нравятся «Пять лет», «Ода унив<ерситету>», «Александрия», «Бетховен», «Державин» и др. и др. При встрече отмечу еще многое. На портрете Вы выглядите великолепно: светлый, возмужалый, свой, милый… Спасибо Вам за книжку, спасибо самое восторженное!

(письмо от 9 октября 1940 г. // Игорь Северянин. Стихотворения и поэмы. 1918–1941. М., 1990. С. 407).

С. 276. **«Поздно, поздно, Георгий!..»**. Автограф: *ЛиП*. Л. 299–300.
...ты с Гюго заседал в трибунале / Всех легенд и веков – аллюзия на книгу В. Гюго «Легенда веков», ст-ния из которой Шенгели переводил (часть переводов не опубликована).

С. 278. **Память Коммуны**. Автограф: *ЛиП*. Л. 192–194.
Мы видим, как историю прожгло / Днем Восемнадцатого Марта – 18 марта 1871 г. в Париже произошло восстание Национальной гвардии и была опубликована прокламация о создании коммуны.

ПАНЦИРЬ

Первый вариант сборника, хронологически продолжающего *Пл*, был составлен в 1944 г. в Ашхабаде. Рукопись, полученная Н. Манухиной по почте и переданная ею в ГИХЛ, к изданию принята не была. На сообщенные Манухиной сведения из ГИХЛ Шенгели отвечал:

> Исход дела с «Панцирем» меня не удивил. Плевать. Впрочем, когда будешь у Чагина, скажи, что я удивлен тем, что судьба моей книги решается невесть кем; рецензентами для меня могли быть Антокольский, Пастернак, Сельвинский, – из профессоров Тимофеев; скажи, что я настаиваю на пересмотре вопроса

(письмо от 22 августа 1944 г. из Ашхабада // *Биография*. С. 459). Пересмотр состоялся уже по окончании войны: внутренние рецензии П. Антокольского и Е. Книпович на новый, расширенный вариант сборника датированы 8 октября 1945 г. (РГАЛИ. 274.12–15). Оба рецензента сошлись во мнении, что книгу нужно «облегчить, сократить очень сильно, отобрать из нее самое лучшее, искреннее, простое, жизненное. И тогда только ее можно будет издать» (Е. Книпович). Антокольский, перечисляя произведения, из которых, на его взгляд, «получится сборник стихов, достойный печати и достойный имени поэта Шенгели», назвал 18 (из 97) ст-ний, 5 (из 7) фрагментов «Эпического цикла» и поэму «Гарм». Ни в полном, ни в сокращенном составе сборник в свет не вышел.

С искренним чувством откликнулась на ст-ния «Панциря» К.В. Кошке (см. примеч. к ст-нию «Жизнь» и лирической новелле «Иноходец», с. 670, 687); во время визита в Одессу Шенгели надписал ей экземпляр сборника: «Новонайденному другу Клаве Аргиропуло-Кошкé от старого шлифовальщика Георгия Шенгели. 1949. 3 сент. Одесса» (Одесский литературный музей). Отзыв В. Рождественского, занимающий почти всё его письмо от 3 декабря 1945 г., – позднейший из ныне известных обстоятельных откликов о творчестве Шенгели в целом, появившихся при его жизни:

> Долго у меня на столе жила твоя тетрадь со стихами. Я прочел ее в Москве, но уже потом, дома, много раз к ней возвращался. Если я скажу, что она утоляла мою жажду, это почти не будет метафорой. Когда я читал из нее что-либо людям, уважающим и любящим слово, я почти всегда слышал в ответ: да, это поэзия! Это то, что остается, живет в душе, длит чувство, мысль за пределы сказанного и т.д. Я слушал это и радовался за тебя. Да, удивительно чисто и полно сказался ты весь в этой книге!
>
> А меня – помимо всего прочего – удивляет в ней прекрасная точность и сжатость поэтической речи. В этом я мог бы тебе только завидовать. Вот тебя всю жизнь люди, знающие твои книги, называли алхимиком, поэтом рационалистического склада, сжатым и сухим до мертвенности и т.д. – как они ошибались! Тем-то мне и дорога твоя книга, что она вся живая, и только вязкая привычка читателя к везде-существующему трафарету и облегченной эмоции делает для него непонятным то, что ты говоришь о великой мужественной стройности мира (во всех его трагических противоречиях)

жестоко, со сдержанной страстностью и прекрасной простотой. Мы с тобой очень различны по лирической тональности, но я люблю и твои котурны, и романтический плащ, и дыхание александрийца, и твою брюсовскую строфику; люблю потому, что всё это тебе присуще по природе, что это не литература, а жизнь, и что за всем этим я вижу истинную простоту и прекрасную честность. Сейчас многие стилистические черты роднят тебя с Максом, во многом ты уже достиг его зрелости и – не побоюсь этого сказать! – мудрости, как поэт. Но ты для меня и теплее, и человечнее, ибо большее роднит тебя с жизнью и современным тебе человеком. Ты мир воспринимаешь исторически, но живешь в нем как современник. И твоя поэзия делает тебя прямым соучастником действительности. Может быть, это и парадокс, но некоторая архаичность твоей стилистики ощущается мною как нечто подлинно живое и нужное именно сейчас, чтобы слабыми средствами нашего ума и слова охватить и понять грандиозность всего, совершающегося перед нами. О больших достойных делах эпохи ты говоришь достойными словами. Когда-то, в далекую пору ученичества, это, быть может, и звучало несколько литературно – для глядящих со стороны – но теперь я просто и не мыслю себе иного разрешения темы. И, мне кажется, не пишут сейчас так только потому, что еще не умеют. (Всё – «Из эпического цикла» и в особенности «Слово вождя»). А наряду с этим привычным тебе высоким строем речи есть у тебя в этой книге и слова исключительной эмоциональной простоты («Мы живем на звезде», «Романтика» и др.), которые мне пленяют <так!> уже по духовному сродству. Эти две струи – высокого и простого – текут переплетаясь, ни в чем друг другу не противореча и укрепляя лирический голос.

Мне не нравится название книги. Оно сужает ее содержание, отгораживает ее от мира и тем самым противоречит ее сущности. К тому же в нем есть какой-то вызов, полемика, а этого не надо. К тому же и литературно напоминает строку (кажется, Готье) – «Иду в броне моих святынь». Зачем тебе снижать поэтическое оружие?

Если хочешь знать, книга твоя обращена именно к людям и миру, а не замкнута на себя. В этом ее истинное человеческое достоинство. Я назвал бы ее книгой подлинного гуманизма. Того чувства, которое могло родиться только в нашей стране, единственной и неповторимой, и только в сознании, прошедшем такие великие пласты истории. Достойного названия к собранию твоих стихов надо искать среди синонимов слова «Время». Ибо тебе именно и дано ощущать эту державинскую «Реку времен», этот «Шум времени», эту величественную непрерывность событий, которая выносит на своем хребте лучшую ценность мира – человека.

То, что я пишу тебе сейчас, это общее ощущение от твоих стихов, вкус их, оставшийся на языке, запах идей, который остается в памяти. Я намеренно не уточняю, не конкретизирую своих отдельных предпочтений и пристрастий. Это могло бы стать темой большой беседы, для которой нужно и живое слово, и живое перелистывание страниц.

Мне важно было сказать тебе то, что я здесь сказал, хотя бы из чувства благодарности за то, что ты подарил мне эту тетрадь, давно уже лежащую на моем столе. Когда меня слишком утомляет «жизни мышья беготня», я раскрываю страницу наудачу и всегда нахожу то, что хотелось бы в такую минуту найти. Иногда я читаю одну строфу, одну строчку – и этого достаточно, чтобы начала разматываться чудесная пряжа.

И это большее, что я могу сказать тебе о твоей книге – живой и настоящей.

дружески обнимаю тебя

Вс. Рождественский

(РГАЛИ. 183.1–2об.). О значении этого отзыва для Шенгели свидетельствует его ответ от 18 декабря того же года[1]:

Дорогой мой Всеволод,

получил твое милое письмо (шедшее 12 дней) и был глубоко им тронут. И не тем, что тебе понравились мои стихи, я в известной мере «привык к успеху» (равно как и к неуспеху), – а тем, что ты вдумчиво и глубоко подошел к ним, задумался над ними, соотнес разные их стороны, взвесил удачи и неудачи, – словом, *потрудился* над книгой. И поэтому твои слова, в свою очередь, заставляют задуматься над собой и что-то в себе пересмотреть. Ты знаешь, я всегда думал, что критиком стихов может быть лишь поэт, а не критик-профессионал, к которому полностью приложимы слова Николая Степановича: «Вечером я играл на лире, а он тихонько подвывал». За все 31 год моей лит. деятельности (или «за весь»?) ни одно буквально замечание критика о моих стихах (положительное или отрицательное) мне не оказалось нужным, никак и ничем мне не по-

[1] В публикации письмо датировано 18-VII-45; поскольку оно несомненно является ответом на письмо Рождественского о «Панцире», остается предположить, что число XII ошибочно принято публикаторами за VII из-за качества оригинала (см. в письме Шенгели от 18 февраля 1946 г.: «<…> вижу, что мое письмо, ответ на твое большое, где ты пишешь о “Панцире”, до тебя не дошло. К счастью, у меня есть его копия (я, когда пишу письма на машинке, оберегая адресата от заботы разбирать мою мелкопись, обычно прокладываю копирку “для архива”); шлю тебе ее, чтобы ты сердился не на меня, а на почту» // *Рождественский*. С. 174).

могло. Мне хотелось бы посвятить тебе какое-либо стихотворение. Хочешь, «Блерио» (ибо ты тоже, наверное, переживал в юности нечто подобное), или «Мы живем на звезде», или «Сундук»? Напиши мне об этом. Ты прав, конечно, и насчет названия. Мне никогда названия не удавались. И если бы ты подсказал мне конкретное слово или два, я охотно переименовал бы книгу

(*Рождественский*. С. 172–173). Полностью влился в «Панцирь» составленный в 1945 г. сборник «Гамеланг», который автор в ст-нии «Все крепости разрушая…» (с. 496) назвал «домашним» (полный состав см. в приложении).

Раздел печ. по *Панцирь*; завершающие сборник фрагменты эпического цикла «Сталин» и поэма «Гарм» перенесены в т. 2.

Война

Эпиграф – из ст-ния «Он засмеялся» («L'homme a ri») из сб. В. Гюго «Возмездие» (Les Châtiments, 1853), переведенного Шенгели полностью (отд. изд. – М., 1953).

С. 281. **Логика**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 323; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.28об., без загл.

Впервые: *Биография*.

Эпиграф – источник не установлен.

С. 281. **Ueber Alles**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 330; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.28об., без загл.

Голубой цветок – образ, являющийся в снах главному герою романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (1799–1800); символ жизненного идеала.

С. 282. **Памятник славы**. Эпиграф 2 – позднейшая вставка: в книге записан автором на подклеенном к странице со ст-нием листке, стрелкой указано место вставки.

Автограф: РГАЛИ. 9.28об., под загл. «Мрамор», без эпиграфа 2. Включено в *ЛиП* в раздел «1941».

Эпиграф 1 – из ст-ния «На статую играющего в бабки» (1836); в оригинале «русской» вм. «прусской». *Эпиграф 2* – из книги «Проклятие свастики» (The Scourge of the Swastika, 1954; русский перевод: Рассел Э. Проклятие свастики. Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. П.С. Ромашкина. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954). Ее автор – Эдуард Расселл, 2-й барон Расселл Ливерпульский (1895–1981), юрист, историк, по окончании Второй мировой войны один из основных юрисконсультов на процессах военных преступников.

С. 283. **Поэту**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 321–322; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.29.

Впервые: *Биография*.

Эпиграф – неточная цитата из ст-ния «Страшная сказка» (1941); в оригинале «Детей разбуженных испуг». *«как пятна с башлыков»* – из ст-ния Б. Пастернака «До всего этого была зима» (1917).

С. 284. **Шофер зондеркоманды**. Автограф: РГАЛИ. 9.27, под загл. «Шофер». Включено в *ЛиП* в раздел «1941».

С. 285. **Рапорт**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 328; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.26.

С. 286. **Жаба**. Автограф: РГАЛИ. 9.26об. Включено в *ЛиП* в раздел «1941».

Эпиграф – неточная цитата из ст-ния «Феодор и Елена» (1835) из цикла «Песни западных славян»; в оригинале «Нарекает».

С. 288. **Комплекс недостаточности**. Автограф: РГАЛИ. 9.28–28об. Включено в *ЛиП* в раздел «1941».

Эпиграф – из повести «Страшная месть» (1831) из второй книги цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

С. 290. **Расовое единство**. Автограф: РГАЛИ. 9.29. Включено в *ЛиП* в раздел «1941».

Впервые: *Ин*, только последние 4 ст. как самостоятельное ст-ние, без загл.; дата: 1941 (повторно: Шенгели Г. Избранное / Сост., вступ. очерк, коммент. В. Перельмутера. М.: Sam & Sam, 2013). Очевидно, публикация восходит к машинописному тексту на двух листах, первый из которых был утрачен.

Эпиграф 2 – неточная цитата из романа «Бесы» (1871–1872); в оригинале: «Право на бесчестье – да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!»

С. 291. **Каждому свое**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 324; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.27.
Эпиграф 2 – первые 2 ст. эпиграммы без загл. (1822); далее: «Разлюбил он, греховодник, / Нашу матушку п< >»

С. 292. **Жалоба мертвеца**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 326; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.26об.

С. 293. **Магазин самоубийства**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 327; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.27.

Впервые: *РС*.

Подражание сонету «Магазин самоубийств» («Le magasin des suicides») французского «прóклятого» поэта Мориса Роллина (1846–1903) из его сборника «Неврозы» (Les Névroses, 1883); сонет известен в русском переводе Б. Лившица.

С. 293. **Изъян**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 320; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 9.28.

С. 294. **Реформа палитры**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 345; дата: 1943. В содержании вычеркнуто; 2) РГАЛИ. 9.26.

С. 295. **После капитуляции**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 359; дата: 1945; 2) РГАЛИ. 9.28об.

С. 295. **Смерть Муссолини**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 351; дата: 1944; 2) РГАЛИ. 10.58об.

Б. Муссолини расстрелян 28 апреля 1945 г.

С. 296. **Матери Рюрика Павлова**. *Ватан*.
Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 340; 2) РГАЛИ. 8.47 – машинопись.

Павлов Рюрик Сергеевич (1921–1942) – летчик 237-го истребительного авиационного полка, старший сержант. Погиб 17 февраля 1942 г. на Калининском фронте в воздушном бою на самолете ЯК-1 (Донесение о безвозвратных потерях от 22 марта 1942 г. URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=51631981).

С. 297. * **Двадцать восемь**. *Ватан*.
Автограф: РГАЛИ. 9.27об. Включено в *ЛиП* в раздел «1942».

Заглавие – «28 героев-панфиловцев», бойцы 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В. Панфилова. Согласно широко распространенной версии, 16 ноября 1941 г., во время тяжелых оборонительных боев в районе разъезда Дубосеково в 7 км от Волоколамска, совершили подвиг, уничтожив за 4 часа 18 вражеских танков; в ходе боя 22 человека из 28 погибли. *Эпиграф 2* – фраза, которую якобы произнес перед смертью политрук В.Г. Клочков; была включена в советские учебники истории. *Тень Леонида* – спартанский царь Леонид I погиб в Фермопильском сражении (480 г. до н.э.), вместе с тремя сотнями спартанцев прикрывая отступление греческих войск.

С. 298. **Июль 1941**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 316; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 10.68.
Впервые: *ЛГ*.

С. 299. **Рассвет**. Автограф: *ЛиП*. Л. 325.
Впервые: *ЛР*.

С. 300. **Ожидание**. Автограф: *ЛиП*. Л. 315.
Впервые: *Ок-88*.

С. 300. **Подполье**. Включено в *ЛиП* в раздел «1941».
Впервые: *Ин*.

С. 301. **Одиночество**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 317; 2) РГАЛИ. 10.61, без загл.
Впервые: *ЛГ*.

Свидригайловской вечностью… – ср. слова Свидригайлова: «Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огром-

ное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится» (Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. Ч. IV. Гл. 1).

С. 302. **Паника**. Автограф: РГАЛИ. 9.27об. Включено в *ЛиП* в раздел «1941». Фрагменты: *Биография*.

С. 303. **Блерио**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.68. Включено в *ЛиП* в раздел «1941».

Впервые: *НМ*, без деления на строфы; дата: 1941. Фрагмент (строфа I): Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 78.

В основе сюжета – приезд в Керчь С.И. Уточкина (1876–1916) в ходе турне с показательными полетами по городам России (1910–1912). Ср. в воспоминаниях Ф. Аверкиева:

> Первые сообщения о завоевании человеком воздушной стихии гимназисты встречали с огромным интересом. Братья Райт, Лилиенталь, затем наши авиаторы представлялись нам живыми героями фантастических рассказов Уэльса, Жюль Верна и др.
>
> И вот, в 1911 году в Керчь приехал для показа своих полетов знаменитый в то время Уточкин, одессит, съехавший на пари на своем автомобиле по известной одесской лестнице к морю, позднее ставший популярным авиатором.
>
> Если не все жители Керчи, то, во всяком случае, все мальчишки были зрителями и самыми активными болельщиками на этих полетах.
>
> Полеты проводились на широком песчаном берегу пролива, на «Соляной», где теперь находится искусственная судовая гавань.
>
> У современного зрителя полеты Уточкина могли бы вызвать лишь снисходительную улыбку. Но в те времена, когда Уточкин на легком биплане, сидя на совершенно открытом фюзеляже, после пробега по берегу невысоко поднялся в воздух и стал приветствовать ликующую толпу, помахивая своим котелком (невероятный по нынешним представлениям головной убор летчика), мы, гимназисты, пришли в неистовый восторг.
>
> Само собой разумеется, что с того дня началось увлечение авиацией. Мне на своем веку пришлось быть свидетелем многих грандиозных достижений науки и техники, но, пожалуй, ни одно из них не производило на меня такого потрясающего впечатления, как этот первый, виденный мною, взлет человека в воздух.
>
> Из газет и журналов мы делали вырезки сообщений и фотографий. Делились впечатлениями, спорили о преимуществах новых аэ-

ропланов и мастерстве авиаторов. Каждый, конечно, так или иначе стремился быть активным участником завоевания воздуха

(Первые всходы: Воспоминания выпускника 1913 года Керченской гимназии (ныне школа им. Желябова) Аверкиева Фед<ора> Вас<ильевича>. Январь 1971 г. Ростов-на-Дону // АРАН. Ф. 2022. Оп. 1. Ед. хр. 126. Л. 31–32; фрагмент: *Биография*. С. 49); продолжение воспоминаний, о полете Шенгели на собственном планере, см. в примеч. к ст-нию «Планер» (с. 651). См. также неоконченное ст-ние «Из утлых дранок и холста…» (с. 576). *Заглавие* – самолет производства компании Blériot Aéronautique, основанной пионером авиации Луи Блерио (1872–1936); наиболее известна модель Blériot XI, на которой Блерио в 1909 г. совершил первый в истории перелет через Ла-Манш. Отметим, что Уточкин в ходе турне проводил полеты не на Blériot, а на биплане Farman IV.

С. 305. **Мы живем на звезде**. Автограф: РГАЛИ. 10.65об.; помета: «Первое стих<отворен>ие после болезни и третье – не считая импровизаций и шуток – сложенное в уме». Включено в *ЛиП*.

Впервые: *КИ*.

Пестрый фараон

Эпиграф – из романа в стихах «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа 37). См. начало одноименной поэмы в т. 2 (с. 506).

С. 306. **Панцирь**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 352; дата: 1944; 2) РГАЛИ. 10.70.

Впервые: *Ин*; дата: 1944.

Эпиграф и цитата в ст. 1 – из баллады Л. Уланда «Мщение» («Die Rache», 1810) в переводе В. Жуковского. *Но панцирем был огражден «Монитор»…* – имеется в виду Битва на Хэмптонском рейде (Хэмптон-Роудс) 8–9 марта 1862 г., самое знаменательное морское сражение Гражданской войны в США и первый в истории бой броненосных кораблей – «Монитора» со стороны северян и «Вирджинии» (построенной из остова фрегата «Мерримак») со стороны Конфедерации.

С. 306. **У себя**. Дата в книге: 1923. Автографы: 1) *Иней*. Л. 12, без загл.; 2) *ЛиП*. Л. 127; дата: 1923; 3) РГАЛИ. 3.74об., без загл.

Впервые: *Ин*.

С. 307. **Черепаха**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 306; в содержании в разделе «1932»; 2) РГАЛИ. 8.10, без загл.

Впервые: *Ин*.

Эпиграф – неточная цитата из ст-ния «Solo» из сб. «Экстравагантные флаконы» (1913); в оригинале: «Мои стихи – лишь бронза пепельниц, /

Куда роняю пепел я». *Testudo elegans* – одно из названий вида «звездчатая черепаха»; также testudo – латинское название хелиса (*греч.* χέλυς – черепаха), древнегреческой лиры из панциря черепахи.

С. 307. **Романтика**. Автографы: 1) *Гамеланг*. После строфы VIII: «И прекрасной этой болезни, / Отравляющей наши дни, / Мы кричим, исчезая в бездне: / “Лама, лама, савахфани!”» (в этой редакции: *Ин*); 2) РГАЛИ. 10.66об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *ЛГ*, без строфы VIII.

С. 309. **Узнавание**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 246–247; в содержании в разделе «1937».

Впервые: Черноморская здравница (Сочи). 1984. № 115 (14306), 17 июня, без даты; публ. В. Купченко.

С. 310. **Поэту**. Автограф: РГАЛИ. 8.1–1об., без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1932».

Впервые: *Ин*; дата: 1932.

Ты, дрожа с Епископом Гатоном, / Рея на воздушном корабле… – аллюзия на баллады «Суд Божий на епископом» (1831) В.А. Жуковского и «Воздушный корабль» (1840) М.Ю. Лермонтова, являющиеся вольными переводами из Р. Саути («God’s Judgment on a Wicked Bishop», 1799) и Й.Х. фон Цедлица («Die Geisterschiff», 1832). *Помнишь день, когда амфоры древней…* – ср. в неоконченном автобиографическом романе «<Жизнь Адрика Мелиссино>» (эпизод посещения главным героем музея древностей):

> Необычайно сладкое и странное чувство он испытал, когда они подошли к великолепной «гидрии». На подставке стояла ваза, почти такой величины, как Адрик, вся черная, блестящая, в равномерных рубчиках, бежавших от горла, огибавших бока и опускавшихся к подставке. Она была совершенно простая, без всяких украшений, и – непонятно чем и почему – была необыкновенно прекрасна. На одной из ее ручек были вытиснуты какие-то буквы. Слав Славич сказал, что это – имя гончара, который ее сделал, и что звали его «Эвний», вероятно, сокращенное от «Евгений». Адрик прикоснулся к вазе, ощутил ее холодок, и сладкий холодок пробежал у него по позвоночнику. Эвний! Он жил две с половиной тысячи лет назад, он сделал эту прекрасную вазу, – и вот имя его звучит, а его вазой любуются! Он, Адрик, точно пожал руку этому древнему Эвнию, благодаря его за созданную им красоту! Сделает ли он, Адрик, что-либо такое, чтобы через две тысячи лет вспоминали его имя? Адрик не мог бы сказать, что он чувствует, но никогда у него не было такого странного, сладкого, пронизывающего чувства. Вечность!..

(*Биография*. С. 53); Слав Славич – Владислав Вячеславович Шкорпил (1853–1918), археолог, директор Керченского музея древностей (с 1901 г.), по совместительству преподавал в гимназии латинский язык.

С. 312. **Жизнь**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.74–75. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *ЛГ*.

Ср. отзыв К. Кошке:

> Ваша «Жизнь»… Мало сказать «многим нравится». Я просто очарована ею и чаровала других. Бориса Константиновича, нашего мастера, чуть ремнем станка не закрутило (где ограждения? что думает «техника безопасности»?), так экспансивно кинулся он ко мне, когда услышал несколько строк из «Жизни» – «Кошечка, махонькая, перепишите». <…> Вы не думайте, что это я подрядилась льстить Вам, вот я даже скажу о неудачных выражениях, пожалуйста (хотя я не критик). Ресницы нельзя называть «подстреленными». В Одессе по крайней мере «подстреленными» называют только людей с бзиком. «И сверстников моих и современниц кружок ничтожный на нее глядит». Похоже, что кружок не количественно, а качественно ничтожный. Принадлежа к числу Ваших современниц, могу забеспокоиться

(письмо от 5 марта 1949 г. // РГАЛИ. 159.25). Судя по тексту, второе замечание Шенгели принял. *И том стихов на ватмане издаст* – 100 нумерованных экз. тиража *Р1* отпечатаны «на ватманской бумаге». *Хальма*, халма – настольная игра, в России более известная как «уголки».

С. 314. **Так умирают**. В *Панцирь* в ст. 2 правка карандашом; зачеркнутый вариант: «как будто Некрасов» вм. «как некий писатель».

Автограф: РГАЛИ. 10.67. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Пр*.

В конце апреля 1942 г., через месяц после приезда во Фрунзе, Шенгели заболел сыпным тифом; см. дневниковую запись: «3 мая был доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь; температура подымалась до 41,4; проф<ессор> Фланчик считал меня безнадежным; было неск<олько> часов коллапса; потом начался энцефалит. К середине мая, однако, t° стала нормальной, и 27/V выписался. Вес – 62 кг (вместо 88!)» (*Ин*. С. 489; исправлено по автографу: РГАЛИ. 10.33об.). Ср.:

> Ну, Ладка, говорить, что я пережила за этот месяц – не стоит. У Ерки уже на 9ый день, без кризиса, – был коллапс – спасли вливанием глюкозы и впрыскивание кофеина, но положение было безнадежное. Потом стало немного лучше, и тут осложнение на мозг – энцефалит. В общем, профессор, кот<орый> его лечил, говорит, что

«при такой тяжелой форме тифа выживает один на десять тысяч. Я считал, что после коллапса он протянет 2, максимум 3 дня. Случай был абсолютно безнадежный: полное истощение нервной системы, очень плохое сердце и надорванный голодовкой организм – надежды не было никакой. Так что считайте, что ваш муж вернулся с берегов Стикса, в полном смысле этого слова»… Я бегала по 30–35 километров в день в поисках нужных лекарств и такой редкости, как пьявки… А сейчас бегаю не меньше: надо на барахолке продавать вещи, т.к. Ерке нужно усиленное питание, а здешний Союз отвалил 250 р. ссуды и всё!!! А когда пришлют по больничному листу из Литфонда московского – Аллах и тот не ведает! <…> Ерка – тень! Я – москитообразна: почти прозрачна, мама – тоже. Но всё это – пустое: главное, что он жив!

(письмо Н. Манухиной к Е. Тарловской от 16 июня 1942 г. // РГАЛИ. Ф. 2180. Оп. 1. Ед. хр. 330. Л. 7; фрагмент: *Биография*. С. 429–430).

С. 315. **Солнцеворот**. Автографы:1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.76об., без загл.; 3) РГАЛИ. 113.49, без загл. – машинопись, в письме к Н. Манухиной от 25 июня 1944 г. из Фирюзы. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

С. 316. **Дистрофия**. Автографы: 1) *Гамеланг*, под загл. «Болезнь»; 2) РГАЛИ. 10.72об., без загл. В содержании *ЛиП* вычеркнуто.

Впервые: *Ин*.

С. 317. **Итог**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 210; дата: 1931; 3) РГАЛИ. 10.56, без загл.

Впервые: *Ин*; дата: 1931.

А любимый мой город разрушен… – речь о Керчи, в годы Великой Отечественной войны практически полностью разрушенной.

С. 317. **Экран**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.59, без загл.; в конце доп. строфа: «В нем толп людских прибои, / Любвей и казней фарс, / Фальшивые ковбои, / Искусственные “stars”». Включено в *ЛиП* в раздел «1937».

Впервые: *Ин*; дата: 1937.

С. 318. **Соблазн**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 249; дата: 1937; 3) РГАЛИ. 10.64, без загл.

Впервые: *Пр*.

С. 318. **Неврастения**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 226; 3) РГАЛИ.6.122.
Впервые: *Ин*.

С. 319. **Сиротство**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 294.
Впервые: *Ин*.

С. 320. **Отраженное бытие**. Автограф: *Гамеланг*. Включено в *ЛиП* в раздел «1934».

Впервые: *Ин*.

С. 320. **А может быть**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 333; дата: 1942; 3) РГАЛИ. 10.76; помета: «Первое стихотворение, написанное на 6-м десятке лет».

Впервые: Волга. 1990. № 10; публ. М. Шаповалова; дата: 1942.

С. 321. **Атараксия**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 256; дата: 1937; 2) РГАЛИ.1.242 – машинопись, без загл.; 3) ГЛМ. Ф. 135. Оп. 4. Ед. хр. 253. Л. 1, без загл.; помета: «Писано в Клязьме на даче Е.Ф. Никитиной».

Впервые: *Ин*; дата: 1937.

Заглавие – душевное спокойствие, невозмутимость.

С. 321. **Возвращение**. В книге – как два ст-ния с одинаковым загл., порядковые номера проставлены карандашом.

С. 321. **1**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 8.4–4об., без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1938».

Впервые: *КР*, без даты, без деления на строфы.

С. 322. **2**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.73об.; помета: «Нинке, 26.IV.43». Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

С. 323. **Мгла**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 335; дата: 1942; 2) РГАЛИ. 10.70, без загл.

Впервые: *Ин*; дата: 1942.

С. 323. **За окном**. Автограф: РГАЛИ. 10.70об., без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1942».

Впервые: *Ин*; дата: 1942.

С. 324. **Мороз**. Автограф: *ЛиП*. Л. 314.
Впервые: *НБ*; дата: 23 февраля 1940.

С. 324. **Там, в горах**. Автограф: РГАЛИ. 10.66об., без загл. Включено в *ЛиП*.
Впервые: *ЛР*.

С. 325. **Ночь**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 338; 2) РГАЛИ. 10.67об.
Впервые: *Подъем*.

С. 326. **Док**. Автограф: РГАЛИ. 8.5, без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1931».
Впервые: *Ин*; дата: 1931.

С. 326. **Аламединка**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.67, без загл.; 3) РГАЛИ. 8.26 – машинопись, без загл. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

Посвящение – Ирина Алексеевна Бах (в замуж. Балаховская; 1901–1991), доктор исторических наук; дочь академика А.Н. Баха. В эвакуации во Фрунзе устраивала в своей квартире нечто вроде «литературного салона», где часто бывали супруги Шенгели.

С. 327. **У окна**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 211; дата: 1931. В содержании отмечено как опубликованное; 2) РГАЛИ. 7.10, без загл.
Впервые: *Ин*.

С. 328. **Калейдоскоп**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 341–342; дата: 1942, затем 2 исправлено на 3. В содержании вычеркнуто; 3) РГАЛИ.10.67об.
Впервые: *Ог-94*.

С. 329. **Жидкий воздух**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 225; 2) ГЛМ. 1.8.1.
Впервые: *Ин*.

С. 330. **Витрина**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 145–146; дата: 1925; 3) РГАЛИ. 6.119.
Впервые: *НМ*.

С. 331. **Птичка**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.56. Включено в *ЛиП* в раздел «1947».
Впервые: *Ог-94*, с другим эпиграфом.
Эпиграф – из ст-ния Ф. Туманского «Птичка» (ок. 1826).

С. 331. **Подражание персидскому**. Автографы: 1) *Гамеланг*, под загл. «Робаи»; 2) РГАЛИ. Ф. 1784. Оп. 1. Ед. хр. 459. Л. 23 – запись в альбоме А.М. Арго под загл. «Подражание Омар-Хайаму»; дата: 3.X.1940. Включено в *ЛиП* под загл. «Робаи».
Впервые: *Ин*, под загл. «Робай».

С. 331. **Собака**. Автографы:1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 230. В содержании в разделе «1932».
Впервые: *ЛР*; дата: 40-е годы.

С. 332. **Художник**. В книге – как два ст-ния с одинаковым загл., порядковые номера проставлены карандашом; часть 2 расположена после триптиха «Полихромия вечера».
Впервые: *Ин*; дата: 1943.

С. 332. **1**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 329; дата: 1941; 3) РГАЛИ. 10.70об.

С. 333. **2**.Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 9.29об., под загл. «Куинджи».

С. 334. **Полихромия вечера**. В книге – как три ст-ния с одинаковым загл., порядковые номера проставлены карандашом.
Впервые: *Пр*; дата: 1944.

С. 334. **1**. В книге помета карандашом: «15 “с”; 16 “з”». Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 347; дата: 1944; 3) РГАЛИ. 10.66об.

С. 334. **2**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 348; дата: 1944; 3) РГАЛИ. 10.70, под № III.

С. 335. **3**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.70, под № II. Включено в *ЛиП*.

Пендинская язва – паразитарное поражение кожи, распространенное в тропиках и субтропиках, передается через укусы москитов.

С. 336. **Портрет Дориана Грея**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.71об. Включено в *ЛиП* в раздел «1942».

Впервые: *Подъем*; дата: 1942.

С. 337. **Венера**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 245; дата: 1936; 3) РГАЛИ. 10.71об., без загл.

Впервые: *Ин*; дата: 1936.

Эпиграф – из ст-ния «На далекой звезде Венере…» (1921).

Облики

С. 338. **Лермонтов**. В книге – как два ст-ния с одинаковым загл., порядковые номера проставлены карандашом.

Впервые: Смена. 1964. № 19 (897), окт.

С. 338. * **1**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 318; дата: 1941; 2) РГАЛИ. 8.2–2об., под загл. «Снизу вверх»; после основного текста – фрагмент, не вошедший в *Панцирь* (опубл. как самостоятельное ст-ние: День поэзии. 1968, без ст. 1).

С. 339. **2**. Автографы: 1) *Гамеланг*, под загл. «Лермонтов», без подзагол.; 2) *ЛиП*. Л. 331; 3) РГАЛИ. 10.63об., без загл.

Аллегри (*ит*. allegri – будьте веселы) – лотерея, в которой выигрыш заранее обозначен на билете, запечатанном особым способом; надпись allegri сопровождает пустые билеты.

С. 340. **Валерий Брюсов**. Включено в *ЛиП*.

Впервые: Волга. 1992. № 4; публ. В. Молодякова.

Написано к 15-летию со дня смерти В. Брюсова. *Иоанна (Жанна) Матвеевна Брюсова* (1876–1965) – переводчик с французского; жена В. Брюсова, хранитель и публикатор его наследия. См. ст-ние, написанное Шенгели и Н. Манухиной к ее 80-летию (с. 542). *…трепет без конца* – из ст-ния В. Брюсова «Золото» (1899): «Из жизни медленной и вялой / Я сделал трепет без конца». *…напевом бури властной* – из ст-ния В. Брюсова «Лик Медузы» (1905): «Быть напевом бури властной – / Вот желанный жребий твой».

С. 341. **Максимилиан Волошин**. Автограф: РГАЛИ. 1.243–244 – машинопись, под загл. «Макс», без деления на строфы; др. редакция (опубл.: *Ин*). Включено в *ЛиП*.

Впервые: Лит. обозрение. 1989. № 2; публ. В. Купченко, З. Давыдова.

В одну из записных книжек Шенгели вклеена газетная вырезка – некролог Волошину, рядом памятная запись: «Я познакомился с Максом в конце мая 1917 г.; в последний раз был у него в августе 1929 г.» (ГЛМ. 2.23.8). Подробно об их взаимоотношениях см.: Купченко В.П. С Максимилианом «на ты»…: Г.А. Шенгели и М.А. Волошин // Кодры. 1990. № 12. С. 173–183. Ср.:

> Вчера был на докладе Сергея Дурылина о писателях, участниках войны 12-го года. Много поучительного. Мы с ним говорили, и он сказал мне (он ведь был близким приятелем Макса), что последний «очень меня любил». Я сказал скромно: «да, кажется, Макс ко мне относился неплохо», но он подчеркнул: «нет, именно, очень любил и очень высоко ставил». Мне было приятно

(письмо к Н. Манухиной от 19 февраля 1942 г. // РГАЛИ. 112.43–43об.). *Эпиграф* – из поэмы «Цыганы». *...силуэт скалы ~ Был точным слепком с профиля его* – южный склон хребта Кок-Кая на Кара-Даге, обращенный к морю, со стороны Коктебеля напоминает очертания профиля Волошина, ср. в его ст-нии «Как в раковине малой – Океана…» (1918): «И на скале, замкнувшей зыбь залива, / Судьбой и ветрами изваян профиль мой!» (Собр. соч. Т. 1. М.: Эллис Лак, 2003. С. 170). *Герлыга* – пастушеский посох с деревянным крюком на конце для ловли овец за заднюю ногу. *Пуццолана,* пуццолан (*ит*. pozzolana) – горная порода, смесь вулканического пепла, пемзы, туфа в виде обломков различной величины; используется как гидравлическая добавка для получения ценных сортов цемента, устойчивых к морской воде. В 1905 г. на Кара-Даге были обнаружены обширные запасы пуццоланов, более известных как трассы. *Мальвазия* – сладкое ликерное греческое вино из одноименных сортов винограда. *Вербицкая* Анастасия Алексеевна (1861–1928) – русская писательница феминистской направленности. *...к Деникину... / Он входит и приказывает, чтобы / Освобожден был из тюрьмы поэт* – контаминация заступничества Волошина за арестованных белой контрразведкой в Феодосии генерал-лейтенанта, археолога, крымоведа Н.А. Маркса (июнь 1919 г.) и О.Э. Мандельштама (июль 1920 г.). Обращение к А.И. Деникину имело место в первом случае, причем лишь в письменной форме (подробнее см.: Волошин М. Дело Н.А. Маркса // Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 378–409). *Он заступается за Черубину* – о взаимоотношениях М. Волошина и Н. Гумилева с Елизаветой Ивановной Дмитриевой (1887–1928), известной под псевдонимом-мистификацией Черубина де Габриак, и о дуэли между поэ-

тами см.: Волошин М. Воспоминания о Черубине де Габриак // Собр. соч. Т. 7. Кн. 2. М.: Эллис Лак, 2008. С. 451–471, 643–656 (примеч.); Исповедь // Черубина де Габриак. Исповедь. М.: Аграф, 1998. С. 273–276.*«Свой древний град воспоминая»* – неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»; в оригинале «дальний» вм. «древний».

С. 344. **На смерть Игоря Северянина**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.332–332 об. – машинопись; 2) РГАЛИ. 10.65. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Таллин*.

Об увлечении Северянином Шенгели рассказал в наброске посвященной ему главы для ненаписанной мемуарной книги «Элизиум теней»:

> Была осень 1913 г. Я учился в 8 классе Керченской гимназии. Мы, с моим товарищем Колей Петровым, составляли как бы эстетическую фракцию нашего класса. Я писал стихи; Петров их одобрял. Оба мы захлебывались Бальмонтом и Гумилевым (увы – преимущественно по «Чтецу-декламатору»), сходили с ума от Оскара Уайльда, зачитывались Штирнером. <…> Основательно усвоив в отрочестве авантюристику – Стивенсона, Пембертона, Жаколио, Лори, Буссенара и т.п., – мы с Петровым восторженно обретали у Гумилева – «Капитанов», у Бальмонта – «Южный полюс луны» и «Остовы разбитые мертвых кораблей» и свысока смотрели на отравленные школой «поэтизмы» признанных поэтов. Мы не любили ни Пушкина, ни Тютчева. Наряду с этим технические утехи современности – автомобили, делающие по 150 клм. в час, аэропланы, перелетающие через Ламанш и из Севастополя в Петербург <…> кружили нам головы.
>
> И когда нам впервые попался «Громокипящий кубок» Северянина, с дразнящим новизной, зычностью, язычеством подзаголовком «поэзы», когда мы прочитали там о «воздушной яхте», о «бразильском крейсере», о «ранчо у моста лиан», о «вздрогнувшем моторе» и т. д. – в распеве и звучности совершенно нового (казалось) и так легко осваиваемого стиха; когда мы, стукаясь головами, проглотили на латинском уроке остроумный фельетон Чуковского в «Русском слове», – мы безоговорочно уверовали, что *наш* поэт пришел. И надо сказать, что наши товарищи, которых мы тщетно старались приохотить к Бальмонту, довольно легко приняли Северянина: многое стало им нравиться, и меня часто заставляли в классе читать «поэзы» (любопытно, что я читал их почти так, как читал сам Северянин, – очень нараспев и с полным отказом от «выразительного чтения», которому пытался обучать класс наш словесник)

(РГАЛИ. 220.5–7об., частично: Постоутенко К. 75 лет книге. Георгий Шенгели. «Гонг» // Памятные книжные даты. М., 1991. С. 175; другой вариант

главы, более цельный, но также неоконченный: *Лица*. С. 381–385). Их личное знакомство состоялось в январе 1914 г. во время приезда Северянина в Керчь на «Первую олимпиаду футуризма». В 1916–1917 гг. Шенгели сопровождал Северянина и «поэзо-певицу Балькис-Савскую» (Марию Домбровскую) в двух гастрольных турне, выступая в поэзоконцертах со своими стихами и лекциями на различные темы (хронику см.: Крусанов А. Русский авангард. 1907–1932. Исторический обзор. Т. 1: Боевое десятилетие. М., 2010; Т. 2: Футуристическая революция. 1917–1921. М., 2003). После отъезда Северянина в Эстонию в 1918 г. поэты эпизодически обменивались письмами. В 1924 г. Шенгели писал М. Шкапской:

> Я знал его очень хорошо. Мы вместе совершили несколько поездок по России <…>; я подолгу гостил у него в Гатчине. Люблю его как человека, люблю его стихи, – совершенно неоцененные по достоинству. <…> Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал. Это был Алекс<андр> Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи – сплошное издевательство над всеми и всем, и над собой. Вы знаете, что Игорь никогда (за редчайшими исключениями) ни с кем не говорил серьезно? <…> Кажется, лишь меня, сумевшего понять некоторые глубоко таимые его мысли, он удостаивал искренней беседой. Вы спро́сите, – где гарантия, что и меня не рядил он в дураки? Голову на отсечение не дам, – но очень думаю, что было не так <…> Теперешних книг его не знаю. Очень допускаю, что он измазался в мещанстве, – как Гоголь: в «Переписке»

(письмо от 5 апреля 1924 г. // *Минувшее*. С. 258–259). С сентября 1940 г., после вхождения Эстонии в состав СССР, переписка оживилась (письма Северянина см.: Игорь Северянин. Стихотворения и поэмы. 1918–1941. М., 1990. С. 401–430). Северянин умер 20 декабря 1941 г., о чем Шенгели узнал лишь 3 месяца спустя:

> <…> у меня горе: умер Игорь. Сергею Ив<анови>чу <Малашкину – *В.Р.*> сказал об этом один эстонский нарком. Не пришлось нам свидеться! 25 лет назад мы с ним простились на харьковском вокзале (как раз в марте 17 г., на второй или третий день революции) и – оказалось – навсегда. – Умерли все мои любимые поэты: и Макс, и Осип, и Игорь. Никого нет. – Я, впрочем, рад, что несколько скрасил Игорю его предпоследние дни, что последний дружеский голос, им услышанный, был мой

(письмо к Н. Манухиной от 12 марта 1942 г. // РГАЛИ. 112.48);

> Писал тебе в предыдущей открытке, что умер Игорь. Вот уж неделя прошла, как я это узнал, а как вспомню, так всё и заноет. Зна-

чит, мог же я быть привязан к человеку, несмотря на то, что четверть века его не видел и за это время обменялся с ним десятком писем. Ей-богу, не сомни меня жизнь, я мог бы быть хорошим человеком

(письмо к Н. Манухиной от 19 марта 1942 г. // Там же. Л. 52об.). См. также: Коркина Е. Георгий Шенгели об Игоре Северянине // Таллин. 1987. № 3. С. 89–92. *Эпиграф* – из ст-ния «Над гробом Фофанова» (1911), вошедшего в сб. «Громокипящий кубок» (1913). *...в парке плакала девочка* – ст-ние Северянина с таким загл. (1910) вошло в «Громокипящий кубок». *Играя с Гебою ветреной...* – отсылка к последней строфе ст-ния Ф. Тютчева «Весенняя гроза» (<1829>), из которой заимствовано название сборника Северянина: «Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла, / Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила!»

С. 345. **Анне Ахматовой**. Автографы: 1) РГАЛИ. 8.27–27об., без загл.; 2) ОР РНБ. Ф. 1073. Ед. хр. 630. Л. 1–1об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: Лит. учеба. 1989. № 3.

О взаимоотношениях поэтов см. *Постоутенко*; там же – публ. ст-ния по автографу 2. *Гудел декабрь 16-го года; / Убит был Гришка...* – первую встречу с Ахматовой Шенгели ошибочно сближает во времени с убийством Г. Распутина: на рубеже 1916–1917 гг. Ахматова находилась в Слепневе. Указание на то, что встреча могла произойти 25 апреля 1916 г. на тематическом вечере в зале Тенишевского училища (*Постоутенко*. С. 730), также следует признать ошибочным: в этот день Шенгели с Северянином уже были в Москве, где выступали на поэзовечере в Политехническом музее. 15 апреля 1916 г. в зале Тенишевского училища проходил Вечер современной поэзии и музыки, на котором Шенгели, вероятно, и увидел Ахматову впервые. *...в той знаменитой шали, / Что изваял строкою Мандельштам* – отсылка к ст-нию Мандельштама «Ахматова» (1914) из сб. «Камень» (2-е изд.; 1916): «Спадая с плеч, окаменела / Ложноклассическая шаль». *...кто-то / Всем будет мерить красный башмачок* – отсылка (с неточностью) к ст-нию Ахматовой «…И на ступеньки встретить…» (1913) из сб. «Четки» (1914): «И сердцу горько верить, / Что близок, близок срок, / Что всем он станет мерить / Мой белый башмачок». *Прошло семь лет...* – если первая встреча состоялась в апреле 1916 г., прошло восемь лет. Вторую встречу Шенгели описал подробно:

> Теперь об Ахматовой. В этот ее приезд в Москву был я ей представлен. Очень она постарела с тех пор, как я видел ее (16 г.). Понравилась мало. Мы ехали вместе из Политехнического музея, где был ее вечер <20 апреля – *В.Р.*>, в Союз Писателей. Я тараторил, старался ей понравиться (она – вечно про себя что-то свое думающий человек, – и хотелось это «что-то» выковырять), потом спросил, попадались ли ей мои последние книги. Она вдруг спрашива-

ет: «А как, собственно, Ваша фамилия?» Я изумился, – но тут же понял. Говорю: «Вот так вопрос, обращенный к ночному спутнику! А что, если я Вас повезу в заточенье и слуплю с каждого Вашего читателя рупь выкупу?» – Она смеется: «Везите». Называю фамилию. – «А, я Вас хорошо знаю». В Союзе – фурор: приехал с Ахматовой! Уважение ко мне возросло, – и это меня так взбесило, что я на просьбу одной дамы, содержащей литературный салон, привезти к ней Ахматову, – «с которой Вы в хороших отношениях» (!!), отвечал: «Отношения не очень хорошие: она мне дала понять, что я кретин, шепелявый и преждевременный рамоли». Дама меня запрезирала и отошла; полегчало

(письмо к М. Шкапской от 25 апреля 1924 г. // *Постоутенко*. С. 731). Однако в ст-нии речь идет о частной встрече, которая, судя по тексту, состоялась во время поездки Шенгели в Ленинград в мае того же года. *Тетрадку со стихами / Достали Вы из-под матраца в спальной…* – ср. дневниковую запись Л. Горнунга от 5 января 1924 г.: «Из Петрограда от Ахматовой вернулась Софья Парнок… <…> Очень ее удивило, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца» (Горнунг Л.В. Встреча за встречей // Лит. обозрение. 1989. № 6. С. 68. Цит. по: *Постоутенко*. С. 734). *На блеклый флаг таможни?* – отсылка к ст-нию Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможней…» (1913) из сб. «Четки» (1914). *Или на пятую, пустую, ложу?* – отсылка к ст-нию Ахматовой «Меня покинул в новолунье…» (1911) из сб. «Четки» (1914): «Но сердце знает, сердце знает, / Что ложа пятая пуста». *Или на двадцать восемь штыковых…* – отсылка к ст-нию Ахматовой «Не бывать тебе в живых…» (1921) из сб. «Anno Domini MCMXXI» (1922): «Не бывать тебе в живых, / Со снегу не встать. / Двадцать восемь штыковых, / Огнестрельных пять». *И двадцать лет еще прошло* – точнее девятнадцать. Речь идет о встрече в Ташкенте, где Ахматова находилась в эвакуации, а Шенгели побывал проездом из Москвы в Ашхабад. Ахматова надписала Шенгели свой сборник «Избранное: Стихи» ([Ташкент], 1943; ныне в Научно-справочной библиотеке РГАЛИ): «Георгию Шенгели – в память неожиданной встречи в Ташкенте 8 авг<уста>1943 дружески – Анна Ахматова» (*Постоутенко*. С. 734; в тексте статьи встреча ошибочно датирована 8 мая). На следующий день Шенгели писал с дороги:

Еду в международном 1 категории; приятный попутчик – капитан. Обучаю его любить Ахматову (которая подарила мне книжку с автографом и кланяется тебе). В Ташкенте сидел всего сутки; из-за воскресенья никого почти не видал. Надя Мандельштам живет у Ахматовой; говорил с нею. В том же доме – Луговской. – Ночевал у Мадараса, но на кровати, одолженной мне Варварой Вольтман

(письмо к Н. Манухиной от 9 августа 1943 г. из Самарканда во Фрунзе // РГАЛИ. 113.34). Через два дня, добравшись до места назначения, сообщил некоторые подробности:

> В Ташкенте большинство писателей живет хуже, чем во Фрунзе. Ахматова устроена хорошо, получает лауреатский паек. Луговской тоже. Ахматова была очень со мной мила, подарила мне свою книжку с автографом, передала тебе привет. Читала мне новую поэму «Поэма без героя». Говорить о ней трудно: очень многопланная и «непонятная» вещь; есть блистательные места. Я наговорил ей комплиментов и услышал в ответ, что у меня «абсолютный слух», и что она, Ахматова, именно так и понимает свои достижения в этой вещи. <…> Сын Ахматовой вполне благополучен: где-то в научной экспедиции

(письмо к Н. Манухиной от 11 августа 1943 г. из Ашхабада // *Постоутенко*. С. 731; исправлено и дополнено по автографу: РГАЛИ. 113.35–35об.). *В изгнанье / И Вы, и он* – Ахматова жила в Ташкенте с ноября 1941 по май 1944 гг. Шенгели с апреля 1942 по март 1943 гг. жил во Фрунзе, где с июля 1941 г. находилась Н. Манухина с матерью и дочерью, с августа 1943 (ненадолго вернувшись во Фрунзе в конце года) по октябрь 1944 г. – в Ашхабаде и Фирюзе. *Небесные Горы* – перевод с китайского названия горной системы Тянь-Шань, расположенной в т. ч. на территории Киргизии и Узбекистана. *Мавераннагр*, Мавераннахр – историческая область в Центральной Азии, на территории которой располагаются большая часть Узбекистана, запад Киргизии и восток Туркмении. *О месяце серебряном над Веком / Серебряным…* – отсылка к «Поэме без героя» Ахматовой (Ч. I. Гл. 3): «И серебряный месяц ярко / Над серебряным веком стыл». *…о смятой кризантэме, / Оставшейся от похорон…* – там же (Ч. II): «И была для меня та тема, / Как раздавленная хризантема / На полу, когда гроб несут».

С. 347. **Портрет маслом**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 311–313; 2) РГАЛИ. 8.12–12об., под загл. «Анна Радлова (масло)».

Впервые: *Ин*.

Посвящение – Анна Дмитриевна Радлова (1891–1949), поэтесса, переводчица. Наиболее известны ее переводы пьес У. Шекспира. В 1936 г. Шенгели редактировал трехтомное издание пьес Шекспира; работа остановилась на первом томе (включавшем «Отелло» в переводе Радловой), качество которого Шенгели в письме главному редактору Гослитиздата И.К. Лупполу (РГАЛИ. 128.3–6) оценил весьма невысоко. Тем не менее, к Радловой Шенгели относился благожелательно, о чем свидетельствуют обращенные к ней дарственные надписи от 22 марта 1937 г. на экземплярах *Пл* и «Избранных стихов» В. Гюго (Суздальцев О.В. «Не отвергай смиренной дани…»: Дарственные надписи на книгах Г.А. Шенгели из

собрания А.Д. Радловой // Коллекции, книги, автографы. Сборник научных трудов. Вып. 3. СПб., 2003. С. 147–153). На конференции по вопросу о советском переводе Шекспира (31 января – 3 февраля 1940 г.; см.: Столяров М. Как переводить Шекспира: Заметки с конференции // Советское искусство. 1940. № 9 (679), 9 февр. С. 4) Радлова выступила с сообщением о своей работе; ее переводы подверглись критике в докладах В.М. Кожевникова и К.И. Чуковского, незадолго до конференции выступившего с резко критической статьей «Искалеченный Шекспир» (Правда. 1940, 15 янв.). Ср. дарственную надпись Шенгели, также выступавшего на конференции, на *ИС* от 31 января 1940 г.: «Дорогой Анне Дмитриевне Радловой в “боевые дни”» (Суздальцев О.В. Указ. соч.). Радловой принадлежит также полный перевод трагедии К. Марло «Эдуард II» (1937. Фрагменты: Ленинград. 1941. № 10. С. 15–18; № 11. С. 14–17. Полностью, основательно отредактированный А.А. Смирновым, вышел в свет отдельным изданием: М.: Искусство, 1957).

Пнеймопластика

Векшинский Сергей Аркадьевич (1896–1974) – ученый-физик, академик; близкий друг Шенгели с гимназических лет.

С. 349. **Мой город**. Автограф: *ЛиП*. Л. 186.
Впервые: Волга. 1990. № 10, б.д.; публ. М. Шаповалова.

Ср. запись за 1902 г. в «Автобиографической канве»: «Приезд в Керчь <из Харькова – *В.Р.*>. – В первый раз вижу море и корабли (в 1897 г. я их не заметил) и “схожу с ума”» (*Биография*. С. 34).

С. 350. **Зима 1901**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 343. В содержании вычеркнуто; 3) РГАЛИ. 10.70, без загл.

Впервые: *Ог-94*.

Ср. запись за 1901 г. в «Хронологической канве»: «Впервые вижу кино» (*Биография*. С. 33).

С. 351. **Панорама**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 297–298; дата: 1938; 3) РГАЛИ. 8.3–3об.; первонач. загл.: «Диорама».

Впервые: *Ин*.

С. 352. **Сундук**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 302–304.
Впервые: *Ин*.

Прадед был католиком… – прадед Шенгели, коллежский советник Николай Григорьевич Вускович-Кулев (1804–1888), уроженец Рагузы, был директором Керченского карантина и одним из виднейших представителей местной католической колонии; перешел в православие после того, как вто-

рая жена изменила ему с католическим патером Иоанном Аразовым (*Биография*. С. 12–14).

С. 354. **Клик**. Автограф: *ЛиП*. Л. 188–189.
Впервые: ЛГ.

Золотой Курган – изначально сфероидальное сооружение, облицованное большими бутовыми блоками неправильной формы. Воздвигнуто ок. IV в. до н.э. над тремя монументальными гробницами на вершине горы Алтын-Оба на западной окраине Керчи. В 1870-х гг. практически полностью разрушено, сохранились лишь фрагменты облицовки. *Тут был босфорский форт* – Пантикапей, будущая столица Боспорского царства, был наиболее крупным, мощным и, вероятно, первым из городов-государств (полисов), основанных древнегреческими колонистами на берегах Боспора Киммерийского и составивших военную конфедерацию для противостояния коренному населению – скифам. *Громили пращники гоплитов Гераклеи* – возможно, речь идет о восстании 107 г. до н.э. под руководством представителя скифской знати Савмака, захватившего власть в Пантикапее; к карательной экспедиции, отправленной из Синопа в Пантикапей Митридатом VI, присоединились отряды из Херсонеса, который был колонией Гераклеи Понтийской – отсюда, вероятно, и гоплиты (тяжеловооруженные пешие воины) Гераклеи. *Тут буйствовал Помпей…* – полководец Гней Помпей командовал войсками Римской республики на последнем этапе Третьей Митридатовой войны (66–63 гг. до н.э.). *…понапрасну яд / Глотал затравленный, как кошка, Митридат* – после начала открытого мятежа против Митридата VI, устроенного его сыном Фарнаком, царь попытался отравиться, чтобы избежать плена; когда яд не подействовал благодаря иммунитету, выработанному у царя с детства, Митридат попросил помощи у своего телохранителя и погиб от его меча. *…монахиню Елену / Фавн заманил сюда* – вероятно, один из вариантов керченской легенды о строительстве храма Иоанна Предтечи (см. о нем в ст-нии «Порт Св. Иоанна», с. 632); в другом варианте прекрасный юноша, сын языческого жреца, искушает чистую деву, чьи двенадцать братьев строят христианский храм в память о матери (Старый храм // Легенды Крыма / [Текст Н.А. Маркса]. Вып. 3-й. Одесса, 1917. С. 5). *Здесь Пушкин проезжал…* – Пушкин побывал в Керчи 15–16 августа 1820 г. по пути в Кишинев. *А через день всего послушное ветрило / Тоской гарольдовой над ним прошелестило…* – на рассвете 18 августа 1820 г. Пушкин отбыл на военном бриге из Феодосии в Гурзуф; в пути им написана элегия «Погасло дневное светило…» с повторяющимися строками: «Шуми, шуми, послушное ветрило, / Волнуйся подо мной, угрюмый океан». *Герлыга* – см. примеч. к ст-нию «Максимилиан Волошин» (с. 675).

С. 355. **Из-за забора**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 293.
Впервые: *Ин*.

С. 356. **Бал**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 336; дата: 1942; 3) РГАЛИ. 10.58, без загл.; помета: «Первое стих<отворен>ие в этом году».

Впервые: *Ин*.

С. 357. **Молох**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 229; дата: 1935; 2) РГАЛИ. 10.64, без загл.

Впервые: *Ин*.

С. 368. * **Отрывок**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 150; дата: 1925; 2) РГАЛИ. 6.31, без загл.

Илайали, Илаяли – имя, придуманное идеализированной женщине главным героем романа К. Гамсуна «Голод» («Sult», 1890). *Глан* – лейтенант Томас Глан, главный герой повести К. Гамсуна «Пан» («Pan», 1894).

Сны

С. 359. **Тайна**. В книге – как два ст-ния с одинаковым загл., порядковые номера проставлены карандашом.

Впервые: *Ин*; дата: 1940.

С. 359. 1. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 305, с подзагол. (от руки): «Сон»; дата от руки: первоначально 1943, затем 3 выправлено на 0. В содержании в разделе «1943»; 3) РГАЛИ. 8.7.

Судя по упоминанию скрипичного мастера А. Гварнери, речь идет о Кремоне.

С. 359. **2**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 6.94. Включено в *ЛиП* в раздел «1930».

С. 360. **Плен**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 228; дата: 1935;3) РГАЛИ. 8.6–6об., без загл.

Впервые: *Ин*.

С. 361. **Катер**. Автографы:1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 251–252.
Впервые: *Ин*.

Эпиграф – из ст-ния «Сад Прозерпины» (The Garden of Proserpine, 1866).

С. 362. **Амфибиальная память**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 308–309.
Впервые: *Ог-94*.

С. 363. **Урбанистический пейзаж**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) *ЛиП*. Л. 220; дата рукой Н. Манухиной: 1933; 3) *ЛиП*. Л. 307, тот же текст; дата рукой Н. Манухиной: 1940. В содержании *ЛиП* в разделе «1940».

Впервые: *Ин*.

Ср.: «<…> сообщаю, что всегда таскаю в кармане заряженный браунинг, что придает мне неоспоримое преимущество, хотя карманы проти-

раются с такой быстротой, с какой кушает беженец» (письмо М. Шкапской от 25 апреля 1924 г. // *Минувшее*. С. 259).

С. 363. **Кувшин**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 5.25об., под загл. «Сон». Черновой автограф в блокноте среди ст-ний 1928 г.; помета: «(действительно снилось)». Включено в *ЛиП* в раздел «1920».

Впервые: *ЛГ*.

Лирические новеллы

С. 365. **Вплавь!** Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 253–255. В содержании в разделе «1935»; 2) РГАЛИ. 7.27–28.

Впервые: *Ок-88*; дата: 1935.

Остроносый Гоголь / Сидел на постаменте… – памятник Н.В. Гоголю работы скульптора Н.А. Андреева, открытый 26 апреля 1909 г. к столетию со дня рождения писателя; в 1951 г. перенесен на территорию Донского монастыря, в 1959 г. – во двор бывшей усадьбы графа А.П. Толстого (Никитский бульвар, 7А), где Гоголь провел последние годы жизни.

С. 367. **Стыд**. Автограф: *ЛиП*. Л. 257–260; дата чернилами: 1936, затем карандашом 6 выправлено на 7. В содержании *ЛиП* в разделе «1936».

Впервые: *Ин*.

См. также ст-ние «Изгнание» (с. 453). *Я читал тогда / Курс лекций в местном университете…* – с октября 1927 г. по ноябрь 1928 г. Шенгели преподавал в Крымском педагогическом институте в Симферополе.

С. 370. **Певица**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 8.8–9, без загл. Включено в *ЛиП* в раздел«1931».

С. 371. **Борисоглебский, 15**. Автограф: РГАЛИ. 7.31–31об. Включено в *ЛиП*. Впервые: 1910 – год вступления Марины Цветаевой в литературу. XVI международная научно-тематическая конференция 8–10 октября 2010: Сб. докладов. М., 2012; публ. и коммент. Е. Лубянниковой, по автографу (далее: *Лубянникова*).

Сюжетно и текстуально отчасти соотносится со ст-нием «Время» (с. 478). *Заглавие* – ср.: «Получил здесь в общежитии Брюсовского института хорошую комнату (освобождается на днях); переезжаю туда» (письмо к М. Шкапской от 29 августа 1924 г. // *Лубянникова*. С. 450). Письмо было продолжено после переезда: «4/IX, Борисоглебский пер., 15, кв. 10. Пишу из нового моего логова. Пустовато оно и неустроено, но – три окна, широкий вид, купол Христа-Спасителя золотится, – самой глубокой ночью» (*Там же*). Сведения о том, что дом снесен в новейшее время (*Там же*. С. 451), по-видимому, ошибочны: здание по адресу д. 15, ст. 2 (в глубине двора) вполне соответствует описанию Шенгели; неверно и то, что до революю-

ции в доме располагалась Женская учительская семинария (*Там же*), – это здание находилось в Трубниковском переулке (д. 15), параллельном Борисоглебскому. *Я много лет всё в том же переулке / Живу* – Шенгели поселился в Борисоглебском переулке в мае 1922 г. («Мои квартирные неурядицы окончились благополучно. На днях устраиваю новоселье, которое Вы не откажетесь, уповаю, посетить. О дне сообщу» – письмо В.Г. Лидину от 17 мая 1922 г. // *Биография*. С. 181) по адресу: д. 6, кв. 3, где до эмиграции жила М.И. Цветаева (см. ниже). До этого в течение 1,5 месяцев после приезда 28 марта в Москву он, судя по всему, жил в общежитии Союза писателей, ср. его заявление в Правление Союза от 12 мая: «Находясь в крайне тяжелом квартирном положении (меня выселяют; создали для меня каторжный режим отсутствия света, воды, права входа и выхода и пр.), я прошу Правление предоставить мне во временное пользование (до 30/V, когда будет разбираться в суде дело о моем выселении) каморку, прилегающую к кухне в общежитии. Обязуюсь очистить ее не позже 31/V, как бы ни обернулось дело в суде: в неблагоприятном случае я уеду из Москвы» (*Биография*. С. 181). *Жил Писемский в соседнем доме* – А.Ф. Писемский владел участком с домом № 11, где жил с лета 1865 г. до конца жизни (1881). Дом не сохранился, как и установленная на нем мемориальная доска; на месте участка разбиты газоны, в 2007 г. открыт памятник М.И. Цветаевой. В 1962–1994 гг. переулок носил название «улица Писемского». *Подальше жил Бальмонт, – удрал трусливо…* – К.Д. Бальмонт в 1916–1920 гг. (с перерывами), до отъезда из России, жил по адресу: Большой Николопесковский пер., д. 15 (в некоторых источниках ошибочно д. 13), кв. 2. По официальной версии, уезжал в творческую командировку, однако после Кронштадтского восстания 1921 г. открыто выступил против большевизма и в Россию не вернулся. Шенгели познакомился с Бальмонтом в 1915 г. во время поездки в Петербург (РГАЛИ. 220.15об.). *Подальше Вячеслав Иванов, – тоже…* – В.И. Иванов в 1918–1920 гг., до отъезда в Баку, жил по адресу: Большой Афанасьевский пер., д. 4, кв. 3. Летом 1924 г. ненадолго вернулся в Москву по приглашению участвовать в торжествах, посвященных 125-летию со дня рождения А.С. Пушкина, в Большом театре и ГАХН. О последнем Шенгели сообщал:

> Сейчас вернулся из Академии, где Вяч. Иванов читал доклад «Пушкин и формальный метод». Стыдно было за старика: такую беспочвенную гиль нес. Прожил три года в Баку в царстве Нобеля и, *нобелес* oblige, отстал, как породистая черепаха от гренадера. Я не выдержал и стал говорить, и, вскрыв штуки три противоречий и парочку неосведомленностей, старика изобидел, за что мэнады изобьют меня тирсами и метнут меня так, как гоплиты метали копье. Отчего настоящие символисты не чистят зубов? Неужели из подражания Прометею?

(письмо к М. Шкапской от 9 июня 1924 г. // *Минувшее*. С. 260. Исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 29). В августе 1924 г. Иванов с детьми навсегда покинул Россию. *Стал кардиналом…* – слухи о кардинальском сане Иванова, в 1926 г. перешедшего в католичество, основывались на доходивших до Москвы искаженных или приукрашенных фактах. *Подальше / Жил Скрябин…* – А.Н. Скрябин с семьей в 1912–1915 гг. жил по адресу: Большой Николопесковский пер., д. 11; ныне там располагается мемориальный музей композитора. *Тут же Павел Антокольский…* – П.Г. Антокольский с конца 1910-х до 1928 гг. жил по адресу: Арбат, д. 28 (Большой Николопесковский пер., д. 1), кв. 7. *Наискосок – Цветаевы: Марина / И Ася…* – Марина Цветаева в 1914–1922 гг. жила по адресу: Борисоглебский пер., д. 6 (ныне Дом-музей М.И. Цветаевой), кв. 3. Периодически у нее жила сестра Анастасия. Шенгели въехал в эту квартиру через 3–4 дня (см. выше) после отъезда М. Цветаевой за границу (11 мая 1922 г.) и вынужденно покинул ее в июне 1924 г. после разрыва с Ю.В. Дыбской. *И я уеду скоро: / Квартиру отвели…* – по распоряжению В.М. Молотова, «в целях создания лучших условий для работы» (письмо Р.С. Землячке, <начало 1942 г.> // РГАЛИ. 129.46) Шенгели предоставили квартиру в новом доме, построенном для сотрудников ТАСС, по адресу: 1-я Мещанская, д. 55 (ныне Проспект Мира, д. 51), кв. 22, где он прожил до конца жизни. *Была напротив церковь…* – церковь Бориса и Глеба на Поварской, в обиходе Борисоглебская, давшая название переулку. В 1933 г. закрыта, в 1936 г. разрушена; через год на ее месте началось строительство здания Государственного музыкально-педагогического института (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных. В 2007 г. на здании концертного зала Академии в память о церкви открыта мемориальная доска. *Воздвигли школу…* – сведений о таком здании не обнаружено. *…он скоро / Умрет, мой Воронок…* – о судьбе пса см. в воспоминаниях А.А. Тарковского:

> Пропал Ворон, доберман-пинчер. Он был стар. Он ушел умирать. <…> Шенгели писал письма в различные места, где собакам уже не выжить, раз они уж туда попали. Он написал не меньше трехсот писем с просьбой возвратить ему собаку или сообщить, где она. Я помогал ему немного в этом, ездил по разным адресам, в места собачьей гибели. Ворона нигде не было. <…> Георгий Аркадьевич горевал, и голова его седела

(Мой Шенгели // Тарковский А.А. Собр. соч. М., 1991. Т. 2. С. 186–187). Отметим, что у Шенгели в разные годы было несколько собак с такой кличкой.

С. 373. **Две комнаты**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 166; дата: 1926; 2) РГАЛИ. 6.107, без загл.

Впервые: *Ин*.

С. 374. **Незнакомец**. Автограф: РГАЛИ. 7.8–8об. Включено в *ЛиП*.
Впервые: *Ин*.

Сарыголь – железнодорожная станция Айвазовская (бывш. Сарыголь) на территории Феодосии.

С. 376. **Опыт**. Автографы: 1) *Гамеланг*; 2) РГАЛИ. 10.56об.–57об., без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1946».

Возможно, навеяно слухами о Вацлаве Нижинском (1889–1950), который с 1918 г. до конца жизни находился в различных клиниках с диагнозом «шизофрения». *Амфиан* – такая неупотребительная форма в данном случае появилась исключительно ради рифмы. Речь идет о мифологическом кифареде Амфионе, ставшем царем Фив; по преданию, когда он с братом-близнецом Зефом укреплял Фивы стенами, камни сами двигались под звуки его лиры.

С. 379. **Иноходец**. Автограф: ГЛМ 2.7.1–9 – машинопись с правкой; число и месяц в датировке вычеркнуты. Включено в *ЛиП*.
Впервые: *Ин*.

Возможный прототип главного героя – статский советник Викентий Никодимович Кржечковский, врач Керчь-Еникальского Градоначальства, и.о. тюремного врача, преподаватель гигиены и врач Керченской Александровской гимназии (см.: Памятная книжка Керчь-Еникальского Градоначальства. Керчь, 1914. 6-я паг. С. 1, 32, 46). Ср.:

> Растрогала меня и поэма о бедном «Викеше», никак не вспомню его фамилию. Он у нас преподавал гигиену, был из числа тех педагогов, которым садятся на голову, злоупотребляя их добродушием. Был он по-польски вежлив и ласков, пятерки сыпал направо и налево. Я у него их даже «с места» хватала, т.к. хорошо поняла, чем ему можно угодить: добросовестно повторить слово в слово то, что он сказал, хотя бы и сомневался сам в правоте его «советов». <…> Без особого уважения Викешу все-таки очень любили, но драмы его не знали

(письмо К. Кошке от 5 марта 1949 г. // РГАЛИ. 159.25–25об.). *Пивер* (L.T. Piver), *Герлен* (Guerlain) – старейшие парижские дома парфюмерии, основаны в 1774 и 1828 гг. соответственно. *Coeur de Jeannette* – см. примеч. к ст-нию «Сонное кружево» (с. 617).

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ 1917–1955

С. 388. **Феодосия**. Пьяные вишни. [Харьков–Одесса–Феодосия:] Таран, [1920]. Во вступительной заметке к републикации ст-ния В. Купченко указывает, что оно «еще целиком относится к периоду увлечения Шенгели эго-

футуризмом – с его манерностью и эстетством» (Победа [газ., Феодосия]. 1981. № 99 (9015), 21 мая). Разделяя это мнение, приблизительно датируем ст-ние 1917 г.: им отмечен и последний всплеск эгофутуризма в творчестве Шенгели (сб. «Апрель над обсерваторией»), и его первая в зрелом возрасте (и переломная в творческом плане) поездка в Феодосию.

С. 388. **«Два зеркала дымно-серебряных медленным в небе сливаются взглядом…»**. *Четверо*.

С. 389. **«За кормой воздушной бригантины…»**. *Четверо*.

С. 390. **«Плывут силлабической мерой…»**. *Четверо*.

С. 391. **«Медленно, въедливо цокают капли в углу…»**. *Осв*.

С. 391. **«Раннее утро. Солнце еще низко…»**. *Осв*.

С. 392. **«В стране, где чистое золото…»**. *Осв*.

С. 393. **«Есть острова, далекие, как сон…»**. Винтик: Альманах новых поэтов. Тифлис [Харьков], 1917.

Посвящение – Федор Яссеевич (Евсеевич) *Долидзе* (1883–1977), антрепренер, импресарио, организатор литературных вечеров и турне, в т.ч. Игоря Северянина.

С. 394. «**Я славлю белую, как мрамор, пустоту…»**. Винтик: Альманах новых поэтов. Тифлис [Харьков], 1917.

С. 394. **Акростих с кодой**. Автограф: ИМЛИ. 1.1. В акростихе: «Александру Гатову». Гатов Александр Борисович (1899–1972) – поэт, переводчик; уроженец Харькова, как поэт печатался с 1916 г., в 1918 г. под маркой «Ипокрена» выпустил дебютный сборник ст-ний «Барельефы из воска», со 2-й половины 1920-х гг. жил в Москве, наиболее известен переводами революционной французской поэзии.

С. 395. **Урим и Туммим**. *Кл*. 1918. № 8. Варианты – ст. 2: «и в три ряда на нем двенадцать малых плиток:»; ст. 4: «отточенный» вм. «задумчивый»; ст. 14: «Сковали радугу для тысячи Уримов». – *Ип*. 1919. № 4.

С. 395. **Над Пржевальским**. *Кл*. 1918. № 14.
Циррус (*лат*. cirrus) – перистые облака.

С. 396. **В стране отцов**. *Кл*. 1918. № 17.
Мирамар – замок Мирамаре на выдающейся в Адриатическое море скале в окрестностях Триеста; построен в 1856–1860 гг. в средневековом шотландском стиле.

С. 397. **Комендантский час**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 24, без загл.; 2) *ЛиП*. Л.51.

Впервые: *Ин*; дата: 1920.

С. 397. **«Дух» и «материя»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л.54; 2) РГАЛИ. 6.116, без загл.

Впервые: *МА*; дата: 1918.

Сумская – главная улица Харькова.

С. 398. **Воскресный отдых**. Пути творчества. 1919. № 3.

С. 398. <**Рондо**>. Автограф: РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 17об., в письме М. Шкапской от 2 апреля 1924 г.: «Вот старое (лет 5 ему) рондо».

С. 399. **Королю сонета**. Автограф: РГАЛИ. 21.16, среди подготовительных материалов к «Избранным сонетам» Ж.М. де Эредиа. Вероятно, на каком-то этапе подготовки сборника Шенгели намеревался открыть его этим посвящением.

С. 400. **«Мороз хрустальный, тихозвонный…»**. *Ковчег*.

С. 400. **Путь в Эммаус**. Автограф: РГАЛИ. 1.63–64 – машинопись по старой орфографии; дата приписана карандашом.

Сюжет ст-ния следует Евангелию от Луки (24:13–32).

С. 402. **Нищий**. Автограф: Собрание А.В. Маринина – машинопись по старой орфографии; дата приписана карандашом.

Впервые: *МА*.

С. 402. **Своя нужда**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 67; 2) РГАЛИ. 6.110, без загл.
Впервые: *МА*; дата: 1933.

С. 403. **Самосуд**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 66; 2) РГАЛИ. 6.113, без загл.
Впервые: *МА*; дата: 1933.

С. 403. **Мать**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 83; 2) РГАЛИ. 6.111, без загл.
Впервые: Огонек. 1987. № 20; дата: 1920.

С. 40. **Короткий разговор**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л.81; 2) РГАЛИ. 6.112, без загл.

Впервые: *МА*; дата: 1933.

С. 404. **Провокатор**. Автограф: РГАЛИ. 6.115, без загл. Включено в *ЛиП* в раздел «1920».

Впервые: *Ин*.

С. 405. **«Мне сладко думать, вспомнить любо…»**. *Стык*; два последних ст., замененные строками точек, печ. по: *Иней*.

Автографы: 1) *Иней*. Л. 15; 2) ГЛМ. 1.2.1об., под загл. «Макс Штирнер»; дата: 17/VIII; год установлен по записанному на обороте ст-нию «Ермолов»; 3) РГАЛИ. 3.63–63об., под загл. «Холостяк», среди ст-ний 1921 г.; 4) РГАЛИ. 3.73, среди ст-ний 1922 г.

С. 406. **«Фортепиано звуки вяжет…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.41. Основание для датировки: число и месяц – по автографу ст-ния «Вечер. Свечка в бронзовом шандале…» на обороте листа; год – по автографу ст-ния «Ермолов» (идентичность почерка и чернил).

С. 406. **«Вечер. Свечка в бронзовом шандале…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.41об.; дата: 25/VIII. Основание для полной датировки – см. примеч. к ст-нию «Фортепиано звуки вяжет…».

С. 407. **К портрету А. О. Россети**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 138; дата: 1924; 2) РГАЛИ. 3.46, под загл. «А. О. Россети-Смирнова»; дата: 25/VIII. Основание для полной датировки – см. примеч. к ст-нию «Фортепиано звуки вяжет…».

О каком из портретов Александры Осиповны Смирновой (Россет, Россети; 1809–1882) идет речь, неизвестно.

С. 407. **В Москву!** Автограф: РГАЛИ. 3.42.
Впервые: *НМ*.

С. 408. **Одесский карантин**. Автограф: РГАЛИ. 3.37.
Впервые: *Ин*.

С. 409. **«Когда свеча неспешно угасает…»**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.84 – машинопись.

Впервые: *Ин*.

С. 409. **Акелдама**. Автограф: РГАЛИ. Ф. 1386. Оп. 1. Ед. хр. 154. Л. 1, под загл. «Земля горшечника», б.д.; ранняя редакция.

Впервые: *Ин*.

Печ. по: Георгий Шенгели. Стихи, не вошедшие в сборники. 1918–1955. Машинописный сборник; составитель не указан // ГЛМ. 1.16.14–14об.

См. ст-ние «Вторую неделю из тундровых недр…» (с. 211), полностью повторяющее строфу I. *Акелдама* (Земля горшечника, Земля крови) – участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом за предательство Иисуса Христа.

С. 411. **Ручке**. Автограф: РГАЛИ. 3.42об.; записано теми же чернилами, что ст-ния 1920 г.

Впервые: *Ин*.

Кроме трех сборников ст-ний перечислены драматические поэмы «Сальери» и «Нечаев» и неоконченная поэма «Нимфея» (см. т. 2 наст. изд.).

С. 411. **«Ожиженный сапфир лег морем душным…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.35. Дата по архивной раскладке.

С. 412. **«Нет воздуха, – так резки и ясны…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.37об.
Впервые: *Ин*.

С. 412. **«О книжный плен! Истаял год, как льдина…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.47; дата: 30/III; год – по записанному на том же листе ст-нию «К утру простынь полотно остыло и, сладко озябнув…» (см. ниже).

Впервые: В мире книг. 1973. № 9; дата: 1920.

С. 413. **К морю**. Автограф: РГАЛИ. 3.60.

С. 413. **«Гляди: сияя свежей чесучой…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.66, в тетради ст-ний 1921 г.

Впервые: *Ин*; дата: 1919.

С. 414. * **«К утру простынь полотно остыло и, сладко озябнув…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.47, там же набросок ранней редакции. Основание для датировки – автограф наброска «В ковровой комнате, клонясь над блюдом впалым…» (идентичность почерка и чернил).

С. 414. **«Да, так: ни женщины нет у меня, ни друга…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.71.

Впервые: *Ок-94*.

С. 415. **«Все умерли: Татьяна и Наташа…»**. Недра. 1925. Кн. 8. Опечатка – ст. 17: «могу» вм. «хочу».

Автограф: РГАЛИ. 3.72. Включено в *ЛиП* в раздел «1926».

С. 416. **«Там, над синей волной Мичигана…»**. Автографы: 1) *Иней*. Л.25–26; 2) РГАЛИ. 3.72об.

Впервые: *НБ*; дата: 1922 (?).

С. 417. **«На реке ледоход; пробегает хрустальный сквозняк…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.73об.; помета: «Москва. Благовещенье».

С. 418. **О бритве**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 9–10; 2) РГАЛИ. 3.74, без загл., без нумерации частей.

Впервые: *Ин*; дата: 1922.

С. 418. **2**. Огонек. 1924. № 24 (63), 8 июня, без деления на строфы. Вариант – ст. 16: «Будто» вм. «Точно».

С. 419. **«В голубой, как воздух, воде лимана…»**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 18; 2) РГАЛИ. 3.74об.

Впервые: *Ин*; дата: 1923 (?).

С. 420. **«С головой под одеяло…»**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 7; 2) РГАЛИ. 3.75.

Впервые: *Ин*; дата: 1920.

С. 420. **Дача**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 19, без загл.; 2) *ЛиП*. Л. 116; 3) РГАЛИ. 3.75, без загл.

Впервые: *Ин*.

С. 421. **«Музыка – что? Кишка баранья…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.115 – машинопись; дата: 1922; 2) РГАЛИ. 3.76об.

Впервые: *НБ*.

С. 422. **«Я не сплю... Ведь было, было это!..»**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.107 – машинопись, с посвящ. «Н.М.»; помета: «Первое свидание у Храма Христа».

Впервые: *Ин*.

С. 422. **«Надо мною свет и колыханья…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.78.

С. 423. **«Сердца мне были точно ванна…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.78об.

С. 423. * **«Под китайской шляпой карусели…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.79; там же ранний вариант (текст перечеркнут).

С. 424. **Осенний венок**. Автографы: 1) ГЛМ. 2.27.1–5об. – авт. книга (машинопись); на титуле: «Издано в одном экземпляре – 18 авг. 1922 года в Москве»; 2) РГАЛИ. 3.76об. – черновой, рядом со ст-нием «Музы́ка – что? Кишка баранья…».

Впервые: *Ин*; дата: Август 1922.

Впервые в русской поэзии форма венка семистиший (или полусонетов) встречается у Черубины де Габриак в ст-нии «Золотая ветвь» (Аполлон. 1909. № 2), которое, вероятно, и послужило Шенгели образцом.

С. 426. **«В Пантикапее, в склепе Деметры…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.80.

Впервые: *Ин*.

Пантикапей – см. примеч. к ст-нию «Клик» (с. 682). *Склеп Деметры* – боспорское захоронение первой половины I в., случайно обнаруженное в 1895 г. на территории частной усадьбы в Керчи. *Я видел фреску – твои глаза*... – давшая название склепу фреска в центральной части его свода, изображающая богиню Деметру с большими грустными глазами.

С. 427. **«Нет, не явиться тем стихам…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.80, б.д., на одном листе со ст-нием «В Пантикапее, в склепе Деметры…».

Впервые: *Ок-94*.

С. 427. **«Жара ли мучает, или тебя люблю…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.80об.

Впервые: *Ин*.

С. 428. **«Как странно всё… Должно быть, нервы…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.81.

С. 429. **«Солнце ночное, любовь, – твоя взбегает квадрига…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.81.

Впервые: *Ин*.

С. 429. **«И опять мы печку топим…»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 148; дата: 1925; 2) РГАЛИ. 3.82.

Впервые: *Ин*.

С. 429. **«Декабрьский вечер. Золотистый пух…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.83. *Спермин* – вытяжка из семенных желез животных или человека; в конце XIX – начале XX вв. в России был популярен «спермин Пеля» – органопрепарат, разработанный химиком и фармацевтом А.В. Пелем и применявшийся как тонизирующее средство при истощении, интоксикации, болезнях сердца, нервной системы и др.

С. 430. **«Над моей кроватью сонной…»**. *Стык*.
Автографы: 1) *Иней*. Л. 5; 2) РГАЛИ. 3.83об.

С. 431. **Письмо**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.104, – машинопись, с посвящ. «Н.М.».

С. 432. **«Прозрачная резервуаров медь…»**. Автографы: 1) *Иней*. Л.17;2) РГАЛИ. 3.77, под загл. «Маяк», среди ст-ний 1922 г.
Впервые: *Ин*; дата: 1923 (?).

С. 432. **Степная станция**. Красная нива. 1923. № 13, 1 апр.

С. 433. **Осенняя минутка**. Автографы:1) *ЛиП*. Л. 117; дата: 1922; 2) РГАЛИ. 4.2, под загл. «Осень».
Впервые: *Ин*, под загл. «Осень».

С. 433. **«Над моим одиноким столом…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.2.
Впервые: *Ин*.

С. 434. **«Когда в светелке ледяной…»**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.122 – машинопись, с посвящ. «Н.М.»; помета: «Сочельник. / Ладина светелка». Конъектура – ст. 6, 8 (в копии, соответственно, «пряжей» и «стражей», что нарушает принятую в четных строках дактилическую рифмовку).

С. 434. **«Окно одно и смотрит в коридор…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.15.
Впервые: *Ок-88*.

А из-за крыши выдвинулся купол… – храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи (см. примеч. к ст-нию «Порт Св. Иоанна», с. 632). *Женя* – по-видимому, Е.Г. Доброва, которой посвящены «Розы с кладбища» (см. о ней в преамбуле к соответствующему разделу) и за которую Шенгели неудачно сватался между 1914 и 1916 гг., до ее отъезда в Петербург. Однако не исключено, что подразумевается другая гимназическая подруга Шенгели – Женя Массино (см. примеч. к ст-нию «Ответ (акростих)», с. 709).

С. 436. **«В детстве у меня была картинка…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.85. Включено в *ЛиП* в раздел «1938».
Впервые: *Ин*; дата: 1938.

Вероятно, речь идет о портрете маркиза де Лафайета (1757–1834), активного участника Войны за независимость США, Великой французской и Июльской революций.

С. 436. **«Всё, что надо есть: и лампа…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.19об.
Впервые: *Ин*.

С. 437. **«Реки широкая дуга…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.89об.
Впервые: *НБ;* дата: 1925 (?).

С. 438. * **«Зачем приносишь на твердых ботфортах…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 4.8; 2) РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 10об., в письме М. Шкапской от 6 января 1924 г.; ранняя редакция, охарактеризованная автором как «плохое начало неоконченного стихотворения».

Впервые: *Ин*.

Ср.:

> Я видал когда-то чревовещателя. Он медленно приоткрывал крышку шкатулки, и оттуда коснеющим, возрастающим в силе до крика голосом верещал кто-то: «закрой, закрой же, я здесь привык». Странно было слышать тоскующую пустоту… И сейчас мне кажется, что, приоткрой кто-нибудь мою дверь, я так же закричу: «не надо, я здесь привык». И открывающий удивится, слыша пустоту. Унылое чудо – превратиться в голос чревовещателя.

(Очерки белогвардейского тыла: Главы из романа-хроники Г.А. Шенгели «Черный погон». Публ. А.В. Маньковского // Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 125).

С. 439. **Отрывок**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 21–22; 2) РГАЛИ. 4.15об., без загл., среди ст-ний 1924 г.

Впервые: *НБ*, без загл.; дата: 1926.

С. 439. **Фанагорийские ночи**. Автографы: 1) РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 75, 77, 78 – машинопись, б.д.; 2) РГАЛИ. 4.17–17об. – ст-ния 1–2 и строфы I–III ст-ния 3, среди ст-ний 1924 г.
Впервые: *Ин*; дата: 1925 (?).

С. 442. **Пейзаж**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 147; дата: 1925; 2) РГАЛИ. 4.18об., без загл., б.д., среди ст-ний 1924 г. В конце вычеркнута строфа: «Но извержение не досягает нас / И не засыплет пеплом синим. / Краса – чужая нам. Хоть радуется глаз, – / В тоске непоправимой стынем».

Впервые: *Ин*; дата: 1925.

С. 442. **Броненосец «Потемкин»**. Пламя [ж., Харьков]. 1924. № 11. Опечатка – ст. 15: «Тогда» вм. «Теперь».

Автограф: РГАЛИ. 3.55–56, под загл. «Броненосец», б.д., с делением на восьмистишия.

Написано, вероятно, во время поездки в Севастополь в 1924 г. В это время «Потемкин», выведенный из строя в 1919 г., находился в Северном доке; к октябрю 1925 г. демонтирован. Образ акрополя (на той же рифмен-

ной паре) используется также в ст-нии «Когда приезжаю в седой Севастополь…» (с. 451).

С. 443. **Девушка из Совпартшколы**. Автограф: 3.55–56, б.д.
Сюжет ст-ния впервые использован журналистом Сергеем Ингуловым (1893–1938?) в очерке с тем же загл. из серии «Люди в революции» (Коммунист [газ., Харьков]. 1921. № 220, 2 окт.). Дважды использовал сюжет – в повестях «Трава забвенья» (1967, с цитатами из очерка) и «Уже написан Вертер» (1979) – В. Катаев, хорошо знавший Ингулова и печатавшийся с ним в одних изданиях, в т.ч. в «Коммунисте» (см.: Котова М., Лекманов О. В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В.П. Катаева «Алмазный мой венец». М., 2004. С. 102).

С. 444. **Цусима**. Автограф: РГАЛИ. 4.20.
Адмирал эскадры обреченных – вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский (1848–1909), командовавший 2-й Тихоокеанской эскадрой Российского флота в Цусимском сражении.

С. 445. **«Вся тонкая и заостренная…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.85об., б.д. Дата – по копии Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.143 – машинопись, с посвящ. «Н.М.».
Впервые: *Ин*.

С. 445. **«Опять, как в давние года…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.86.
Впервые: *Ин*.

С. 446. **«Мой дом! Он двенадцатигранный…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.74.

С. 447. **«Теплая плоть расцветает…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.87об., б.д., среди ст-ний 1925 г.
Впервые: *Ин*.

С. 448. **«Я потерял и позабыл канон…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.157.
Впервые: *Ин*.

С. 448. **«В прокуренной комнате лампа свисает медузой…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.157.
Впервые: *Ин*.

С. 449. **Ода к Персии**. Автограф не обнаружен.
Впервые: *Пр*.
Написано для вечера персидской поэзии 6 марта 1926 г., организованного ВОКС (письмо от 2 марта за подписью председателя ВОКС О.Д. Каменевой с просьбой об участии: РГАЛИ. 210.2). *Демавенд* – потухший вулкан в хребте Эльбурс, самая высокая точка Ирана (5610 м над уровнем моря). *«Рустем и Зораб»* – часть эпопеи Фирдоуси «Шахнаме», в России известна в вольном переложении В.А. Жуковского (1846–1847), сделанном с немецкого перевода Ф. Рюккерта. *Персеполис* – древнеперсидский

город (VI–V вв. до н.э.), столица империи Ахеменидов; руины – в 60 км к северо-востоку от Шираза.

С. 450. **«На пыльной и пустой аллее…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.8об.–9.
Эпиграф – надпись на постаменте памятника А.И. Казарскому (бригу «Меркурий»), заложенного в 1834 г. в начале Матросского (Мичманского) бульвара в Севастополе. Сведений об исчезновении надписи в 1920-е гг. разыскать не удалось.

С. 451. *** «Когда приезжаю в седой Севастополь…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.10об.–11, б.д. Порядок расположения строф: I, II, VII, III, VIII, IV, V, VI; слева карандашом проставлены номера; между строфами VIII и IV ненумерованная строфа. Дата – по расположению ст-ния в блокноте.

Впервые: *Ин*. В «Технике стиха» (М., 1960. С. 70) специально переделанная строфа I цитируется как образец 4-стопного амфибрахия с дактилическими и мужскими окончаниями.

…по стопам Гумилева / Морскою походкой пойдет мой катрен… – аллюзия на цикл ст-ний Н. Гумилева «Капитаны» из сб. «Жемчуга» (1910), второе ст-ние которого («Вы все, паладины Зеленого Храма…») написано тем же размером, что и ст-ние Шенгели.

С. 452. **«Я распилил янтарную сосну…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.14.
Впервые: *Ок-88*.

С. 453. **«Бредя с тобой по кручам…»**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.160 – машинопись, с посвящ. «Н.М.».

С. 453. **Изгнание**. Автограф: РГАЛИ. 5.20об.
Впервые: *Ин*.

Сюжетно соотносится с лирической новеллой «Стыд» (с. 367).

С. 454. **«Сегодня дождь бормочет и лукавит…»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л.190; под датой от руки в скобках: «Пророческое стихотворение!..»; 2) РГАЛИ. 5.21; помета (подчеркнуто дважды): «Пророческ<ое> стих<отворен>ие!..».

Впервые: *МА*.

И, повинуясь доброму совету… – аллюзия на «Моцарта и Сальери» А.С. Пушкина: «Как мысли черные к тебе придут, / Откупори шампанского бутылку / Иль перечти “Женитьбу Фигаро”».

С. 454. **«Доверчив я. Обманут десять раз…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.19.
Впервые: *Ин*.

С. 455. **Лена**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 199–202; 2) РГАЛИ. 6.5; окончание, первые две страницы утрачены.

Я помню тайгу… – ср. в «Хронологической канве»: «1912. Весной бросаю гимназию. Еду в Иркутск к брату <Владимиру – *В.Р.*>. Лето – в лагерях в тайге. Возвращение <в Керчь – *В.Р.*>. Проваливаюсь на экзамене – и

остаюсь на 2 год в 7 классе» (*Биография*. С. 58). *Двенадцатый год. Заснеженный апрель* – далее в ст-нии речь идет о Ленском расстреле: 4 (17) апреля 1912 г. на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в результате забастовки и последующего расстрела рабочих правительственными войсками погибло, по разным оценкам, от 150 до 270 человек. *Разгильдеев* Иван Евграфович (1810/11–?) – горный инженер, в 1850–1852 гг. управляющий Карийскими золотыми промыслами, в 1852–1856 гг. начальник Нерчинских заводов. Путем введения круглосуточных работ и ценой гибели 2 тысяч каторжан добился ежегодной добычи ок. 100 пудов золота. Период его руководства заводами получил название «разгильдеевщина». *Жандармский алхимик (будь проклято имя!)* – Николай Викторович Трещенков (1875–1915), жандармский ротмистр, по приказу которого солдаты открыли огонь по мирной манифестации рабочих. *«Так было, так будет»* – слова министра внутренних дел А.А. Макарова на заседании Государственной Думы, посвященном Ленскому расстрелу.

С. 458. **«Над круглыми очками…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.19об.–20.

С. 459. **«Как я ни предан злому дню…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.22об.; текст перечеркнут.

Ст. 3–4 с небольшим исправлением («изменял» вм. «изменю») высечены на надгробном памятнике Шенгели на Ваганьковском кладбище.

С. 460. **Поэту**. Автограф: РГАЛИ. 5.23.
Впервые: *Ин*.

С. 461. **Серафим**. Автограф: РГАЛИ. 6.6, 9; помета: «Коктебель. Конкурс баллад».

Впервые: Лит. учеба. 1988. № 4, в статье В. Купченко «Турниры поэтов в Коктебеле».

Написано для Турнира французских баллад, на который участникам, выступавшим под особыми девизами, следовало представить ст-ние с обязательным рефреном «Не остывал аэролит». Кроме Шенгели, выступавшего под девизом «Он несколько занес к нам песен райских», в конкурсе участвовали Ф. Арнольд, А. Белецкий, М. Волошин, Е. Ланн, Н. Манухина, Л. Остроумов и С. Шервинский. По свидетельствам Арнольда и Белецкого, победителем был признан Шенгели; на самом деле приз (акварель Волошина) достался Н. Манухиной (Купченко В.П. С Максимилианом «на ты»…: Г.А. Шенгели и М.А. Волошин // Кодры. 1990. № 12. С. 181). Подобно Волошину, Шенгели использовал в своей балладе легенду о том, что на могилу Эдгара По вместо плиты положен крупный метеорит.

С. 462. **«Я нарежу бумаги пятьсот лоскутков…»**. Автограф: РГАЛИ. 7.11, б.д. Дата – по копии Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.197 – машинопись, с посвящ. «Н.М.».

С. 462. **«Червонная искра по серому пеплу строчит…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.26, среди ст-ний 1928 г.

С. 463. * **«Под самой крышей в седьмом этаже…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.35об.–36; дата – по расположению в блокноте. В том же блокноте (л. 35) попытка разработать ту же тему бесцезурным шестистопным ямбом.

Впервые: *Ин*; дата: 1926.

С. 464. **«Ну что же! Напрягись! Ведь ты умел когда-то…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.38об.

С. 465. **«Оцепененье веронала…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.39.

С. 465. **Mon rêve familier**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.207 – машинопись; дата: 1928; рукой Н. Манухиной вписано посвящ. «Н.М.»; 2) РГАЛИ. 5.39об.

Впервые: *Ин*.

Заглавие – по одноименному ст-нию П. Верлена, переведенному Шенгели как «Мой задушевный сон» (*Верлен*. С. 30).

С. 466. **Шурке**. Автограф: РГАЛИ. 6.29.

Шурка – Александр Владимирович Станиславский (1893–1948), сын протоиерея В.Г. Станиславского, один из ближайших гимназических друзей Шенгели. В романе-хронике «Черный погон» фигурирует под собственным именем (Шурка). Участник Первой мировой войны, затем офицер-марковец. В 1920-е гг. преподавал в школе в Усть-Абакане (Хакасия). 23 декабря 1929 г. арестован и осужден на 10 лет лагерей; находясь в Самарканде, Шенгели писал своему знакомому М. Винаверу в организацию «Помощь политическим заключенным»: «Усиленно прошу Вас, Михаил Львович, не забывать моего друга, *которому я в свое время (при белых) был обязан свободой* и, м<ожет> б<ыть>, жизнью, – и сделать для него всё, что можно» (*Биография*. С. 151). 9 июня 1930 г. приговор изменили на 3 года ссылки, Станиславский был отправлен в Кзыл-Орду, где преподавал в сырьевом техникуме. В марте 1933 г. вновь арестован, приговорен к 8 годам ИТЛ. О его жизни в 1940-е гг. сведений нет; ср. запись в блокноте: «Шурка Станиславский умер 20/VIII 48. Похоронен в Караганде на вольном кладбище» (*Там же*).

С. 467. **Ода к Рабиндранату Тагору**. Автограф: *ЛиП*. Л. 154–155; дата: 1926. Визит Р. Тагора в СССР проходил с 11 по 25 сентября 1930 г.

С. 468. **«Солнце низко. Стены влажны. Утро…»**. Автограф: ГЛМ. 2.23.3об.; дата – по расположению в записной книжке.

Впервые: *Биография*.

С. 469. **«Я не знаю – почему…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.40об.; помета: «Трамвай у Яузских ворот».

Впервые: *Ок-94*.

С. 470. **«Эрбий, Иттербий, Туллий, Стронций, Иридий, Ванадий…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 5.41; помета: «На службе»; 2) ГЛМ. 1.7.1.

Впервые: *Ин*.

С. 470. **Дон-Хуан**. Автограф: РГАЛИ. 6.88.
Впервые: *Ок-94*.

Эпиграф 1 – из ст-ния «Кривцову» (1819). *Эпиграф 2* – из ст-ния «На снежном костре» (1907).

С. 472. **«Знаешь тайну баккара?..»**. Автограф: РГАЛИ. 6.89.
Впервые: Лесной Д. Игорный дом: Энциклопедия. Вильнюс – М., 1994, в статье «Баккара».

Баккара – см. примеч. к ст-нию «Зеленый стол» (с. 618). *«с пленной, с ней»* – из ст-ния А. Блока «На островах» (1909).

С. 473. **Памяти А. С. Грина**. Автограф: РГАЛИ. 6.91–91об.
Впервые: *Ин*.

Грин умер 8 июля 1932 г. *Эпиграф* – из ст-ния «Пловец» (1829).

С. 474. **«Так нет же! нет же! нет же! нет!..»**. Автограф: РГАЛИ. 6.92–93.
Впервые: *НБ*, без эпиграфа; дата: 3 июля 1933.

Эпиграф – неточная цитата из ст-ния «Предчувствие» (1828; в оригинале: «Сохраню ль к судьбе презренье»). *«О, нет, недаром жизнь и лира…* – заключительные строки ст-ния А.С. Пушкина «Козлову» (1825).

С. 475. **«Миндального пирожного кусок…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.96; текст перечеркнут; помета: «ерунда».

С. 476. **В духе Омар-Хайама**. Автограф: РГАЛИ. 6.100; второе четверостишие перечеркнуто.

С. 476. **«Как модель китайского зонтика…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.101.

С. 477. **«Я долго шел у погребальных дрог…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.104.
Впервые: *Ин*.

С. 477. **«Слишком красное дерево…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.106.

С. 478. **Время**. Автограф: РГАЛИ. 6.120–120об.
Сюжетно соотносится с лирической новеллой «Борисоглебский, 15» (с. 371).

С. 479. **Серафиме Нарбут**. Автограф: РГАЛИ. 6.97, б.д.; текст начинается строфой «Чем заключу? Чем я закончу? Ах!..», которую мы помещаем в конец ст-ния как его логическое завершение. Датируется по архивной раскладке.

Серафима Густавовна Нарбут (урожд. Суок, 1902–1982) – вторая жена Владимира Нарбута.

С. 480. **«Разлад с собою, с окруженьем – ложь…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.125. Впервые: *Подъем*; дата: 1951.

Судя по особенностям бумаги и характеру записи, ст-ние представляет собою терцеты ненаписанного сонета.

С. 481. **«Валяло круто. Темно-ржавый борт…»**. Автограф: РГАЛИ. 7.12. Впервые: *МА*.

С. 481. **Страх**. Автограф: РГАЛИ. 7.13. Впервые: *НБ*.

С. 482. **«Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска…»**. Автограф: РГАЛИ. 7.14.

Впервые: *МА*.

Сюжет ст-ния ранее использован Шенгели в гл. 9 романа-хроники «Черный погон»:

> Улицы полны народа. Хотя уже порядочно свежо по вечерам, толпой владеет весеннее оживление. Гул, хохот, шутки. Странная смесь офицеров и бульвардье, сутенеров и матросов катится по широким панелям. <…>
>
> Передо мной возникает костистое, бледно-зеленое в свете ювелирной витрины лицо: слоновья крутая челюсть, плотно сжатые губы под щетинистыми подстриженными усами, большие, как бы невидящие, глаза. Черта с два – невидящие: Шевелев – лучший колорист русской литературы. Подойти? – Какой вздор, совершенно неприлично. Я, однако, следую за ним по пятам: мне хочется знать, что делает великий писатель поздно вечером на улице Мазарини.
>
> <…> Шевелев доходит до угла, спускается с тротуара на мостовую и минуты две пристально смотрит на шевелящуюся перед ним толпу. Сфотографировав ее холодными камер-обскурами глаз, он жестом подзывает извозчика и четко говорит ему:
>
> – Во дворец.
>
> Во дворце, я знаю, живет главноначальствующий, генерал Стерлинг. О чем может беседовать с ним Шевелев поздним вечером?..

(Независимая газета. 2000, 31 марта; публ. С. Шумихина. URL: http://www.ng.ru/ever/2000-03-31/11_black_pogon2.html. Исправлено по автографу: РГАЛИ. 59.99–115). Шевелев – Иван Алексеевич Бунин, живший в Одессе в 1918–1920 гг.; Стерлинг – генерал-лейтенант Николай Николаевич Шиллинг. *А там – дворец…* – Воронцовский дворец.

С. 482. **Интервенты**. Автографы: 1) РГАЛИ. 7.37–38 – машинопись; 2) РГАЛИ. 7.15–16, без загл.

Впервые: *МА*.

Речь в диптихе явно идет об интервенции 1918–1919 гг. в Одессе, однако точных сведений об итальянских берсальерах на юге России обнаружить не удалось; также неясно, почему временем отступления интервентов назван январь, поскольку греческий экспедиционный корпус оставил Одессу в апреле 1919 г.

I. *Берсальеры* – высокомобильные пехотные части в итальянской армии (с 1836 г.); особенность их формы – шляпы с боковым султаном из перьев глухаря или фазана, изначально служившим для защиты шеи от сабельного удара. *Сабинянками начинался Рим* – согласно римским историкам, население недавно основанного Рима было преимущественно мужским, а соседние народы не позволяли своим женщинам выходить замуж за римлян из боязни соперничества; римляне отбили женщин у соседей обманным путем, чем развязали долгую войну с сабинами – народом, жившим севернее Рима; женщины примирили сражавшихся, после чего римляне и сабины слились в одну нацию.

II. *Мильтиад* (ок. 550–489 гг. до н.э.) – афинский государственный деятель, полководец. *...пришли «двенадесять язык»!* – намек на многонациональность войск Антанты под общим командованием Франции, по аналогии с армией Наполеона в 1812 г. *Марафон* – здесь в значении «бегство» с ироническим намеком на битву при Марафоне (490 г. до н.э.), в которой афинско-платейские войска под командованием Мильтиада нанесли сокрушительное поражение армии персов.

С. 484. **Дом**. Автограф: РГАЛИ. 7.39–40 – машинопись.
Впервые: *МА*.

В первом сонете речь, очевидно, идет о доходном доме И.Ю. Фундуклея в Одессе, резиденции генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С. Воронцова в период пребывания в Одессе А.С. Пушкина (1823–1824 гг.), во втором – о Воронцовском дворце, новой резиденции Воронцова, где в первые годы Советской власти располагался Совет депутатов; таким образом, перед нами случайное или намеренное объединение двух домов, связанных именем Воронцова (отметим также, что архитектор обоих домов Ф.К. Боффо).

1. *Столетний дом* – дом Фундуклея построен в 1820 г. *Фанариот, Маврокордато* – см. примеч. к ст-нию «Старое кладбище» (с. 647); елисаветградский купец 1-й гильдии Иван Юрьевич Фундуклей (ум. 1835) действительно происходил из фанариотов. *Мавромихалис* – влиятельная греческая семья, принимавшая активное участие в войне за независимость Греции (1821–1832). *Пера* – историческое название района Бейоглу в европейской части Константинополя; на его территории расположен исторический район *Галата*. *...идя с хозяйкой в «польском»* – т.е. в полонезе.

С. 485. **Философия классицизма**. Автограф: РГАЛИ. 7.29–30.
Впервые: *Ок-88*.

С. 488. **«Спишь, милая… Мерцают мерно веки…»**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.296 – машинопись, с посвящ. «Н.М.»; помета под датой: «11/22 утра».

С. 488. **«Средь странных снов моих один упорный сон…»**. Автограф: РГАЛИ. 1.310 – машинопись.

Впервые: *Ок-94*.

С. 489. **Эпитафия**. Автограф: Частное собрание (Москва).

С. 489. **«Узнаю тебя, молодость: голод…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.64об.
Впервые: *Ин*.

С. 490. **«Необжитая пустая квартира…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.61об.
Впервые: *Ин*.

С. 490. **«Я вообще люблю порядок…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.70.

С. 491. **Сердце**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 396; лист со строфами IX–XII утрачен; 2) РГАЛИ. 10.73.

Впервые: *Ин*.

С. 492. **«Здравствуй, Виселица! Снова…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.73об.–74.

С. 493. **«В шаге легком и упругом…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.75об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ашхабад*.

С. 494. **Рок**. Автографы: 1) РГАЛИ. 8.49 – машинопись, б.д.; 2) РГАЛИ. 9.26, без загл.

Соотносится с циклом антинацистских ст-ний, включенным в «Панцирь».

С. 495. **Ответ на стихи**. Автографы: 1) Собрание А.В. Маринина; 2) РГАЛИ. 9.28об., под загл. «Ответ».

Ст-ние Н. Манухиной, строка из которого вынесена в эпиграф, неизвестно.

С. 495. **«За слоистыми горами…»**. Автографы: 1) *Гамеланг*, под загл. «Затерянность»; 2) РГАЛИ. 10.76об.; 3) РГАЛИ. 113.49 – машинопись, в письме к Н. Манухиной от 25 июня 1944 г. из Фирюзы. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

С. 495. **«Я засыпаю, – перед взором – Нинка…»**. Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: РГАЛИ. 1.350 – машинопись, с посвящ. «Н.М.». Написано к 20-летию свадьбы (9 сентября 1924 г.).

С. 496. **«Как прорезающийся зуб…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.98.
Впервые: *Таллин*.

С. 496. **«Все крепости разрушая…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.98об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

«Гамеланг» – см. в преамбуле к разделу «Панцирь» (с. 664). *Но вымараны цензурой / Две львиных строки из «Гонга»* – см. примеч. к ст-нию «Стрелы звезд» (с. 618).

С. 497. *** Голубой бювар**. Автограф: РГАЛИ. 10.100–101; строфа IX перечеркнута. Возможно, Шенгели намеревался продолжить или закончить ст-ние иначе; ради художественной целостности ст-ния сохраняем строфу IX в основном тексте.

Впервые: *Ин*; строфа IX – под номером X, вместо строфы IX – строки точек.

Мазини Анджело (1844–1926) – итальянский оперный певец (тенор). *Мелизмы* – мелодические украшения. *Брульон* (от *фр*. brouillon) – черновик. *Нана* – главная героиня одноименного романа Э. Золя (1880). *Риголь-бош* – сценический псевдоним французской танцовщицы Амели Маргариты Бодель (1842–1920), прославившейся как исполнительница канкана во времена Второй империи. *Наполеон Непрочный* – Наполеон III.

С. 500. **«Нет больше дела, нет затей…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.46об.–47. Впервые: *Ин*.

С. 501. **«Семь струн у лиры. Семь цветов…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.47. Впервые: *Подъем*.

С. 501. **«Мне других наркотиков не надо…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 10.54–55; 2) РГАЛИ. 10.75об. – ст. 1–4, среди ст-ний июля-сентября 1943 г. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ашхабад*.

Безмеин – туркменское белое десертное вино.

С. 502. **«Афганец»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 10.54об., без загл.; 2) РГАЛИ. 10.75об. – ст. 1–2, среди ст-ний июля-сентября 1943 г. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ашхабад*.

Заглавие – сухой, пекущий местный ветер с пылью в Центральной Азии.

С. 502. **Пустыня**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 357; загл. вписано от руки; 2) РГАЛИ. 10.54, без загл.

Впервые: *Ашхабад*.

С. 503. **«Ай, хорошо! Я на три километра…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.53об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

Камыш-Бурун – мыс на побережье Керченского пролива.

С. 503. **«Вы приснились мне, Игорь, – и каким-то печальным…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.52. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Пр*.

Кислородный мой Игорь… – ср.: «Я видел как-то экземпляр “Громокипящего кубка”, подаренный одною неглупой и развитой курсисткой, социал-демократкой вдобавок, своей сестре; дарственная надпись была такая: “удивительно нелепые стихи, но прочти: он пишет так кислородно”. И я думаю, что это была совершенно точная “социально-химическая” формула» (Шенгели Г. Об Игоре Северянине: Реферат в ВТО, прочитанный 25/V <19>46. Машинопись // Частное собрание [Москва]).

С. 504. **«Как много должен делать…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.61об.
Впервые: *Ок-94*.

С. 504. **«Тут можно бы наворотить метафор…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.51об.
Впервые: *Ин*.

С. 505. **«Дождь провел крылом прохладным…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.48.
Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Рождественский*, в письме В. Рождественскому от 18 февраля 1946 г.: «Написал пяток средних стихотворений; одно, впрочем, ничего <…> Здесь всё “истина”, кроме рома. Рома не было. Мы только говорили о роме. Ну, как?».

Южная бухта – одна из севастопольских бухт, разделяющая южную сторону Севастополя на Городскую и Корабельную стороны; в Южную бухту впадает Корабельная, на берегу которой располагалась *Корабельная слободка*.

С. 505. **Атомная бомба**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 371; 2) РГАЛИ. 10.50об.
Впервые: *Биография*.

С. 506. **«Окна распахнуты, спущены шторы…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.46.
Включено в *ЛиП*.

Впервые: *НМ*.

Где-то в Сибири отцова могила… – Аркадий Александрович Шенгели умер 28 февраля 1902 г. в Тюмени (*Биография*. С. 33–34).

С. 507. **Город**. Автограф: РГАЛИ. 10.45–45об. Включено в *ЛиП*.
Впервые: *Ин*.

С. 508. **«А в мире так скучно, и в небе так серо…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.48об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

...каменный Демон над гробом Бодлера – Шарль Бодлер похоронен на кладбище Монпарнас в одной могиле с матерью и отчимом. Здесь речь идет о воздвигнутом на том же кладбище в 1902 г. кенотафе со скульптурой демона, возвышающейся в изголовье у лежащей статуи поэта.

С. 508. **«Цветет акация. Безмолвие созвездий…»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 377; 2) РГАЛИ. 10.52об.

Впервые: *Ин*.

С. 509. **Сергею Векшинскому**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 372; загл. исправлено от руки: «Другу»; 2) РГАЛИ. 10.42.

Впервые: Вопросы истории, естествознания и техники. 1992. № 2; публ. В. Борисова.

Бремя тайны принес академик поэту… – в 1945 г. Векшинский был привлечен к работам по атомному проекту. См. также ст-ние «Атомная бомба» (с. 505).

С. 509. **«Глубокоуважаемый Василий…»**. Автограф: РГАЛИ. 8.68–69.

Впервые: *Ин*.

Отзыв на перевод Василием Михайловичем Алексеевым (1881–1951) поэмы «О художнике письма» каллиграфа Ян Цзин-цзэна (XVIII–XIX вв.), являющейся подражанием «Поэме о поэте» Сыкун Ту. Поэма состоит из 24-х стансов, сопровождаемых прозаическими парафразами. Опубл.: Артист-каллиграф и поэт о тайнах в искусстве письма // Советское востоковедение. IV. М.–Л., 1947. С. 19–33. Поперек конверта, в котором пришло ст-ние, Алексеев написал: «Феноменальная рецензия Шенгели на “Артиста-каллиграфа”» (Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте: стансы Сыкун Ту (837–908): перевод и исследование (с приложением китайских текстов). М., 2008. С. 621). По исправленному варианту перевода (Алексеев В.М. Китайская литература. М., 1978. С. 216–232) видно, что некоторые замечания Шенгели Алексеев принял; в новейшем издании (Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. В 2 кн. Кн. 2. М., 2003. С. 55–78) перевод печатается по первой публикации. *Преподавать рискнул… чистописанье* – ср.: «Будущему биографу и комментатору: Друг, да не смущает тебя разнообразие почерков в этой тетради. Знай: Георгий Шенгели писал всякими почерками, почему и удостоен был звания учителя чистописания в женской гимназии Домбровской, в Харькове, в лето 1918–1919» (РГАЛИ. 3.73об.). *пыль с меча Гань Цзяна* – ср. станс VII: «Меч, что в руках был могучих Гань Цзяна»; парафраз: «Каллиграф – что сверхъестественный меч, выкованный непостижимым уму чудесным способом в руках древнего мастера Гань Цзяна и его жены Мо-се». *«в круг попасть, проникнуть в наугольник»* – ср. станс IX: «В круг попади и войди в наугольник – / Восемь законов постигнешь тогда»; парафраз: «Надо <…> действовать как плотник с квадратом [наугольником, треугольником] и кругом [циркулем] в руках, соблюдая все восемь правил отчетливо строгого мастера-каллиграфа». ... *если и «выстаивает» цапля, / То не в конце…* – ср. станс XIX: «Старая цапля выстаивает, / Дикий журавль одиноко летит». Перевод стансов выполнен четырехстопным дактилем с чередованием женских (реже дактиличе-

ских) и мужских окончаний, в основном в порядке «ж/м». Шенгели указывает на нежелательный пропуск ударного слога (пиррихий) в конце первого ст. двустишия; также в конце данного ст. не хватает безударного слога для соблюдения чередования. В исправленном варианте замечание учтено: «Поле средь вод: лень там цапле стоять» (при этом чередование так и остается нарушенным). *...мне с «Шерсткиным Иглою» / Встречаться не хотелось бы...* – ср. станс IV: «Шёрсткин Игла – то был книжный ученый»; парафраз: «…кисть <каллиграфа>, прославленная, помните, знаменитым Хань Юем в “Рассказе о Мао Ине” (об Игле Шёрсткине, т.е. об острой на конце кисти)». Свой перевод сочинения Хань Юя «Мао Ин чжуань» В.М. Алексеев озаглавил «Биография Иглы Волоскова» (Алексеев В.М. Труды по китайской литературе. В 2 кн. Кн. 2. М., 2003. С. 61). Шенгели указывает на нежелательность в данном случае русификации имени. *«мне прямо в нос»* – ср. станс V: «Запах божественный прямо мне в нос». В исправленном варианте замечание учтено: «Запах божественный в ноздри мне бьет». *Баранниковский «іанг»* – намек на фрагменты перевода поэмы Тулсидаса «Рамаяна» («Рамачаритаманаса»), выполненного академиком А.П. Баранниковым (Труды Военного института иностранных языков. 1946. № 2; Известия АН СССР. Отд. лит-ры и языка. 1946. Т. V. Вып. 2). Узнав о предстоявшем полном издании перевода, 29 августа 1947 г. Шенгели обратился в изд-во АН СССР с длинным письмом-рецензией, в котором заключал: «Перевод “Рамаяны” страдает столь существенными недостатками с точки зрения переводческого искусства и в таком изобилии, что его можно рассматривать лишь как *черновик* будущего перевода» (РГАЛИ. 129.26–41). В предисловии к полному изданию перевода Баранников подчеркивал, что его работа «преследует научные задачи, отнюдь не претендуя на художественность» (Тулси Дас. Рамаяна или Рамачаритаманаса: Море подвигов Рамы / Пер. с индийского (хинди), коммент. и вступ. Ст. акад. А.П. Баранникова. М.–Л., 1948. С. 6).

С. 512. **Всеволоду Рождественскому**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 373; 2) РГАЛИ. 10.42об.

Отклик на сборник ст-ний Вс. Рождественского «Родные дороги: Стихи 1941–1946» (М., 1947), название которого обыгрывается в ст. 2. *Чтоб золотым веретеном...* – обыгрывается название сборника ст-ний Вс. Рождественского «Золотое веретено» (Пг., 1921).

С. 512. **Встреча**. Автограф: РГАЛИ. 10.43. Включено в *ЛиП*.
Впервые: День поэзии. 1968, без эпиграфов.

В основе ст-ния легенда, порожденная ошибкой в сопроводительной заметке П. Бартенева к публикации воспоминаний Анны Петровны Керн (Марковой-Виноградской): «Судьба не была к ней милостива. Она скончалась в 1880 году в бедности, в Москве, и, по странной случайности, гроб ее повстречался с памятником Пушкина, который ввозили в Москву,

к Тверским воротам» (Русский архив. 1884. № 6. С. 349. Подпись: П.Б.). На самом деле Керн умерла 27 мая (8 июня) 1879 г. в полной безвестности; вспомнили о ней и поместили краткие некрологи в газетах лишь спустя месяц после открытия памятника Пушкину 6 (18) июня 1880 г., отсюда и ошибка П. Бартенева (подробнее см.: Модзалевский Б.Л. Анна Петровна Керн (по материалам Пушкинского Дома). Л., 1924). Сюжет использован П. Антокольским в «Балладе о чудном мгновении», ср. запись Шенгели от 21 июля 1955 г.: «В “Нов<ом> мире” – стих<отворен>ие Антокольского “Встреча” – на мою тему; послал текст моей встречи, написанной в 48 г., Антокольскому и Ахматовой» (РГАЛИ. 106.13об.). *Эпиграф 1* – неточная цитата из поэмы В. Гюго «Возвращение Императора» (Le Retour de l'Empereur, 1840); в оригинале: «Sire, vous reviendrez dans votre capitale». *Эпиграф 2* – из романса «Пара гнедых»; строфа с этой строкой, отсутствующая в изданиях Апухтина, впервые появилась в нотном издании 1898 г. и, по-видимому, является позднейшей вставкой. *И Достоевский рванет по сердцам* – имеется в виду приуроченная к открытию памятника речь Достоевского о Пушкине, произнесенная 8 (20) июня на заседании Общества любителей российской словесности.

С. 514. **Сергею Малашкину**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 378; загл. вписано от руки, в дате число и месяц вычеркнуты; 2) РГАЛИ. 8.71, под загл. «Другу»; дата: 16.VII.1948.

Малашкин Сергей Иванович (1888–1988) – писатель, поэт; близкий друг Шенгели, председатель комиссии по его литературному наследству. Ст-ние написано к 60-летию Малашкина; его день рождения – 4 (16) июля. Поскольку автограф 2 оформлен как подносной, т.е. специально приуроченный к дате, ст-ние датируется по *ЛиП*. *Мятежник мускулистый* – обыгрываются заглавия сборников ст-ний Малашкина «Мускулы: Поэмы» (М., 1918; 2-е изд. – Н.-Новгород, 1919) и «Мятежи: Стихи. Кн. 2-я» (Н.-Новгород, 1920).

С. 514. **Ответ Мандельштаму**. Автографы: 1) РГАЛИ. 11.3. Фамилия Мандельштама в загл. взята в скобки; эпиграф перечеркнут; имя Осип в тексте также взято в скобки, сверху надписано: «О***» (возможно, именно в таком виде вошло в окончательный вариант *ЛиП*); 2) РГАЛИ. 10.96, без последней строфы; 3) РГАЛИ. 2.9об.–10об – машинопись; ранний, незавершенный вариант *ЛиП* (1952). Включено в *ЛиП* под загл. «Ответ».

Впервые: *Подъем*.

Ср. комментарий Н. Мандельштам к ст-нию «Я пью за военные астры…» (1931), обыгранному Шенгели: «Шутка. <…> Шенгели написал смешной ответ в стиле Тихонова против колониализма… Принял ух как всерьез. О.М. смеялся. А впрочем, Шенгели, может, писал для начальства» (Мандельштам Н.Я. Третья книга / Изд. подгот. Ю.Л. Фрейдин. М., 2006. С. 255). По замечанию Ю. Фрейдина, «в то время <1948 г. – *В.Р.*> упоминать и цитировать, хотя бы даже и в официально-полемическом ключе, а

уж тем более признаваться в старой дружбе с О.М. – было очень опасно; не исключено, что Н.Я. пишет о каком-то более раннем варианте этого стихотворения» (Там же. С. 538). Несмотря на опасность, Шенгели включил ст-ние во все варианты *ЛиП*; гипотеза о наличии ранней редакции поддерживается скорее тем, что в 1930-е гг. невозможно упоминание атомной бомбы.

С. 515. **«Невесомый балкон, как мембрана, над морем повис…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 10. 89 – ст. 1–10, среди записей 1946 г.; 2) РГАЛИ. 11.3об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *ЛР*.

С. 516. **«Дождь прошел. Тугие тучи…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.3об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

С. 517. **«Дом на Верхне-Митридатской…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.4. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *КР*, без деления на строфы.

Навеяно письмами К. Кошке (см. примеч. к ст-нию «На выезде был неотворчивый дом…», с. 647). Было послано ей с посвящением, ср.:

> Я польщена чрезвычайно тем, что стихи о «страшном» доме посвящены мне. Но дом не страшный, а невыразимо печальный, Иора! Значит, своим письмом о нем я Вас ни в чем не убедила… Дом печали, как печален мой старый полуразобранный альбом для фотографий. <…> Спасибо! Это чудесно, это восхитительно… И Ваш сеттер Джефф так на месте, так необходим в этой прекрасной картинке. Всё собачьё Верхне-Митридатской так и встало передо мной, как живое, все наши «Бромки», «Фрины», «Джоньки»… разве без них мыслима улица наша, наш детский быт?

(письмо от 25 ноября 1948 г. // РГАЛИ. 158.37об.–38).

С. 517. **Мартин Иден**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л.381; 2) РГАЛИ. 11.4.
Впервые: В мире книг. 1973. № 9, без деления на строфы.

С. 518. **«Я горестно люблю Сороковые годы…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 10.73об. – ст. 1–6, среди ст-ний апреля-июля 1943 г.; 2) РГАЛИ. 11.4об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ок-88*. В *Ин* к последнему ст. дано авторское примечание, отсутствующее в автографе: «Самоубийство Николая I».

Брамбеус – Барон Брамбеус, псевдоним Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858), под которым он с 1833 г. публиковал сочинения различной направленности, пользовавшиеся неизменным успехом. *Одоевский дурит и варит эликсиры* – среди увлечений Владимира Федоровича Одоевско-

го (1804–1869) были средневековая натуральная магия и алхимия. *...грянет Севастополь / И подведет итог щепоткой мышьяка!* – сразу же после смерти Николая I 18 февраля (2 марта) 1855 г. в столице начали широко распространяться слухи о том, что император покончил с собой, получив известия о неудачах при обороне осажденного Севастополя.

С. 519. **Возраст**. Автографы: 1) РГАЛИ. 8.72; 2) РГАЛИ. 11.4об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *НБ*.

С. 519. **Сергею Векшинскому**. Автограф: РГАЛИ. 11.5–5об. Включено в *ЛиП*.
Впервые: *Биография*.

Круазе – разновидность дуплетного удара на бильярде.

С. 522. **Ответ (акростих)**. Автограф: РГАЛИ. 11.6.
В акростихе: «Ёра Жене Массино». Ср. в письмах К. Кошке:

> Как-то после гимназического бала наша классная дама, Ольга Константиновна, сухая и чопорная, как опереточная англичанка, но более добродушная, чем можно было ожидать, собрала нас в классе, чтобы прочитать очередную нотацию. Конечно, она нам гудела о том, что на балу мы забыли, что «нашим лучшим украшением должны быть молодость и скромность», и слишком громко смеялись, слишком были завиты и т.д. и т.д. «Но еще хуже вас вели себя ваши кавалеры, ученики старших классов гимназии», сказала О.К., ехидно сощурив холодные глаза. «Это был просто какой-то… табун. И только один из них вел себя так, как подобает хорошо воспитанному юноше. Этим умеющим себя безукоризненно держать юношей был уч. VII класса… Георгий Шенгели…» «Женька, Женька, Женька!..» прошелестел по классу лукавый веселый шепот – «слышишь?», а Женя Массино от такой похвалы своему кавалеру смущенно спрятала под парту свою светлую головку

(письмо от 27 июня 1948 г. // *Биография.* С. 80; дополнено по автографу: РГАЛИ. 158.7);

> Женя Массино должна быть в Одессе, если ей еще не захотелось оправдать Вашу несносную статистику и попасть в те %%, которых «нет уже в живых, тогда веселых, молодых». Я мельком видела ее году в 29ом. <…> Работала Женя где-то на Пересыпи, на сахарном заводе, муж у нее умер, а единственный сын был «не очень удачным» <…> Да простит мне наша светлая юность, о которой мне хочется говорить только хорошее – никак не могу взять на себя ответственность назвать Женю поэтессой, как ее считали у нас. Все ее розы и грезы, власти и страсти это типичное «из альбома старой

девы». И когда Всева познакомил меня с Вашими стихами, первое что я подумала, было: наверное, Женька все свои стихи сожгла, чтоб ей не было стыдно перед настоящим поэтом

(письмо от 24 августа 1948 г. // РГАЛИ. 20, 21об.). Не исключено, что Женя Массино подразумевается и в ст-нии «Окно одно и смотрит в коридор…» (с. 434).

С. 522. **«Это всё еще – “только так”…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.386–387 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.6.

Впервые: Антология петербургской поэзии эпохи акмеизма / Сост. Ю. Иваск, H.W. Tjalsma. Мюнхен, 1973.

С. 524. **«Крепкий чай, холодная котлета…»**. Автограф: РГАЛИ 11.8об.; судя по расположению ст-ния в тетради, год указан ошибочно – возможно, следует: 1951.

Впервые: *Ин*.

...все вольются реки / В океан – см. эпиграф к ст-нию «Катер» (с. 361).

С. 524. **«Это, видимо, смерть приходила…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.6об.
Впервые: *НБ*.

С. 525. **«Укрыться от лондонской дымки…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.388 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.6об.

Впервые: *Пр*.

С. 525. **«Вечер душен, номер скучен…»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 367; дата: 1946; 2) РГАЛИ. 11.7.

Впервые: *Ин*.

«часы досуга» – «Hours of Idleness» (1807), сб. ст-ний Д.Г. Байрона; полный перевод его лирики Шенгели начал в 1949 г., работа осталась незавершенной.

С. 526. **«Вот взяли, Пушкин, вас и переставили...»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.389 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.7об.

Впервые: Евтушенко Е. Строфы века: Антология русской поэзии. М., 1994.

Памятник Пушкину, установленный в начале Тверского бульвара лицом к Страстному монастырю (снесенному в 1937 г.), в августе 1950 г. был перемещен на другую сторону улицы Горького (Тверской) на место монастырской колокольни и развернут на 180º.

С. 527. **«Где-нибудь – белый на белой скале…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.7об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Подъем*.

О своем желании уехать из Москвы и жить у моря Шенгели писал жене в эвакуацию еще в самом начале войны:

Ты снилась мне сегодня; мы устраивали наш домик где-то на юге. Эх, эх, когда это будет? До судорог хочется юга, моря, мира, тишины, тебя. С двадцати лет до пятидесяти мыкаться по комнатам, с неустойчивым заработком, в зависимости от всяких Чагиных, в условиях чудовищных войн, в стеснениях карточной системы и пр., и пр.! Устал я до чертиков. И мало надежды прожить хотя бы последние годы достойно и в тишине. Ведь когда мы отобьемся от Гитлера, стране придется зализывать такие раны, столько восстанавливать, что литература, естественно, будет на последнем плане, а в ней на последнем плане окажутся переводы классиков и мои стихи, так что прожить будет нелегко. И все-таки, Нинка, уедем к теплому морю. Буду работать хоть учителем, лишь бы хлеб был. Надо мужественно признать свое поражение в борьбе за первоклассное литературное имя. Не вышло. Возложим надежду на «грядущие века» (хотя они, как сказал Байрон, «к подобному наследству не ревнивы»), а грядущие годы посвятим «тихой жизни». Дописать книгу о стихе, доперевести «Дон-Жуана», написать воспоминания, – и всё. И писать стихи «для себя». Вот программа.

Ну, я заскулил и на тебя навел тоску; прости. А все-таки – будем у теплого моря. Отпущу седую бороду и буду «пользоваться уважением сограждан» где-нибудь в Феодосии или в Алуште. И будем есть пилав из мидий

(письмо от 25 ноября 1941 г. // *Биография*. С. 422). *Еникале* – село, в 1948 г. включенное в состав Керчи под названием Сипягино, ныне район города; также мыс и турецкая крепость на берегу Керченского пролива. *Греческий храм* – храм Святого Иоанна Предтечи (см. примеч. к ст-нию «Порт Св. Иоанна», с. 632).

С. 527. **«Такой хороший, такой укатанный…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.391 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.8.

Впервые: *Ин*.

Эпиграф – неточная цитата из ст-ния «Было на улице полутемно…» (1922; в оригинале: «а иной»).

С. 528. **«Ужасный год!.. Хотя б одна строка…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.8об. Впервые: *РС*.

С. 529. **«Свистит неделя за неделей…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.9об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ог-94*.

С. 529. **Анне Ахматовой**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 392; 2) РГАЛИ. 11.10. Впервые: *ЛР*.

С. 530. **«И снова – видение улиц горбатых…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.10об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *ЛР*.

С. 530. **«Баркаса качается кузов…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.10об. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *Ин*.

С. 531. **Годовщина**. Автограф: РГАЛИ. 11.10об. Включено в *ЛиП*.
Впервые: *Ин*.

С. 531. **Сергею Музалевскому**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 398; дата: 20.VIII.1952. В содержании под загл. «20 августа 1952»; 2) РГАЛИ. 11.10об., с подзагол. «20 августа 1952 г.»; помета: «первое безникотинное стихотворение».

Сергей Музалевский – гимназический друг Шенгели. Ст-ние, возможно, навеяно их личной встречей. Ср.: «Я мало что знаю о своих одноклассниках. Знаю, что Мазманов (мой шафер) умер на чужбине. Музалевский (тоже шафер) живет в Феодосии, но он спился и опустился» (письмо В. Фрейберга С. Векшинскому от 3 декабря 1963 г. // АРАН. Ф. 2022. Оп. 1. Ед. хр. 216. Л. 2–2об.).

С. 532. **«Я начинаю забывать стихи…»**. Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 399; 2) РГАЛИ. 11.13; помета: «Первые стихи после 7 месяцев и 6 дней молчания!»

Впервые: *ЛР*.

С. 533. **День рождения**. Автограф: РГАЛИ. 11.13–13об., без загл. Включено в *ЛиП*.

Впервые: *МА*.

В машинописной копии (РГАЛИ. 1.400, без загл.) примечание: «Мой день рождения. Мне 59 лет»; далее в скобках примечание Н. Манухиной: «По метрике Георгий родился 20 мая 1894 г. стар. ст. Следовательно, по новому стилю – 2 июня. Георгий почему-то ошибался в дате». На самом деле ошибка в метрике, ср.: «Родился 20 апреля ст. ст. (в метрике указано 20 мая, – это неверно)» (Хронологическая канва // РГАЛИ. 220.6).

С. 533. **«Когда-нибудь здесь чудный будет город…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.401 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.13об.; текст перечеркнут.

Впервые: *Ин*.

С. 534. **«Как владимирская вишня…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.13об.
Впервые: *НБ*.

Посвящение – Юлия Ивановна Самарина, жена Михаила Самарина (см. в преамбулах к разделам «Гонг» и «Раковина»), мать литературоведа Романа Самарина, знакомого Шенгели (указано В.Э. Молодяковым).

С. 535. **«“С Дону выдачи нет!”…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.14об.
Впервые: *Ин*.

С. 535. **«Ах, вот как? Снова Deutschland über alles?..»**. Автограф: РГАЛИ. 8.74.

С. 536. **«Черт его знает, как он это делал…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.14об. Первая дата относится к строфам I–VI и ст. 1–3 строфы VII, вторая – к остальному тексту.

Впервые: *КИ*.

С. 538. **«Я не был там... Швейцария, Люцерн…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.17. Впервые: *Пр*.

С. 539. **Сон**. Автограф: РГАЛИ. 11.18.
Впервые: *ЛГ*.

А направо ступенчатый город… – в Омск, где Аркадий Александрович Шенгели (см. примеч. к ст-нию «Окна распахнуты, спущены шторы…») служил с 1897 г. присяжным поверенным, Шенгели с семьей переехал в 1898 г. и покинул город в 1902 г. вскоре после смерти отца (*Биография*. С. 31–34).

С. 540. **Коррозия**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.404 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.17об.

Впервые: *Ин*.

С. 540. **Педагогика**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.405 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.17об.

Впервые: Таллин. 1987. № 3, в статье Е. Коркиной «Георгий Шенгели об Игоре Северянине».

С. 541. **«Он знал их всех и видел всех почти…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.406 – машинопись; 2) РГАЛИ. 11.18об.

Впервые: *МА*.

В строфе I перечислены В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, М. Волошин, О. Мандельштам, Б. Пастернак, И. Бунин, И. Северянин, С. Есенин, А. Ахматова, В. Нарбут, М. Цветаева, Вяч. Иванов, А. Блок. Повторяющаяся в разных источниках атрибуция «Владимира» как Маяковского безосновательна: нет подтверждений тому, что в поздние годы Шенгели пересмотрел свое к нему отношение, наиболее четко сформулированное в брошюре «Маяковский во весь рост» (1927), тогда как с гораздо более близким ему Нарбутом вплоть до его ареста Шенгели сохранял дружеские отношения.

С. 542. **«Четыре года мне. Я наряжен в черкеску…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.18об.

Впервые: *РС*.

Ср. в «Хронологической канве»: «Первая “романтика”: бабушка показывает в окно на дальние холмы: “там – Кавказ”; а у меня есть черкеска и

кинжал, и я знаю стихи: “Злой чечен ползет на берег…”, – и мне становится “загадочно” и “тянет вдаль”» (*Биография*. С. 30).

С. 542. **«“Это имя так знакомо”…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 1.408 – машинопись; 2) Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 386. Карт. 141. Ед. хр. 48. Л. 1–2 – машинопись с подписями авторов, наклеена на правую внутреннюю сторону авт. тканевого переплета, на левую сторону наклеен машинописный «титул»: «Иоанне Брюсовой / в день ее 80-летия / 15 февраля / 1956 / Издано в одном экземпляре».

Впервые: Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985 – в письме И.М. Брюсовой к Н.О. Туманян от 18 апреля 1957 г.; публ. С. Ованесян.

Написано в соавторстве с Н. Манухиной. Об адресате см. примеч. к ст-нию «Валерий Брюсов» (с. 674).

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С. 545. **Прожект**. Автографы: 1) РГАЛИ. 4.9; 2) РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 79–80 – машинопись, без загл., б.д.

Впервые: *Ок-94*.

О Леконте де Лиле см. примеч. к переводу «Слоны» (с. 639). Влияние на Шенгели Мандельштама, знакомство с которым состоялось тем же летом 1917 г., отмечалось начиная с выхода *P1* (см. в преамбулах к разделам «Еврейские поэмы» и «Раковина», с. 621, 623). *Filioque* (*лат*. и <от> Сына) – добавление к латинскому переводу Никео-Цареградского Символа веры, утверждающее исхождение Святого Духа не от Бога-Отца, но «от Отца и Сына»; принятое Римской церковью в XI в., стало одним из формальных поводов к расколу Вселенской христианской церкви на Католическую и Православную. *На Брюсовских студентов…* – на студентов Высшего литературно-художественного института, где Шенгели преподавал с сентября 1923 по август 1925 гг.

С. 546. **«Эван эвоэ! Кончился полет…»**. Автограф: РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 44, в письме М. Шкапской от 5 октября 1924 г.

Впервые: *Минувшее*.

Поэт, переводчик, литературовед Абрам Маркович Эфрос (1888–1954) в 1922 г. выпустил сборник «Эротические сонеты». «Замятину передайте, что эпиграмму он может печатать, но непременно с указанием автора: пусть Абрам чувствует, где таилась погибель его» (письмо М. Шкапской от 16 февраля 1925 г. // *Минувшее*. С. 271). Вероятно, речь идет о журнале «Русский современник», в редактировании которого принимал участие Е.И. Замятин; издание прекратилось в 1924 г. на № 4.

С. 546. **«Пред заседанием Правленья…»**. Автограф: РГАЛИ. Ф. 2180. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 18об. – запись в альбоме Е.Г. Сокола.

Речь идет о заседании Правления Всероссийского союза поэтов, председателем которого Шенгели был в 1925–1927 гг.

С. 546. <**Poetae – poetae**>. Автограф: Дом-музей М. Волошина в Коктебеле. Инв. № А-337. Для наст. изд. текст сверен И. Левичевым. Прозаическая пародия «Гоголь» в наст. изд. не воспроизводится (см. *Ин*).

Впервые: «Языков», «~~Макс~~имилиан Кириенко» (под загл. «Кириенко») – Русская литература XX века в зеркале пародии: Антология / Сост., вступ. статья, коммент. О.Б. Кушлиной. М., 1993; остальные – *Ин*.

Тетрадь под загл. «Poetae – poetae», содержащая 50 шуточных поздравлений от имени поэтов разных времен и народов, была подготовлена в Коктебеле и поднесена М. Волошину в день его именин (17 августа 1925 г.), в который одновременно отмечалось и 30-летие его творческой деятельности; среди авторов – С. Шервинский, Б. Ярхо, Е. Ланн, Л. Остроумов (Волошин М.А. Собр. соч. Т. 13, кн. 1. М., 2015. С. 177; список всех авторов и принадлежащих им пародий см.: Шапир М.И. Б.И. Ярхо: штрихи к портрету // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. М.: Наука, 1990. Т. 49. № 3. С. 280, 282–283).

С. 546. ***Гомер***. *Буланич-Сосновицкий* – возможно, обыгрываются фамилии Н.И. Гнедича (переводчика «Илиады») и И.Е. Соснецкого (переводчика «Энеиды»). *Ломоярхоносов* – производное от фамилий М.В. Ломоносова и Б.И. Ярхо. *Фернампикс* – по оригинальной коктебельской классификации, «прозрачный камень, сверху, однако, “одетый” в причудливую, пеструю “рубашку”» (Купченко В.П. Кара-Даг: Путеводитель. Изд. 2-е, доп. Симферополь, 1976. С. 58). *...царя Сарыгольского* – см. примеч. к ст-нию «Незнакомец» (с. 687). *Синоплиха* – Варвара Семеновна Синопли, жена Александра Георгиевича Синопли (1879–1943), владельца коктебельского кафе «Бубны». *Нарпитес* – столовая Нарпита в Коктебеле. *Адалис* Аделина Ефимовна (1900–1969) – поэт, переводчик. *Дщерь Александра Галина* – неустановленное лицо. *Тату* – пес Волошиных. *Олимпиада Никитишна* Сербинова (1879–1955) – заведующая «кухней» Дома поэта в 1923–1929 гг.

С. 548. ***Михаил Кузмин***. Пародируется ст-ние «Сладко умереть…» из цикла «Александрийские песни»....*у фонтана* – фонтан Айвазовского в Юбилейном парке. *Монумент созерцая...* – памятник «Марксизм» напротив фонтана Айвазовского, изображал рабочего, укладывающего каменные блоки; подорван гитлеровскими оккупантами в 1944 г., ныне на его месте памятник матросу-революционеру И.А. Назукину. *...прочитав в сто первый раз / «Протопопа Аввакума»* – вышучиваются многократные авторские чтения поэмы «Протопоп Аввакум», ср. ст-ние 1928 г.: «Сегодня Макс читает. Будет скучно, – / Не каждый день к стихам наклонен ум. / В десятый раз

уж внемлешь равнодушно, / Как пострадал пресвитер Аввакум» (Шервинский С.В. Стихи разных лет. М., 1984. С. 38). *Наташа* – вероятно Наталья Алексеевна Габричевская (урожд. Северцова, 1901–1970), художница.

С. 550. ***Владимир Маяковский***. *Му-у!* – аллюзия на книгу В. Маяковского «Простое как мычание» (1916).

С. 551. ***Мария Шкапская***. Помимо основных тем поэзии Шкапской пародируется характерный для нее способ записи ст-ний как прозы – в строку с переносами слов.

С. 552. ***~~Макс~~имилиан Кириенко***. При рождении будущий поэт получил двойную фамилию – Кириенко-Волошин. Таким образом, Имилиан Кириенко в ст-нии олицетворяет «бытовую» ипостась, которая обличает «творческую» – Макса Волошина. Пародируется ст-ние «Видение Иезекииля» (1918). *Шляться не стыдно ль беспаспортным Каином…* – обыгрывается название цикла ст-ний «Путями Каина».

С. 553. **«Все экспортированы овцы…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.32об.; дата – по расположению в блокноте.

Напостовцы – название членов Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), образованное от заглавия их печатного органа – журнала «На литературном посту».

С. 553. **«Чтоб пушкинский пригладить бакен…»**. Автограф не обнаружен. Впервые: Русская мысль. 1982, 25 нояб., в статье А. Эртеля «Памятник нерукотворный». Печ. по: Тименчик Р. Из именного указателя к «Записным книжкам» Анны Ахматовой // «…Как в прошедшем грядущее зреет…»: Полувековая парадигма поэтики Серебряного века: Сб. науч. работ. М.: Азбуковник, 2012. С. 328.

На смену мне придет Ревякин… – после увольнения Шенгели в январе 1929 г. с кафедры литературы Крымского педагогического института на его место был назначен литературовед и критик Александр Иванович Ревякин (1900–1983).

С. 553. **«Вы говорите: Wiwimacher?..»**. Автограф: ГЛМ. 2.23.3; дата – по расположению в записной книжке.

Wiwimacher (*нем. букв.* делающий пи-пи) – пенис. Слово используется З. Фрейдом в работе «Анализ фобии пятилетнего мальчика» («Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben», 1909).

С. 554. **«Блестит Academia! Там парад!..»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 6.34–35; 2) РГАЛИ. 6.36 – машинопись.

Фрагмент: *Биография*.

Речь идет о Полном собрании сочинений Г. Гейне в 12 тт.: издание началось в 1935 г. с тома IV, содержавшего «Путевые картины» в переводе

В. Зоргенфрея (подготовлен еще в начале 1920-х гг. в изд-ве «Всемирная литература» под редакцией А. Блока), и завершилось томом VIII лишь в 1949 г. в Гослитиздате. Всего в изд-ве «Academia» до его слияния в 1937 г. с Гослитиздатом вышло 8 томов. О деятельности Осипа Борисовича *Румера* (1883–1954) как редактора поэтических переводов для собрания сведений нет; в первых трех томах, содержащих лирику и вышедших в 1938, 1948 и 1939 гг. соответственно, он участвует лишь как переводчик. *Лежнев* Абрам Захарович (1893–1938) – критик, литературовед, участник литературной группы «Перевал» (что обыгрывается в ст-нии); для собрания сочинений написал статью «Проза Гейне» к т. IV и комментарий к т. VII. *Тарловский* Марк Ариевич (1902–1952) – поэт, переводчик, до начала 1940-х гг. близкий друг Шенгели; большая часть его переводов из Гейне, выполненных для собрания сочинений, осталась неопубликованной. *Руставели* – Екатерина Александровна Тарловская (урожд. Васильева, 1892–1953), поэт, переводчик; жена М. Тарловского; выступала под псевдонимом Лада Руставели, позже – Лада Руст. *Пеньковский Лев Минаевич* (1894–1971) – поэт, переводчик; автор текста романса «Мы только знакомы!..» (1924, музыка Б. Прозоровского), что обыгрывается в ст-нии. В 1934 г., еще до собрания сочинений, в изд-ве «Academia» вышел отдельным изданием его перевод поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка» (2-е изд. – 1936). О его отношениях с Шенгели см.: Молодяков В. «Мы только знакомы. Как странно…»: «Ледяной Лев Минаевич» и другие // Библиофилы России: Альм. Т. IX. М., 2012. С. 182–192. *Так некогда Ульрих фон Гутенберг / Сказал Меланхтону Эразму* – пародия на ошибки комментаторов: в первом случае смешаны ученый и поэт Ульрих фон Гуттен и первопечатник Иоганн Гутенберг, во втором – ученые-гуманисты Эразм Роттердамский и Филипп Меланхтон. *Каменев* Лев Борисович (1883–1936) – партийный и государственный деятель; в 1933–1934 гг. директор изд-ва «Academia».

С. 555. **Замок Альманах**. Автограф: РГАЛИ. 7.34–35об., б.д.

Впервые: Витковский Е. Строфы века – 2: Антология мировой поэзии в русских переводах XX века. М., 1998.

Перепев баллады В.А. Жуковского «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» (1822). Обстоятельства написания ст-ния раскрыл в предисловии к его повторной публикации писатель Юрий Лиманов:

> Шуточное стихотворение «Замок Альманах», посвященное Дине Лимановой, было написано Георгием Шенгели вскоре после создания альманаха «Дружба народов» в 1939 году. Еще только складывался коллектив авторов, и секретарь редакции, молодая очаровательная вдова с копной рыжих волос и зеленоватыми глазами, искрящимися смехом, немало тому способствовала: в редакции царила атмосфера поклонения. Поэты, переводчики, литераторы, молодые и не очень, талантливые и те, кто ныне забыт, и те, кто вошел в зо-

лотой фонд русской литературы, забегали сюда не только с рукописями, но и просто так – перекинуться парой слов, пошутить, вспомнить прошлое. Все были немного опьянены тем, что время, казалось, стремительно убегало от страшного 37-го года, и смотрели в будущее с опасливой надеждой и веселым отчаянием. Это настроение блестяще отражено в стихотворении Георгия Шенгели, которое оказалось своеобразным поэтическим моментальным снимкам, вобравшим частицу счастливого времени между двух исторических бурь. В его шутливой иронии ощущается налет грусти – мудрый философ и провидец, теоретик поэтического перевода и тонкий поэт Шенгели словно заглянул в будущее, в котором он сам окажется на долгие годы отстраненным от активной литературы, а его друг, один из героев стихотворения, «граф Пирал», поэт, переводчик, будущий муж «феи альманаха» Георгий Пиралов, сгинет на Лубянке в самом начале 42-го года только за то, что учился в Германии. Сама же фея, Надежда Андреевна Лиманова, родная сестра моего отца, пройдет скорбный путь миллионов советских людей — от Бутырки по пересылкам и лагерям до поселения в Сибири, пронеся тем не менее светлое воспоминание о годах работы в редакции. Она вернется из ссылки в 1955 году, когда альманах станет ежемесячным журналом, но это будет уже во многом другой человек

(Дружба народов. 1999. № 3. С. 221–223). Упоминаются поэты и переводчики Давид Григорьевич *Бродский* (1895–1966), Валентин Яковлевич *Парнах* (1891–1951), Владимир Александрович *Бугаевский* (1905–1964), Семен Израилевич *Липкин* (1911–2003), Марк Владимирович *Талов* (1892–1969), Марк Ариевич *Тарловский* (1902–1952). *Король Накоряк* – Николай Никандрович Накоряков (1881–1970), публицист, книгоиздатель; в 1930–1937 гг. заведующий Гослитиздатом. *...трех редакций вассал* – с декабря 1931 по апрель 1932 гг. Шенгели заведовал редакцией журнала «Коммунальное хозяйство», с апреля 1932 по июнь 1933 гг. служил заместителем заведующего Московской редакцией Узбекского Госиздата, с августа 1933 до 1938 гг. – редактором секции западной литературы Гослитиздата. *Лурих* Георг (1876–1920) – цирковой артист, двукратный чемпион мира по французской борьбе. *Колчина* – неустановленное лицо.

С. 559. **На Маяковского**. Автограф: РГАЛИ. 8.10, рядом со ст-нием «Черепаха».

В статье «Изучение мозга В.В. Маяковского (Беседа с директором Института мозга профессором С.А. Саркисовым)» сообщалось: «Вес мозга Маяковского превышает средний вес человеческого мозга (1.400 граммов) и составляет 1.700 граммов. Следует, однако, иметь в виду большой рост Маяковского» (Известия. 1941. № 9 (7385), 11 янв. С. 4).

С. 560. **«Не смейтесь, милочка, прикройте лучше лик…»**. Автограф: РГАЛИ. 8.5об.

С. 560. **Валентину Катаеву**. Автограф: РГАЛИ. 10.64об.
Ср.: «Вчера Крученых показал мне экземпляр моего “Изразца” со следующей, двадцатилетней давности, надписью Вальки Катаева: Я глупостей не чтец, а пуще – изразцовых. Я подумал и начертал тут же: <следует 1-е двустишие>. Дома же придумал более тонкий, кажется, вариант: <следует 2-е двустишие>» (письмо к Н. Манухиной от 13 января 1942 г. // РГАЛИ. 112.27). Надпись Катаева – перифраз реплики Чацкого из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (в оригинале «образцовых» вм. «изразцовых»). В эпиграммах аллюзия на очерк Катаева «Два замка: Из путевых заметок» (Правда. 1939, 5 нояб.), в котором описано посещение в сентябре-октябре 1939 г. замков Радзивиллов и Мирских; очерк завершал серию «По Западной Белоруссии», посвященную включению названной территории в состав СССР. В 1962 г. вся серия включена в книгу «Почти дневник».

С. 560. **«Всех москвичей томит вопрос чертовский…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.59об.

Корнейчук Александр Евдокимович (1905–1972) – украинский советский драматург, политический деятель.

С. 560. «**“Много на свете есть, мой друг, горачее!” – как сказал…»**. Автограф: РГАЛИ. 8.56–57.

Обращено к Александре Петровне Рябининой (1897–1977), издательскому работнику, заведующей отделом национальных литератур СССР в Гослитиздате. *А был такой стиховой гурман…* – справа на полях карандашом: «Струйский». Николай Еремеевич Струйский (1749–1796), потомственный дворянин, в 1792 г. обустроил в своем наследственном имении Рузаевка частную типографию, где печатал собственные поэтические произведения; издания отличались высоким качеством. *«У разлюбленных просьб не бывает»* – из ст-ния «Сколько просьб у любимой всегда!..» (1913) из сб. «Четки»; в оригинале: «разлюбленной». *«Над веком серебряным месяц встал серебряный» ~ «Мертвая хвоя от похорон»* – образы из «Поэмы без героя».

С. 563. **«После Кумача…»**. Автограф: РГАЛИ. Ф. 1336. Оп. 3. Ед. хр. 20. Л. 25 – запись в альбоме С.Р. Шехтер.

После Кумача – отклик на предыдущую запись (л. 24): «…И тот, кто с песней по жизни шагает, / Тот никогда и нигде не пропадет! / Вас. Лебедев-Кумач. / *20.VI.1946*».

С. 563. **О Чуковском**. Автограф: РГАЛИ. 10.43об.
Впервые: *Биография*.

Отклик на резко негативную оценку, данную К. Чуковским в его книге «Высокое искусство» переводам К. Бальмонта из П.Б. Шелли: «Не толь-

ко стихотворения Шелли исказил в своих переводах Бальмонт, он исказил самую физиономию Шелли, он придал его прекрасному лицу черты своей собственной личности. Получилось новое лицо, полу-Шелли, полу-Бальмонт – некий, я сказал бы, Шельмонт» (Собр. соч. в 15 тт. Т. 3. М., 2001).

С. 563. **Стихи Щипачева**. Автограф: РГАЛИ. 10.43об.–44; дата – по расположению в блокноте.

Шенгели обыгрывает характерный для творчества С.П. Щипачева (1899–1980) род миниатюры, банальный по мысли и довольно косноязычный по изложению; такие миниатюры часто встречаются, например, в сборнике «Стихотворения» (М., 1948), за который автор был удостоен Сталинской премии 2-й степени.

НЕОКОНЧЕННОЕ

С. 565. **«Шумный истаял день. Но и ночь не дает мне покоя…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.41об., на одном листе со ст-нием «Вечер. Свечка в бронзовом шандале…» (см. примеч. на с. 690); текст перечеркнут.

С. 565. **«Ветр медленный качнул на крыльях полотно…»**. Автограф: РГАЛИ.3.37об., на одном листе со ст-нием «Нет воздуха, – так резки и ясны…» (с. 412).

С. 565. **«И древним буйством сладострастья…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.38.

С. 565. **«В ковровой комнате, клонясь над блюдом впалым…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.38.

С. 566. **«Пора, пора! Сквозняк времен гудит…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.58.

С. 566. **«Окно пришлось закрыть. Там голубой мукою…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.67об., в тетради ст-ний 1921 г.

С. 567. **«Вдалеке прозвенел и пропал тарантас голубой…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.68об., в тетради ст-ний 1921 г.; утрачено несколько листов, на которых, вероятно, было записано окончание ст-ния.

Емельян Пугачев принимал участие в Семилетней войне (1756–1763), отличился в нескольких крупных сражениях.

С. 567. **«О поиски алмазных слов…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.71об.; на обороте листа ст-ние «Да, так: ни женщины нет у меня, ни друга…» (с. 414).

С. 568. **«Тончайшею нитью, воздушным шарлаховым шелком…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.76; на обороте листа ст-ние «Музыка – что? Кишка баранья…» (с. 421).

С. 568. **«Оловянный жемчуг на руке…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.78об., рядом со ст-нием «Сердца мне были точно ванна…». Соотносится с «Осенним венком» (с. 424).

С. 568. **«Столовая. Висит гробок…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.79об.; на обороте листа ст-ние «Под китайской шляпой карусели…» (с. 423).

С. 569. **«Ты сравниваешь? – Сравнивай! Быть может…»**. Автограф: РГАЛИ. 3.82, на одном листе со ст-нием «И опять мы печку топим…» (с. 429). Впервые: *Ин*.

С. 569. **Верфь**. Автограф: РГАЛИ. 3.89, в тетради ст-ний 1923 г.

С. 569. **«Был ледоход, и у моста затор…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.9, на одном листе со ст-нием «Прожект».

С. 570. **«Никогда я не умел…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.18, строфа I перечеркнута; на обороте листа ст-ние «Пейзаж».
Фрагмент: *Биография*.

С. 570. **«Голубым башлыком он закутал лицо…»**. Автограф: РГАЛИ. 4.22об.; на обороте листа окончание ст-ния «В песчаных степях ледяных…» (с. 211).

С. 571. **Orientalia**. Автограф: РГАЛИ. 4.90, среди ст-ний 1925 г.

С. 571. **«Ломкой ты стала, как лист иссушенный, душа…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.4; дата – по расположению в блокноте.

С. 571. **«Семь дней недели. За звеном звено…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.13об.; дата – по расположению в блокноте.

С. 572. **«Я отыскал обрывки старых фильм…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.18; дата – по расположению в блокноте.

С. 573. **«Всё что угодно! Яду в вино…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.19; дата – по расположению в блокноте.

С. 573. **«О, придворная кисть богомазов!..»**. Автограф: РГАЛИ. 5.20об.; дата – по расположению в блокноте.

С. 573. **«Который лимб я прохожу теперь?..»**. Автограф: РГАЛИ. 5.21; дата – по расположению в блокноте.

С. 574. **«Звук имени, и пальцы рук, и брови…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.21об., текст перечеркнут; дата – по расположению в блокноте.

С. 574. **«Они давно уже скучают…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.33; дата – по расположению в блокноте.

С. 574. **«Мне каждой ночью внятен зов…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.33; дата – по расположению в блокноте.

С. 574. **«Когда с товарищем ленивый разговор…»**. Автограф: РГАЛИ. 5.33об.; дата – по расположению в блокноте.

С. 575. **«Бодлер и нищета – вот всё, что нужно мне…»**. Автограф: РГАЛИ. 6.29об.; дата – по ст-нию «Шурке» на обороте листа.

С. 575. **«И на закате с разбега...»**. Автограф: ГЛМ. 2.23.3; дата – по расположению в записной книжке.

С. 576. **«Вдоль рощи дорога, вдоль рощи ограда…»; «Собака обняла меня…»**. Автограф: ГЛМ. Ф. 135. Оп. 4. Ед. хр. 253. Л. 1; помета: «Писано в Клязьме на даче Е.Ф. Никитиной».

С. 576. **«Из утлых дранок и холста…»**. Автограф: РГАЛИ. 7.33–33об.
Впервые: *Биография*.
См. примеч. к ст-нию «Блерио» (с. 667).

С. 577. **«Я вошел в застекленную рубку…»**. Автограф: РГАЛИ. 7.32.

С. 578. **Материк Эфемера**. Автограф: Собрание А.В. Маринина; дата – по особенностям почерка и чернил.

С. 578. **«Ну что же!.. Я не оказался первым…»**. Автограф: 8.10об.; дата – по расположению в блокноте.

С. 579. **«Ночь. Выхожу на шпору волнореза…»**. Автографы: 1) РГАЛИ. 10.64, среди ст-ний, написанных 15 декабря 1941 г.; 2) РГАЛИ. 11.16, среди ст-ний 1954 г. Очевидно, Шенгели решил вернуться к старому замыслу, переписал строфу, однако продолжение не последовало.
Впервые: *Ин*.

С. 579. **«К беглым грезам гимназиста…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.61; дата – по расположению в блокноте.

С. 579. **«Ателье неудачника. Нынче он просто фотограф…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.61; дата – по расположению в блокноте.

С. 580. **«Когда все люди изомрут…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.64об.; дата – по расположению в блокноте.

С. 580. **«К чему? Я никуда не еду…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.64об.; дата – по расположению в блокноте.

С. 580. **«Старый доктор в обветшалой тоге…»**. Автограф: РГАЛИ. 113.35об. – машинопись, в письме к Н. Манухиной от 11 августа 1943 г. из Ашхабада.
Впервые: *Биография*.

С. 580. **Разговор с Гейне**. Автограф: РГАЛИ. 9.26об.; дата – по расположенным на том же листе ст-ниям «Жалоба мертвеца» и «Жаба» (с. 286, 292).

Соотносится с циклом антинацистских ст-ний, включенным в «Панцирь». *Дурхгефикт* (*нем*. Durchgefickt) – неологизм от глагола ficken (*нем*. совокупляться); русским эквивалентом фамилии было бы нечто вроде Распро<..>ов.

С. 581. **«В графике рваных линий…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.47об., текст перечеркнут; дата – по расположению в блокноте.

С. 582. **«Порою бывала прекрасной земля…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.55; дата – по расположению в блокноте.

С. 582. **«Я помню: поезд выбегал…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.48, текст перечеркнут; дата – по расположению в блокноте.

С. 583. **«Бухта была точно рубль голубой…»**. Автограф: РГАЛИ. 10.41; дата – по расположению в блокноте.

С. 583. **«Это мое поколение в воздух полезло…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.6об., среди ст-ний 1950 г.

С. 583. **«Тиберий стар. Он, “медленно жующий”…»**. Автограф: РГАЛИ. 11.15об.

Впервые: *Ин*.

«медленно жующий» – ср.: «Немного времени спустя консулы внесли закон, чтобы он <Тиберий – *В.Р.*> совместно с Августом управлял провинциями и производил перепись. Он совершил пятилетнее жертвоприношение и отправился в Иллирик, но с дороги тотчас был вызван обратно. Августа он застал уже без сил, но еще живого, и целый день оставался с ним наедине.

Я знаю, что есть ходячий рассказ, будто после тайной беседы с Тиберием, когда тот ушел, спальники услышали голос Августа: “Бедный римский народ, в какие он попадет медленные челюсти!”» (Тиберий. 21, 1–2 // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. с лат. М. Гаспарова. М., 1988. С. 115).

С. 599. **«В теплой ванне ароматной вскрыл ланцетом вены…»**. Автограф по старой орфографии: РГАЛИ. 57.2об. Ст-ние обнаружено, когда наст. изд. находилось на стадии верстки.

СОСТАВ КНИГ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ИЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ

ЗЕРКАЛА ПОТУСКНЕВШИЕ
Поэзы. Кн. II
(Пг.: L'oiseau bleu, 1915)

Зеркала потускневшие	65
Белые бабочки	74
Похороны	104
Гримасы вечера	105
Паноптикум	67
Сонет зеленого стола	59
Плен	54
Запыленное	87
Стрелы звезд	63

ЛЕБЕДИ ЗАКАТНЫЕ
Поэзы. Кн. III
(Пг.: L'oiseau bleu, 1915)

Закатные лебеди	47
Искры в воде	45
Серебряный ритм	50
Звенья отсветов бледных	70
Грезовый вальс	105
Девушка в трамвае	58
Аккорды III	46
Музыка	45
Свет холодный	53

РАКОВИНА
Стихи
(Б.м.: Камена; тип. Натковича в Керчи, 1918)

Две книги	185
Рукописи Пушкина	177

«Прибой на гравии прибрежном…» 173
Кокосовый орех 186
Санскрит 142
Микрокосм 143
Словарь 142
Поэт 186
Барханы 157
Марон 187
Робинзонов склеп 159
Лагуны 187
Корабль 157
Salt-Lake-City 160
Могила 158
«Снаружи мерцает на меди…» 188
Слоны (Леконт де Лиль) 189
Сенат 144
Ex oriente umbra 162
Carmen aeternum 161
Ватикан 163
Самарканд 156
Босфор Киммерийский 152
Порт Св. Иоанна 152
Отмели 190
Основателю города (Эредиа) 191
Цепь 192
Освобождение 145
Палингенезия 154
Скифия 153
«Чадили факелы смоловые…» 193
«Земля, дождями вспоенная…» 194
Желтые бреды 166
«О, Всадник Бронзовый! Твой лавроносный лоб…» 194
Смертоносцы 165
27 июля 1830 г. 170
«Давно в колчане крупный жемчуг…» 155
«Винно-желтый янтарь и лазорево-белый яспис…» 112
«Я знаю тихий дол. Отлогие холмы…» 154
Захолустье 195
Кормчий 196
«Так хорошо уйти от голосов людей…» 176
«Квадратный стол прикрыт бумагой…» 171
«Поужинав холодной кашей…» 172

Полет 196
Кабинет 197
e2 – e4 197
«Вдали расплавленно-топазовая…» 198
Огонь и глина 142
Домик 183

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЭМЫ
(Харьков: Гофнунг, 1919)

Семиты 113
Пустынник 113
Иегова 114
Моисей 115
Ависага 117
Песнь Песней 128
Экклезиаст 119
Разрушение 119
Кровь Захарии 120
Пустота 131
Псалом XI 131
Грядущий 120
Пророк 123
Спиноза 126
Ахер (Из Элиши Родина; размер подлинника) 132
Бытие (Из Элиши Родина) 136
Завет (отрывок) 136
Храм 126
Иудеи 127

ИНЕЙ
стихи
1924

Музе («Я груб и неумыт…») 200
«Вместо воздуха – мороз…» 213
«Над моей кроватью сонной…» 430
«От звезд тревожным ветром тянет…» 201
«С головой под одеяло…» 420
«Семечки полускать у ворот…» 205

О бритве 418
«Был весенний, был тревожный ветер…» 207
«Здесь долго жить мне. Взгляд кругом кидаю зоркий…» 306
«Белый дом, большой и ровный…» 203
«Мне сладко думать, вспомнить любо…» 405
«Вчера мне снилась мертвая вода…» 261
«Прозрачная резервуаров медь…» 432
«В голубой, как воздух, воде лимана…» 419
«О, летняя тоска, – особый дачный холод…» 420
Канун 232
Отрывок («В окно сиял нам полдень…») 438
«Акации, голубизна и зной…» 236
«Норд-ост ревет и бьет о дом пустой…» 397
«Там, над синей волной Мичигана…» 416
Гёте 244
Льстец 205
Денис Давыдов 210
Бетховен 206
Наль: поэма II, 469

ПЛАНЕР[1]
Стихи
(М.: ГИХЛ, 1935)

Планер 224

Грозовой фронт

Пиротехник: Поэма II, 50
Трудовые слова 225
Переплетчик 228
Пятый год: Отрывки из поэмы II, 14
Тот год 229
Канун 232
Пять лет 233
Поручик Мертвецов: Поэма II, 7
«Акации, голубизна и зной…» 236
1 мая при немцах 237
Имя 238

[1] Не указывается состав последнего раздела «Несколько переводов», который в основном корпусе воспроизводится полностью.

В рабочем клубе 238
Ода университету 239
Октябрьские строки 242
Синяя книга 243

Люди и страны

Льстец 205
Бетховен 206
Денис Давыдов 210
Гёте 244
Карфаген 245
Александрия 246
«В голубом эфира поле...» 247
Лилиенталь 248
Туркмения 248
1. По «романам»
2. По «географиям»
3. На самом деле
«Панамская соломка…» 252
Конец индивидуалиста 253

Plein air

«Никогда не забуду я этот сухой известняк…» 217
Эстрада 254
Мощи 254
«Парусинная койка; под ней сапоги, чемодан…» 255
«Через черную бухту, фосфор, смятенье и золото…» 255
«Сырая теплая полночь…» 256
Шелк 257
«За окнами – многоэтажный дом…» 259
En plein air 259

Сны

«Вчера мне снилась мертвая вода…» 261
«За мокрым садом, под лазурью дикой…» 221
Лихорадка 262

Маленькие драмы

Айсигена 201
Припадок 263
«Глухая коробка со вставленным в бок…» 263
«Я опять во сне видал…» 264
«Она ушла, Омфала…» 265
«Ну что же, – нарзаном, гимнастикой, душем…» 266
На постановку «Гамлета» в театре Вахтангова 267
«Нефтяные радуги и павлиньи…» 268

Искусство

Пушки в Кремле II, 45

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ 1914–1939 (М.: Гослитиздат, 1939)

«Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце…» 138
«Поздно, поздно, Георгий!..» 276

Стихи о революциях

Имя 238
22 января 1793 г. 169
27 июля 1830 г. 170
Память Коммуны 278
Пиротехник (отрывки из поэмы) II, 50
Пять лет 233
Октябрьские строки 242
Синяя книга 243
Ода университету 239
Трудовые слова 225
Поручик Мертвецов II, 7
Ушедшие в камень: Поэма 112

Страны и люди

Карфаген 245
Александрия 246

Босфор Киммерийский 152
Крепость-Фанагория 181
Туркмения 248
1. По «романам»
2. По «географиям»
3. На самом деле
Пустынник 113
Бетховен 206
Державин 176
Льстец 205
Натали 179
Денис Давыдов 210
Ермолов 182
«Плитный двор пылает в летнем полдне…» 175
«Панамская соломка…» 252

Маленькие драмы

Девушка в трамвае 58
Паноптикум 67
«На выезде был неотворчивый дом…» 220
Припадок 263
«Глухая коробка со вставленным в бок…» 263
Врубелевский зал 268

Разные стихотворения

Над Овидием 41
В библиотеке 43
Сквозь грани 103
Барханы 157
Микрокосм 143
Санскрит 142
Корабль 157
«Лес темной дремой лег в отеках гор…» 149
«Закрыв глаза, пересекаю брег…» 150
«В граненой проруби, в крутых отрезах льда…» 139
«Сижу, окутан влажной простынею…» 162
«Январским вечером, раскрывши том тяжелый…» 173
«В звездный вечер помчались, в литые чернильные глыбы…» 161
«Замок упал. Тяжелый створ широко…» 171

«Белый дом, большой и ровный…» 203
Айсигена 201
«Никогда не забуду я этот сухой известняк…» 217
«Февраль. Морозный луч на крашеном полу…» 217
«В комнате этой всё живо и радостно мне…» 219
Сон 221
Пушки в Кремле II, 45
«Парусинная койка; под ней сапоги, чемодан…» 255
«Через черную бухту, фосфор, смятенье и золото…» 255
Шелк 257
«Дом стеклянный и крылатый…» 259
Планер 224

ГАМЕЛАНГ
Стихи
1945

Романтика 307
Блерио 303
Экран 317
А может быть 320
Потрет Дориана Грея 336
Плен 360
Тайна 359
Зима 1901 350
Отраженное бытие 320
Тайна (2) 359
Солнцеворот 315
Болезнь 316
Художник 332
Аламединка 326
Полихромия вечера 334
Полихромия вечера (2) 334
Полихромия вечера (3) 335
Соблазн 318
Панорама 351
Сиротство 319
Калейдоскоп 328
Венера 337
Кувшин 363
Катер 361

Амфибиальная память 362
Урбанистический пейзаж 363
Неврастения 318
Бал 356
Жизнь 312
Узнавание 309
Итог 317
Возвращение 321
Затерянность 495
Из-за забора 355
Птичка 331
Собака 331
Певица 370
Опыт 376
Сундук 352
Робаи 331
Художник (2) 333
Лермонтов 338
Витрина 330

ЛИРИКА И ПОЭМЫ[1]

От автора

1914

* Девушка в трамвае 58
* В библиотеке 43
* Над Овидием 41
* Весна 44
* «Из мрамора – под солнцем всё белей…» 50
* «Зеленый ласковый откос…» 62

1915

* Паноптикум 67
* «В кафе безмолвие. Сигарный дым…» 89
* Богадельни прекрасного 59
* Сквозь грани 103

[1] Помета от руки: «Звездочкою отмечены стихотворения, бывшие в печати».

1916

* Барханы 157
* Самарканд 156
* Carmen aeternum 161
* Робинзонов склеп 159
* Могила 158
* Огонь и глина 142
* Порт Св. Иоанна 152
* Скифия 153
* «Давно в колчане крупный жемчуг…» 155
* Босфор Киммерийский 152
* Палингенезия 154
* Микрокосм 143
* Домик 183

1917

* Санскрит 142
* «Квадратный стол прикрыт бумагой…» 171
* Корабль 157
* Смертоносцы 165
* «Прибой на гравии прибрежном…» 173
* Рукописи Пушкина 177
* Могила Баратынского 180
* 27 июля 1830 170
* Сенат 144

1918

* Державин 176
* Пустынник 113
* «Лес темной дремой лег в отеках гор…» 149
* «Закрыв глаза, пересекаю брег…» 150
* «В граненой проруби, в крутых отрезах льда…» 139
* Крепость Фанагория 181
* «Плитный двор сияет в летнем полдне…» 175
* «Окном охвачены лиловые холмы…» 146
Комендантский час 397
«Дух» и «материя» 397
* Поэтам 141

* Спиноза[1] 126
* «Трагическое эхо Эльсинора…» 147

1919

* «Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце…» 138
* «В последний раз могиле поклонились…» 160
* «Январским вечером, раскрывши том тяжелый…» 173
* «Сижу, окутан влажной простынею…» 162
* 22 января 1793 169
* «Худенькие пальцы нижут бисер…» 174
Самосуд 403
Своя нужда 402
* «Вон парус виден. Ветер дует с юга…» 164
* «Полночь. Ветер. Лодка покачнулась…» 168

1920

* Ермолов 182
* «В звездный ветер помчались, в литые чернильные глыбы…» 161
Кувшин 363
Провокатор 404
Мать 403
Короткий разговор 404
1871, драматические сцены[2] II, 342

1921

* Натали 179
* «Замок упал. Тяжелый створ широко…» 171
* «Как тускло он сияет – летний рынок…» 170
* «Пологий берег мягко сошел к волне…» 151
* «Всю ночь в окно плескал тревожный ветер…» 151
* «Закаты в августе! Плывут издалека…» 152
* Поручик Мертвецов, поэма II, 7

1922

* Пять лет 233

[1] Вписано карандашом.
[2] Вписано ручкой.

* Сон (Вчера мне снилась мертвая вода…) 261
Дача 420
Осенняя минутка 433
* Музе 200

1923

* Бетховен 206
* «Белый дом, большой и ровный…» 203
* «Акации, голубизна и зной…» 236
У себя 306
Переждать![1]
«За окнами многоэтажный дом…» 259
* «Стаял точно льдинка час….» 202

1924

* Айсигена 201
* Льстец 205
* Лилиенталь 248
* Старое кладбище 218
* «Засинели с неба снежного…» 215
К портрету А. О. Россети[2] 407
Девятьсот пятый, поэма[3] II, 14

1925

* Гёте 244
Отрывок 358
Витрина 330
«И опять мы печку топим…» 429
* Трубка 207
Пейзаж 442
* В рабочем клубе 238

1926

* Октябрьские строки 242
Ода Рабиндранату Тагору 467

[1] Не идентифицировано.
[2] Вписано карандашом.
[3] Вычеркнуто красным карандашом, затем подчеркнуто пунктиром.

* Карфаген 245
* Сон («За мокрым садом, под лазурью дикой…») 221
* Две комнаты 373
Все умерли 415
* «На выезде был неотворчивый дом…» 220
* «Никогда не забуду я этот сухой известняк…» 217
* «Февраль. Морозный луч на крашеном полу…» 217
Где? 205
Переплетчик[1] 228
* Пушкин <так!> в Кремле, поэма II, 45

1927

* Ода университету 239
* Канун 232
Мой город 349
* «В комнате этой всё живо и радостно мне…» 219
Клик 354
* Лихорадка 262
«Сегодня дождь бормочет и лукавит…» 454

1928

* Трудовые слова 225
* Память Коммуны 278
Лена 455
* Синяя книга 243
Начало[2]
* Эстрада 254

1929

* Денис Давыдов 210
* Припадок 263

1930

* Тот год 229
* Александрия 246
Тайна («Огромная черная комната…») 359

[1] Вписано карандашом.
[2] Не идентифицировано.

1931

Певица 370
* У окна 327
Док 326
Итог 317

1932

Черепаха 307
Поэту («Дней осталось у тебя немного…») 310
Собака 331
Взрыв[1]

1933

* Имя 238
* 1 мая 1918 г. при немцах 237
* «Через черную бухту…» 255
* «Панамская соломка…» 252
* Мощи 254
Жидкий воздух 329
* «Парусинная койка…» 255
«Сырая теплая полночь…» 256
* Шелк 257
* «Глухая коробка…» 263
* «Я опять во сне видал…» 264
* На постановку «Гамлета» 267
* Планер 224
* Пиротехник, поэма II, 50

1934

* Туркмения 248
1. По «романам»
2. По «географиям»
3. На самом деле
Отраженное бытие 320
* Конец индивидуалиста 253
Неврастения 318
Катер 361

[1] Не идентифицировано.

Робаи 331
* «Дом стеклянный и крылатый…» 259

1935

Молох 357
Плен 360
* «Нефтяные радуги и павлиньи…» 268
Вплавь! 365

1936

Максимилиан Волошин 341
Стыд 367
Незнакомец 374
Венера 337
Сергей Нечаев, отрывки поэмы II, 488

1937

Узнавание 309
Соблазн 318
Атараксия 321
Экран 317
Борисоглебский, 15 371
Гарм, поэма II, 82
* Ушедшие в камень, поэма[1] II, 112

1938

Два брата II, 502
Панорама 351
Картинка 436
Из-за забора 355
Возвращение («Пароход подходит к пристани…») 321
Сиротство 319
Иноходец, поэма 379

1939

Валерий Брюсов 340
Сундук 352

[1] Вписано ручкой.

* «Поздно, поздно, Георгий!..» 276
Эпический цикл (поэмы)
Тема I. Личная II, 146
II. Неопровержимо о детях II, 152
III. Пять шестых мира II, 154
IV. Две евгеники II, 160
V. Война II, 163
VI. Война и мы II, 167
VII. В конце концов – партия II, 172
VIII. Голос неотомщенных II, 178
IX. Искусство восстания II, 195
X. Гражданская война II, 199
XI. Философия машины II, 205
XII. Воскресшая земля II, 209
XIII. Братство народов II, 215
XIV. На весах жизни II, 233
XV. В пространство и время II, 238

1940

Урбанистический пейзаж 363
Амфибиальная память 362
Портрет маслом 347

1941

Художник («Пылает уголь…») 332
Лермонтов («Тугой сафьян…») 338
Блерио 303
Июль 1941 298
Рассвет 299
Одиночество 301
Ожидание 300
Подполье 300
Паника 302
Логика 281
Памятник славы 282
Ueber alles 281
Рапорт 285
Шофер зондеркоманды 284
Комплекс недостаточности 288
Жаба 286

Расовое единство 290
Каждому свое 291
Жалоба мертвеца 292
Магазин самоубийства 293
Изъян[1] 293
Поэт (Ах, только это?!.) 283

1942

Двадцать восемь 297
Матери Рюрика Павлова 296
Мы живем на звезде 305
Так умирают 314
Ночь 325
Мгла 323
За окном 323
Мороз 324
Там, в горах 324
Аламединка 326
Лермонтов («Старушки нежной внучек…») 339
Портрет Дориана Грея 336
Бал 256
На смерть Игоря Северянина 344
А может быть 320
Романтика 307

1943

Реформа палитры[2] 294
Дистрофия[3] 316
Сердце[4] 491
Зима 1901[5] 350
Калейдоскоп[6] 328
Тайна (И опять я…) 359
Возвращение (Я в окошко…) 322
Анне Ахматовой (Гудел декабрь…) 345

[1] Вписано чернилами.
[2] Вычеркнуто красным карандашом.
[3] Вычеркнуто красным карандашом.
[4] Вписано красным карандашом.
[5] Вычеркнуто красным карандашом.
[6] Вычеркнуто красным карандашом.

«В шаге легком и упругом…» 493
Жизнь 312

1944

Смерть Муссолини 295
«За слоистыми горами…» 495
Солнцеворот 315
Полихромия вечера (1–3) 334
Панцирь 306

1945

После капитуляции 295
«Афганец» 502
Пустыня 502
«Мне других наркотиков не надо…» 501
«Все крепости разрушая…» 496

1946

«Ай, хорошо! Я на три километра…» 503
Город 507
«А в мире так скучно…» 508
«Вечер душен…» 525
«Окна распахнуты…» 506
Атомная бомба 505
«Дождь провел…» 505
Опыт 376
«Вы приснились мне, Игорь…» 503
Эфемера, поэма II, 302

1947

«Цветет акация…» 508
Птичка 331
Сергею Векшинскому (Два старых мальчика…) 509
Всеволоду Рождественскому 512
Тайна кавторанга, поэма II, 289

1948

Встреча 512
«Мартин Иден» 517
Сергею Малашкину 514
«Дом на Верхне-Митридатской…» 517
«Невесомый балкон…» 515
«Дождь прошел…» 516
Ответ 522

1949

«Я горестно люблю…» 518
Возраст 519
Сергею Векшинскому (Quousque tandem… Uns… Zusammen…) 519

1950

«Где-нибудь – белый…» 527

1951

Анне Ахматовой (Вам снился Блок…) 529
«Свистит неделя за неделей…» 529
Севастопольцы II, 542

1952

Годовщина 531
«И снова – видение…» 530
20 августа 1952 531
«Баркаса качается кузов…» 530

1953

День рождения 533
«Я начинаю забывать стихи…» 532

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

РОЗЫ С КЛАДБИЩА

Экзотика

Лилии сквозь хрусталь 7
Золотые скрижали 7
Город мудрых 8
Переливы 10
Тридцать три строки 11
Песня ветра 12

Экстазы

Кошмар (Скачущие строки) 13
Пробуждение (Скачущие строки) 14
Старухи 15
Кровь (Сонет) 16
Жизнь и смерть 16
Опиум 17
Сон 18
Алкоголь 19

Настроения

Поэма вечера 20
Радуга в молоке 21
Под звуки чайковского 22
Ирисы 23
Ноктюрн 23
Мечта 24

Сумерки ... 24
Безмолвие ... 25
Минувшее ... 26
Сокровенное ... 26
Уйти! ... 27
Напевы акации ... 28
Сказка ... 28

Степи

Степной край ... 29
Искусство ... 30
Аккорды ... 31
Ночь ... 32
Степи ... 32
Полдень ... 33

Кольца дыма

Город сверху (Скачущие строки) ... 34
Сириус ... 34
Пенковая трубка ... 35
Я ... 35
Митридат ... 37
Розы с кладбища ... 37
Сантиментальный разговор (Из. П. Верлена) ... 38
Опьяняйтесь (Из Ш. Бодлера) ... 39

ГОНГ

Золотофлисы бледно-синие

Орифламмы ... 41
Золотофлис ... 42
Из цикла «Творимые раи»
I. «Читать испанские imbrôglio...» ... 43
II. Гашиш ... 43

Песня раковин (Из поэмы «Море»)..... 44
Переливы весенние..... 44
Музыка..... 45
Искры в воде..... 45
Аккорды III..... 46
Закатные лебеди..... 47
«Зной дневной обезоружен...»..... 48
Сонное кружево..... 49
«Из мрамора – под солнцем всё белей...»..... 50
Серебряный ритм..... 50
«Точно на ярких подмостках...»..... 51
Литургия смерти..... 52
Свет холодный..... 53
Плен..... 54

Камни мостовых

Освобождение..... 55
Три и три четверти..... 55
«Улицы лязгно бряцали...»..... 57
Девушка в трамвае..... 58
Зеленый стол (Полусонет)..... 59
Богадельни прекрасного..... 59
Петропавловский переулок..... 60
«В жутком томленьи бредов...»..... 61
«Неуловимо, как сифонофоры...»..... 61
«О диссонансы вечеров...»..... 62
Праздничные перекрестки..... 63
Стрелы звезд..... 63
«Бронзовая статуя стынет на скале...»..... 64
«Наступающий вечер волнует меня...»..... 64
Зеркала потускневшие..... 65
Странный сон..... 66
«К выси тянутся грезы комнаток...»..... 66
«Я в цветочный магазин завтра поступлю...»..... 67
Паноптикум..... 67
Икары потухшего солнца..... 68

Лунные палитры

Звенья отсветов бледных ... 70
«Я был в норвежской тихой гавани...» ... 70
«Сквозь морозное окно...» ... 71
«Полынная поляна. Влажная луна...» ... 72
«На пыльных перекрестках дробится блеск луны...» ... 72
«Пролиты белые меды в запущенном старом саду...» ... 72
«Цитры нежно звучат...» ... 73
Белые бабочки ... 74
«В морозную ночь надушу свои губы дивиньей...» ... 75
Льдяный микроскоп ... 75
Бледные звезды ... 76
«Ночью в степи у одинокого дерева...» ... 77
Лунное вино ... 78
«Читаю ночью Жюль-Верна...» ... 78
Вечерний вальс ... 79
«Есть неуловимые и нежные духи...» ... 80
«Мои товарищи умчались...» ... 80
«Сегодня – всё призрачно, всё нереально...» ... 82

Крематорий мысли

Прощание с Землей ... 82
Стихи о Саломее ... 83
Сонет с комментарием ... 84
Огоньки-мерцалики ... 85
«Сны, туманно повторяющиеся...» ... 86
«О мои голубые, мои нежные дни...» ... 86
«Есть волнения во мне, я не знаю их...» ... 87
Запыленное ... 87
«В неясную и сладкую меня бросает дрожь...» ... 88
«Мы – образы живых и мертвых книг...» ... 89
«В кафе безмолвие. Сигарный дым...» ... 89
«В столах, “по случаю приобретенных”...» ... 90
Филигрань ... 91
«В эти последние дни...» ... 91
Женщине ... 92
Стихи Фалька ... 94

Заячьи шепоты ... 95
На маяке ... 96
«Так узывны метелей вуали...» ... 100
Лихорадка ... 101
«Светляки мерцают зелено ... 101
«Тихие тени еще не истаяли, прячась в углах ... 103
Сквозь грани ... 103

<Дополнение>

Похороны ... 104
Гримасы вечера ... 105
Грезовый вальс ... 105

АПРЕЛЬ НАД ОБСЕРВАТОРИЕЙ

«О эти белые фарфоровые дни...» ... 107
«Я люблю мои прохладные и матовые залы...» ... 107
«Голубая глубина в медленной реке...» ... 108
«Бризы легковейные...» ... 108
«Я люблю непрозрачные камни ...» ... 109
«Бросает мне в лицо купальня...» ... 109
«В музыке разбрызганной радостный извив ...» ... 109
«На черном бархате матовый...» ... 110
«Американские орехи...» ... 110
«Экзотика табачных магазинов...» ... 111
«Золотом горящие фосфористой бронзы...» ... 111
«Винно-желтый янтарь и лазорево-белый яспис...» ... 112

ЕВРЕЙСКИЕ ПОЭМЫ

Семиты ... 113
Пустынник ... 113
Иегова ... 114
Моисей ... 115
Ависага ... 117
Экклезиаст ... 119

Разрушение 119
Кровь Захарии 120
Грядущий 120
Пророк 123
Спиноза 126
Храм 126
Иудеи 127

<Дополнение>

Песнь Песней 128
Пустота 131
Псалом XI 131
Ахер (Из Элиши Родина; размер подлинника) 132
Бытие (Из Элиши Родина) 136
Завет (Отрывок) 136

РАКОВИНА

«Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце...» 138
Музе 138
«В граненой проруби, в крутых отрезах льда...» 139
Надпись на статуе 139
Поэту 140
Поэтам 141
Огонь и глина 142
Санскрит 142
Словарь 142
Микрокосм 143
Сенат 144
Поединок роковой 144
Освобождение 145
«Окном охвачены лиловые хребты...» 146
«Трагические эхо Эльсинора...» 147
«Да, грозный сон приснился мне. Стою я...» 148
«Встало утро сухо-золотое...» 148
«Лес темной дремой лег в отеках гор...» 149
«Закрыв глаза, пересекаю брег...» 150

«Пологий берег мягко сошел к волне...» 151
«Всю ночь в окно плескал тревожный ветер...» 151
«Закаты в августе! Плывут издалека...» 152
Босфор Киммерийский 152
Порт св. Иоанна 152
Скифия 153
Палингенезия 154
«Я знаю тихий дол. Отлогие холмы...» 154
«Икона вделана в старинный пегий сруб...» 155
«Давно в колчане крупный жемчуг...» 155
Самарканд 156
Барханы 157
Корабль 157
Могила 158
Робинзонов склеп 159
Salt-Lake-CIty 160
«В последний раз могиле поклонились...» 160
«В звездный вечер помчались, в литые чернильные глыбы...» 161
Carmen aeternum 161
«Сижу, окутан влажной простынею...» 162
Ex oriente umbra 162
Ватикан 163
«Вон парус виден. Ветер дует с юга...» 164
«Не выходи: над серым городом простерто...» 164
Смертоносцы 165
Желтые бреды 166
«Полночь. Ветер. Лодка покачнулась...» 168
22 января 1793 г. 169
27 июля 1830 г. 170
«Как тускло он сияет – летний рынок:...» 170
«Замок упал. Тяжелый створ широко...» 171
«Квадратный стол прикрыт бумагой...» 171
«Поужинав холодной кашей...» 172
«Январским вечером, раскрывши том тяжелый...» 173
«Прибой на гравии прибрежном...» 173
«Худенькие пальцы нижут бисер...» 174
«Плитный двор пылает в летнем полдне...» 175
«Так хорошо уйти от голосов людей...» 176
Державин 176

Рукописи Пушкина 177
Надпись на томике Пушкина 178
«...Никитские ворота...» 178
Натали 179
Могила Баратынского 180
Крепость-Фанагория 181
Ермолов 182
Домик 183

<Дополнение>

Две книги 185
Кокосовый орех 186
Поэт 186
Марон 187
Лагуны 187
«Снаружи мерцает на меди...» 188
Слоны (Леконт де Лиль) 189
Отмели 190
Основателю города (Эредиа) 191
Цепь 192
«Чадили факелы смоловые...» 193
«Земля, дождями вспоенная...» 194
«О, Всадник Бронзовый! Твой лавроносный лоб...» 194
Захолустье 195
Кормчий 196
Полет 196
Кабинет 197
e2–e4 197
«Вдали расплавленно-топазовая...» 198

НОРД

Музе 200
«От звезд тревожным ветром тянет...» 201
Айсигена 201
«Стаял точно льдинка час...» 202

«Белый дом, большой и ровный...» 203
«Neue Zeiten, neue Voegel...» 204
«Семечки полускать у ворот...» 205
Льстец 205
Бетховен 206
«Был весенний, был тревожный ветер...» 207
«Этот корень виноградный...» 207
«Ну что же: кончено! Ушла теперь и ты...» 208
«Я постарел. О чем теперь мечтаю...» 209
Денис Давыдов 210
«Вторую неделю из тундровых недр...» 211
«В песчаных степях ледяных...» 211
«Вместо воздуха – мороз...» 213
У гроба Брюсова 214
«Поникаем в тугие диваны...» 214
«Засинели с неба снежного...» 215
«Умолк вечерний дождь. И горних облак вязь...» 216
«Никогда не забуду я этот сухой известняк...» 217
«Февраль. Морозный луч на крашеном полу...» 217
Старое кладбище 218
«В комнате этой всё живо и радостно мне...» 219
«На выезде был неотворчивый дом...» 220
Сон 221
«Мокрая медная чашка...» 223

ПЛАНЕР

Планер 224

Грозовой фронт

Трудовые слова 225
Переплетчик 228
Тот год 229
Канун 232
Пять лет 233
«Акации, голубизна и зной...» 236

1 Мая при немцах 237
Имя 238
В рабочем клубе 238
Ода университету 239
Октябрьские строки 242
Синяя книга 243

Люди и страны

Гёте 244
Карфаген 245
Александрия 246
«*В голубом эфира поле...*» 247
Лилиенталь 248
Туркмения
1. По «романам» 248
2. По «географиям» 249
3. На самом деле 250
«Панамская соломка...» 252
Конец индивидуалиста 253

Plein air

Эстрада 254
Мощи 254
«Парусинная койка; под ней сапоги, чемодан;...» 255
«Через черную бухту, фосфор, смятенье и золото...» 255
«Сырая теплая полночь...» 256
Шелк 257
«За окнами – многоэтажный дом...» 259
«Дом стеклянный и крылатый...» 259

Сны

«Вчера мне снилась мертвая вода...» 261
Лихорадка 262

Маленькие драмы

Припадок ... 263
«Глухая коробка со вставленным в бок...» ... 263
«Я опять во сне видал...» ... 264
«Она ушла, Омфала...» ... 265
«Ну что же, – нарзаном, гимнастикой, душем...» ... 266
На постановку «Гамлета» в Театре Вахтангова ... 267
Врубелевский зал ... 268

Несколько переводов

Леконт де Лиль

Джунгли ... 269
Черная пантера ... 270

Эредиа

Кентавры ... 271
Пан ... 272
Охота ... 272

М. Роллина

Чудовище ... 273
Лунатик ... 273
Маниак ... 274

Ф. Энгельс

Барин Тидманн (Стародатская народная песня) ... 275

<Дополнение>

«Поздно, поздно, Георгий...» ... 276
Память Коммуны ... 278

ПАНЦИРЬ

Война

Логика 281
Ueber alles 281
Памятник славы 282
Поэту 283
Шофер зондеркоманды 284
Рапорт 285
Жаба 286
Комплекс недостаточности 288
Расовое единство 290
Каждому свое 291
Жалоба мертвеца 292
Магазин самоубийства (Подражание М. Роллина) 293
Изъян 293
Реформа палитры 294
После капитуляции 295
Смерть Муссолини 295
Матери Рюрика Павлова 296
Двадцать восемь 297
Июль 1941 298
Рассвет 299
Ожидание 300
Подполье 300
Одиночество 301
Паника 302
Блерио 303
Мы живем на звезде 305

Пестрый фараон

Панцирь 306
У себя 306
Черепаха 307
Романтика 307
Узнавание 309
Поэту 310

Жизнь 312
Так умирают 314
Солнцеворот 315
Дистрофия 316
Итог 317
Экран 317
Соблазн 318
Неврастения 318
Сиротство 319
Отраженное бытие 320
А может быть 320
Атараксия 321
Возвращение
1. «Пароход подходит к пристани...» 321
2. «Я в окошко стукнул пальцем...» 322
Мгла 323
За окном 323
Мороз 324
Там, в горах 324
Ночь 325
Док 326
Аламединка 326
У окна 327
Калейдоскоп 328
Жидкий воздух 329
Витрина 330
Птичка 331
Подражание персидскому 331
Собака 331
Художник
1. «Алеет уголь в чугунной печке...» 332
2. «Ребристым золотом багеты облегли...» 333
Полихромия вечера
1. «Срезала девушка сирень...» 334
2. «Бледно-зеленый купорос...» 334
3. «Наш лоцман, старый наш “дарга”...» 335
Портрет Дориана Грея 336
Венера 337

Облики

Лермонтов
1. «Тугой сафьян кавказских ноговиц...» ... 338
2. «Старушки нежной внучек...» ... 339
Валерий Брюсов ... 340
Максимилиан Волошин ... 341
На смерть Игоря Северянина ... 344
Анне Ахматовой ... 345
Портрет маслом ... 347

Пнеймопластика

Мой город ... 349
Зима 1901 ... 350
Панорама ... 351
Сундук ... 352
Клик ... 354
Из-за забора ... 355
Бал ... 356
Молох ... 357
Отрывок ... 358

Сны

Тайна
1. «И опять я странный видел город...» ... 359
2. «Огромная черная комната...» ... 359
Плен ... 360
Катер ... 361
Амфибиальная память ... 362
Урбанистический пейзаж ... 363
Кувшин ... 363

Лирические новеллы

Вплавь! ... 365
Стыд ... 367
Певица ... 370

Борисоглебский, 15 371
Две комнаты 373
Незнакомец 374
Опыт 376
Иноходец 379

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

Феодосия 388
«Два зеркала дымно-серебряных медленным в небе сливаются...» 388
«За кормой воздушной бригантины...» 389
«Плывут силлабической мерой...» 390
«Медленно, въедливо цокают капли в углу...» 391
«Раннее утро. Солнце еще низко...» 391
«В стране, где чистое золото...» 392
«Есть острова, далекие, как сон...» 393
«Я славлю белую, как мрамор, пустоту...» 394
Акростих с кодой 394
Урим и Туммим 395
Над Пржевальским 395
В стране отцов 396
Комендантский час 397
«Дух» и «материя» 397
Воскресный отдых 398
<Рондо> 398
Королю сонета 399
«Мороз хрустальный, тихозвонный...» 400
Путь в Эммаус 400
Нищий 402
Своя нужда 402
Самосуд 403
Мать 403
Короткий разговор 404
Провокатор 404
«Мне сладко думать, вспомнить любо...» 405
«Фортепиано звуки вяжет...» 406
«Вечер. Свечка в бронзовом шандале...» 406

К портрету А. О. Россети 407
В Москву! 407
Одесский карантин 408
«Когда свеча неспешно угасает...» 409
Акелдама 409
Ручке 411
«Ожиженный сапфир лег морем душным...» 411
«Нет воздуха, – так резки и ясны...» 412
«О книжный плен! Истаял год, как льдина...» 412
К морю 413
«Гляди: сияя свежей чесучой...» 413
«К у́тру просты́нь полотно остыло и, сладко озябнув...» 414
«Да, так: ни женщины нет у меня, ни друга...» 414
«Все умерли: Татьяна и Наташа...» 415
«Там, над синей волной Мичигана...» 416
«На реке ледоход; пробегает хрустальный сквозняк...» 417
О бритве
I. «Бритвы нежная сталь...» 418
II. «Синим светом налилось окно...» 418
III. «Навзничь лег. А там, в кастрюле неба...» 419
«В голубой, как воздух, воде лимана...» 419
«С головой под одеяло...» 420
Дача 420
«Музы́ка – что? Кишка баранья...» 421
«Я не сплю... Ведь было, было это...» 422
«Надо мною свет и колыханья...» 422
«Сердца мне были точно ванна...» 423
«Под китайской шляпой карусели...» 423
Осенний венок 424
«В Пантикапее, в склепе Деметры...» 426
«Нет, не явиться тем стихам...» 427
«Жара ли мучает, или тебя люблю...» 427
«Как странно всё… Должно быть, нервы...» 428
«Солнце ночное, любовь, – твоя взбегает квадрига...» 429
«И опять мы печку топим...» 429
«Декабрьский вечер. Золотистый пух...» 429
«Над моей кроватью сонной...» 430
Письмо 431
«Прозрачная резервуаров медь 432

Степная станция ... 432
Осенняя минутка ... 433
«Над моим одиноким столом...» ... 433
«Когда в светелке ледяной...» ... 434
«Окно одно и смотрит в коридор;...» ... 434
«В детстве у меня была картинка...» ... 436
«Всё, что надо есть: и лампа...» ... 436
«Реки широкая дуга...» ... 437
«Зачем приносишь на твердых ботфортах...» ... 438
Отрывок ... 438
Фанагорийские ночи
I. «Я ни углов, ни потолка не вижу...» ... 439
II. «Гаснут дальней Альпухарры...» ... 440
III. Баллада о стеклодуве ... 441
IV. «Каждый день я справляю день дьявола...» ... 442
Пейзаж ... 442
Броненосец «Потемкин» ... 442
Девушка из совпартшколы ... 443
Цусима ... 444
«Вся тонкая и заостренная...» ... 445
«Опять, как в давние года...» ... 445
«Мой дом! Он двенадцатигранный...» ... 446
«Теплая плоть расцветает...» ... 447
«Я потерял и позабыл канон...» ... 448
«В прокуренной комнате лампа свисает медузой...» ... 448
Ода к Персии ... 449
«На пыльной и пустой аллее...» ... 450
«Когда приезжаю в седой Севастополь...» ... 451
«Я распилил янтарную сосну...» ... 452
«Бредя с тобой по кручам...» ... 453
Изгнание ... 453
«Сегодня дождь бормочет и лукавит...» ... 454
«Доверчив я. Обманут десять раз...» ... 454
Лена ... 455
«Над круглыми очками...» ... 458
«Как я ни предан злому дню...» ... 459
Поэту ... 460
Серафим ... 461
«Я нарежу бумаги пятьсот лоскутков...» ... 462

«Червонная искра по серому пеплу строчит...» 462
«Под самой крышей в седьмом этаже...» 463
«Ну что же! Напрягись! Ведь ты умел когда-то...» 464
«Оцепененье веронала...» 465
Mon rêve familier 465
Шурке 466
Ода к Рабиндранату Тагору 467
«Солнце низко, стены влажны. Утро...» 468
«Я не знаю – почему...» 469
«Эрбий, Иттербий, Туллий, Стронций, Иридий, Ванадий...» 470
Дон-Хуан 470
«Знаешь тайну баккара...» 472
Памяти А. С. Грина 473
«Так нет же! нет же! нет же! нет...» 474
«Миндального пирожного кусок...» 475
В духе Омар-Хайама 476
«Как модель китайского зонтика...» 476
«Я долго шел у погребальных дрог...» 477
«Слишком красное дерево...» 477
Время 478
Серафиме Нарбут 479
«Разлад с собою, с окруженьем – ложь...» 480
«Валяло круто. Темно-ржавый борт...» 481
Страх 481
«Здесь пир чумной; здесь каша тьмы и блеска...» 482
Интервенты (диптих)
I. «Из попугайной вырвавшись вольеры...» 482
II. «И эти здесь! Потомки Мильтиада...» 483
Дом (Диптих)
1. «Столетний дом. Его фанариот...» 484
2. «Теперь там агитпроп. Трещат машинки...» 484
Философия классицизма 485
«Спишь, милая… Мерцают мерно веки...» 488
«Средь странных снов моих один упорный сон...» 488
Эпитафия 489
«Узнаю тебя, молодость: голод...» 489
«Необжитая пустая квартира...» 490
«Я вообще люблю порядок...» 490
Сердце 491

«Здравствуй, Виселица! Снова...» 492
«В шаге легком и упругом...» 493
Рок 494
Ответ на стихи 495
«За слоистыми горами...» 495
«Я засыпаю, – перед взором – Нинка...» 495
«Как прорезающийся зуб...» 496
«Все крепости разрушая...» 496
Голубой бювар 497
Нет больше дела, нет затей 500
«Семь струн у лиры. Семь цветов...» 501
«Мне других наркотиков не надо...» 501
«Афганец» 502
Пустыня 502
«Ай, хорошо! Я на три километра...» 503
«Вы приснились мне, Игорь, – и каким-то печальным...» 503
«Как много должен делать...» 504
«Тут можно бы наворотить метафор:...» 504
«Дождь провел крылом прохладным...» 505
Атомная бомба 505
«Окна распахнуты, спущены шторы...» 506
Город 507
«А в мире так скучно, и в небе так серо...» 508
«Цветет акация. Безмолвие созвездий...» 508
Сергею Векшинскому 509
«Глубокоуважаемый Василий...» 509
Всеволоду Рождественскому 512
Встреча 512
Сергею Малашкину (Сонет-акростих с кодой) 514
Ответ Мандельштаму 514
«Невесомый балкон как мембрана над морем повис...» 515
«Дождь прошел. Тугие тучи...» 516
«Дом на Верхне-Митридатской...» 517
Мартин Иден 517
«Я горестно люблю Сороковые годы...» 518
Возраст 519
Сергею Векшинскому
(в день 35-летия окончания нами гимназии) 519
Ответ (акростих) 522

«Это всё еще – “только так”...» 522
«Крепкий чай, холодная котлета...» 524
«Это, видимо, смерть приходила...» 524
«Укрыться от лондонской дымки...» 525
«Вечер душен, номер скучен...» 525
«Вот взяли, Пушкин, вас и переставили...» 526
«Где-нибудь – белый на белой скале...» 527
«Такой хороший, такой укатанный...» 527
«Ужасный год!.. Хотя б одна строка...» 528
«Свистит неделя за неделей...» 529
Анне Ахматовой 529
«И снова – видение улиц горбатых...» 530
«Баркаса качается кузов...» 530
Годовщина 531
Сергею Музалевскому. 20 авг. 1952 г 531
«Я начинаю забывать стихи...» 532
День рождения 533
«Когда-нибудь здесь чудный будет город...» 533
«Как владимирская вишня...» 534
«С Дону выдачи нет...» 535
«Ах, вот как? Снова Deutschland über alles...» 535
«Черт его знает, как он это делал...» 536
«Я не был там... Швейцария, Люцерн...» 538
Сон 539
Коррозия 540
Педагогика 540
«Он знал их всех и видел всех почти...» 541
«Четыре года мне. Я наряжен в черкеску...» 542
«Это имя так знакомо...» 542

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Прожект 545
«Эван эвоэ! Кончился полет...» 546
«Пред заседанием Правленья...» 546
<Poetae – Poetae>
Гомер 546
Языков 548

Михаил Кузмин 548
Осип Мандельштам 549
Иван Рукавишников 550
Владимир Маяковский 550
Мария Шкапская 551
~~Макс~~имилиан Кириенко 552
«Все экспортированы овцы...» 553
«Чтоб пушкинский пригладить бакен...» 553
«Вы говорите: Wiwimacher...» 553
«Блестит Academia! Там парад...» 554
Замок Альманах 554
На Маяковского 559
«Не смейтесь, милочка, прикройте лучше лик...» 560
Валентину Катаеву 560
«Всех москвичей томит вопрос чертовский...» 560
«“Много на свете есть, мой друг, горячее!” – как сказал...» 560
«После Кумача...» 563
О Чуковском 563
Стихи Щипачева 563

НЕОКОНЧЕННОЕ

«Шумный истаял день. Но и ночь не дает мне покоя...» 565
«Ветр медленный качнул на крыльях полотно...» 565
«И древним буйством сладострастья...» 565
«В ковровой комнате, клонясь над блюдом впалым...» 565
«Пора, пора! Сквозняк времен гудит...» 566
«Окно пришлось закрыть. Там голубой мукою...» 566
«Вдалеке прозвенел и пропал тарантас голубой...» 567
«О поиски алмазных слов...» 567
«Тончайшею нитью, воздушным шарлаховым шелком...» 568
«Оловянный жемчуг на руке ...» 568
«Столовая. Висит гробок...» 568
«Ты сравниваешь? – Сравнивай! Быть может...» 569
Верфь 569
«Был ледоход, и у моста затор...» 569
«Никогда я не умел...» 570
«Голубым башлыком он закутал лицо...» 570

Orientalia ... 571
«Ломкой ты стала, как лист иссушенный, душа...» ... 571
«Семь дней недели. За звеном звено...» ... 571
«Я отыскал обрывки старых фильм...» ... 572
«Всё что угодно! Яду в вино...» ... 573
«О, придворная кисть богомазов...» ... 573
«Который лимб я прохожу теперь...» ... 573
«Звук имени, и пальцы рук, и брови...» ... 574
«Они давно уже скучают...» ... 574
«Мне каждой ночью внятен зов...» ... 574
«Когда с товарищем ленивый разговор...» ... 574
«Бодлер и нищета – вот всё, что нужно мне...» ... 575
«И на закате с разбега...» ... 575
«Вдоль рощи дорога, вдоль рощи ограда...» ... 576
«Собака обняла меня...» ... 576
«Из утлых дранок и холста...» ... 576
«Я вошел в застекленную рубку...» ... 577
Материк эфемера ... 578
«Ну что же!.. Я не оказался первым...» ... 578
«Ночь. Выхожу на шпору волнореза...» ... 579
«К беглым грезам гимназиста...» ... 579
«Ателье неудачника. Нынче он просто фотограф...» ... 579
«Когда все люди изомрут...» ... 580
«К чему? Я никуда не еду...» ... 580
«Старый доктор в обветшалой тоге...» ... 580
Разговор с Гейне ... 580
«В графике рваных линий...» ... 581
«Порою бывала прекрасной земля...» ... 582
«Я помню: поезд выбегал...» ... 582
«Бухта была точно рубль голубой...» ... 583
«Это мое поколение в воздух полезло...» ... 583
«Тиберий стар. Он, “медленно жующий”...» ... 583

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Богадельни прекрасного ... 584
«О диссонансы вечеров…» ... 584
Паноптикум ... 584

Иегова ... 585
Моисей ... 586
Ависага ... 586
Грядущий ... 586
Пророк ... 587
Поэтам ... 587
Освобождение ... 588
«Да, грозный сон приснился мне. Стою я…» ... 588
«Лес темной дремой лег в отеках гор…» ... 589
«Закаты в августе! Плывут издалека…» ... 589
«Сижу, окутан влажной простынею…» ... 590
Желтые бреды ... 590
Домик ... 591
Цепь ... 592
Айсигена ... 592
«Никогда не забуду я этот сухой известняк…» ... 593
«В комнате этой всё живо и радостно мне…» ... 593
Пять лет ... 594
Врубелевский зал ... 594
Двадцать восемь ... 594
Лермонтов (1) ... 595
Отрывок ... 595
«К утру простынь полотно остыло и, сладко озябнув…» ... 596
«Под китайской шляпой карусели…» ... 596
«Зачем приносишь на твердых ботфортах…» ... 597
«Когда приезжаю в седой Севастополь…» ... 597
«Под самой крышей в седьмом этаже…» ... 598
Голубой бювар ... 599

«В теплой ванне ароматной вскрыл ланцетом вены…» ... 599

Обоснование текста ... 600
Условные сокращения ... 607
Комментарии ... 610
Состав книг, не включенных в издание полностью ... 724

Шенгели Г. А.

Ш47 Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста, комм. В.А. Резвого, биограф. очерк В.Э. Молодякова. – Т. I. – М.: Водолей, 2017. – 768 с.

ISBN 978–5–91763–353–4
ISBN 978–5–91763–354–1 (Том I)

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) – один из крупнейших русских поэтов XX века, выдающийся переводчик и ученый-стиховед, остается неоцененным по достоинству прежде всего из-за отсутствия сколько-нибудь полного и качественного издания его поэтического наследия. В настоящее собрание, ориентированное на максимально возможную полноту, включены все выявленные к настоящему времени поэтические произведения Шенгели, часть которых публикуется впервые. В основу издания положены прижизненные публикации и материалы из государственных архивов и частных собраний, прежде всего рукописи поэта. Раздел «Другие редакции и варианты» отражает работу автора над текстами, порой продолжавшуюся десятилетия. Издание снабжено подробным текстологическим, историко-литературным и реальным комментарием, вводящим в научный оборот много новых источников и сведений.

В первый том включены все известные стихотворения Шенгели, кроме газетных фельетонов, которые он публиковал под псевдонимами, отделяя их тем самым от своего поэтического творчества. Впервые публикуется полный авторский текст неизданного сборника «Панцирь» (1945). В приложении приведен состав книг, воспроизведенных в настоящем издании не целиком, включая неизданные «Иней», «Гамеланг» и «Лирика и поэмы».

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1

Шенгели Георгий Аркадьевич

Стихотворения и поэмы

Том I

В оформлении обложки использована литография
К.Ф. Богаевского «Пейзаж с озером» (1922)

Технический редактор *А. Ильина*

Подписано в печать 10.02.17. Формат 60x90/16. Бумага офсетная
Печать цифровая. Печ. л. 48. Заказ №

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: http://www.vodoleybooks.ru
E-mail: info@vodoleybooks.ru

Отпечатано: ПАО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (499) 322-38-30

12+

9 785917 633534

Книги издательства «Водолей»
можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

ГУП «ОЦ»Московский Дом книги»
119019, Москва, ул. Н.Арбат,7
тел. (495) 789–35–91

ТД «Библио-Глобус»
101990, Москва, ул. Мясницкая, 6\3, стр. 1
тел. (495) 781–19-00

ТДК «Москва»
125009, Москва, ул. Тверская, 8, стр. 1
тел. (495) 629–73–55, (495) 629–64–83

Галерея книги «НИНА»
Москва, ул. Волхонка,18 / 2
тел. (495) 201–36–45

Книжный магазин «Русское зарубежье»
109240, Москва, ул. Н.Радищевская,2
тел. (495) 915-00–83, (495) 915–27–97

Книжный магазин «Фаланстер»
109012, Москва, М. Гнездниковский пер.,12\27
тел. (495) 749–57–21

Оптовая торговля: ООО «КнАрт»
E-mail: knarttd@mail.ru тел. 8–916–119–67–20